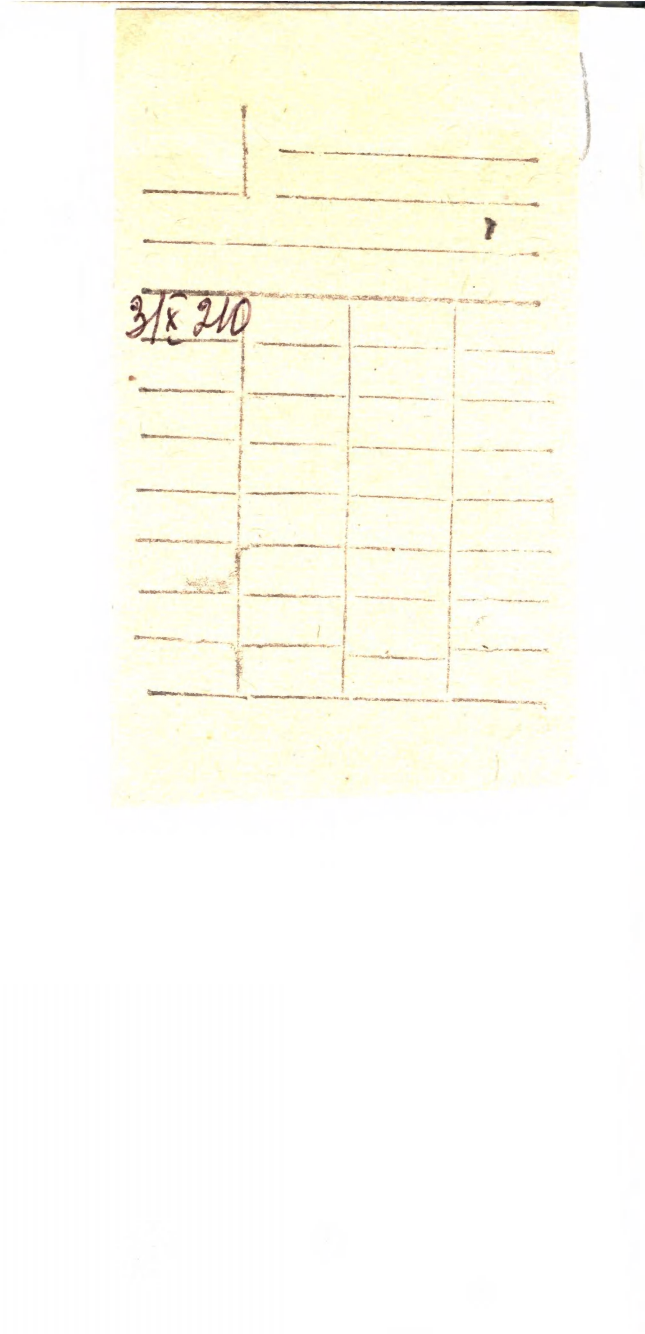


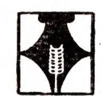
Н. А. ДОБРОЛЮБОВ


3/x 210

ЮБИТЕ

БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



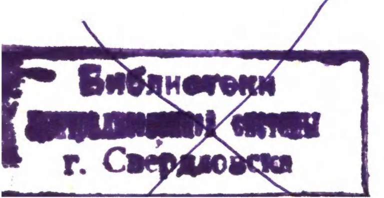


# Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

## ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ




Москва • 1980


Библиотеки
системы
г. Свердловска

# БОРЕЦ ЗА ДЕЛО НАРОДНОЕ

Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ!

*Н. Г. Чернышевский*

Николай Александрович Добролюбов родился 24 января (5 февраля по нов. стилю) 1836 года. Его отец Александр Иванович — сын сельского дьякона, после окончания Нижегородской семинарии в 1832 году стал учителем уездного духовного училища, а через два года — священником Верхнепосадской Никольской церкви в том же городе. Приход достался ему в качестве приданого за невестой Зинаидой Васильевной — дочерью настоятеля храма (по обычаю переходившего к новой семье). Николай был первым ребенком у родителей (всего в семье было восемь детей) и, понятно, привлекал особое внимание и отца, видевшего в нем будущего главу рода, продолжателя собственного дела, и особенно молодой матери, не чаявшей в нем души.

Отец будущего критика, при некотором расхождении в отзывах лиц, его знавших, был несомненно личностью, выделявшейся из общей массы провинциального духовенства своей начитанностью, любовью к книге, сильным характером, предприимчивостью. Так, желая обеспечить будущее быстро растущей семьи, он затеял строительство большого каменного дома с флигелем, который намеревался сдавать внаем. Внезапная смерть прервала, однако, его коммерческие проекты, оставив значительный долг (его пришлось выплачивать сыну). Дети вспоминали отца с теплотой и грустью и отмечали, что он вовсе не лишен был по отношению к ним заботливой ласки, что его бережное к ним отношение необычайно трогало и западало в душу.

Разумеется, в отзывах бывших прихожан рисуется несколько иной образ озабоченного делами прихода священнослужителя, но при всем том серьезного, вдумчивого и

справедливого человека, которого ценили не только за ум и честность, но и за душевное благородство и даже деликатность. Но ведь это был не только глава приходской церкви, но и педагог, обладавший приличной библиотекой, увлекавшийся, по крайней мере в молодые годы, отечественной историей и словесностью, серьезно относившийся к жизни и много думавший о месте человека на земле.

Итогом этих размышлений стал и разговор с повзрослевшим сыном, когда отец поведал ему о своих богословских сомнениях. Разговор этот совпал с переломными размышлениями сына. «Горькие колебания» отца не прошли бесследно для сына.

Отец обеспечивал семье безбедное существование, хотя она не знала не только роскоши, но и избытка. Забегая вперед, отметим, что именно отсутствие средств помешало исполнению мечты Николая Александровича получить университетское образование. Выделить из своего бюджета тысячу рублей в год для содержания своего первенца в столице отец был попросту не в состоянии, в чем с горечью был вынужден в конце концов признаться сыну. В общем, отец достоин был того уважения, которое сын сохранил в душе и памяти на всю жизнь. Это нашло отражение в его дневниковых записях и письмах: приезжая на каникулы домой, он еще с палубы парохода, подходившего к пристани, искал среди массы домов родную обитель, а среди блеска куполов церковь, в которой служил отец. Позже картины детства и отцовский дом вставали в памяти Добролюбова, овеянные романтикой, освещенные розовым светом:

Мне отчий дом рисуется во всем,
Я вновь дитя с доверчивой душою
Заботливой рукой лелеянный цвету...

После безвременной кончины Зинаиды Васильевны отношения детей с отцом сильно изменились. Добролюбов очень любил мать, «милую, кроткую женщину». Он величал ее «милым другом и хранителем».

Ей, матери своей, обязан он первым прикосновением к родному слову, к отечественной литературе. Она учила его грамоте, с ее уроков он, несмышленыш, сделал первые шаги в своем развитии, заучивая на память русские народные песни и сказки, басни Крылова, стихотворения Пушкина. Влияние матери на характер, нравственный облик Николая Александровича огромно.

«От нее,— писал он в «Дневнике»,— получил я свои лучшие качества, с ней сроднился я с первых дней моего детства; к ней летело мое сердце, где бы я ни был, для нее было все, все, что я ни делал. Она понимала эту любовь; но я не успел показать ее на деле, не успел осуществить то, чем хотел ее радовать... Мало радостных минут доставил я ей... Я был слишком горд; я не хотел прежде времени высказывать даже ей, моей дорогой, своих гордых планов и надежд, думал, что будет время — на деле увидит она, какого сына имеет, и сколько он любит е... Не случилось так...»[1]

Заметный след в духовном развитии детей Добролюбовых оставила также няня, простая русская женщина Наталья Осиповна, «большая мастерица сказки сказывать и песни петь», она пробудила в детской душе любовь к народному творчеству, которую критик пронес через всю жизнь. Позже он запечатлел ее образ в стихотворении:

Стал я слушать со вниманием,<br>Как моей сестрице маленькой<br>Нянька сказывала сказочки —<br>Сказки дивные, старинные,<br>Все про храбрых, сильных витязей,<br>Про дела их молодецкие...<br>Все достойные бессмертия.

Позже этот интерес к народной поэзии, рано зароненный в его душу родными и близкими, Николай Александрович закрепит специальными как занятиями по сбору песен, поговорок в народе, так и изучением опубликованных материалов. Вопрос о народном творчестве, его роли в развитии отечественной литературы, отражении в народной поэзии исторических событий будет волновать Добролюбова всю его недолгую жизнь. Но главным источником его знаний было чтение книг, раздумья над прочитанным. Оно не только явилось источником солидной не по годам разнообразной эрудиции, так изумлявшей даже признанных знатоков, но и побуждало к раздумьям, способствовало выражению самостоятельности в суждениях, прививало навыки творческого мышления, ставило последнее на прочную основу фактов. Книги окружали его в доме родителей. В отцовской библиотеке было более шестисот томов, по сохранившимся каталогам видно, что больше половины библиотеки составляли книги светского содержания, хотя много было и бого-

[1] Добролюбов Н. А. Дневник. М., 1932, с. 102.

словских, религиозно-назидательных. Н. Г. Чернышевский, первым изучивший каталог, отметил, что в библиотеке Добролюбовых было «много хороших» книг и, вероятно, набирается среди них «больше 400 томов таких книг, которые или могли быть прочтены с пользою и были очень рано прочитаны Николаем Александровичем, или могли служить — и без сомнения служили ему для справок»[1]. В библиотеке довольно широко была представлена русская литература и журналистика, в том числе: четыре тома «Современника» Пушкина, «Собрание русских стихотворений» в пяти томах, «Стихотворения Жуковского» (два тома), «Сочинения Карамзина» (два тома), его же «Письма русского путешественника», «Вестник Европы» (около шестидесяти томов), за разные годы: «Библиотека для чтения», «Москвитянин», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Сын отечества», «Библиотека» Каченовского и др. В библиотеке были работы Монтескье, Фонтенеля, Иосифа Флавия, Плутарха, Бальзака, ряд словарей и «Сто сорок одна повесть иностранных писателей» (двенадцать томов).

Благодаря этому собранию Добролюбов еще в отроческие годы мог изучить отечественную словесность времен Карамзина и Пушкина, а это для тех лет означало очень многое. Вспоминается в связи с этим один совет Л. Н. Толстого, ответившего на вопрос — что читать?— «Читайте Пушкина и ранее; время просеивает». В золотой фонд отечественной литературы входят те произведения, которые выдерживают проверку временем, которые народ помнит, читает, передает из поколения в поколение, передает потому, что эти книги помогают осмыслить жизнь, судьбы Родины, помогают найти свое место в жизни.

Добролюбов-юноша хорошо уже знал «Пушкина и ранее». Но знал он и современную журналистику. Однокашники его по семинарии свидетельствуют, что он приносил с собой в классы книжки любимых журналов, чаще всего это был «Современник», и зачитывал товарищам особо полюбившиеся ему статьи и стихи. Из дневниковых записей и писем его тех лет видно, что он прочел все, по собственному выражению, «до Гоголя включительно из отечественной литературы и до «Жорж Занд и Прудона» из западноевропейской». Это говорит о многом. В молодые годы он занимался античной историей и литературой, латынью и немец-

[1] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I. М., 1890, с. 667.

ким, позже овладел французским. Товарищи по учебе свидетельствуют, что чаще всего видели его с томиками Вергилия или книжками журналов. Для чтения он использовал любую свободную минуту, читал долго, в училище при дневном свете и лампаде. Исчерпав библиотеку отца, брал книги у знакомых, у живущей в доме отца семьи М. Л. Трубецкого, имевшего хорошую библиотеку. По реестру прочитанных книг, который вел Добролюбов, видно, что в детские годы (до отъезда в Петербург) он прочел около четырех тысяч книг (не считая отцовской библиотеки): «Я читал все, что попадает под руку,— писал он позже другу,— историю, путешествия, рассуждения, оды, поэмы, романы». Н. Г. Чернышевский имел все основания сказать, что Добролюбов уже в юные годы «имел большой запас знаний, приобретенных неутомимым чтением всяких книг, попадавшихся ему в руки». Этим, разумеется, не снимается вопрос о педагогах, о систематическом образовании. Здесь прежде всего следует отметить роль первого учителя Николая Александровича, приглашенного родителями на девятом году его жизни,— это был воспитанник семинарии Михаил Алексеевич Костров. Ему было поручено подготовить мальчика к поступлению в духовное училище — первую ступень, обычную для детей священнослужителей. Костров так повел дело, так заинтересовал воспитанника, что тот проявил и усидчивость и интерес к занятиям и через три года поступил сразу на высшее отделение Нижегородского уездного училища. В этом огромная заслуга М. А. Кострова, к которому и Николай Александрович и вся семья Добролюбовых искренне привязались и полюбили, а позже породнились с ним (сестра критика Антонина стала женой М. А. Кострова).

«Должно думать,— замечает осведомленный Чернышевский,— что из всех учителей и профессоров, уроки которых слушал впоследствии Николай Александрович, ни один не приобрел таких прав на нашу признательность за содействие развитию гениальных способностей его, как Михаил Алексеевич... Характер преподавания М. А. был разумный. Рассудительность, внимательность, любовь учителя, несомненно, помогли тому, что Н. А. в эти три года очень быстро усваивал себе те сведения, которые требовались программой...» Благодаря М. А. Кострову, Добролюбов был избавлен от трех лет бурсацкого стеснения[1].

[1] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, с. 647.

Курс духовного училища Николай Александрович окончил «с отличным успехом», имея по всем предметам высший балл и числясь в списке шестым из семидесяти двух выпускников. Уже здесь учителя и товарищи обратили внимание на солидную его подготовленность, особо проявлявшуюся в сочинениях.

В сентябре 1844 года Добролюбов успешно сдает вступительные экзамены (имел третий результат из семидесяти семи поступавших) и начинает занятия в Нижегородской духовной семинарии. Что можно добавить в описании семинарии к картине бурсацкой жизни, набросанной талантливой рукой Помяловского? Но не следует забывать, что Добролюбов не был бурсаком в полном объеме, ибо жил не в общежитии, а в родительском доме, в семинарию же приходил лишь на уроки.

Товарищам по учебе в семинарии он запомнился сидящим на задней парте с книгами, читающим и делающим выписки. В эти годы Добролюбов жадно вбирал в себя знания, экономя каждый час и буквально считая минуты, он был далек от обычных, тем более в бурсе, ребяческих шалостей и проказ. Он жил богатой внутренней жизнью, уйдя в себя (не от этих ли лет идет привычка к самоанализу, доходящая до самобичевания, к размышлениям над раскрытым дневником?). Позже он не без иронии, вспоминая школьные годы, напишет: «Гордо смотрел я на шалости сверстников, бегал от игр молодых... в школе я первым все был, детям знакомых в пример меня ставили...»

Уже на первых курсах семинарии он был в числе наиболее успевающих, в последние два года шел первым. Были ли у него в семинарии любимые предметы, сказать трудно, по всем он имел высший балл, всеми занимался прилежно, изучая историю, словесность, языки, штудируя отцов церкви в подлинниках, но и делал это без особой страсти и напряжения сил,— одним словом, учился легко. «Глупое зубрение уроков» он, по собственному признанию, не любил. Ему «гораздо более нравилось... чтение книг... Оно сделалось моим главным занятием и единственным наслаждением и отдыхом от тупых и скучных семинарских занятий». К этому можно добавить слова Чернышевского, что его друг «был обязан своим образованием самому себе... Он расширял свои знания и укреплял свои умственные силы чтением, в котором не имел никакого руководителя»[1]. Лекции же

[1] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, с. 653, 660, 665.

«профессоров» содержали столько схоластики, что заслоняли ту пользу, которую давал систематический курс знаний, большей частью уже известных Николаю Александровичу благодаря прочитанным книгам. Шесть лет пробыл Добролюбов в семинарии: первые два (1848—1849) в классе словесности, последующие два в классе философии и последние (1852—1853) — в богословском классе. Он всегда аттестовался как вежливый и усердный к занятиям ученик, отличавшийся добротою, честным поведением и скромностью.

Эти официальные отзывы соответствуют и свидетельствам однокашников. К числу черт молодого Добролюбова, в недалеком грядущем воинствующего материалиста, столь много сделавшего для атеистического воспитания народа, следует отнести и «усердие к церкви». (Это определение отцов семинарии соответствует истине. М. А. Костров называет Добролюбова-семинариста одним из самых набожных людей в Нижнем Новгороде, почитавшим за грех напиться чаю с булкой до обедни в праздничный день и усердно крестившимся на кресты церквей во время прогулок.) Но подспудно, как вешние воды под глыбами льда и черного снега, собирались, роились и рвались на волю новые мысли, настроения, чувства, исподволь, незаметно росло и крепло критическое отношение к окружающей действительности, к истории и современности, закладывались основы собственного прочтения «преданий старины глубокой» и мудрости отцов.

Эти восходящие токи, подымавшие ввысь окрепший разум, пробуждали совесть, вызывали первые сомнения в вопросах религии, веры, церкви. Добролюбов вел особую тетрадь для записи самых интимных сомнений и дум, озаглавив ее «Психоториум» (то есть «углубление в душу»). Весной 1853 года (перед окончанием семинарии) он записывает: «Возникло во мне несколько раз сомнение о важнейших истинах спасения. Сердце мое черство и холодно к религии». Он уже не может побороть в себе «сомнение о святой церкви».

В 1850 году Добролюбов пробовал вести рукописный журнал «Ахинея» (словесность, критика, наука), в котором попытался дать критический разбор некоторым сочинениям товарищей. Позже, оценивая этот первый свой литературный опыт, Добролюбов отметил: «Сколько уже тогда умел

я выказывать здравого смысла, как остроумно умел придраться к каждому слову... и как мало имел я поэтического чувства». Знать, рано просыпались в нем черты, изумившие столь скоро современников. К этому времени относится и попытка напечатать свои стихи в журнале «Москвитянин». Но редактор последнего, маститый профессор, драматург М. П. Погодин не удостоил семинариста ответом и стихов, ему присланных, не напечатал. И хорошо сделал, ибо вскоре сам автор горько раскаивался в поспешном ребяческом поступке, осознав все их несовершенство. «Это письмо давно лежит у меня на совести... Что еще может быть для меня стыднее этого»,— писал он в «Дневнике» 24 января 1853 года. В последние годы пребывания в родном городе будущий критик сделал попытку напечатать несколько статей в местной газете «Нижегородские губернские ведомости», но тоже безуспешно. Но эти первые литературные опыты — не более как видимая над гладью океана вершина айсберга, главное оставалось в душе и мыслях автора, вело к небывало быстрому развитию его личности. «Литературные цели мои,— записывает он в день рождения в 1853 году,— достигаются пока только записыванием, списыванием и писанием. Гораздо важнее для меня приобретение некоторых положительных познаний... и большая установленность или твердость взгляда и убеждений» и еще (письмо 7 ноября 1852 года). «Выучился я, правда, в семинарии писать различные хрии и диссертации на русском и латинском языках, искусился немного в философии, но все это чисто по-семинарски...»[1]

Вот в те дни, когда училищной премудрости уже был виден конец, когда вставал вопрос, чему посвятить жизнь свою, в юноше проступает увлечение русской речью, ее местными говорами, народными поговорками, загадками, пословицами, легендами и сказами, хранящимися в душе народной. Он записал несколько народных песен («С горя ноженьки не ходят...» и др.), около полутора тысяч пословиц, поговорок, загадок, изложив результаты своих исследований в статье «О некоторых местных пословицах и поговорках Нижегородской губернии». Добролюбов сопровождает собранные им поговорки собственными пояснениями, из которых видно его серьезное увлечение историей. Вот запись поговорки с его комментарием: «Новгород Ниж-

[1] Материалы..., с. 653.

ний — сосед Москвы ближний». С гордостью досель повторяют эту пословицу нижегородцы, и добрые москвичи с радушием отвечают на нее. Не нужно объяснять этой пословицы: стоит только вспомнить о незабвенном Минине и о 1612 годе, чтобы понять истинный смысл ее»[1].

Его всерьез увлекает личность «знаменитого механика» Кулибина, предания, сохранившиеся о нем среди земляков. Он приходит к выводу, что всякий образованный человек должен хорошо знать историю не только всей страны, но и своего родного края «как можно лучше и во всех отношениях». Он стремится развить в себе «чувство родины в теснейшем значении этого слова».

Добролюбов гордился своим родным городом, заложенным еще в 1221 году великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем, как раз перед самым нашествием монголов. Князь — основатель города погиб в жестокой сече с полчищами Батыя, а город выстоял, широко раскинувшись при слиянии двух великих русских рек, берега которых стали колыбелью великорусского племени словенства. Несомненно, что славное патриотическое прошлое родного города способствовало формированию у юноши горячего стремления посвятить всецело свои силы служению родному народу: «Рано овладела мной благородная решимость посвятить себя на служение Отечеству моему»,— писал Добролюбов в одной юношеской работе[2].

Добролюбов готовил также и другое обширное исследование, посвященное родному краю: «Материалы для описания Нижегородской губернии в отношении историческом, статистическом, нравственном и умственном». В ходе этих занятий он записывал сохранившиеся в народе сведения о Пугачеве, интересовался личностью Александра Невского и Кузьмы Минина. В его отзывах на прочитанные книги уже видны зародыши будущих суждений о народной основе лучших образцов отечественной литературы.

В эти годы начавшейся переоценки ценностей, зарождения критического отношения к окружающей его пошлости и грязи, повседневного мещанского быта он увлекается Лермонтовым, вновь и вновь перечитывает «Героя нашего времени», любимые стихи, наполненные гордостью и горестью за родину, народ. Те же настроения и чувства грусти и пре-

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. I, М.— Л., 1861, с. 4.
[2] Там же, с. 6.

зрения к пошлому в жизни пробуждало бессмертное творение А. С. Грибоедова. Печорин и Чацкий вставали перед ним рядом, как что-то особо близкое, дорогое: «Лермонтов особенно по душе мне. Мне не только нравятся его стихотворения, но я сочувствую ему, разделяю его убеждения».

Сказано откровенно, не многие вслед за Добролюбовым в свои шестнадцать лет могли бы повторить эти слова. Увлечение любимым писателем было столь глубоко, что юноша, по собственному признанию, «хотел походить на Печорина... Хотел толковать как Чацкий». Увлечение «печорианством» скоро прошло, более того, со временем, словно казня себя за увлечение молодости, критик будет безжалостен в своих строгих осуждениях «лишних людей», но любовь к Лермонтову, внимание к его творчеству остались на всю жизнь, и не раз впоследствии критик вспомнит о любимом поэте своей юности, о не осуществленных им замыслах, нереализованных его возможностях, поставив его рядом с Пушкиным и Некрасовым.

На последнем курсе семинарии Добролюбов все чаще стал задумываться о поступлении не в Духовную академию, а в университет. Но после откровенного объяснения с отцом принял, как это ни было тяжело для него, решение идти по проторенному, указанному родителем пути. В июне 1853 года все формальности были выполнены, а в августе того же года он выехал в столицу. Но, попав в Петербург, юноша вновь вернулся к мечте, утвердился в ней и вместо Духовной академии сдал экзамены в Главный педагогический институт (размещался в одном из крыльев старого университетского здания петровских двенадцати коллегий) и стал казеннокоштным студентом. Иными словами, жил в общежитии на полном пансионе, а по окончании института обязан был работать восемь лет в системе Министерства народного просвещения, которому институт подчинялся. Родители приняли решение своего первенца к сведению и не сетовали на него. «Вы на меня не сердитесь... и даже ни одного упрека за самовольство»,— радостно констатировал сын, получив их согласие.

Жизнь казеннокоштного студента чем-то близка казарменному солдатскому существованию, только что шагистики и рукоприкладства нет. Подъем в 6 утра, в 8.30 завтрак (кружка молока с белым хлебом), утренняя молитва, лекции, в 12 часов ломоть черного хлеба, и опять лекции до обеда в 3 часа пополудни (три блюда, «щи да каша, вот и

пища наша»). Затем часовая прогулка, вечерние лекции, в 6 вечера чай (свой, а не казенный). В 8 вечера ужин («два кушанья»). В 10 вечера отбой. Жизнь студента Добролюбова на первых порах мало чем отличалась от жизни и занятий семинарии, особенно по отношению его к лекциям, к товарищам, педагогам. Он по-прежнему «весь в себе», с томиком Вергилия в руках, сторонится фривольных дружеских сборов и споров, учится прилежно, ведет себя тихо и даже застенчиво.

Однако скоро товарищи почувствовали силу его характера, убедились и в его честности, отзывчивости, испытали и силу его логики и увидели, сколь обширны его познания. Поразила их прежде всего сила горячего убеждения и ранняя самостоятельность товарища.

Добролюбов, свидетельствует его однокашник, часто сидевший с ним рядом в аудитории, владел особенным искусством на лету схватывать мысль профессора, и записки его по всем предметам служили источником, откуда товарищи брали все необходимое. Он никогда не тратил время на «черную» работу, то есть составление конспектов лекционных курсов и пр., ему хватало работы, проделанной в аудитории. Всюду читал, вел запись прочитанного, имея для этого специальную тетрадь, которую вел в алфавитном порядке. Вскоре он настолько усовершенствовал свой метод конспектирования лекций, что схватывал все в них существенное, успевал вместе с тем отметить и другую сторону, все поддающееся шаржированию и пародии. Последние вырастали на основе глубокого знания предмета, но одновременно свидетельствовали о необыкновенной способности быстро, буквально на лету отметить ошибку и спародировать ее.

Вскоре вокруг Добролюбова сложился кружок товарищей, близких ему по настроению, исканиям, образу мыслей; в него входили Бордюгов, Сциборский, Шемановский, Радонежский, Щеглов, Паржницкий, Турчанинов, Златовратский, Сидоров и др. «Добролюбовским кружком» именовали его товарищи, подчеркивая тем самым ведущую роль в нем будущего критика. «Многие благоговели перед ним», видели в нем «высший авторитет». Члены кружка совместно, собирая по полтиннику, выписывали газеты, обсуждали политические новости, устраивали литографирование лекций, книг, затем стали добывать у букинистов «Полярную звезду» и другие издания Вольной типографии, горячо

обсуждая каждую новую работу Искандера. Всем этим руководил Добролюбов.

«Добролюбов был,— по словам В. Модестова, не очень, кстати, его любившего,— самым выдающимся членом того кружка в институте, который давал в заведении господствующий тон и руководил, так сказать, общественным мнением заведения». «Влияние Н-я А-ча,— вспоминает шедший одним курсом позже Конопасевич,— на наш курс было сильнее влияния всех воспитателей и многих профессоров». И наконец, Сциборский, один из ближайших друзей, очерчивая общественную деятельность кружка, свидетельствует: «В числе наших товарищей, действовавших в таком духе, Н-й А-ч был самым решительным, самым энергичным и чрезвычайно влиятельным деятелем»[1].

Восстанавливая по намекам и обрывкам историю кружка, видно, что он прошел в своем развитии несколько стадий.

В первоначальном виде он возник в одной из комнат общежития Главного педагогического института в Петербурге, когда «старший по камере», Добролюбов, начал вести со своими сожителями разговоры о литературе. Начитанный, он заинтересовал эрудицией своей и убежденностью товарищей. К кружку затем примкнули студенты других «камер», а потом факультетов и курсов.

Подавляющая масса студентов института были поповичами — иные из них пришли из духовных академий; вопросы религии не могли не волновать их.

У Добролюбова ортодоксальная религиозность была уже изрядно расшатана еще в Нижнем, у части его товарищей потребность в пересмотре старого была сильна, но сказывались традиция и воспитание; некоторые вообще не были активны и без особых раздумий судили и рядили, как учили их дома и в семинарии.

Начавшиеся протесты против произвола институтского начальства, плохого питания нарушили традицию покорности. Перед пробудившимися умами встали вопросы веры и свободы личности.

Постепенно кружок вышел за пределы только литературных интересов, охватывая несравненно более широкий

---

[1] Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1961, с. 96, а также Лемке М. Биография Н. А. Добролюбова.— Полн. собр. соч. СПб., 1911, с. 61.





круг вопросов. Как можно заключить по данным переписки Добролюбова и воспоминаниям его друзей, возникновение дружеской группы относится к концу 1853 года, расширение же деятельности кружка имело место в 1854 году, скорее всего к началу второго года пребывания Добролюбова в институте.

Крымская кампания, смерть Николая I, обострение всех вопросов жизни выдвинули перед студентами широкий круг интересов и вопросов политических.

К этому времени кружок окончательно определился как политический по преимуществу. На первых порах его члены явно преувеличивали свои силы. «Мы верили,— писал Сциборский,— что наше вступление на поприще общественной деятельности ознаменуется переворотом, который поведет *все общество* по пути разумному»[1].

Работа кружка была разнообразной и оживленной. По подсчетам С. П. Рейсера[2], 15 человек (в 1856 г.) выписывали сорок один комплект (шесть названий) прогрессивных журналов и газет. Статьи «Современника» по выходе прочитывались и горячо обсуждались; наиболее важные из них вырезались и переплетались. Запрещенные издания Вольной Русской типографии, старые и новые статьи Герцена, работы Белинского, а особенно его письмо к Гоголю, статьи и рецензии Чернышевского, а с 1855 года «Эстетические отношения искусства к действительности» и другие произведения литературы обращались среди членов кружка, превышавшего двадцать—двадцать пять человек. Студенты интересовались всем происходившим в политической жизни страны. Надежды, пробудившиеся в обществе после смерти Николая I, начавшееся обсуждение вопросов намечавшейся крестьянской реформы волновали молодые умы.

Отношение Добролюбова к этим новостям ярко рисует следующий эпизод. Когда один из студентов (из дворян) сказал, что реформа еще не современна для России и что интерес его личный, помещичий через это пострадает, Добролюбов побледнел, вскочил со своего места и неистовым голосом закричал: «Господа, гоните этого подлеца вон! Вон, бездельник! Вон, бесчестье нашей камеры!» И выражениям страсти своей и гнева Добролюбов дал полную волю.

---

[1] См. Литературное наследство, т. 25—26. М., 1936, с. 300.

[2] Рейсер С. А. К вопросу о революционных связях Н. А. Добролюбова.— Известия АН СССР, серия истории и философии, т. IX, № I.

Борьба не могла еще развернуться широко; она проявлялась в протестах против деспотизма и докучливого надзора институтского начальства: в столкновениях с инспектором по поводу качества пищи и т. п. Но затем борьба переросла рамки студенческого недовольства, стала школой будущей жизни, важным этапом политического развития. Она разрушала авторитеты, будила мысль, рождала ненависть к деспотизму.

Любовь и братство нас собрали,
Мы вечер дружно провели,
Свободу мы провозглашали
И пели тост крамбамбули,—

писал об этом Добролюбов в конце 1854 г.

Борьба шла в неравных условиях. В руках начальства была судьба любого студента, которого директор института Давыдов, придравшись к какому-либо поводу, мог отправить младшим учителем в глухие места далеких окраин, что он и проделывал.

Произволу студенты противопоставили волю, молодость, упорство в борьбе. Кружок приобрел такой авторитет и вес, что стал центром умственной жизни всего института и всех курсов.

Вскоре кружок стал известен и за его пределами. Это расширение сферы влияния входило в программу Добролюбова. Идеи, которые были выработаны в кружке, должны были помочь сказать «много-много новых истин».

В обстановке назревавших студенческих движений в стране слухи о кружке проникли (через И. И. Паржницкого и др.) в Медико-хирургическую академию, захватили отдельные группы студентов Петербургского университета (В. М. Михалевского, В. И. Кельсиева и др.) и т. д.

К чести членов кружка надо сказать, что ни болтуна, ни предателя в их среде не нашлось, и начальство никогда не узнало о той революционной работе, которую девятнадцатилетний Добролюбов героически вел в стенах ненавистного ему учебного заведения.

Протесты, борьба с начальством, как верно отметил С. А. Рейсер,— это только одна из сторон деятельности. Между тем смысл добролюбовского кружка был не только в этой работе, но и в выработке революционного мировоззрения, в развитии чувства собственного достоинства, в уяснении высоких целей и идеалов жизни, в воспитании идеи по-

стоянной ненависти к старому миру во имя свободы Родины, в готовности к борьбе и т. д.[1]. Выражением этой постоянно оформлявшейся политической зрелости кружка были проекты письма к директору пензенской гимназии, записка о состоянии института, издание подпольного журнала «Слухи», найденное Б. П. Козьминым замечательное письмо к Гречу и т. д.,— душой и автором всех этих мероприятий был Добролюбов[2].

18 декабря 1855 года он пишет: «Мы затрагиваем великие вопросы, и наша родная Русь более всего занимает нас своим великим будущим, для которого хотим мы трудиться неутомимо, бескорыстно и горячо... Да, теперь эта великая цель занимает меня необыкновенно сильно... К несчастью,— я очень ясно вижу и свое настоящее положение и положение русского народа в эту минуту, и потому не могу увлекаться обольстительными мечтами...

...Еще несколько человек, понимающих дело, но ограничивающихся презрением и ненавистью к злу, не заботясь о средствах исправить, уничтожить его. Горькое положение!.. А между тем, что касается до меня, я как будто нарочно призван судьбою к великому делу переворота!..»

В годы студенчества обрушилось на Добролюбова тяжелое горе. 8 марта 1854 года во время родов безвременно на тридцать восьмом году жизни умерла Зинаида Васильевна. Смерть матери потрясла сына. К отцу он писал тотчас же по получении вести об этом «ужасном несчастьи»: «Бог знает как много, как постоянно нужна была для нас милая, нежная, кроткая, любящая мамаша наша, наш благодетельный гений, наш милый друг и хранитель... Отныне вся моя жизнь, все труды, все старания будут посвящены Вам, вам одним нераздельно». Но на этом страдания семьи не кончились. Летом 1855 года, когда Николай Александрович был дома на каникулах, внезапно, заразившись холерой во время отпевания усопших, умирает отец. «Тяжело, мой друг,— пишет Добролюбов Щеглову.— Судьба жестоко испытывает меня... 6 августа умер мой отец — от холеры. Семеро маленьких детей остались на моих руках, запутанные дела по дому — тоже. А между тем я еще тоже считаюсь малолетним и подвержен опеке... ты читал не повесть, а трагедию»[3].

[1] Рейсер С. А. К вопросу о революционных связях Н. А. Добролюбова.

[2] См. Литературное наследство, т. 57. М., 1951, с. 8—16.

[3] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, с. 148.

В это трагическое время Добролюбов проявил большую выдержку и силу воли. Он принял решение досрочно оставить институт и пойти работать младшим учителем в какое-либо уездное училище, чтобы содержать братьев и сестер. Положение осложнилось и тем, что нижегородский архиерей Иеремий отказался оказать помощь сиротам, хотя возможности у него были. «Подличает с нами архиерей»,— писал в те дни Добролюбов друзьям. Но вмешались друзья покойного, они приняли первые заботы о сиротах на себя и настояли, чтобы старший продолжил учебу. В дальнейшем близкое участие в делах Добролюбова принял князь П. А. Вяземский — тогда товарищ министра народного просвещения. «Поэт и камергер», как некогда величал его по-дружески Пушкин, не утратил доброты, ума и широты натуры и за треть века, проведенную в николаевских канцеляриях. Он выхлопотал пенсию для сестры Николая Александровича, поддержал в трудную минуту его самого и буквально спас от ярма уездного учительства, а тем самым сохранил для литературы будущего великого критика.

Этим жестокие испытания судьбы не завершились. В годы студенчества одну за другой Добролюбов потерял еще двух сестер. Затем, по подозрению, у членов добролюбовского кружка был сделан внезапный обыск. У Николая Александровича нашли запрещенные сочинения Искандера. Мужество самого Добролюбова, заступничество профессора за любимого ученика, вмешательство князя Вяземского, боязнь директора, что раздувшееся дело может погубить его самого,— все, вместе взятое, отвело на сей раз беду, и Добролюбов смог продолжать учебу.

Влияние Добролюбова и его кружка ярко проявилось в ходе борьбы передовой части студентов против директора института И. Давыдова. Хотя последний и носил звание профессора и академика, но заслуг перед наукой не имел и преуспевал более по части казнокрадства. Хищения привели к ухудшению питания студентов, а последствия были таковы, что за пять лет после выпуска двенадцать человек (треть выпускников 1857 года) умерли от туберкулеза. Таковы были условия жизни. Возмущенные студенты испытали всяческие формы борьбы, вначале легальные. Добролюбов составил прошение в министерство князю П. А. Вяземскому, прося его сделать внезапную ревизию и разоблачить негодяя «Ваньку», как презрительно звали студенты своего проворовавшегося директора. Вяземскому разоблачить каз-

нокрада не удалось. Студенты прибегли к своим более решительным мерам и в день рождения директора разослали по городу письма (автором был Добролюбов), извещая, что проворовавшийся злодей был высечен своими воспитанниками. Но и эта мера не вызвала действия. Тогда студенты решились на прямое объяснение с директором. С требованием об улучшении содержания направился к Давыдову Добролюбов — уже студент четвертого, выпускного курса. Он вручил прошение-ультиматум директору. Что было между ними, осталось тайной, но, выйдя от директора, Добролюбов немедленно уехал в министерство и оставил прошение Вяземскому направить его на родину младшим учителем. Вяземский не дал бумаге хода. Со стороны Добролюбова это был вынужденный, умно рассчитанный ход. Давыдов лишался возможности немедленной мести. Он на время притих, затаился, видимо выжидая момент. Только позже, во время выпуска он дал волю мстительным чувствам, лишил Добролюбова золотой медали и сумел перессорить членов добролюбовского кружка между собою, распустив слух, что-де, мол, Добролюбов перед товарищами играет роль непримиримого борца-правдолюба, а в тиши директорского кабинета выпрашивает для себя местечко повыгоднее. Не сразу и не все друзья-товарищи разобрались в сути директорской интриги; много сил и нервов стоила вся эта история Добролюбову. Это была не только битва с негодяем, прикрытым ученой мантией, но и школа гражданского мужества. Она же дала Добролюбову фактический материал для крупной статьи, появившейся в «Современнике», когда Добролюбов еще учился в институте. «Описание Главного педагогического института» явилось умной пародией на официальные отчеты Давыдова и привело директора в бешенство. Статья, поразившая всех смелостью и зрелостью, была молвою приписана самому Чернышевскому.

В институте с помощью членов своего кружка Добролюбов организовал выпуск рукописного журнала «Слухи». Одним из основных источников информации служили герценовские издания, к ним восходят заметки о Пушкине, Полежаеве, декабристах, характеристики сановников николаевского царствования и оценки самого самодержца. Но многое Добролюбов, перу которого принадлежит подавляющая часть заметок, черпал из рукописей потаенной литературы, получившей особенно широкое распространение в последние годы николаевского царствования, некоторые дан-

ные он брал из бесед в гостиных Галаховых (родственников семьи Трубецких, воспитателей сестры Добролюбова Юлии), в доме Куракиных и других семействах, где бывал в качестве репетитора. Эти знакомства позволяли ему быть в курсе последних политических известий и давали материал о придворной среде. Некоторые факты, сообщенные в «Слухах», появились в подцензурной печати уже после смерти Добролюбова.

Заслуживают специального внимания оценки Добролюбовым Крымской войны, положения страны, народа и правительства. Его первые отклики на эти события (письма к родителям 12 февраля 1854 года) разительно отличаются от оценок, данных в «Слухах». Если в письме говорилось об «энергичном манифесте императора», об ожидании «чего-то необыкновенного», о патриотическом порыве студентов, вызвавшихся пойти добровольцами в действующую армию, то в «Слухах» ничего подобного нет, наоборот, сообщаются данные, раскрывающие бездарность командования, чудовищное казнокрадство, огромные беды и страдания, обрушившиеся на народ, в неприглядном свете описана жизнь царя и придворной камарильи, все эти Клейнмихели и Адлерберги и прочие остзейцы, за которых прятались голштинцы, воссевшие на петербургский трон.

Характерно, что уже в «Слухах» Добролюбов высказывает мысль, что война вызвала рост крестьянского недовольства, волнения в ряде мест (так называемая «Киевская казатчина»), попытки студентов помочь крестьянам. Этой теме, помимо заметки в «Слухах», он посвятил и специальное стихотворение «К Розенталю». Уже здесь намечена тема: молодое поколение и народ,— ставшая основной во всей деятельности Добролюбова.

Из материалов, помещенных в «Слухах», в настоящее издание включается три статьи: о Пушкине, Полежаеве и декабристах. Интерес Добролюбова к этим темам неслучаен. Факты, собранные им, помогли разобраться в идейной борьбе, ведущейся вокруг творческого наследия великого национального поэта. Хорошее знание вольнолюбивых произведений поэта, многие из которых Добролюбов мог знать только благодаря потаенным спискам или герценовским изданиям, позволило Добролюбову критически подойти к «хрестоматийной», официальной оценке поэта, подчеркнуть верность Пушкина до конца дней вольнолюбивым идеалам.

Все, что написал Добролюбов о поэте в «Слухах» и в спе-

циальной о нем статье в 1856 году (она публикуется в настоящем издании), показывает, как высоко он ценил творчество гениального поэта, в особенности его политическую лирику (он выделял «Послание в Сибирь», «Вольность», «К Чаадаеву»), его «яркие, живые, убийственно остроумные статьи». В поэте он видит вождя отечественного просвещения, имя которого неотделимо от чести и славы Отечества.

Впоследствии Добролюбов еще не раз возвращался к Пушкину, к идейной борьбе вокруг его наследия. Продолжая в этих вопросах линию, определенную Белинским и Чернышевским, он, однако, не всегда верно оценивал общенародное значение творчества Пушкина, ошибочно считал его произведения последних лет «заказными», не всегда верно судил о сложных отношениях поэта с царем («порабощен Николаем»). Многое ему в те годы просто было еще неизвестно, ибо основной корпус фактов по этим вопросам вошел в научный обиход только в наши дни. С учетом всего нельзя не отметить, как много верного сказал о Пушкине Добролюбов-студент.

В этом плане закономерен интерес Добролюбова и к декабристам. Стремясь к активному протесту против крепостничества и самодержавия, мечтая о сплочении антицаристских сил, он, естественно, изучал опыт первых тайных обществ и стремился с ним ознакомить своих товарищей.

В целом «Слухи», конечно же, являются юношеским произведением, но в них уже отразился перелом, происшедший в мировоззрении Добролюбова (он начался, по нашему мнению, еще в Нижнем) как в общемировоззренческих вопросах (разрыв с религией, полностью завершившийся после смерти отца, что доказывается данными дневника), так и в общественно-политических вопросах, переход на революционные позиции, первые попытки антиправительственной, антирелигиозной пропаганды. Равно как и поиск единомышленников, пробы их организации, сплочения. В этом плане, помимо «Слухов», важен также другой документ — письмо Добролюбова-студента к Гречу. Здесь молодой талант виден уже во всей своей силе. Написанный в совершенно свободной, раскованной манере (письмо посылалось по почте, это бесцензурная, вольная речь), этот документ помогает понять, какие возможности таились в молодом критике и как много ему не удалось сказать под гнетом цензуры.

«Слухи» и «Дневник» доносят до нас не только толки,

которые циркулировали в обществе в связи с войной, смертью Николая I (или его самоубийством, к чему склонялся и Добролюбов, и не он один), чествованием нового императора и надеждами на новое царствование, но, что более важно, позволяют судить об отношении ко всему этому молодого Добролюбова. Он внимателен к разговорам о личности нового самодержца, обращает внимание на некоторые его поступки (отставку Клейнмихеля и т. п.), констатирует высказываемые в обществе упования на царя, но не больше. Он понимает, что заменою лиц, отставкой проворовавшихся негодяев и прочей штопкой дела не поправишь. В этом пункте молодой Добролюбов, сам того еще не зная, уже расходился с Герценом, столь им почитаемым. Последний верил, что из среды просвещенного дворянства выйдут продолжатели дела декабристов, если царь не упредит их сам, встав на путь Петра Великого, ведь столько раз инициатива реформ исходила сверху. Добролюбов же не верил ни в нового Петра, ни в просвещенное дворянство. Наверное, здесь сыграли роль и личный опыт, близкое общение с либеральными дворянами в семье Трубецких, Куракиных, Голохвостовых, Галаховых, связанных с декабристами родственными узами и по существу чуждыми им. Вопрос не простой, но в неприятии герценовского понимания «лишних людей» Добролюбовым слышится что-то личное, выстраданное.

Добролюбов еще в годы студенчества начал искать пути и формы борьбы с силами «темного царства». В январе 1857 года он записывает в «Дневнике»: «Честный и благородный человек не может и не имеет права терпеть гадости и злоупотребления, а обязан прямо и всеми силами восставать против них». В соответствии с этими принципами он и поступал и в таком же направлении влиял на товарищей. В «Дневнике» он отмечает встречи и беседы с однокашниками, часто завершавшиеся обращением к нелегальной литературе, к сочинениям Белинского и Чернышевского.

Действенность, единство слова и дела — эта отличительная черта характера, убеждений личности Добролюбова просматривается уже в годы студенчества по тем далеко не полным данным, которые дают дневник, письма, воспоминания сослуживцев и, наконец, произведения самого Николая Александровича. Действенность! Но во имя чего? Каков идеал Добролюбова, был ли он в эти годы?! Одна из записей дневника, в январе 1857 года, описание диспута

с другом-оппонентом Щеголевым позволяет наметить контуры этого идеала.

«Со Щеголевым у нас общего только честность стремлений, да и то немногих. В последних (точнее, наверное, конечных.— *А. С.*) целях мы расходимся. Я — отчаянный социалист, хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество, с равными правами и общим имуществом всех членов... Идеал его — Северо-Американские Штаты. Для меня же идеала на земле еще не существует, кроме разве демократического общества, митинг которого описал Герцен». И далее:

«...Я полон какой-то безотчетной, беспечной любви к человечеству». На митинге, о котором говорит Добролюбов, Герцен развивал мысль, что — свобода России начнется с восстания крестьян, что мужику нужна земля, что цари уйдут, а социализм не уйдет.

Итак, студент Добролюбов к концу учебы утверждается на позициях социализма, общности собственности, обеспечивающей полное равенство, понимает обреченность буржуазного строя, даже в его радикальном, североамериканском выражении. Он интернационалист: «полон любви ко всему человечеству».

Идеал социализма настойчиво, вновь и вновь тревожит Добролюбова. По совершенно неожиданным поводам у него родятся и роятся мысли, «как можно бы и хорошо бы уничтожить это неравенство состояний, делающее всех столь несчастными, или по крайней мере повернуть всех вверх дном,— авось потом как-нибудь получше устроится все».

Добролюбовский «Дневник» помогает нам хотя бы частично восстановить содержание этих горячих юношеских исканий. Просиживая ночи над «Полярной звездой» Герцена, он пишет в дневнике, что, закрыв книгу, долго не мог заснуть, «много тяжелых, грустных, но гордых мыслей бродили в голове. В половине 10-го я проснулся совершенно свежим и, напившись чаю, поговоривши, полюбовавшись еще раз на портрет Искандера, сел за работу». Запись эта как нельзя лучше свидетельствует о благотворном и великом воздействии на ум и чувства молодого Добролюбова Герцена и всей потаенной, бесцензурной русской литературы, русской мысли. Вскоре в число любимых авторов вошел еще один литератор. Это был молодой Чернышевский, привлекший к себе внимание всех мыслящих, и, разумеется,

студентов не в последнюю очередь, своими статьями «Очерки гоголевского периода русской литературы», за которыми последовал «Лессинг», знаменитый диспут, оцененный современниками как манифест эпохи. Добролюбов и ранее любил читать «Современник» Белинского, столь горячо им почитаемого. Благодаря ему он заново переосмыслил все ранее прочитанное и многое в истории русской литературы понял совершенно иначе, чем оценивал прежде, до чтения статей Белинского. И вот теперь новое имя в любимом старом пушкинском, некрасовском журнале. Впервые, после почти двух десятилетий замалчивания, произнесено открыто имя любимого мыслителя, во всеуслышание заявлено, сколь многим обязана ему русская литература, вся отечественная культура.

С тех пор имя Чернышевского слилось нерасторжимо с именем Белинского и воспринимался он как достойный продолжатель дела «неистового Виссариона». «Статьи Чернышевского,— свидетельствует Златовратский, — произвели умственное движение в институте, все с жаром набросились на них»[1]. Среди почитателей Николая Гавриловича был и Добролюбов. Вскоре они познакомились и лично, знакомство быстро перешло в близкую дружбу, тесное сотрудничество. Общность убеждений и взглядов явилась основой большой человеческой дружбы и любви, которую пронесли эти два замечательных русских деятеля, выросших на волжских берегах, через всю жизнь. И сегодня имена и дела их неразрывны в памяти нашей.

Ко времени знакомства с Чернышевским, которое произошло не позднее апреля 1856 года, Добролюбов знал его важнейшие работы. Познакомил их институтский товарищ Добролюбова, член его кружка, а в прошлом ученик Чернышевского в саратовской гимназии Н. П. Турчанинов.

В письме от 1 августа 1856 года к Турчанинову Добролюбов писал: «Я до сих пор не могу различать время, когда сижу у него <...>. С Н. Г. толкуем не только о литературе, но и о философии, и я вспоминаю при этом, как Станкевич и Герцен учили Белинского. Белинский — Некрасова, Грановский — Забелина и т. п. Для меня, конечно, сравнение было бы слишком лестно, если бы я хотел тут себя сравни-

[1] Златовратский А. П. Из воспоминаний.— В кн.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников, с. 145.

вать с кем-нибудь, но в моем смысле вся честь сравнения относится к Н. Г. Я бы тебе передал, конечно, все, что мы говорили, но ты сам знаешь, что в письме это не так удобно»[1].

Последние слова вскрывают смысл бесед ученика и учителя.

Эти беседы Чернышевский позже описал в «Прологе». Конечно, не с первого свидания возникало это необыкновенное чувство, пять лет работы в «Современнике» породили его: «Я любил Добролюбова как сына»,— писал Чернышевский Пыпину в 1878 году, а жене в том же году сказал даже больше: «Я любил его сильнее, чем Сашу или Мишу». Для оценки подобных чувств слова, какие бы они ни были, окажутся бессильными.

Встреча с Чернышевским — это перевал в жизни Добролюбова; это выражение завершения формирования убеждений молодого Добролюбова и вместе с тем начало его деятельности как политического публициста, как борца с диким самовластьем, с силами «темного царства». Его действенный патриотизм, рано созревшая потребность и стремление все силы посвятить служению Отечеству, родному народу, поднимаются на новую, качественно более высокую ступень. Он убеждается, что служение Отечеству требует прежде всего освобождения сил народных от самодержавно-крепостнических пут. И если во времена Минина и Пожарского и даже в 1812 году все силы народные напрягались для защиты Отечества, то Крымская война воочию убедила Добролюбова, что Отечество нельзя с успехом защищать против иноземного неприятеля, вторгающегося в Россию, не очистив страну от прогнивших порядков, не свергнув царскую династию, этих совершенно чуждых народу голштинских принцев, воссевших на российский престол, всю эту придворную нечисть и все продажные души и перья (вроде Булгарина и Греча), которые династии служат и прославляют ее. Проблема завоевания политических свобод, обеспечение свободы мысли и слова, как первый шаг на этом пути, оказывается в центре внимания Добролюбова уже к концу студенчества. Позже именно эти проблемы он разовьет в своих подцензурных статьях и в знаменитом «Письме из провинции», прозвучавшем со страниц «Колокола» набатом, призывом к крестьянской революции. Умелое сочетание легаль-

[1] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, с. 318—319.

ных и нелегальных средств борьбы, понимание значения и тех и других, характерная черта всей деятельности Добролюбова, просматривается уже на заключительном этапе становления его личности.

После окончания института Добролюбову надлежало восемь лет служить по назначению Министерства народного просвещения, отрабатывать казенный кошт. Но педагогическое поприще уже его не прельщало, даже и в столице (открывалась вакансия в 4-й Петербургской гимназии). Он уже сделал свой выбор. «Я решительно втягиваюсь в литературный круг,— пишет он вскоре после сближения с Чернышевским,— и, кажется, могу теперь осуществить давнишнюю мечту моей жизни».

С помощью Чернышевского и его друзей из числа военных удалось устроить Добролюбова репетитором во 2-й Петербургский кадетский корпус. Вопрос о службе в системе просвещения был снят, и долгожданная свобода обретена.

Побывав на родине, в июле 1857 года Добролюбов вернулся в Петербург и был принят на постоянную работу в «Современник». Ему было предложено вести критико-библиографический отдел, а несколько позже, с конца 1857 года, он стал вести общередакторскую работу на правах одного из руководителей журнала, вместе с Чернышевским и Некрасовым.

Личная жизнь Николая Александровича в эти годы не весьма богата событиями. Вначале он жил в скверненькой и серой холостяцкой квартирке один. Затем, по настоянию Некрасова, переехал в квартиру рядом с «Современником», то есть квартирой Некрасова, и взял к себе двух братьев. Большую часть дня проводил у Некрасова, ночами писал. Опекали его дома вначале Ольга Сократовна, затем А. Е. Панаева — гражданская жена Некрасова. К этому времени относится увлечение Николая Александровича сестрой Ольги Сократовны. Анна Сократовна ответила ему взаимностью, но вмешалась старшая сестра, заявившая, что Анна — не пара Николаю Александровичу, и отправившая несостоявшуюся невесту в глушь, в Саратов, к матери. Николай Александрович очень переживал все случившееся. Тоской о большой любви, о дружбе пронизана вся его жизнь в эти годы. В 1858 году Добролюбов от истощения и интенсивной работы заболел золотухой, потом у него начался туберкулез. Друзья много заботились о нем, но напряженная работа по ночам, до четырех часов утра, нравственные

переживания общественного и узко личного порядка делали свое дело. Летом 1860 года, по настоянию Некрасова и Чернышевского, Добролюбов уехал лечиться за границу.

Таков внешний, весьма скромный рисунок его жизни за эти годы — первый этап его сотрудничества в «Современнике», ставший и вершиной его творчества. На эти годы падает расцвет его многогранной, интенсивной, энергической, как сказал бы он сам, деятельности. К анализу этой деятельности мы и переходим.

Итак, в 1857 году, то есть на двадцать первом году жизни, Добролюбов стал ведущим критиком лучшего, влиятельнейшего русского журнала тех лет. В «Современнике», овеянном славою его основателя, традиции Пушкина не только почитались, но и блестяще развивались еще с 40-х годов. Благодаря Белинскому, Некрасову, Панаеву в журнале объединялись лучшие литературные силы,— объединялись не случайно, а в силу солидарности своих политических и эстетических взглядов и общности литературно-художественного вкуса. Это объединение носило характер дружеских отношений. Еще со времен Белинского большими друзьями были Тургенев, Боткин, Анненков, Фет, Григорович. Все они сотрудничали в журнале. Принимали в нем участие И. Гончаров, Л. Толстой, Писемский, Полонский, Островский. Это был лучший литературный круг того времени, за которым были главные традиции 40-х годов. Они были даровиты, образованны и обладали большим литературным опытом и вкусом. К тому же их общественно-политические устремления если и не совпадали во всем, то все же имели общие черты — неприятие николаевского деспотизма, понимание необходимости ликвидации крепостничества. Они все сходились на требовании свободы слова и мысли, и все их творчество было пронизано гуманизмом, уважением к человеку. Правда, в понимании путей и форм декларации этих гуманных вольнолюбивых и расплывчато формулируемых принципов между ними были существенные различия. Обнаружилось, правда, это не сразу. Ведь шел еще только 1857 год. Но обнаружение это произошло не без участия Николая Александровича.

Когда в эту среду попал Чернышевский, сразу началось возбуждение; с приходом Добролюбова оно постепенно пошло в сторону открытого раскола. Развернулась борьба между идеологами революционной демократии и либералами. «Очерки гоголевского периода», «Эстетические отноше-

ния искусства к действительности» открыли бой. Добролюбовские статьи включились в сражение, что называется, с хода. Старые сотрудники журнала в ужасе заговорили: «Уходит бессмертная эпоха русской поэзии», «проклятая политика» мутит литературу, убивает поэзию. Встал вопрос о пушкинском и гоголевском направлениях в литературе. Но за этим во многом надуманном противопоставлении двух закономерных этапов развития отечественной литературы и всей русской социально-философской мысли скрывалась попытка консерваторов, и часто плетшихся за ними в хвосте либералов («умеренных прогрессистов», по тогдашней терминологии), увести литературу, духовную культуру в сторону от жгучих проблем бытия. Вольно или невольно, но подобные поползновения вели к усилению позиции консерваторов, сторонников существующих порядков.

В основе размежевания общественных сил лежали глубокие подспудные социально-экономические сдвиги, страна вступала в полосу открытых классовых битв, охватывавших все сферы жизни, в том числе идеологию, литературу как ее составную часть. Ленинское определение тех лет как эпохи кризиса и падения крепостного права, как периода общенационального кризиса (революционной ситуации, что равнозначно) дает ключ к пониманию идейной борьбы и той роли, которую сыграл в ней «Современник» во главе с Чернышевским и Некрасовым.

Сотрудничество в «Современнике» Добролюбова падает на начальный период вызревания общественного кризиса, вполне сложившегося примерно к 1859 — 1860 годам, и обрывается в исходе революционной ситуации. Можно смело сказать, что именно грозовая атмосфера тех лет породила великого критика. Страна нуждалась в таком пламенном публицисте, и народ выдвинул его. Приход Добролюбова в журнал и быстрое его выдвижение в руководство «Современником» ускорили идейное размежевание в редакции и в авторском активе журнала. И, конечно же, некоторые личные качества Добролюбова, в особенности его талант, непримиримость к любым проявлениям несоответствия слов и дел,— этой отличительной черты «лишних людей» (этих непонятых лучших людей уходящей эпохи), его ирония, сарказм ко всему, что им не принималось, категоричность его суждений, не принимавших никаких уступок, никаких оттенков и полутонов,— все это, помноженное на остроту ума, талантливость, огромную эрудицию и работоспособ-

ность, тоже оказали влияние на положение дел в «Современнике».

Тургенев сначала колебался, пытался воздействовать на Некрасова, а потом, особенно в отношении к Добролюбову, занял позицию определенно враждебную. Как-то в споре с Чернышевским он заявил: «Вас я еще могу переносить, но Добролюбова не могу». «Вы — простая змея, а Добролюбов — очковая змея».

Открытое столкновение произошло в половине 1858 года в связи с десятилетием со дня смерти Белинского. В ресторане был организован обед. Пригласили Добролюбова. Он ожидал встретить людей, которые посвятят вечер воспоминаниям и оценке великого критика, а услышал обычную пустую болтовню. Рассерженный юноша разослал участникам обеда злое стихотворение. Многие обиделись. А когда узнали, что автор его Добролюбов, высокомерно бросили брезгливую фразу: «Этот мальчишка сам не понимает Белинского».

Самое же серьезное столкновение, приведшее к полному разрыву с Тургеневым, было вызвано статьей Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» — о романе Тургенева «Накануне». Некрасов пытался уладить конфликт, но Тургенев не хотел уступить своих принципиальных позиций. Некрасову пришлось выбирать, и он выбрал Добролюбова. Это было проявлением политической мудрости с его стороны, в этом величайшая заслуга поэта перед демократией и литературой.

Этот эпизод в подробностях описан Панаевой в ее воспоминаниях. Некрасов понял молодого критика. Он говорил: «Добролюбов — это такая светлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоким уважением. Этот человек не то, что мы; он так строго следит за собой, что мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены. Мне больно и обидно, что Тургенев составил себе такое превратное мнение о человеке такой редкой честности»[1].

Так произошел раскол в «Современнике». Вскоре журнал покинули все друзья Тургенева. Роман «Отцы и дети» появился уже в катковском «Русском вестнике». Вместо ушедших дворян пришли демократы: Помяловский, Решетников, Михайлов, Елисеев, Салтыков, Пыпин, Антонович

---

[1] Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1948, с. 303.

и другие. В этой истории цензор Бекетов обозвал Добролюбова «темной личностью», а Анненков — «нахальным и ехидным мальчишкой», который пишет ругательства на великого писателя. Еще более резко отозвался об этом событии в своих воспоминаниях А. Фет, известный своим консерватизмом. Поэт с глубоким сожалением признал, что хотя «вся художественно-литературная сила сосредоточивалась в дворянских руках, но умственный и материальный труд издательства давно поступил в руки разночинцев, даже и там, где, как, например, у Некрасова и Дружинина, журналом заправлял сам издатель». Его раздражало то обстоятельство, что «при тяготении нашей интеллигенции к идеям, вызвавшим освобождение крестьян, сама дворянская литература дошла в своем увлечении до оппозиции коренным дворянским интересам, против чего свежий, неизломанный инстинкт Л. Толстого так возмущался». Поэт приходил к следующему выводу: «Понятно, что туда, где люди этой среды (то есть разночинцы.— *А. С.*), чувствуя свою силу, появлялись как домой, они вносили и свои приемы общежития»[1].

С уходом Тугенева и его друзей, строго говоря, и возник тот круг сотрудников и руководителей «Современника», который определил его лицо, дал журналу новое направление, которое смело можно назвать последовательным, выдержанным революционным демократизмом. Журнал помещал помимо художественных произведений, литературно-критических статей также исследования по философии, политэкономии; международные и внутренние обзоры и теоретические статьи по этим вопросам (отдел политики). Это был самый читаемый и самый серьезный, одновременно художественно-литературный и теоретический журнал. Его книжки брались нарасхват, передавались из рук в руки, выписывались сообща студентами, гимназистами, слушателями военных училищ, ими зачитывались. «Мы упивались «Современником», видели в нем «учебник жизни», чтили как полубогов его руководителей»,—подобных признаний в воспоминаниях людей шестидесятых годов можно привести немало. «Любимцем Петербурга тех лет,—вспоминает, например, П. Кропоткин,— был Чернышевский»[2]. В. И. Ленин с полным основанием назвал шестидесятые годы «эпохой Чернышевского».

[1] Фет А. Мои воспоминания. М., 1890, с. 132.
[2] Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966, с. 226.

Руководящие деятели «Современника» Некрасов, Чернышевский, Добролюбов, Елисеев, дополняя друг друга, образовывали такую группу экспертов по любым вопросам теории и политики, с которой никто в стране не мог сравниться. Вокруг них группировался широкий круг авторского актива, вобравший цвет передовой, демократически мыслящей интеллигенции, как штатской, так и военной.

Вокруг руководителя «Современника», одно время редактировавшего также орган военного министерства «Военный сборник» (совместно с Н. Обручевым и В. Аничковым), группировался в конце 50-х годов большой круг демократически мыслящих офицеров, как русских, так и поляков. Наиболее видными из них был профессор Академии Генерального штаба Н. Н. Обручев (позже начальник генштаба русской армии, правая рука реформатора армии фельдмаршала Д. Милютина) и слушатель той же академии капитан Зыгмунд Сераковский (возглавивший в 1863 году восстание в Литве, погибший от рук царских палачей). Подробнее о нем в нашей книге («З. Сераковский». М., 1959). Вскоре оба эти офицера стали самыми близкими друзьями Николая Александровича. В одном из писем в начале мая 1859 года Добролюбова к Бордюгову говорится: «Недавно познакомился с несколькими офицерами Военной академии и был у нескольких поляков, которых прежде встречал у Чернышевского. Все это люди, кажется, хорошие, но недостаточно серьезные». Воспоминания одного из близких друзей Сераковского, его однокашника по Академии генштаба (позже известного военного деятеля, генерала от кавалерии) Н. Д. Новицкого не только раскрывают круг близких к Добролюбову и Чернышевскому лиц, но, что еще более важно, рисуют облик Добролюбова, его поведение на этих сходках, как выразился Новицкий, на которых Добролюбов высказывал свою жажду активной борьбы. Н. Д. Новицкий поступает в академию осенью 1857 года (это время начала работы Добролюбова в «Современнике», и описываемые им события разворачиваются примерно на рубеже 1857—1858 годов).

«После войны я вернулся в Петербург в 1857 году, поступил в Академию. У Сераковского кого только не было. Прихожу раз вечером, было мало народу, входит Чернышевский. А мы на батареях читали «Современник» и читали «Очерки гоголевского периода», особенно в последние периоды войны... Николай Гаврилович принимал в разгово-

2 Заказ 1079

рах живое и веселое участие, и, не стремясь к этому, он был в беседах душой кружка...

Зыгмунд Игнатьевич Сераковский был революционер с ног до головы (широкоплечий, белый блондин, среднего роста, с пылающими голубыми глазами), весь порыв — «все возможно, как невозможно!» кричал он. Он был организатор революции прирожденный...

...Немного расскажу и про Добролюбова, образ которого в моем воображении не только наяву, но даже,— вы поверите ли тому?— во сне никогда не являлся без образа Чернышевского, как и наоборот!.. Да и многое ли можно рассказать про этих двух людей, живших не столько внешнею, сколько внутреннею жизнью, ставивших благо общественное важнейшею целью своего существования и в оплату за то страшившихся не только того, чтобы жизнь, но чтобы и сама смерть-то не разыграла «какой-нибудь обидной шутки» над ними?!

...Впервые я встретился и познакомился с Добролюбовым у Чернышевского. Это было вскоре за появлением первых статей Добролюбова, которые, сразу же обратив на себя внимание, вначале весьма многими приписывались перу Чернышевского.

Я не разделял такого мнения, почему прямо и обратился к Николаю Гавриловичу за разъяснением.

Николай Гаврилович тотчас же открыл мне этот секрет, который, впрочем, весьма недолгое время оставался секретом и для публики...

...Мне редко удавалось в моей жизни встречать людей более деликатных, во всем сдержанных, несмотря на всю страстность и восприимчивость своей глубоко поэтической натуры, более скромных, несмотря на громадный ум и чувство самой гордой независимости, и в то же время более нежно добрых без малейшей сентиментальности, чем Н. А. Добролюбов»[1].

Выразительная характеристика передового офицерства того времени содержится в письме Добролюбова к И. И. Бордюгову (декабрь 1858 г.), в котором Добролюбов, предлагая ему приехать в Петербург, писал: «Я бы тебе целую коллекцию хороших офицеров показал»[2]. К цитируемым словам

---

[1] Новицкий Н. Д.Воспоминания о Чернышевском и Добролюбове.— Литературное наследство, т. 67. М., 1959, с. 110.

[2] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, т. I, с. 495.

Добролюбова Чернышевский сделал важное примечание, вскрывающее их точный смысл: «Это были два кружка: один состоял из лучших офицеров (слушателей) Военной академии, другой — из лучших профессоров ее. Николай Александрович <Добролюбов> был близким другом некоторых из замечательнейших людей обоих кружков». Нет никакого сомнения, что Чернышевский имел здесь в виду не только Новицкого, но также Сераковского, Обручева и весь круг их единомышленников.

Еще М. Лемке в предисловии к первому Полному собранию сочинений Добролюбова обоснованно поставил вопрос о революционных связях Добролюбова, о его конспиративной работе (или попытках вести ее), нашедшей частично отражение в переписке с друзьями[1].

Проведенная советскими исследователями работа показывает, что офицеры, группировавшиеся вокруг Чернышевского и Добролюбова, приняли затем активное участие в «Великоруссе» и в восстании 1863 года. Это позволяет теперь более правильно судить о том, о каком общем деле толковал Добролюбов со своими институтскими однокашниками, когда звал их смело и самоотверженно идти в огонь за убеждения, за любовь к Отечеству[2].

Уже летом 1857 года, то есть вскоре после выпуска, Добролюбов упоминает в письме к Бордюгову об «общем и святом деле», о необходимости что-то «предпринять» для этого. В апреле 1859 года ему же сообщает, что он укрепился в этой мысли и обсуждает ее «у одного восторженного господина» вместе с пятью-шестью товарищами. Речь шла, по-видимому, о встрече у Сераковского. В мае он предлагает Бордюгову «энергически» взяться за общее дело — «пойдем же дружно и смело» — и многозначительно добавляет: «ты понимаешь, о чем я говорю». Он настойчиво зовет друга в столицу, чтобы совместно поговорить «о предмете очень важном». Подобных эвфемизмов в его переписке множество. Они разбросаны в письмах к другому конфиденту М. Шемановскому. Похоже, что Добролюбов посвятил его в свои планы и встречал полное сочувствие друга.

Есть высшие идеалы жизни, говорится в письмах дру-

[1] Лемке М. Биография Добролюбова.— Полн. собр. соч., с. 74.

[2] Рейсер А. С. К вопросу о революционных связях Добролюбова. Нечкина М. В. Н. Г. Чернышевский в борьбе за сплочение русского демократического движения.— «Вопросы истории», 1953, № 7 и др.

зей, которые выше чина, комфорта, любви к женщине, даже науки, и эти идеалы — в общественной деятельности. «...мы должны создать эту деятельность: к созданию ее должны быть направлены все силы, сколько их ни есть в натуре нашей. И я твердо верю, что будь сотня таких людей, хоть как мы с тобой и с Ваней <Бордюговым>, да решись эти люди и согласись между собой окончательно,— деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскурантов».

В ответном письме от 10 июня 1859 года Шемановский рассказывал, как под влиянием обстановки провинциальной Вятки он быстро становится Обломовым. Шемановский сомневался в том, чтобы небольшой группе удалось создать ту «деятельность», о которой писал ему Добролюбов.

Добролюбов счел нужным разъяснить свою точку зрения. Надо воспитывать себя так, чтобы «зло — не по велению свыше, не по принципу — было нами отвергаемо, а чтобы сделалось противным, невыносимым для нашей натуры. Тогда нечего нам будет хлопотать о создании честной деятельности: она сама собою создастся, потому что мы не в состоянии будем действовать, как только честно»[1]. В другом письме Добролюбова содержится важный, но скрытый (письмо отправлялось по почте, а не с оказией) намек на возможный результат такой «деятельности», возникшей вследствие непреодолимой потребности бороться со злом. «С потерею внешней возможности для такой деятельности,— продолжает Добролюбов,— мы умрем,— но и умрем все-таки не даром... Вспомни:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной и т. д.

Прочти стихов десять, и в конце их ты увидишь яснее, что я хочу сказать».

Добролюбов отсылает своего друга к стихам Некрасова, которые были призывом к революционному подвигу:

Умрешь не даром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

Вскоре в письме к С. Т. Славутинскому (начало 1860 г.) Добролюбов прямо писал о том, что «современная путаница не может быть разрешена иначе, как *самобытным воздей-*

[1] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, с. 510.

*ствием народной жизни»* (курсив мой.— *А. С.*)[1]. Эвфемистичность этих строк очевидна.

Они отражают веру революционно-демократических кругов в близость революционной вспышки. «Мы серьезно считали себя «накануне» <революции>. То было время самого славного возбуждения»,— писал в своих воспоминаниях Шелгунов[2]. «Нас скоро прибудет»,— убежденно писал Добролюбов в 1859 году. Это убеждение разделял и Чернышевский. В «Прологе» Левицкий (Добролюбов) говорит: «В 1830 г. буря прошумела только на Западной Германии, в 1848 г. захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в следующий раз захватит Петербург и Москву».

Этой верой в скорую народную революцию проникнуты все статьи Добролюбова в «Современнике», и чем выше было напряжение общенационального кризиса, чем ближе был час провозглашения грабительской «крестьянской» реформы, тем сильнее звучал голос Добролюбова. Иные из его статей, и прежде всего знаменитая «Когда же придет настоящий день?», так высоко ценимая В. И. Лениным, прозвучали для «молодого поколения» как набат, зовущий Русь к топору.

Статьи Николая Александровича посвящались самым разным проблемам. Сказывалась специфика руководимого им отдела, требовалась быстрая реакция на вновь вышедшую литературу, особенно вызвавшую внимание общественности. Писал он легко, быстро, часто засиживаясь по ночам. Теперь его наследие — неиссякаемый источник для диссертационных исследований по самым различным научным дисциплинам: философским, историческим, филологическим, педагогическим и др.

Но неизменно всегда в центре его внимания находилась русская литература, ее современное состояние, ее история и грядущее, определение ее места и роли в судьбах народных. Это диктовалось особенностями его таланта, взятого во внимание Чернышевским и Некрасовым при распределении редакционных обязанностей, и в этом смысле знаменательно, что с приходом Добролюбова в журнал и до его отъезда за границу Чернышевский литературной критикой по существу не занимался, сосредоточившись всецело на

---

[1] Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, с. 525.

[2] Шелгунов Н. В. Воспоминания. М.— Л., 1923, с. 24.

проблемах социально-философских, экономических, ведя важнейший политический отдел журнала. Внимание Добролюбова к литературе объяснялось и тем особым положением в обществе, которое она заняла, ее воздействием на умы и сердца. Журналы, а тем более «Современник», являлись политическими трибунами, а в стране, лишенной политических свобод, художественная литература со времен Радищева служила наилучшей формой выражения важнейших политических проблем. Поэтому и от критика требовалось прежде всего раскрытие этих социальных аспектов художественного произведения с учетом, разумеется, эстетической стороны дела, форм, средств, мотивов, использованных художником слова. И вот где раскрылся дар Добролюбова как политического публициста и его тонкий вкус художника. Его статьи критико-библиографического плана и позитивные очерки (например, брошюра о Кольцове) фокусируются на центральной проблеме российской жизни тех лет — борьбе с самодержавием, крепостничеством, помещичьим землевладением, всесилием царской бюрократии и пр. «Темное царство», рисуемое им на основании анализа драм Н. А. Островского, воспринимается читателем как критика всей народной жизни в стране, задыхающейся под гнетом царизма, это образ трудящегося угнетенного люда, стихийно тянущегося, рвущегося к свету из мрачного подземелья. Отсюда и другие темы-образы. Прежде всего поиск положительного героя — народного заступника, точнее, тех общественных сил, которые способны указать народу выход из «темного царства», организовать массы, просветить их, возглавить в борьбе за освобождение.

Чернышевский, Добролюбов, круг их соратников-однодумцев, группировавшихся вокруг «Современника», полагали, что роль организатора народной борьбы выполнит демократическая интеллигенция, прежде всего «молодое поколение». Под «молодым поколением» они разумели молодежь и студенчество, прежде всего студентов университетов, как наиболее зрелую, всесторонне политически образованную часть молодежи. В их лексике «молодое поколение» и студенчество суть синонимы, с одной поправкой — важную роль они отводили также демократической части офицерского корпуса, слушателям военных академий и училищ. С учетом роли армии в грядущем перевороте они и вели большую работу в офицерском корпусе. В этом плане опыт декабристов был ими творчески усвоен неплохо.

Образ революционного деятеля, вождя народного возмущения, как он встал со страниц добролюбовских статей, дается в развитии от Инсарова до Базарова и далее к героям Чернышевского — к Рахметову.

Не случайно студенты и офицеры на своих сходках и «литературных вечерах» — широко использовали материалы «Современника» для пропаганды идей революционной демократии, подчеркивали, что работа русских инсаровых — это объект внимания уже не литературной критики, а корпуса жандармов. Именно в этой теснейшей связи добролюбовских статей с жизнью, с молодыми ее побегами заключена тайна огромного, быстро возросшего их влияния, их воздействия на молодежь, на лучшую часть русского общества.

К чему звал, во имя чего призывал бороться Добролюбов — пропагандист, мыслитель, борец?

За торжество идеалов социализма, в которые уверовал еще в студенческие годы. Таков обычный ответ. Социализм он видел в освобождении мужика с землей, в его свободе от ярма чиновника, помещика, попа; в переустройстве жизни на мирских, общинных началах. Все это действительно можно найти в его статьях. Но Добролюбов вслед за Чернышевским понимал, что первостепенная, неотложная задача в России состоит в устранении царского самовластия, в установлении политических свобод, конституционном закреплении подлинного народовластия. И он высказал это в подцензурной печати (см. «От Москвы до Лейпцига») и в свободном изложении своих взглядов («Дневник» и особенно «Письмо из провинции»).

Надобно заметить, что в этом центральном пункте миросозерцания Добролюбов стоял на позиции Чернышевского. Лучшие из соратников последнего разделяли эти взгляды. Не случайно в бумагах Н. Серно-Соловьевича сохранялся проект конституции (написанный в 1861 г.) и за конституцию ратовал З. Сераковский (записка «Вопрос польский»).

Защите, обоснованию, пропаганде «общего дела», «настоящего дела» подчинены все выступления Добролюбова, отсюда поразительная их целеустремленность. Они резко отличаются от либерального обличительства, которое критик беспощадно высмеивал. С 1858 года по инициативе Добролюбова в «Современнике» появилось сатирическое приложение «Свисток», который он и вел вплоть до отъезда за границу. Высмеивание либерального обличительства, ког-

да за деревьями теряется лес, когда внимание читателя всецело занимают мелкими фактиками и, высмеивая урядников, забывают царя, стало основным занятием «Свистка». Не все поняли сразу смысл добролюбовского сарказма, печать заговорила о мальчишках, семинаристах, надругательствах над гласностью и т. д. Под влиянием этих нападок Герцен публикует в «Колоколе» статью «Очень опасно» («Very dangerous!!!») с резким осуждением выступлений Добролюбова против «обличительной литературы». Критик, с молодых лет поклонявшийся Герцену, вначале даже не поверил случившемуся и выразил свое недоумение в дневнике (5 июня 1859 г.) (Чернышевский сохранил эту запись, очищая дневник от всего, что могло быть использовано жандармами в качестве улик). Добролюбов рвался в Лондон, желая объясниться лично. Поехал Чернышевский. В Лондоне он пробыл с 24 по 30 июня. Его переговоры с Герценом не были безрезультатными («ездил не напрасно» — как оценивал позже), но основного предложения Чернышевского — выдвижения требования конституции и подчинения этой цели всей пропаганды, всех выступлений — Герцен в 1859 году не принял, расценил как проявление узкофракционного подхода. Только в 1861 году Герцен принял это предложение и стал бороться за созыв «Земского собора».

Вера в народную, крестьянскую революцию, работа открытая и конспиративная для ее подготовки, пропаганда ее идей, защита последних была исходным пунктом и в оценке Добролюбовым всей духовной культуры нации, ее художественной литературы. Воздействие народной жизни на литературу, степень полноты отражения первой во второй проходят красной нитью через все его работы. Этим объясняется его особый интерес к «гоголевскому направлению», к поэзии Кольцова и особенно Некрасова. Он даже выделял творчество Гоголя и Некрасова как переломные пункты в истории русской прозы и поэзии, именно в плане отражения жизни народа, выражения и защиты его интересов, его духовного облика.

Верой в неизбежную и притом скорую народную революцию объясняется в конечном счете и отношение Добролюбова к либерализму, к оценке образа «лишних людей» в русской литературе, ибо эти явления переплетаются в нашей истории. Вновь и вновь возвращается Добролюбов к этой теме, жизнь заставляла это делать.

«Лучшие люди 40-х годов» (Герцен в том числе) верили, одни больше, другие меньше, что из среды просвещенных дворян явятся новый Петр Великий, новые Сперанские. Поэтому надо помогать правительству, то есть просвещать, осторожненько наставлять его и поласковее упрашивать: облагодетельствуйте, мол, новыми милостями, дайте мужику земли, пожалуйте бесцензурную печать, отмените телесные наказания и пр.

Добролюбов в «мудрое самодержавие» и в «просвещенное дворянство» не верил, милостей не ждал, понимая, что уступки у правительства вырываются силой, и коль силы есть, так лучше царизм свалить. Отсюда отношение к «лучшим людям 40-х годов», к Рудиным, Печориным, отсюда и непримиримость и категоричность добролюбовских оценок. Герцен — даже он, не говоря уж о Тургеневе и т. д.,— обижался, в Рудине он видел молодого Бакунина (в этом признавался и Тургенев) и в какой-то мере себя. (Неслучайно же А. Потебня в 1863 году сравнил Герцена с Рудиным.) В приговоре Добролюбова над Рудиным и Печориным есть что-то автобиографическое, он звучит как самоочищение, как выдавливание из себя былых увлечений и стремления подражать Печорину. В этом критик признается и сам.

В лирическом отступлении в статье «Когда же придет настоящий день?» изложена одиссея собственного духа. Вместе с тем это и этапы становления воззрений и характера целого поколения, названного В. И. Лениным революционерами эпохи падения крепостного права. В этой автобиографичности, по нашему мнению, ключ к пониманию всех суждений и оценок «лишних людей».

Слабы они или сильны? Кавелин и Добролюбов — оба связаны с Рудиным, только один остался им на всю жизнь, другой простился еще на студенческой скамье с былым увлечением.

Давно замечено, что формы протеста против настоящего у человека различны. Можно, не принимая настоящее, уйти в прошлое или переселиться в область грез, но главное — не принимать античеловеческого, не прислуживать ему. Чацкие, Печорины, Рудины не прислуживали. В этом сила и величие их. И не один Добролюбов в юности увлекался ими. Может быть, здесь отразился не только фазис развития общества, но и нечто такое, что отражает этапы становления человека.

Здесь встает вопрос: Добролюбов и Герцен — один из

самых трудных для исследователя и вместе с тем имеющий первостепенное значение для оценки деятельности Добролюбова и многих написанных им страниц. От юношеского увлечения и почитания к серьезным спорам, затем к достижению согласия в главном, основном, совместная деятельность в борьбе за политическую свободу и пересмотр грабительской «крестьянской реформы» — таков абрис этих отношений. Кульминация их падает на период пребывания Добролюбова за границей.

Выехав весной 1860 года (около 14 мая), он вернулся летом 1861 года (12 июля в Одессу, 9 августа в Петербург), прервав лечение,— он был вызван Чернышевским на родину, где назревали решающие события. За год с небольшим, проведенный на чужбине, он исколесил, другого слова не подберешь, пол-Европы (Германия, Чехия, Франция, Италия — с юга на север, даже по пути домой заехал в Грецию и т. д.). Его внимание привлекли такие события, как национальные движения (славян, итальянцев), борьба рабочего класса, взаимоотношения демократов и либералов («крайних» и «умеренных», «прогрессистов»), облик народного трибуна, способного увлечь массу, организовать, повести за собой. В «Современнике» печатался цикл его статей, написанных за границей. В них прослеживается стремление автора применить опыт западноевропейских народов для решения своих русских дел.

В этом маршруте разъездов есть одно не раскрытое до конца звено.

Осенью 1860 года (точнее, от середины августа — до начала сентября), предварительно списавшись с Обручевым, Добролюбов оказывается в Дьеппе на севере Франции. Это был модный морской курорт: пребывание там больного закономерно. Но Дьепп — это пункт, из которого можно было попасть в Англию, в Лондон через четыре — шесть часов. И многие русские путешественники (Тургенев, Боткин) именно через Дьепп ехали к Герцену. Теперь здесь одновременно оказались три друга: Добролюбов, Обручев, Сераковский. Поехали ли они к Герцену вместе? Ведь и Обручев и Сераковский уже там бывали, правда, порознь. Но текст «Былого и дум», его черновые наброски позволяют судить, что осенью 1860 года Обручев был у Герцена вместе с Сераковским. А Добролюбов остался в Дьеппе? Невероятно. Ведь ему было о чем побеседовать с издателями «Колокола».

Встреча какая-то у Герцена с одним из руководителей

«Современника» состоялась именно в это время. Появление статьи «Лишние люди и желчевики» в «Колоколе» 15 октября 1860 года — яркое тому свидетельство. Уже высказывались наблюдения, что оценки Даниилом «лишних людей» — это добролюбовские оценки. «Даниил» — само это имя, выбранное Герценом, говорит за себя,— упорно оспаривает оценки Герцена. Он неумолим в споре. И позже, в некрологе Добролюбову Герцен назовет молодого критика «неумолимым диалектиком». А Чернышевский, прочтя этот номер «Колокола» в «Современнике» (заметки в «Свистке» в январе 1862 г.), поставит все это в связь с прежними выпадами Герцена против Добролюбова. Все эти факты слишком между собой связаны, чтобы не принимать их во внимание и объяснять пребывание Добролюбова в Дьеппе просто морскими купаниями.

Сомнения если и остаются, исчезают при знакомстве с еще одним свидетельством лица, причем осведомленнейшего, сотрудника «Современника», очень близкого к Чернышевскому — Александра Серно-Соловьевича. Он оспорил заявление Герцена, что последний всегда боролся вместе с Чернышевским и даже дополнял его.

«Еще в 59 г., когда Чернышевский едва стал занимать передовое свое место в русском движении, выказалось даже в литературе все различие между вами и людьми, сделавшимися скоро действительными вождями молодого поколения.

Следуя за г. Громекой и прочими либералами этого сорта, вы предсказывали тогда Чернышевскому и Добролюбову, что они «досвищутся не только до Булгарина и Греча, но и до Станислава на шею». Помните вашу статейку «Very dangerous!!!» с тремя восклицательными знаками и рукой, указывающей на нее...

...Посмотрите, Чернышевский и Добролюбов досвистались, только не до III Отделения и Станислава, а до каторги и могилы... ...Позвольте посоветовать Вам перечесть письмо Добролюбова к Вам по этому поводу, оно лучше чем что-нибудь должно освежить в Вашей памяти *давно* (курсив автора.— *А. С.*) забытые воспоминания и показать Вам, как уже тогда, когда многое еще не выяснилось, когда Вы были во всей силе своих словоизвержений, относились к Вам эти люди, умнейшие и талантливейшие, какие когда-либо были на Руси. Вспомните также, сколько раз Вы говорили и писали моему брату, чтобы он постарался помирить Вас с Чер-

нышевским во имя так называемого *общего дела* (курсив автора.— *А. С.*). (Чего и чего ведь не делалось во имя этого несчастного, так называемого общего дела.) Вы чувствовали, что борьба с Чернышевским Вам не по силам.

...А Ваша статья о желчевиках в кого метила?.. А статья Чернышевского о поэзии, где он говорит о Вашем «гикании и гакании»... А поездка Добролюбова за границу, и Ваши взаимные отношения во время его пребывания за границей?..

...Всякий раз, когда Вы позволите себе поставить свое имя рядом с именем Чернышевского, я буду печатно останавливать Вас, напоминая Вам, как неизмеримо велико пространство, разделяющее вас»[1].

В 1859 и 1860 годах Герцен не понял и не принял во всем объеме доводы Добролюбова и Чернышевского. Но жизнь шла вперед и учила многому и быстро. И когда в 1861 году царь свинцом ответил на крестьянские протесты против грабительской реформы, а затем расстрелял польских манифестантов, Герцен понял тщетность своих упований на царя-«освободителя». Весной и летом, после новых встреч с соратниками Чернышевского (Шелгуновым, Михайловым, Н. Серно-Соловьевичем, Сераковским), редакция «Колокола» приняла активное участие в реализации и обсуждении программы «Великорусса». С этой акцией и было связано возвращение Добролюбова на родину по вызову Чернышевского.

Этот последний период жизни и деятельности Николая Александровича был очень краток и насыщен важнейшими событиями.

Вернувшись в Петербург, Добролюбов возглавляет «Современник» — этот штаб революционной демократии тех дней (Некрасов и Чернышевский были в отъезде). Напомним, чем жила страна: не прекращались крестьянские волнения, в Польше и Литве было объявлено военное положение, начались в Петербурге и Москве студенческие демонстрации, в армии шли аресты офицеров-демократов, по всей стране разошлись листки «Великорусса» и прокламации «К молодому поколению» и т. д. Добролюбов был в центре этих событий. Мы лишены в кратком очерке возможности дать характеристику этой деятельности (см. вступительную

---

[1] Серно-Соловьевич А. Наши домашние дела. Ответ г. Герцену на статью «Порядок торжествует» («Колокол», № 233), 1867.

статью к сборнику: Н. Г. Чернышевский. «Письма без адреса»). В это время он создает свои последние произведения: статью «Забитые люди» — явившуюся вершиной его литературно-критических работ, в которой дает прекрасную глубокую оценку творчества Ф. М. Достоевского. Статья вызвала огромный интерес, и даже И. С. Тургенев, переступив свою неприязнь к автору, отметил ее достоинства.

Одновременно Добролюбов пишет два больших политических обозрения («Политика», «Внутреннее обозрение»), включаясь в тематику, намеченную Чернышевским и Елисеевым в их предыдущих обзорах по этим темам.

Это были последние выступления народного трибуна. Силы его быстро таяли, и в ночь с 16 на 17 ноября 1861 года его не стало. Он был похоронен рядом с Белинским на Волковом кладбище 20 ноября.

Чернышевский, Некрасов (в некрологе, в речах на могиле, других публичных выступлениях), подчеркнув огромное дарование Добролюбова («русский самородок», «юноша-гений»), указали на его великие заслуги перед русским народом в борьбе за освобождение Родины.

Основоположники научного социализма сравнивали Добролюбова с Дидро, называли его социалистическим Лессингом[1]. В. И. Ленин, раскрывая глубочайшую связь Добролюбова и Чернышевского с народом, назвал их мужицкими демократами, крупнейшими деятелями эпохи падения крепостничества, оставившими неизгладимый след в истории России[2].

Проф. *А. Ф. Смирнов*

---

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967, с. 48.
[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 206.

# «СЛУХИ»

Слухом земля полнится.
*Народная пословица*

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ, АНЕКДОТИЧЕСКАЯ И ТОЛЬКО ОТЧАСТИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
№ 1, СЕНТЯБРЯ 1, 1855

В наш просвещенный век уже не подвержена ни малейшему сомнению великая польза устных сказаний и современных заметок в многообразных отраслях наук исторических. Теперь во всех концах России ревностно занимаются разработкою исторических материалов, беспрестанно издаются в свет вновь отысканные древние памятники; первоклассные русские ученые посвящают им полезные труды свои; появляются превосходные монографии об отдельных фактах, личностях, даже годах, замечательных в нашей истории. Но, к сожалению, наука русская все еще мертва, неполна, некрепка. Наши исторические познания до сих пор темны и сбивчивы. Это явление, очевидное для всякого и кажущееся несколько странным, объясняется, однако, очень просто. Наука в России имеет дело только с официальными фактами, только с тем, что заносится в акты, что определяется весом и мерою, годом и днем. Оттого-то она и знает только то, что в таком-то часу, такого-то числа загорелся в таком-то квартале такой-то дом и сгорел... А кто там жил, что потерпел от пожара, какое влияние имело бедствие на судьбу его, что он спас и что потерял, куда потом переехал и пр.,— это вещь совершенно посторонняя для исторической полиции. Да и негде разыскать все это... Разве остановиться на улице и послушать, что толкуют в народе... Но об этом никто и не думает, по крайней мере не думал до сих пор... А между тем здесь-то и материал для историка. Так называемое общественное мнение не есть ли выражение духа, направления и понятий народных в ту или другую эпоху? А ведь оно не записывается, потому что пишут только вещи неизвестные и интересные. А кто же станет писать или

даже читать то, что всякий знает и всякий сам высказывает? Оттого-то, если твердят нам каждый день в газетах, что Севастополь взять невозможно, что русский народ отличается религиозностью и преданностью к царям, что Николай Павлович покровительствовал просвещению, а Фаддей Венедиктович есть страж чистоты русского языка,— то, наверное, это вещи весьма и весьма сомнительные... Не пишет же ведь никто трактатов о том, что человек имеет на руках по пяти пальцев, что Павел Петрович задушен и что Клейнмихель мошенник,— не пишут оттого, что трудно найти человека, которому бы эти истины были новостью. Оттого-то и слухи так же быстро исчезают, как и появляются. Говорят о предмете до тех пор, пока полагают, что не все еще знают о нем... Как скоро известие облетит всех, его тотчас оставляют и забывают. Таким образом, каждый день являются новые вести, сплетни, мнения, задачи, решения, вопросы и ответы, словом — *слухи,* и каждый день они исчезают и заменяются другими, так что и записать их не успеют... А между тем сколько резких, живых, характеристических черт в этих эфемерных разговорах! Это не мертвые числа и буквы, не архивная справка, не надгробная надпись умершему,— нет, это сама жизнь с ее волнениями, страданиями, наслаждениями, разочарованьями, обманами, страстями,— во всей красоте и истине. Неделя этой жизни научит вас больше, нежели семь томов мертвой статистики. Десяток живых современных черт объяснят историку целый период гораздо лучше, нежели двадцатилетние изыскания в архивной пыли, где он найдет только блестящие реляции о темных делах, указы, которые никогда не исполнялись, да следствия, в которых невозможно отыскать причины... Человек — не машина для письма; жизнь его не в канцелярских бумагах, на которые так сильно сбивается у нас и история и литература. Конечно, из русского народа не сформировался еще полный человеческий тип, но все-таки нельзя же отвергнуть того, что он формируется хоть понемножку, хоть незаметно, а формируется... И тем интереснее должно быть для нас следить за его начинающимся развитием, тем поучительнее послушать, как он рассуждает, как понимает дела — не в учено-литературной канцелярии, где он переписывает чужую резолюцию, а в частной жизни — дома, в гостях, в театре, в церкви, на улице, на рынке — везде, где только может он выразить свое личное настроение и понимание. Чем более подслушаем мы таких откровенных

рассуждений, рассказов, отдельных мыслей и впечатлений, тем яснее нам будет истинный дух народа, тем понятнее будут его стремления, его чувства, тем полнее и осязательнее представится нам картина народной жизни. Что за беда, что все эти мысли будут нам известны и, следовательно, скучны, каждая порознь: зато значительное их собрание, ensemble их, может впоследствии повести к соображениям, которые без того не пришли бы нам в голову, может обратить наш взгляд на такую точку, которой бы мы совсем и не приметили. Не всемирно-историческую важность имеет то обстоятельство, что один человек умер в судорогах, и другой тоже, и третий тоже; а собрали сотни и тысячи подобных фактов, так и увидели, что это — choleramorbus*. Может быть, и собранные нами слухи приведут умного человека к открытию какой-нибудь хронической болезни в русском народе; может быть, и позднейший врач заглянет в нашу газету, в которой должна отразиться современная нам эпоха с внутренней ее стороны. Не будем же слишком эгоистичны, не будем отвергать наших слухов только потому, что они нам уже известны. Поделимся с другими своим знанием, сохраним для потомства наши мысли: пусть оно увидит, что мы жили или по крайней мере хотели жить. Может быть, мы внесем сюда ложные слухи; может быть, займемся ничтожным, опустив важное: но и в этом отразится жизнь. Только машина может работать с неизменною, размеренною правильностью и верностью. На ее стороне преимущество скорости, ровности, выгодности и т. п., но где замешается дело мысли, там живой человек всегда гораздо лучше. За доказательством далеко ходить нечего: сравните громады русского войска с армиями союзников... На чьей стороне будет перевес?

Вот убеждения, которые привели нас к мысли собирать все современные слухи, не заботясь об их исторической достоверности, и заносить их на страницы нашей газеты. Надеемся, что все, истинно любящие свое отечество, не откажут нам в содействии и поощрении. Дело, которое мы начинаем, легкое само по себе, становится трудным и даже опасным по своим последствиям. Мы хотим быть беспристрастными, сообщать своим читателям все, что только услышали. А ведь мало ли что говорят... Заочно и про царя говорят, а писать про него еще никто не писал безнаказанно, кроме упомяну-

---

* холера *(лат.)*. — *Ред.*

тых нами автоматов... Притом народ все ведь с самолюбием у нас в России: все хотят сами делать, а другим не позволяют. Сделает человек глупость — и ничего; а только другой начнет говорить о ней — беда! Как смел!.. Уж и этой-то чести не хотят уступить другому! «Это, дескать, моя глупость: я ее сделал и никому не позволю повторять». Запретят еще, пожалуй, нашу газету... Да оно бы хорошо еще, если бы запретили: тогда бы она, как все запрещенное, быстро разошлась во многих тысячах экземпляров... А то — просто из опасения — станут скрывать все от издателей «Слухов» и пускать не будут в порядочные дома... Тогда их плохое дело: материалов не будет, а из ничего не бывает ничего,— дело известное. Выдумывать же слухов мы не намерены, потому что это прямо противоречило бы предположенной нами цели...

Таким образом, благоразумный читатель видит, что одно средство спасти нас и нашу газету — молчание. Пусть потомство оценит нас,— мы не хотим громкой славы в настоящем, и в этом отношении девизом нашим будут слова поэта:

Пишу не для мгновенной славы,
Для развлеченья, для забавы,
Для милых, искренних друзей,
Для памяти минувших дней[1].

«Слухи» будут выходить еженедельно по пол-листу и более. День выхода назначается понедельник, потому что в дни воскресные от нечего делать гораздо более разносят слухов... Оттого издатели предоставляют себе право выпускать иногда листок «Слухов» и среди недели, после праздника.

№ 4, СЕНТЯБРЯ 19,
ПОНЕДЕЛЬНИК

## НЕСКОЛЬКО БИОГРАФИЧЕСКИХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАМЕТОК О ПУШКИНЕ

Назвавши газету нашу литературною, между прочим, мы, однако, очень мало до сих пор касались в ней литературы. Виною этому, конечно, политические события, которые теперь привлекают все внимание до такой степени, что нет возможности заняться другими предметами. Но теперь,

пользуясь тем, что в политическом мире, если верить русским газетам, ничего нового не происходит, а следовательно, и слухов мало,— обратимся к литературе и начнем с Пушкина, главы литературы нашей, которого стихотворениями щеголяли все теперешние журналы в первых книжках своего издания, хотя бы издание это началось уже много спустя после смерти поэта. Мы обратим внимание читателей на те произведения нашего поэта, которые нигде не были напечатаны и пропущены даже последним изданием. Таких произведений наберется довольно много. Представим сначала несколько эпиграмм его...

Вот одна, направленная на какого-то придворного:

Жил да был петух индейский,
Цапле руку предложил,
При дворе взял чин лакейский
И в супружество вступил.
Он просил детей, как дара,
И услышал Саваоф:
Уродилась цаплей пара,
Не родилось петухов!![2]

Другая эпиграмма его направлена на какую-то девственницу:

Черна, как галка,
Суха, как палка,
Совсем не жалко,
Что ты весталка[3].

На литературные личности Пушкин также говорил много метких слов. Например, вот его слова о Булгарине, том самом Фаддее Венедиктовиче, который после смерти Пушкина причел себя в лик его друзей:

К Смирдину как ни зайдешь,
Ничего себе не купишь:
Иль Сенковского найдешь,
Иль в Булгарина наступишь[4].

Он же говорит в одном неизданном своем произведении, характеризуя кого-то:

Благороден, как Булгарин,
Бескорыстен так, как Греч[5].

По рукам до сих пор много ходит произведений Пушкина, которые показывают нам свежего, энергического, свобод-

ного поэта, не того, который писал «Бородинскую годовщину» и другие произведения, после того как он при дворе взял чин лакейский. Известно, что назначение Пушкина камер-юнкером глубоко поразило всех благомыслящих друзей его. Никто не приветствовал его с этой милостью, так что, когда чрез несколько времени он, при представлении во дворце, получил поздравление от Михаила Павловича, то с горькой усмешкой он ответил ему: «Ваше высочество! Вы еще первый меня с этим поздравляете...»[6]

Мудрено разгадать душу поэта, мудрено понять слова, сказанные им перед смертью: «Скажите государю, что мне жаль умереть, был бы весь его...»[7] Но что Пушкин не всегда был таков, слухи доказывают это следующим:

1. «Вольность», ода, за которую Пушкин и был сослан, говорят, на Кавказ[8].

2. Послание к декабристам, 1825 г.

3. «Моя родословная» — произведение уже зрелых лет поэта.

Говорят, что есть еще несколько насмешливых стихотворений, писанных им в 20-х годах. Но мы не знаем даже названий их. Что Пушкин любил посмеяться и подшутить над многим, доказывают его «Десятая заповедь»[9] и письмо «О первой ночи после свадьбы»[10]. Вот еще анекдот о нем: когда его заставляли или просили написать что-нибудь к Александровской колонне, он задумался и стал вдруг как будто в недоумении говорить: «Да что же? Столб — столба — столбу!..»

## ПОЛЕЖАЕВ

И кто из лучших русских не бросил своего камня в наше странное и страшное правительство? От кого не получал оплеухи этот высший сан, освященный будто бы богом? Заговорив о литературе, мы посвятим уже ей весь сегодняшний лист и расскажем еще историю страданий Полежаева[11], поэта, которого, конечно, очень многие знают по стихам, но немногие — по жизни.

Он, еще будучи студентом 2-го курса в Санкт-петербургском университете, написал поэму «Сашка», под которым разумелся и изображался благословенный царь Александр Павлович. Это было при самом конце его царствования. Когда воцарился Николай, известный сплетник не только в своем царстве, но и во всей Европе, сплетня о Полежаеве

и его поэме дошла, разумеется, до него. Он приказал представить себе Полежаева, и в одну ночь явились в университет жандармы, поэта разбудили и отправили к инспектору, к ректору, к попечителю, к министру, к царю... Во дворец привез его министр просвещения рано поутру, но Николай уже встал и даже какой-то министр дожидался его в приемной зале. Увидав здесь студента и полагая, что он совершил какой-нибудь важный подвиг, за который удостоился милости царя, министр этот (большой дипломат, вероятно) тотчас вывел свои соображения и попросил Полежаева давать уроки его сыну. Тот согласился очень охотно... Между тем их ввели к государю. Он спросил Полежаева, он ли писал поэму, заставил прочитать ее себе, спросил министра просвещения, какого поведения Полежаев, и, получив ответ, что очень хорошего, всемилостивейше повелел его отдать в солдаты — для очищения, как он говорил. При этом он поцеловал в лоб поэта и дал ему царское слово, что он его не оставит и что при всякой нужде Полежаев может писать к царю прямо. Отправили поэта в какие-то губернские войска. Прошло два года. Полежаев — все солдатом, производства ему нет. Он пишет к Николаю — нет ничего. Через несколько месяцев — еще письмо: ни привета, ни ответа. Еще письмо — и опять ни слуху ни духу. Думая, что письма его не доходят до царя, с юношеской верою в *царское слово,* Полежаев решился ехать сам и предстать пред царские очи. Но, уехав без позволения начальства, он был схвачен в Москве и судим как беглый солдат: его прогнали сквозь строй[12]. Затем он был сослан на Кавказ и через шесть лет произведен в унтер-офицеры за отличие против черкесов. Прошло еще несколько лет. Полежаев терзался все более в своей неудовлетворенной деятельности, в убитой поэтической силе своей. Он писал и печатал стихи свои, но лучших задушевных песен его мы, конечно, не знаем, благодаря вниманию цензуры. Наконец он страшно занемог, и лечили его в Москве в солдатском лазарете. Когда он уже умирал, дали ему офицерский чин. По смерти его издатели его стихотворений хотели приложить портрет его в солдатской шинели, но цензура нашла это неприличным и заставила намалевать на портрете эполеты, которых поэт никогда не носил...[13] И русская публика поверила, что Полежаев был молоденький офицер, умерший от чахотки, которую получил, вероятно, потому, что много занимался. Но, к счастью, полнится земля слухом, и

Не можно век носить личин,
И истина должна открыться[14].

И известия о жизни Полежаева взяты нами из книги Искандера «Тюрьма и ссылка», книги, известной, конечно, немногим в России, но имевшей большой успех в пограничных губерниях Польши и за границей, как и множество других произведений Искандера. Когда-нибудь мы посвятим несколько статей обозрению его заграничной деятельности. Теперь пока сообщим еще интересное известие, которое мы слышали о Кулеше[15], живущем в Англии вместе с Искандером. Он в прошлом году напечатал воззвание к донским казакам, в котором учит их, как вести себя в отношении к русскому правительству и как с ним разделываться. Сначала идут частные советы казакам, но под конец прокламация казацкая превращается в энергическую речь ко всему народу русскому, из среды которого исключена, разумеется, фамилия Романовых, как и всех русских немцев.

№ 9, ОКТЯБРЯ 19,
ПОНЕДЕЛЬНИК
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА В РОССИИ
1817—1825 ГОДА

Было время в первые годы царствования Александра I, когда свободно и спокойно могли заводиться и существовать в России тайные общества. В это время развелось их чрезвычайно много с различными целями. Но из всех их известнейшие и особенно замечательные были те, которые действовали в десятилетие 1816—1825 годов с преобразовательной целью.

Одно из них было основано в 1817 г. Павлом Пестелем и Александром Муравьевым. Это был «Союз спасения, или общество истинных сынов отечества»[16]. Оно имело свои правила, извлеченные из устава масонского. В основании его лежало безусловное повиновение. При посвящении в его тайны употреблялись ужаснейшие эмблемы — кинжалы, яд и пр... Члены его имели три степени: братьев, мужей и бояр. Имея своей целью единственно благо общественное, общество не могло согласиться в средствах и в подробностях дела. Муравьев и кн. Трубецкой (Сергей), более миролюбивые и менее решительные, хотели только конституции или в крайнем случае республики. Пестель, напротив, искал уничтожения царской династии и протектората, особенно для себя,

как говорят, по крайней мере. Скоро общество распалось.

В то же время почти основано было другое: рыцарей русских[17]. Основателем его был Михаил Орлов, незаконный, но признанный сын гр. Федора Орлова, имевший тогда чин генерал-майора. Это общество имело двойную цель — исправление злоупотреблений, распространенных во всех частях государственного управления, и противодействовать влиянию польских обществ, старавшихся о восстановлении Польши. В числе первых членов его замечателен был гр. Мамонов, старинный член масонской ложи. Это общество также прекратилось почти в самом начале.

Гораздо долее продолжалось и важнее по своим последствиям было «Общество благоденствия», которого основателями являются опять Александр Муравьев со своим братом Михаилом и кн. Сергей Трубецкой. К числу первых членов его принадлежал и Николай Тургенев, автор известной книги «La Russie et les Russes»*. Он, впрочем, скоро оставил это общество.

Оно было разделено на четыре части, и в одной из них каждый член непременно должен был принимать участие, имел, впрочем, право заниматься делами и в других частях. Первое отделение, филантропическое, должно было заниматься общественной и частной благотворительностью и наблюдать за государственными учреждениями по этой части. Второму отделению поручалось заботиться о распространении истинного просвещения и для того наблюдать за школами и учеными учреждениями... Третье имело своим предметом судебную часть в государстве, должно было стараться открывать всякую несправедливость, преследовать ее и уведомлять об этом в большинстве случаев правительство. Наконец, обязанность четвертого отделения были политико-экономические исследования.

В 1819 году общество уже далеко распространилось. Оно разделилось на несколько дирекций — главных и второстепенных, из которых в каждой были свои президенты, чиновники, наблюдатели и пр. Между членами «Союза благоденствия» известны: кн. Евг. Оболенский, Яков Толстой, капитан Семенов и др. Это общество постигла та же судьба, как и предшествующие. Одна часть его членов держалась умеренных мнений и полагала, что нужно действовать медленно, соображая и выжидая, другая, напротив, требовала ре-

* «Россия и русские» *(франц.).— Ред.*

шительных мер и не останавливалась ни пред цареубийством, ни пред общим кровопролитием. Вследствие этого разногласия в 1821 году и это общество расстроилось.

Но зато вместо всех этих мелких собраний возникли в России два великих союза: Северный и Южный. В последнем был главным деятелем и распорядителем Пестель, в первом — Никита Муравьев, кн. С. Трубецкой и, наконец, Рылеев. Эти два союза приняли в себя почти всех членов прежних обществ и распространили свое влияние во все концы России. Множество генералов, полковников, князей, графов и вообще членов самых аристократических фамилий принимало участие в этих двух союзах. Оба они, впрочем, действовали сначала совершенно независимо друг от друга, и уже в 1823—1824 годах Пестель вошел в сношения с начальниками Северного союза. Пестель пользовался огромным влиянием на всех его окружавших. Рылеев говорил, что это человек в высшей степени отважный и ловкий на все, что он мог бы быть Наполеоном, только никак не Вашингтоном, потому что честолюбие его было безмерно.

В собрании Северного общества Пестель говорил речь, которою убеждал всех принять решительные меры и возбуждал овладеть царскою фамилиею и истребить ее. Но северные никак не хотели согласиться на это преступление, как они называли, и даже некоторые отказались от участия в союзе. Пестель поневоле опять должен был оставить на время свои намерения и ограничиться распространением круга деятельности в Южном обществе. Около этого времени вошли они в сношение с польскими патриотическими обществами. Но и здесь единодушия полного не было, потому что каждое из обществ имело свои особенные стремления и цели. Поляки делали свое дело, русские должны были делать свое. В отношении к царской фамилии поляки показали более умеренности, нежели русские. Между русскими много было таких, которые вызывались на убийство Александра, и даже рассказывают, что в Северном союзе капитан Якубович едва мог быть убежден отсрочить несколько свою попытку убить Александра. Узнав о его внезапной смерти, Якубович в бешенстве прибежал в собрание общества и закричал: «Вы, злодеи, у меня его отняли!..» До такой степени ожесточены были русские: верно, и им приходилось не лучше угнетенных поляков. Но все благородные начинания истинных сынов отечества были уничтожены изменою. Какой-то офицер *Майборода*, участвовавший сначала в Южном

союзе, вдруг почувствовал будто бы угрызения совести и открыл заговор. Тотчас Пестель был арестован, бумаги захвачены, восстание предупреждено, и только один Сергей Муравьев-Апостол мог несколько времени держаться в вооруженной защите. Он кричал «свобода!» и «республика!», заставлял одного попа, за деньги, читать катехизис, составленный в их обществе, но солдаты не могли понимать ничего и спрашивали только: кто же будет *царем* в его *республике?*.. С такими деятелями нельзя было ждать успеха, и действительно, в начале 1826 года и этот последний деятель восстания был схвачен... Судьба их всех известна, конечно, читателям.

Сведения эти взяты нами из книги Шнитцлера: «Historie intime de la Russie sous Alexandre I et Nicolas I»*.

---

* «Интимная история России при Александре I и Николае I» *(франц.).— Ред.*

# ПИСЬМО К Н. И. ГРЕЧУ

Милостивый государь!

Вы, конечно, не стоите того, чтобы порядочный человек стал отвечать Вам. Но мое негодование при чтении Вашей статьи в «Северной пчеле» о смерти Николая Павловича было так сильно, что я решаюсь позабыть на несколько минут то глубокое презрение, какое всегда питал к Вам, и унизиться до того, чтобы писать к Вам, имея, впрочем, в виду не столько Вас, сколько самое правительство, возбуждающее появление подобных статеек.

Неужели Вы думаете, что Русь до сих пор так простодушна и глупа, как была за пятьдесят лет тому назад, когда Вы только что начинали еще свою позорную деятельность? Тогда Вы могли спокойно уверять и уверить всех в Вашем руссизме, могли увлечь квасным патриотизмом, могли безбоязненно проповедывать рабское подчинение деспотическим условиям Российской монархии и иметь успех так же, как имеет успех на церковной кафедре скучный проповедник, которого благочестивые слушатели слушают, зевая, и думают: правда, правда,— да ведь уж это все известно давным-давно. Иная старуха, пожалуй, заплачет даже от скуки и умиления, а потом и пойдут слушатели кто в должность — брать взятки, кто в кабак — выпить, кто в гости — посплетничать. В доброе старое время все точно так же согласились бы с Вами в законности тирании, безмолвно и безусловно, а между тем стали бы надувать начальство, воровать казенные деньги и всеми мерами подличать пред первым временщиком. Теперь другое дело: Русь не освободилась еще от подобных злоупотреблений, потому что они неразлучны с неограниченным правлением одного; но она

по крайней мере имеет слабость не считать всего этого законным, и уже много найдется в ней голов, готовых осудить всякое мошенничество, хотя бы оно нашлось в самом обожаемом идоле российских монархистов, имеющем весьма мало отличия от древних египетских богов.

«Плачь, русская земля! Не стало у тебя отца»,— говорите Вы. Досталось бы Вам за подобную дерзость при покойном Николае Павловиче. Как же не стало отца? А новый император? Разве он не отец? Или Вы думаете, что он еще слишком молод для этого? Не бойтесь! Окруженный подобными Вам пестунами, и он преждевременно состарится, отстанет от века и будет сечь плетьми и ставить на колени (с завязанными глазами) своих детей за то, что они не веруют более той святой истине, что рыбки пляшут на сковороде от радости при мысли, что царь будет их кушать.

Во всей Вашей статье, с начала до конца, преобладает реторика. Напрасно не сделали Вы ссылок на Кошанского или на Ломоносова, как он сам делал это в одном из своих похвальных слов[1]. Это было бы по крайней мере честнее. А то ведь, пожалуй, русский немец подумает (настоящий русский и настоящий немец не подумает), что покойник и в самом деле был и великий, и мудрый, и правосудный, и благочестивый. Что велик-то он был, это правда; но за это, кажется, достаточно вознагражден он уже тем, что гроб для него сделали в три аршина с половиною длины. Нечего было и толковать об этом. Мудрость его выразилась, может быть, в том, что он целый век позволял водить себя за нос иностранным дворам и потом за свои дипломатические неудачи отдувался боками русских солдат, которых для этого насильно исторгал из объятий жен и матерей. Правосудие его достаточно знает каждый правый человек, получавший из какой-нибудь палаты, суда или департамента указ его императорского величества императора и самодержавца всероссийского о том, что его процесс проигран, что просьба его не исполнена, что с него требуют штраф, что он присужден к лишению таких-то и таких-то прав. Подобных людей наберется пол-России. Другая половина тоже знает его правосудие, потому что тоже указом его императорского величества императора и самодержавца всероссийского утверждалось подделанное завещание, подложный вексель, оправдывалось намеренное банкротство, награждалось чинами и орденами самое отвратительное подличание, возвышались

казнокрады и люди, торгующие самыми священными чувствами человека. Знают это правосудие и те многие благородные мученики, которые за святое увлечение благом России, за дерзновенное обнаружение в себе сознания человеческого достоинства терзаются теперь в рудниках или изнывают на поселении в пустынной Сибири.

Что касается до его прославленного благочестия, оно не подлежит никакому сомнению. Известно, что православная церковь и деспотизм взаимно поддерживают друг друга; эта круговая порука очень понятна. Я бы мог Вам указать на то, что существует, кроме благочестия церковного, благочестие христианское, состоящее в братстве и любви, но Вы этого не поймете, и я скажу Вам только, что у нас благочестие подделывалось под царя, а не он следовал правилам благочестия. Какой-нибудь солдат Протасов[2] управлял всей церковью русской, и в нем выражалась всегда воля святого духа, который вечно пребывает в церкви. Известно, что монах, а особенно русский монах, готов за орден продать Христа и отложиться от самых святых своих убеждений (ежели таковые имеются); покойники хорошо поняли это и управляли архиереями точно так же, как ротой солдат. Ставили в митрополиты молчаливых, давали ордена за то, что архиерей представил из своего круга больше солдат из духовенства; давали им в епархиях право притеснять и терзать несчастных попов, которые, в простоте души своей, виноваты во всех нелепостях православия ровно столько же, сколько ослы и овцы виноваты в том, что они ослы и овцы. По благочестию же эти две главы церкви подкупили Семашко[3], который из-за чести быть подручником Протасова не усомнился подвергнуть ужасам раздоров, беспорядков и мерзости запустения целых два мильона униатов, вовсе не приготовленных к соединению с православием. Говорят, Клейнмихель[4] дал оплеуху какому-то архиерею. Не думаю, чтобы он забылся до такой степени; но уверен, что из всех существующих на Руси архиереев разве с пятью-шестью нельзя сделать этого, пользуясь покровительством царя!.. Царь у нас как богдыхан — и первый жрец и первый сановник. Он, правда, не служит сам обедни; но это только потому, что не хочет. Зато что хочет, то он беспрепятственно делает в духовных делах; захотел, чтобы обедню для него сократили,— и сократили. Захотел, чтобы многие из праздников были уничтожены,— и послушный синод уничтожил их. Не захотел пускать детей дьячков в гражданскую служ-

бу,— и поневоле должны были, бедные, идти в мужики или прямо в солдаты. Не захотел он праздновать в великую пятницу именины своей супруги,— и св. Александра по его воле переехала на два дня вперед со своим праздником. И за все это русская церковь так уверила покойника в его святости, что, умирая, он уже не сомневался в себе, даже не просил себе молитв православных, а, напротив, сам обещал России свое высокое покровительство, с важностью утверждая, что он будет за нас молиться, хотя об этом никто и не просил его.

Вы говорите, что «он был народолюбив и народом любим». Не совсем удачная игра слов и совсем несправедливая игра мыслей! Пожалуй, можно сказать, что он любил народ, как паук любит муху, попавшуюся к нему в паутину, потому что он высасывает из нее кровь,— как чиновник уголовной палаты любит преступления и преступников, без которых он не мог бы служить, брать взятки и жалованье,— как тюремщик любит арестантов, без которых ему самому некуда было бы деваться, потому что к другой должности он уже большею частью неспособен. В русском царе соединялись все эти побуждения в высшей степени: как паук сосал кровь своих подданных, как уголовный чиновник находил пищу для своей деятельности в наказании преступлений и даже издал собственное уложение о наказаниях уголовных и исправительных, где, кроме того, что прежде считалось преступным, также объявил преступлением всякое проявление самосознания, всякую светлую мысль о благе и справедливости, всякое покушение защищать собственную честь против подавляющего тиранства и насилия,— а исправлением (держась пословицы, что горбатого исправит только могила) назначил смерть физическую или политическую. Как тюремщик, наконец, сторожил он свой народ, крепкие кандалы надел на русский ум, не выпускал путешествовать на свежий европейский воздух, как бывало прежде дозволено, не дозволял даже узникам размениваться мыслями и понятиями с их родными братьями по мысли, установивши иностранную цензуру, которая, как высокий забор, отделила Россию от всех успехов мысли науки европейской.

Не знаю, может быть, по-Вашему, он достоин за все это венца небесного, но земной-то венец он носил тридцать лет совершенно недостойно, единственно благодаря тому, что крепка тюрьма русского народа и что в последнее время

этот народ совсем отстал от людей и ничего не знает, что делается на свете.

Любил ли его народ, любил ли наш народ кого-нибудь из царей, любит ли какой-нибудь народ тиранов своих — это еще вопрос, который, не думаю, чтобы мог быть решен в Вашу пользу. Не воображаете ли Вы, что Вы с братиею составляете русский народ? В таком случае Вы жестоко ошибаетесь. Знайте же, что для русского мужика царь есть отвлеченное понятие, самодовольное и всеблаженное, потому что имеет возможность *«одно сало есть»*. Для среднего сословия — это всевозможное великолепие, роскошь, золотой мундир, драгоценная порфира, семиверстный дворец — что за личность во всем этом скрывается, до этого дела нет. Для аристократов — это опора, на которой утверждаются их собственные притязания и права, дающие им удобство делать всевозможные мерзости. В ком же можно подозревать любовь к царю? Не в Вас ли? Поверьте, что Вы любите не его, а разве чины и награды, которые он Вам давал. Вспомните Ваши чувства, когда Востоков[5] получил Станислава, а Вы остались со своим комическим, осмеянным юбилеем. Разве не в том ли, может быть, видите Вы любовь русского народа к царю, что солдаты прокричат: «рады стараться», проходя мимо царя церемониальным маршем: да ведь это форма, солдат стал бы кричать, если бы ему приказано было командиром: «A bas Nicolas»*, совсем не понимая смысла этих слов. Или то удостоверяет в царелюбии, что около царя собираются многолюдные толпы, особенно в провинциях; да ведь толпы народа собрались и около человека, который наблюдал с площади беззубую муху на Адмиралтейском шпице.

Вы утверждаете, что «Николай Павлович был любимым сыном неба». Не находясь в таких коротких сношениях с небом, как Вы, не могу сказать, верно ли Ваше замечание. Нам, земным людям, известно только, что он был любимым сыном Марии Федоровны, которая и постаралась отнять для него престол у Константина. Деятельное участие его в этих интригах доказывает, между прочим, его непоколебимую честность и правдивость, о которой Вы отзываетесь с таким восторгом. Последующие события доказывают еще более его неустрашимость: в самом деле, человек, который своего брата не устрашился отравить[6] в благодарность за то, что

*Долой Николая! *(франц.)*. — *Ред.*

он уступил ему царство,— такой человек имел много мужества и уж никогда, конечно, не мог остановиться на пути к цели из сожаления пролить невинную кровь нескольких десятков тысяч русских рабов.

Что «он не лишился веры в человечество», как говорите Вы,— это, кажется, нисколько не удивительно: имея под руками такой простодушный народ, как русский, трудно не веровать в *человечество,* разумеется понимая его в Вашем смысле. Человечества в собственном смысле он не признавал; иначе он понял бы, что человек не может быть рабом человека, не может отступиться от своей воли, чести, рассудка для того, чтобы повергнуть их к стопам барина, который сознательно или бессознательно мучит его, совсем не по-человечески.

Соображая все, чему я был свидетелем в большую половину царствования Николая[7], я нахожу, что в самом деле в нем сильно развит был фатализм, который Вам угодно называть верою и преданностью к богу. К этому фатализму отношу я и его поездку в Москву во время холеры[8]. Если же и нет, то, как хотите, одно из двух: или он считал болезнь заразительною, и тогда его предприятие — глупое донкишотство, или не считал, и тогда... тогда эта поездка замечательна не более, как и Ваша поездка за границу.

Грустно и совестно говорить мне о строках, в которых, конечно против Вашей воли, отразилась, как в зеркале, Ваша подленькая натура. Вы не находите для честного человека других побуждений к исполнению долга, кроме желания наград и отличий и опасения ответственности. Вот истинно монархическое рассуждение настоящего русского подданного! Вот на чем утверждается сила и благоденствие России! Хорошо было бы, если бы все мы руководствовались такими правилами в наших служебных отношениях! До чего может опошлеть и измельчиться человек с этими царственными началами! Ваше превосходительство! замолчите, пожалуйста, на всю жизнь, Вы не подвергнетесь ответственности за это, и даю Вам слово, что положу на Ваш гроб Андреевскую цепь;[9] пусть Ваша душа запрыгает от радости на том свете.

«Как кстати умел он награждать!» — восклицаете Вы... Да, нельзя не согласиться: кстати отказался он от выгод частных акций, чтобы дать Клейнмихелю построить Московскую железную дорогу; кстати дал Бибикову[10] неограниченную власть в Киевском округе; кстати посылал сыновей

на Кавказ и в Крым за Георгием;[11] кстати послал Паскевича против неприятелей в прошлом году;[12] кстати Орлову дал графство и посадил его в III Отделение;[13] кстати разрешил юбилей темному грамотею Гречу... кстати поставил Антония митрополитом в Петербург; кстати и Панин попал в юстицию; кстати все эти Адлерберги, Пушкины, Назимовы поставлены на своих местах! Величайший остроумец в мире не придумал бы такого затейливого маскарада, какой представляют все эти сановники, так кстати помещенные на верхних ступенях государственной иерархии.

Впрочем, с другой стороны, нельзя не вспомнить и того, как сослан был на Кавказ генерал, дважды взявший царя в плен на маневрах;[14] нельзя не вспомнить о благоволении, какое оказано было Ермолову, о награде гениальному Дибичу[15]. Нельзя не вспомнить ссылки Пушкина и Лермонтова, смерти повешенного после прощения Рылеева[16], высланного Искандера, да мало ли кого можно вспомнить. Дело в том, что это делалось очень *кстати,* и уж именно на удивление и позор своим и чужим.

Помню я и рыцарское его великодушие в восстании декабристов, в польских делах 31-го года[17], в заговоре 48-го года[18]. В самом деле, сколько великодушия! Там его величество державным словом обещает забыть все и возвратить имущество изгнанникам: только жаль, что его слову уже не верят, и славный Чарторижский и доселе не посмел воспользоваться правом, обеспеченным надежным ручательством русского царя[19]. В другом случае он *всемилостивейше* повелевает сослать бедных молодых людей на всю жизнь в каторжную работу, лишая их даже счастья славно умереть за святое, правое дело. В отношениях к другим державам он выказал не только великодушие, но и любовь к своему собственному народу. В самом деле, вспомните египетские дела. Не великодушно ли, не благородно ли было, только что кончивши кровавую войну с султаном,— вдруг грудью стать за него, обрекать вновь на жертву смерти свои изнуренные войска, употреблять все средства своей топорной политики для того, чтобы поддержать его против Магомеда-Али, этой великой личности, столь много обещавшей сделать для цивилизации Востока?[20] Не великодушно ли было поддержать австрийского царя против движения свободной мысли и губить тысячи из своего народа, чтобы только не дать восторжествовать правому делу?[21] Не благородно ли, не чисто ли по-христиански было содействовать восшествию

на престол Луи Наполеона и поддерживать его против той фамилии, которой столько покровительствовал в прежнее время русский же царь?[22] Не показывает ли все это невиннейшее, баранье незлобие, забвение обид, любовь к врагам — только не своим, а своего народа и человеческих прав?.. Настоящий средневековый рыцарь или, еще лучше, пламенный юноша, спасающий лоретку Невского проспекта от преследований хорошенького офицера.

А твердость-то в убеждениях!.. О, это деревянная, каменная твердость!! Неподвижность истинно китайская!!! Да, впрочем, я подозреваю, что в этой голове нечему было и двигаться. Единственное возможное в его понятиях движение — это было движение и передвижение войск. Ему посвятил он всю свою жизнь и думал, что чем более он будет казаться солдатом, тем счастливее будет его народ; чем более будет терзать несчастные семейства земледельцев рекрутскими наборами, тем прочнее будет благосостояние России, тем непоколебимее станет ее могущество. Солдат по призванию, солдат по образованию, по наружности и по внутренности,— он ничего не знал и не хотел знать, кроме военной дисциплины. И будто этот человек мог наблюдать за строгим исполнением долга каждым членом государства!!! Что Вы? Да как он мог знать и понимать, хорошо ли идут дела государственные, знают ли свое дело чиновники, учители, духовные и проч.??? Неужели Вы настолько близоруки, что не видите даже того, что у него шил сапоги непременно пирожник, а сапожник, в свою очередь, обращен был в пирожника? Не видите ли Вы, что солдат управлял у него русской церковью; солдаты управляли народным просвещением; солдаты служили дипломатами; солдаты наблюдали за внутренним спокойствием и благосостоянием? В последние минуты жизни он вспоминал о своих солдатах и просил у них прощения, что не успел сделать для них всего, что хотел. О России он забыл или, может быть, думал, что она вся заключается в его войске. Интересно было бы видеть, что еще хотел он сделать. Вероятно, поставил бы унтер-офицеров митрополитами и попами служить ему обедню, по барабану, да посадил бы их на профессорские кафедры в университетах! И то ведь уж заставил маршировать студентов;[23] желал бы я посмотреть еще марширующих монахов!!!

Да еще куда бы ни шло, если бы солдат-то был по крайней мере хороший! Карл XII тоже был солдат; но в нем как-

то уважаешь эту львиную отвагу, этот военный гений, который осмыслял несколько его пристрастие и увлечение войною. Фридрих тоже был солдат; но зато прусская армия была при нем первой армией в мире. Не говорю уже о Наполеоне, который был велик и на войне и в мире — и как полководец и как законодатель. А наш покойник ведь только и ограничивался тем, что каждый год требовал новых рекрут из святой Руси, посылал их умирать за немецких королей, делал смотры, на которых сам отличался высоким ростом да громким голосом — и больше ничего!.. Целое царствование не мог он управиться с черкесами и в тридцать лет не мог привести свое войско в такое положение, что оно могло с успехом встретиться в чистом поле с солдатами образованных европейских наций. Величается тем, что бьет турок и персиан, а явился английский флот, и ни один корабль русский не смел выйти из гавани. Высадились союзники, и вот полгода губит наш *капрал* свои войска в Крыму; подвергает невозможным бедствиям несчастных жителей и до сих пор дожидался, кажется, опять жестокой зимы, чтобы заморозить, как в 12-м году, своих врагов, да потом и возвеличить свою мудрую распорядительность. Покойный воображал в этом деле выигрыш себе несколько миллионов славянского населения, находящегося под чужеземною властью. Недостало только сметки у его величества, что славянские народы довольно хорошо знают его, что если даже придется им менять турецкое подданство на русское рабство, так и тут они еще подумают.

Вы заканчиваете свою статью испрошением благословения сыну царя и всей *великой* семье его. Вероятно, не намеренно, но Вы жестоко сострили над ними. Дело в том, что царская семья действительно, говорят, не ограничивается теми членами, которые перечисляются в календарях. Маленькие графы Клейнмихели, говорят, правильнее могут быть названы Kleinnikolaus[24]. Говорят еще, что благочестивому царю святейший синод дал вечную индульгенцию на все подобные обстоятельства. За то и он сам, с примерным великодушием прикрывая грешки своей дочки, дал свою фамилию незаконным детям Марии Николаевны[25].

Не мудрено, что он надеется повалиться прямо в объятия божии на том свете. Он и здесь считает себя чем-то очень близким к божеству. Но ведь известно, что божества бывают разного рода — superioris et inferioris ordinis* — при-

* высшие и низшие *(лат.)*.— *Ред.*

3 Заказ 1079

том небесные, водяные и подземные. Мне кажется, что ему под стать будет сидеть на престоле с каким-нибудь Плутоном из черного древа.

Русские надеялись на его сына, но надежда эта очень шаткая. Трудно сыну отрешиться от прежних, отеческих правил. Для этого нужно много ума и силы воли. А еще неизвестно, в какой степени он наделен ими: если и захочет показать их, так, пожалуй, опозорит себя, доказавши только свои претензии и бессовестное упрямство. Да притом статейки, подобные Вашей (разумеется, в тысячу раз умнее), не замедлят появиться и окончательно собьют его с толку, заставят забыть, что есть суд истории, что он обязан отчетом пред самим собою и пред целым народом, если осмеливается принимать управление над ним, что он должен угождать народу, а не народ ему,— все это он забудет.

И что за страшная, непостижимая связь, что за отношение между народом и царем!!.. Должен быть царь,—уж это так, как должен быть конек на крыше у крестьянина! А зачем?!.. Да хоть бы царь-то хороший! А то — и не избранный, и не русский, и не отличный ничем, а так, какой попался!!.. Странно, как столько времени люди не могут подняться из грязи предрассудков. А впрочем, что ж такое? Считали же, бывало, кита царем рыб, да и теперь еще некоторые считают; а между тем он совсем даже и не рыба.

*Анастасий Белинский*

*21 февраля 1855 года*

# А. В. КОЛЬЦОВ

## ГЛАВА I

*Замечательные русские люди из простого звания. Кольцов. Чем он замечателен. Значение лирической поэзии вообще, и песни в частности. О характере русских народных песен. Как сочинялись у нас подражания им до Кольцова. Отличие песен Кольцова от этих подражаний и от самих народных песен*

Кольцов до последнего времени не пользовался у нас такой известностью, какой можно бы желать для него и какой он заслуживает. Правда, некоторые из его песен распространяются в публике и возбуждают сочувствие благодаря тому, что они положены на музыку и могут быть петы в обществе, с аккомпанементом фортепьяно. Но это случайное знакомство с двумя-тремя песнями весьма немногих приводит к более близкому и серьезному изучению произведений поэта. До сих пор еще много можно встретить людей, которые знают и ценят Кольцова — только как простолюдина-самоучку, выучившегося писать недурные стихи.

Действительно, и это обстоятельство само по себе стоит того, чтобы обратить на него наше внимание. Не удивительно, в самом деле, если является умный и образованный человек из такого семейства и вообще в том классе общества, где с первых лет жизни ребенка прилагают все старания, чтобы сделать его образованным. Нужно, напротив, с удивлением и сожалением смотреть на то, когда выходят пустые и ничтожные молодые люди из детей, которым даны все средства приобрести необходимые познания, развить свои умственные способности и сделаться людьми дельными и полезными. К несчастию, подобное явление очень неред-

ко, и чрезвычайно забавно бывает слушать рассуждения подобных пустых людей *об образованности*. Получивши кое о чем самые поверхностные понятия, они все-таки считают себя образованными и с презрением отзываются о простолюдине. И если из простых людей явится какой-нибудь человек, которого все признают замечательным, они с удивлением говорят об этом как о необъяснимом исключении. А между тем дело совершенно понятно. Что простолюдины вообще менее образованны — это зависит от того, что у них весьма мало средств получить образование. Зато, если какое-нибудь благоприятное обстоятельство поможет, крестьянский мальчик нередко образуется и развивается с удивительною быстротою. Это, без сомнения, зависит от того, что поселяне наши живут ближе к природе. Если мы обратимся к истории, то найдем, что из простолюдинов наших очень нередко выходили люди, отличавшиеся и силой души, и светлым умом, и чистым благородством своих стремлений, в самых трудных положениях, на самых высоких степенях государственных, в самых разнообразных отраслях наук и искусств. Вспомним, например, темного мещанина нижегородского Минина, спасавшего Россию в то время, когда не было в ней ни царя, ни порядка, ни заготовленных заранее сил... Вспомним другого простолюдина, костромского мужичка Сусанина, твердо и непоколебимо верного своим понятиям о долге, бесстрашно пожертвовавшего жизнью для спасения царя, в котором видел спасение всей России. Приведем себе на память Никона, крестьянского сына из бедной деревушки Нижегородской губернии, сделавшегося потом патриархом и одним из образованнейших людей своего времени. Обратим внимание на тех знаменитых людей, которые из низкой доли возвысились и прославились в разных отношениях при Петре и его преемниках. Меньшиков, по прекрасному выражению поэта, этот «полудержавный властелин»[1] при Петре, мальчиком бегал по улицам, продавая пирожки... Шафиров, бывший потом государственным канцлером, первый наш дипломат, в истинном смысле этого слова, был взят Петром из сидельцев мелочной лавки... Подобных примеров возвышения простолюдинов в государственном смысле мы могли бы насчитать много. Не менее личностей представляется и в области науки и вообще просвещения. Наш первый ученый, заключавший в себе, как сказал Пушкин, целую академию и университет[2], человек, трудившийся с такою пользою почти во всех родах зна-

ния,— Ломоносов, был архангельский мужик по происхождению. Наш знаменитый механик, которому удивлялись иностранцы и которого так уважала Екатерина II,— Кулибин, был нижегородский мещанин... В Курске живет до сих пор замечательный астроном — мясник Семенов...

В ряду таких имен видное место занимает и имя Кольцова. Простое его происхождение действительно в глазах наших дает новую цену его произведениям. Но мы очень ошиблись бы, если бы подумали, что Кольцов *только* тем и замечателен... Нет, в его произведениях много таких достоинств, которые высоко ценятся во всяком поэте, каково бы ни было его происхождение. Поэтому его никак нельзя сравнивать с другими крестьянами-стихотворцами, которых у нас было также немало. Например, у нас лет двадцать пять тому назад много говорили о Слепушкине, простолюдине, который тоже писал много стихов. Стихи эти были, в самом деле, довольно гладки, в некоторых видно было искреннее чувство, и многим интересно было читать его стишки, чтобы удивляться в них, как это русский простолюдин-самоучка дошел до того, что пишет не хуже многих других, ученых и образованных людей. Но если бы эти стихи написал человек в самом деле образованный, об них сказали бы все, что они не стоят внимания, и никто бы не стал их читать... Не таковы стихи Кольцова. Они были бы замечательным, необыкновенным явлением даже и в том случае, если бы их написал и не простолюдин, а поэт, получивший самое полное образование.

Но чем же особенно замечателен, какое важное значение может иметь человек, целый век свой сочинявший песни и только в песнях показавший весь свой талант?

Такого рода вопрос могут предложить многие, потому что многие считают поэзию и вообще искусство пустым препровождением времени, прихотью, роскошью, не имеющею никакого существенного значения в жизни. Для того чтобы ответить на это предубеждение, нужно обратиться к самым началам, на которых основывается существование поэзии, и объяснить, в чем состоит существо ее и в чем заключается большее или меньшее достоинство поэта.

Поэзия основывается на нашем внутреннем чувстве, на влечении нашей души ко всему прекрасному, доброму и разумному. Поэтому ее нет там, где участвует только какая-нибудь одна из этих сторон нашей духовной жизни, подавляя собою обе другие. Например, прекрасно сшитый фрак,

как бы он ни был прекрасен, не заключает в себе ничего поэтического, потому что тут нет ничего ни доброго, ни умного. Точно так — отдать в назначенный срок занятые деньги — дело доброе и честное, но оно не заключает в себе поэзии, потому что мы не видим в нем ни особенного умственного развития, ни изящества. Таблица умножения опять вещь очень умная, но нимало не поэтическая, так как ни красоты, ни добра, собственно, в ней мы не находим. Таким образом — высшая поэзия состоит в полном слиянии этих трех начал, и чем более поэтическое произведение приближается к этой полноте, тем оно лучше. Чтобы удовлетворить требованию добра, оно должно непременно быть *благородно* и *честно;* оттого нам не нравятся, например, стихотворения, в которых расточается подлая лесть, как бы эта лесть ни была хорошо выражена. Чтобы иметь значение пред судом ума, поэтическое произведение необходимо должно заключать в себе *мысль:* никого, например, не приведет в восторг простое перечисление нелюбопытных предметов или рассказ о каком-нибудь ничтожном происшествии, не заключающем в себе никакого внутреннего смысла. Всякий спросит: что же из этого? какая же мысль в этом рассказе?.. Но всего более требуется условий от поэтического произведения в отношении к чувству. Против него-то часто погрешают люди, принимающиеся за поэзию. Они нередко рассказывают о каком-нибудь обыкновенном поступке или излагают стихами свои убеждения и воображают, что это поэзия. Но на деле выходит, что они, увлекшись своими мыслями или добрыми стремлениями, не позаботились вовсе о чувстве и потому вместо поэзии пустились в дидактику, т. е. в холодные рассуждения. Чувство наше возбуждается всегда живыми предметами, а не общими понятиями. Если даже, например, читая какое-нибудь рассуждение, мы вдруг ощущаем в душе чувство приятное или неприятное вследствие мыслей, в нем изложенных, то это может случиться не иначе, как когда мы живо представим себе предмет, о котором тут говорится. В этом представлении общая мысль непременно получит для нас какой-нибудь определенный образ, например, от понятия бедности мы можем перейти к представлению бедняка, голодного, в рубище и пр., от понятия счастья — к представлению какой-нибудь картины жизни, в которой мы сочли бы себя счастливыми, и т. п. На этом основании для поэзии необходимы живые, определенные *образы,* чтобы она могла удовлетворить на-

шему чувству. А могут явиться в душе эти образы только тогда, когда мысль, которую хотим мы развить в поэтической форме, не только хорошо понята нами, но и вполне живо и определенно представляется нашему сознанию, так что легко возбуждает чувство в душе человека. В этой-то стороне и заключается главное отличие так называемых поэтических натур. *Понять* истину может всякий умный человек; *стремиться* к *добру* должен и хочет всякий человек, не лишенный благородства души. Но сильно *почувствовать* и правду и добро, найти в них жизнь и красоту, представить их в прекрасных и определенных образах — это может только поэт, и вообще художник.

Строго говоря, поэтическое чувство есть почти во всяком человеке. Чрезвычайно трудно найти таких грубых и холодных людей, на которых ничто не производило бы впечатления, которые были бы равнодушны ко всему на свете. Но в обыкновенных людях чувство это проявляется очень слабо и нередко заглушается разными житейскими расчетами и обстоятельствами. В поэте же оно развивается весьма сильно, является господствующим над другими сторонами души и выражается очень ярко, несмотря на все внешние препятствия.

Впрочем, и в самих поэтах чувство это бывает различно как в степени своей силы, так и в направлении. Смотря по разным обстоятельствам жизни и по самому природному темпераменту, чувство поэта может обращаться преимущественно в ту или другую сторону, как и вообще это бывает у прочих людей. Так, например, часто встречаются в обществе прекрасные рассказчики, которые умеют живо и занимательно передать анекдот, происшествие, но не могут определенно и верно описать предмет и передать впечатление, какое он производит. Другие, напротив, именно отличаются уменьем изображать предметы и так прекрасно их описывают, что они представляются слушателям как живые и вследствие того легко возбуждают в душе их глубокое чувство. Есть и третий род рассказчиков, которые умеют так живо подметить особенности людей и предметов, что просто представляют их, подражая им голосом, телодвижениями, изменениями лица и пр. Это самый живой род рассказчиков... То же бывает и в поэзии. Одни поэты преимущественно умеют хорошо рассказать происшествия, случающиеся в жизни. Это называется *эпической*, или повествовательной, поэзией, к которой относятся поэмы, романы, повести,

сказки и пр. Другие особенно хорошо могут изображать предметы и передавать то чувство, то впечатление, которое эти предметы возбуждают в душе. Это поэзия *лирическая*, к которой относятся все почти роды мелких стихотворений и которая названа так оттого, что в древности все подобные стихотворения пелись и это пение сопровождалось игрою на лире. Наконец, есть поэты, которые, ничего не говоря сами от себя, выводят перед нами разные лица и заставляют их говорить и вступать в различные отношения между собою: это *драма*, под которой разумеется и комедия и вообще всякое театральное представление.— Эти три рода и составляют всю область поэзии. Других родов, кроме этих, нет.

Разумеется, нужно помнить, что и здесь нельзя совершенно отделять этих трех родов в поэтических произведениях. И в повести часто разные лица вступают в разговоры и сами действуют так, что автор от себя не говорит уже за них; и в драме бывают речи, полные лирического чувства; и в лирическом стихотворении может быть введен рассказ для того, чтобы еще сильнее возбудить чувство. Без этого смешения нельзя обойтись, потому что и в жизни оно беспрестанно встречается, а поэтическое создание тогда и хорошо, когда оно живо и верно раскрывает перед нами все, что есть в жизни. Различие между тремя родами поэзии основывается не на исключительном, а только на преимущественном участии в произведении — или *описания*, или *рассказа*, или *действия*.

Из трех названных нами родов поэзии лирический распространен всего более. В самом деле, мы беспрестанно испытываем различные впечатления от предметов, беспрестанно в душе нашей появляются мимолетные разнообразные чувствования. Каждое из таких впечатлений и чувств может дать содержание для лирического стихотворения. И поэт, изображая такие впечатления и чувства, оказывает большую услугу людям: без него много прекрасных чувств и благородных стремлений было бы забыто нами; они появились бы в нас на минуту и тотчас исчезли бы под влиянием разных житейских забот и мелочей. Поэт, умеющий прекрасно изобразить сердечное чувство, дает нам прочное напоминание о нем и вновь вызывает из глубины души то, что прежде было заглушено в ней разными внешними обстоятельствами. Поэтому-то достоинство поэта зависит, с одной стороны, от того, как сильно в нем поэтическое чув-

ство, а с другой — от того, на какие предметы и на какие стороны предмета оно обращается. Последнее зависит уже от умственного развития. Есть такие поэты, которые, кроме живости чувства, ничего не имеют. Они до того ограничены умственно, что целый век могут петь все на одну какую-нибудь, часто ничтожную, тему, и то ясно не понимая ее. Иные, например, во множестве стихотворений все толкуют о какой-то неопределенной грусти; а о чем они грустят — этого сами они хорошенько не понимают. Другие все восхищаются чем-то, уверяя, что жизнь и мир хороши; но почему хороши, как и в чем именно видно хорошее, прославляемое ими,— это для них самих чрезвычайно темно... Такие поэты, имея очень мало мыслей в своей поэзии, не могут иметь важного значения. Есть также и другого рода поэты, тоже мало развитые умственно, хотя и знающие довольно многое. Они обращаются к изображениям разных предметов и чувств, но не умеют при этом просто и верно взглянуть на предмет, чтобы тотчас схватить его существенные, главные стороны. Какие-нибудь неважные черты, совершенно случайные, без которых легко обойтись, кажутся им необходимыми, а главное и необходимое остается в стороне. Произведения таких поэтов опять не могут иметь особенных поэтических достоинств, оставаясь совершенно ничтожными и даже смешными перед судом людей, понимающих вещи как следует...

С другой стороны, и умные люди могут быть очень плохими поэтами. У них часто рассуждения заменяют чувство и в душе нет той *чуткости,* той восприимчивости, которая делает поэта весьма чувствительным ко всякому явлению природы и жизни. Они или вместо живого изображения дают нам общие фразы, которые всегда скучны, или, не чувствуя поэзии в простоте и естественности явления, которое берутся изображать, прибегают к преувеличениям и украшениям, создавая чудовищные, неестественные образы, каких нет и не может быть в природе. Такие поэты опять не могут иметь никакого значения, потому что они не удовлетворяют поэтическому чувству, живущему в душе каждого человека.

Из всего, что мы сказали, можно уже видеть, что поэзии лирической никак нельзя отказать в важном значении для общества. Это значение является и в *песне,* как одном из видов лирической поэзии. Именем *песни* вообще называют иногда всякое лирическое стихотворение, и даже вообще

поэзию называют *песнопением.* Но собственно под *песней* принято разуметь небольшое лирическое произведение, которое удобно для пения и в котором выражается внутреннее чувство, возбужденное явлениями обыкновенной жизни. Такие песни существуют у всех народов, но, по свидетельству всех занимавшихся исследованием народной поэзии, ни один народ не отличается такой любовью к пению, как славяне, и между ними русские. У нас народ сопровождает пением все торжественные случаи своей жизни, всякое дело, всякое веселье и печаль. Еще в колыбели дети убаюкиваются песнями; подрастая, они сами выучиваются напевать народные песни. Собирается зимой молодежь крестьянская на посиделки, и здесь раздаются песни; приходит весна, выходят поселяне встречать ее, составляют хороводы, завивают венки и при этом непременно поют песни. Едет крестьянин пахать землю, он облегчает труд свой песней; собираются крестьяне жать, косить в знойную рабочую пору, и здесь песня звучит между ними, освежая их среди тяжелых трудов. Провожают лето, празднуют уборку хлеба — опять с песнями. Песня сопровождает поселянина во всех его общественных трудах; она же следует за ним и в семейную жизнь его. Собирается ли молодец жениться, его сватанье, девишник, свадьба — все это непременно оглашается песнями, готовыми нарочно на этот случай. Настает ли тяжелая разлука с семейством, мать провожает сына, жена мужа — с рыданиями, причитаньями и пением. Умирает ли человек, над ним раздаются похоронные, печальные песни... Так ли, почему-нибудь нападает грусть-тоска на душу, она сейчас изливается в грустной песне... Веселье ли заберется в сердце, и оно не удержится в нем без того, чтобы не выразиться в удалой, разгульной песне...

Но у нас мало песен веселых... Большая часть наших народных песен отличается тяжелой грустью. То в них плачет мать по сыне или невеста по женихе; то молодая жена жалуется на суровость мужа и злость свекрови; то добрый молодец в чужой дальней стороне тоскует по родине, в разлуке со всеми милыми его сердцу; то бедняк, убитый своим горем, сокрушается, что ничего не имеет и живет в презрении. Во всем видно желание чего-то, стремление к какой-то лучшей доле, какой-то порыв души, но порыв неопределенный, странный, часто уничтожающийся сам собою. Порой выражается в песне какой-нибудь отчаянный, удалой порыв,

и часто этот порыв бывает и неразумен и несогласен с нравственностью общественною...

Много в этих песнях чувства: но, как видим, мало разумности, потому что стремления большею частию бессознательны. Не везде видно и добро. Поэтому они не могут, говоря вообще, стоять очень высоко в поэтическом отношении, хотя и есть между ними произведения очень поэтические. Во многих находим прекрасные изображения природы, хотя здесь заметно сильное однообразие, которое отчасти объясняется общим грустным характером песен: обыкновенно в них представляется пустынная печальная равнина, среди которой одиноко стоит несколько деревьев, а под ними раненый или убитый добрый молодец; или же несколькими чертами обрисовывается густой туман, павший на море, звездочка, слабо мерцающая сквозь туман, и девушка, горюющая о своей злой судьбе. Нигде почти нет светлых, радостных картин природы или ужасных, бурных ее явлений. Все полно тихой грусти, часто переходящей в горькую иронию, а иногда разрешающейся отчаянным удалым порывом.

Народные наши песни долго не обращали на себя внимания и даже навлекали презрение многих в прошлом столетии. Но когда мало-помалу распространились и утвердились у нас более правильные понятия о поэзии вообще, тогда оставили предубеждение против народных песен, стали их собирать и даже подражать им. Но подражания эти были решительно неудачны, потому что авторы их приступали к делу совершенно неискусно и притом с ложными взглядами на поэзию, заранее составленными. Они не хотели понять, что достоинство поэта заключается в том, чтобы уметь уловить и выразить красоту, находящуюся в самой природе предмета, а не в том, чтобы самому выдумывать прекрасное. Они воображали, что природа недостаточно хороша и что нужно *украшать* ее. Поэтому и народные песни показались им дикими и грубыми, потому что в них верно и без всяких прикрас отражается грубый быт простолюдинов. Таким образом, они постарались откинуть все, что напоминает о действительной жизни, т. е. откинуть всякую поэзию, и наместо того придумали одеть мужиков в поэтические кудри да в богатые кафтаны, баб нарядить в великолепные кокошники и душегрейки, сделать их сентиментальными пастушками и придать им приторные, ненатуральные, небывалые чувствованьица. Из этого вышли рито-

рические фразы, не заключающие в себе никакой поэзии; но тогда все подобные сочинители думали, что они хорошо делают, поправляя и украшая таким образом природу. В этом роде писали у нас в конце прошедшего столетия; тогда появились и идиллии, и элегии, и песни, взятые из народного быта, но страшно украшенного, т. е. искаженного. То же старание представлять все не в простом, естественном виде господствовало тогда, по подражанию французам, и во всей нашей литературе; и те же сентиментальные, приторные чувства находим мы во множестве песен, которые сочинялись тогда по образу народных и имели большой успех. Так, известны сочинители подобных песен: Карабанов, Николев, Нелединский-Мелецкий. Многие их песни положены были на музыку и проникли даже в народ, т. е. в те сословия его, которые начинали уже удаляться от первоначальной простоты жизни, но еще не достигли до образованности. Каковы эти песни, можно видеть из нескольких примеров. Вот, например, песенка Карабанова, в свое время бывшая в большом ходу:

Лети к моей любезной
Ты, песенка моя,
Представь ей рок мой слезный,
Скажи, как страстен я.
Поди в прелестны руки,
Предстань ее очам,
Скажи сердечны муки
Небесным красотам.
Скажи, что лучшей доли
Не стану я желать,
Как сладкой лишь неволи —
Ее закон внимать...

И так далее — еще сорок стихов, в которых повторяются все одни и те же риторические фразы. Нет ни жизни, ни естественности, ни мысли. А это еще едва ли не лучшая песня Карабанова...

Или вот еще песня, известная в целой России, сочинения Нелединского-Мелецкого:

Выду я на реченьку,
Погляжу на быструю —
Унеси ты мое горе,
Быстра реченька, с собой!

Нет, унесть с собой не можешь
Лютой горести моей;

Разве грусть мою умножишь,
Разве пищу дашь ты ей.

За струей струя катится
По склоненью твоему;
Мысль за мыслью так стремится
Все к предмету одному...
и пр.

Вся песня очень длинна, и продолжение несравненно хуже начала. Здесь видно старанье подделаться под народный тон — обращением к реке, как это часто делается в русских песнях. Но далее сейчас является книжное сравнение мыслей со струями реки и неловкий оборот поэтической речи в оговорке: «Нет, унесть не можешь». И во всем тоне песни так и видно, что тут говорит не искреннее чувство, вырвавшееся из души, а просто реторические, холодные фразы, придуманные на досуге... С течением времени понятия о том, что можно считать прекрасным в поэзии, несколько изменились, в народных песнях признали действительные их достоинства и стали по всей России собирать их. Г-н Сахаров издал сборник песен народных в пяти частях. Кроме него, и другие издавали небольшие собрания песен. Обширное собрание песен составлено г. Киреевским, который, однако, умер недавно, не успевши окончить своего дела... Узнавши лучше, чем прежде, подлинные народные песни, писатели наши стали несколько более приближаться к ним и в своих подражаниях. Из таких писателей замечательнее других были Мерзляков, барон Дельвиг и Цыганов. У них встречаются места, близко подходящие по духу своему к нашим народным песням; есть даже целые песни, хорошо выражающие чувства грусти, тоски и т. п. Так, например, у Мерзлякова есть прекрасная песня: «Чернобровый, черноглазый», у Дельвига: «Ах ты, ночь ли, ноченька» и пр. Но и у них все еще очень мало чисто русского, народного. Чувства, выражаемые в их песнях, принадлежат не простым людям, живущим близко к природе, говорящим просто и естественно, а таким людям, которые нарочно стараются быть дальше от естественности и которые, по прекрасному выражению Грибоедова (в «Горе от ума»),—

Словечка в простоте не скажут,— все с ужимкой.

Вот, например, одна из лучших песен Дельвига, имевшая большой успех еще в недавнее время:

Пела, пела пташечка,
И затихла.

Знало сердце радости,
Да забыло.
Что, певунья пташечка,
Замолчала?
Что ты, сердце, сведалось
С черным горем?
А, сгубили пташечку
Злые люди;
Погубили молодца
Злые толки,
Полететь бы пташечке
К синю морю;
Убежать бы молодцу
В лес дремучий.
На море валы шумят,
Да не вьюги;
В лесе звери лютые,
Да не люди.

В этой песне форма как будто народная; но стоит немного всмотреться в нее, чтобы увидеть, какая это неудачная подделка. Самое сравнение молодца с пташечкой совершенно не в духе русского народа. Сравнение это проведено по всей песне так формально, ровно — через два стиха, что становится совершенно мертвым, пустым приноровлением, без всякого участия сердечного чувства. Как придуманное, а не естественное, сравнение это и неверно само по себе: в начале песни губят пташечку *злые люди,* а в конце она летит к морю, чтобы спастись от *вьюги;* вьюги эти сравниваются, значит, с злыми толками, погубившими молодца, а звери лесные ставятся в параллель с морскими волнами. Как и почему все это выходит — нечего и спрашивать. Да и основная мысль пьесы, что молодец бежит в лес от злых толков, решительно нейдет к нашему простому, умному народу: она могла родиться разве только у человека, пожившего между сплетнями светского общества.

От всех этих песенок песни Кольцова отличаются, как небо от земли. В его стихах впервые увидали мы чисто русского человека, с русской душой, с русскими чувствами, коротко знакомого с бытом народа, человека, жившего его жизнью и имевшего к ней полное сочувствие. Его песни по своему духу во многом сходны с народными песнями, но у него более поэзии, потому что в его песнях более мыслей и эти мысли выражаются с большим искусством, силою и разнообразием, потому что чувства его более глубоки и сознательны и самые стремления более возвышенны и определенны. Обстоятельства жизни, поставивши Кольцова близко

к народному быту, с одной стороны, дали ему возможность узнать истинные нужды народа и проникнуться его духом. Но, с другой стороны, те же обстоятельства, возвысивши Кольцова некоторым образованием, сделали то, что все, бывшее в народе грубым, бессознательным, неопределенным, явилось в Кольцове обработанным, разумным, определенным.

Каким образом он дошел до этого, объясняет нам его жизнь, с которой непосредственно связана вся его поэзия. Мы обратимся теперь к рассказу об этой замечательной жизни, а потом представим несколько частных замечаний о различных особенностях, заключающихся в поэзии Кольцова, и особенно в тех его стихотворениях, которые носят название русских песен.

## ГЛАВА II

*Детство Кольцова. Его отец; первые годы жизни, начальное воспитание; училище, домашние занятия; пребывание в степи; любовь к природе; страсть к чтению; дружба*

Алексей Васильевич Кольцов родился в 1809 году, 2 октября[3], в Воронеже. Отец его был воронежский мещанин, небогатый, но имевший некоторый достаток. Промысел его состоял в торговле баранами, которых он доставлял большею частию на салотопенные заводы, существующие в том краю. Отец Кольцова не был настолько образован, чтобы ценить пользу просвещения и желать его для своего сына. Это был, сколько можно судить по некоторым намекам в жизни Кольцова, человек неглупый, ловкий, умевший хорошо обделывать свои дела и готовый употреблять даже не совсем чистые средства для своей выгоды — дело, впрочем, слишком обыкновенное в нашей мелкой торговле вообще. Но, несмотря на свою практическую смышленость, отец Кольцова совершенно не имел того умственного развития, которое облагороживает человека и внушает ему лучшие и высшие стремления. Он весь погружен был в коммерческие сделки, вечно хлопотал только о своих барышах, и потому, естественно, не мог оценить, как следовало, дарований и стремлений своего сына. В первые годы своей жизни Кольцов оставлен был решительно без всякого надзора и попечения. Никто не заботился не только о его умственном и нравственном развитии, но даже и о сохранении его телесного здоровья и жизни. И ныне часто можно видеть в селах и небольших городах целые толпы мальчиков и девочек, от пяти до десяти лет, бегающих по улицам без вся-

кого призора. Они обыкновенно босоноги, запачканы, не причесаны, не умыты, бегают где и как попало, ссорятся, дерутся между собой. Нередко тут схватывают они опасную простуду, или другую болезнь, или какое-нибудь увечье и с этим остаются на всю жизнь. В таком точно положении был Кольцов в раннее свое детство, и он, как многие, поплатился здоровьем за небрежение старших. Бродя босиком по траве и лужам, он схватил опасную болезнь, от которой чуть было совсем не лишился употребления ног. Его принялись лечить на этот раз и вылечили, но тем не менее болезнь эта и впоследствии нередко отзывалась ему.

При таком небрежении нельзя было и ожидать, чтобы натура мальчика развивалась совершенно хорошо. Однако при всем этом его естественные способности и расположения взяли свое. Там, где другие дети видят только случай к дурачествам, лени и безнравственному развитию, Кольцов нашел запас прекрасных впечатлений и возможность приблизиться к вечно живым красотам природы. Он нередко убегал в лес, в степь со стадами отца и там еще бессознательно, но, конечно, уже не без участия пробуждающегося поэтического чувства предавался наслаждению природой, которую он впоследствии так хорошо изображал в своих песнях. Замечено, что впечатления, какие мы получаем в детстве, бывают всегда чрезвычайно сильны, живы и долговечны, оставляя в душе неизгладимые следы на всю последующую жизнь. Поэтому, судя по стихотворениям Кольцова, мы можем заключить, что его в первые годы жизни более поражали чистые, живые явления природы, нежели те грязные, пошлые, мелкие, нередко безнравственные случайности, которых он мог бы насмотреться дома, в торговых отношениях отца. Таким образом, и то, что могло бы погубить другого ребенка, самый недостаток надзора и заботливости старших в первоначальном воспитании — послужил Кольцову в пользу, сблизивши его с природой и охранивши от мелочных дрязгов грубой жизни...

Не считая нужным давать хорошее образование своему сыну, отец Кольцова просто хотел сделать из него способного помощника себе в хозяйстве и промысле. Но он умел сообразить, что и для этого нужны же некоторые знания, и потому решил наконец, что надобно выучить сына грамоте.

Кольцову уже было девять лет, когда он начал учиться читать у какого-то из воронежских семинаристов. Можно

было бы ожидать, что, привыкши до этих пор бегать по своей воле, он очень неохотно сядет за книгу. Но натура мальчика была так хороша, что сама стремилась к знанию, и грамота далась Кольцову весьма легко. Скоро он выучился читать и для дальнейшего продолжения ученья отдан был отцом в Воронежское уездное училище. Нет никаких сведений о том, как он учился там; но очевидно, что он успел узнать очень немногое в то недолгое время, которое пробыл в школе. Вероятно, и здесь он не отставал от других, потому что был переведен во второй класс; но в этом классе он пробыл всего только четыре месяца. Отец его, видя, что мальчик выучился уже читать, писать и считать, решил, что более учиться ему совершенно не нужно, и взял его из училища для того, чтобы он удобнее и легче мог помогать ему в хозяйственных делах. Не знаем, с каким чувством тогда Кольцов оставлял училище; может быть, как большая часть мальчиков, он и рад был тогда, что избавляется от школьной премудрости. Но зато впоследствии, в продолжение всей своей жизни, он постоянно с сожалением вспоминал об этом обстоятельстве, лишившем его возможности приобрести даже первоначальное образование. Как ни глубок был его природный ум, как ни светла голова, как ни много впоследствии работал он сам для образования себя — но всего этого было недостаточно для того, чтобы вознаградить потерянные годы детства и отрочества, проведенные им без всякого ученья.

Одно доброе последствие, которое осталось в нем от училища, это была страсть к чтению. Стремление к приобретению познаний, к умственным занятиям никак не могло совершенно заглохнуть в нем. Оно было в нем, как во всех умных и неиспорченных детях, даже сильнее общей и естественной в эти лета страсти к игрушкам и лакомствам. Ласкает и награждая сына, как умного мальчика и хорошего помощника своего, отец Кольцова иногда давал ему несколько денег на пряники и игрушки. Многие не одобряют обычая давать деньги детям, не умеющим еще употреблять их, и это отчасти справедливо. Но, с другой стороны, натура ребенка, его нравственные расположения и даже степень умственного развития могут чрезвычайно ясно выразиться именно в том, *на что* и *как* употребит он свои деньги... Кольцов употреблял их *на покупку книг*. Видно уже и из этого, как сильна была в нем потребность образования и хотя какой-нибудь умственной деятельности. Но само собой

разумеется, что, не получивши даже первых начал общего образования, Кольцов не мог обратить своего внимания на что-нибудь действительно важное и серьезное в области науки или искусства. Ему нужно было чтение, которое было бы доступно его уму, не развитому ученьем. Такое чтение нашел он в русских сказках. Сказки эти, совершенно далекие от действительного быта, изображающие какой-то фантастический, неясный мир чудес и мечтаний, где все делается не по естественным законам, а по щучьему веленью да по «заветному» слову[4],— эти сказки, не требуя для понимания их особенного научного приготовления, пришлись как раз по плечу мальчику Кольцову. Ум его не встречал здесь непонятных трудностей, а между тем воображение было занято удивительными приключениями, которые в них рассказываются; для чувства также было занятие — с участием следить за судьбою героя сказки. Не мудрено поэтому, что Кольцов пристрастился к чтению русских сказок, как ни плохи они сами по себе. Он покупал дешевые лубочные издания сказок, и особенно его восхищение возбуждали Еруслан Лазаревич и Бова Королевич. Чтение это развивало, конечно, его пылкое воображение и вообще производило сильное впечатление на страстную натуру его. Может быть, подобные впечатления, развившись слишком сильно, были бы даже и вредны для его нравственного развития. Но тут, как всегда, спасла его близость к природе и живая деятельность. Маленький Кольцов и в одиннадцать — двенадцать лет не имел уже времени праздно предаваться пылким фантазиям. Мы видели, что отец взял его из училища совсем не затем, чтобы он мог на свободе читать и мечтать, а для того, чтобы иметь в нем помощника себе. Поэтому с двенадцати лет Кольцов вошел уже в подробности промысла своего отца. Эти промышленники, перегоняющие скот и торгующие им, называются у нас *прасолами*, и оттого нередко можно услышать присвоенное Кольцову имя *поэта-прасола*. Ремесло прасола отчасти приучало мальчика к действительной жизни, отчасти же сильно помогало сближению его с природой. В Воронежской губернии для выгона скота существуют, не так далеко от самого Воронежа, целые роскошные, обширные степи. Там обыкновенно во время лета гулял скот, принадлежавший отцу Кольцова. Хозяин по временам навещал свои стада, чтобы сделать нужные распоряжения, а в эти поездки брал с собою и сына. Иногда ему приходилось оставаться там по не-

скольку дней, и тут вполне разыгрывалось и удовлетворялось поэтическое чувство мальчика. Он радостно всматривался в прозрачную даль широкой степи; прислушивался к простому говору временных ее обитателей — чумаков, пастухов; чуял своим сердцем живые впечатления и веселого пения птички, и красоты весенней травки, и порывы степного ветра и все это превосходно умел изобразить потом в своих простых, но глубоких стихах. Вот как описывает он степь:

Степь раздольная
Далеко вокруг,
Широко лежит.
Ковылем-травой
Расстилается.
Ах ты, степь моя,
Степь привольная!
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Черному
Понадвинулась...

В этих стихах видно живое, радостное упоение чувством широкого раздолья степи; подобное же светлое чувство наслаждения степной природой выражается и в следующих стихах:

Весною степь зеленая
Цветами вся разубрана,
Вся птичками летучими,
Певучими полным-полна...
Поют они и день и ночь...
То песенки чудесные!..

Но та же степь своим пустынным величием и тишиною навевала и грусть на душу поэта, как высказывается это, например, в последних стихах стихотворения «Могила»:

Веет над могилой,
Веет буйный ветер,
Катит через ниву
Мимо той могилы —
Сухую былинку,
Перекати-поле;
Будит вольный ветер,
Будит, не пробудит
Дикую пустыню,
Тихий сон могилы.

Тем же чувством полно стихотворение «Путник»:

Сгустились тучи, ветер веет,
Трава пустынная шумит;
Как черный полог, ночь висит;
И даль пространная чернеет;
Лишь там, в дали степи обширной,
Как тайный луч звезды призывной,
Зажжен случайною рукой,
Горит огонь во тьме ночной.
Унылый путник запоздалый,
Один среди глухих степей,
Плетусь к ночлегу; на своей
Клячонке тощей и усталой
Держу я путь к тому огню;
Ему я рад, как счастья дню...

От этой жизни, от этой степи Кольцов не отрывался надолго во все продолжение своей жизни; но все же первые впечатления степной природы запали в его душу еще во время ранней юности, когда все наши чувства бывают так свежи и живы. В это время он свыкся со всеми удобствами и невыгодами, красотами и неприятностями степи. Иные дни он вполне отдавался наслаждению природой и деятельностью: то раскидывался он на свежей траве, под чистым небом, то по целым дням носился по степи на коне, перегоняя стада с одного места на другое, то располагался около огня,

Где спела каша степняка
Под песнь родную чумака.

Таким образом, здесь же он знакомится и с преданьями родной страны, как сам вспоминает впоследствии в одном из своих стихотворений:

Бывало часто, ночью темной,
Я с ними время разделял
И, помню, песням их внимал
С какой-то радостью невольной.

Были, разумеется, и неудобства в этом поэтическом провождении времени в степи. Не всегда она была цветами разубрана, не всегда горячо пекло ее солнышко; случалось Кольцову бывать в ней и во время холодной осени, подвергаться влиянию холодного, порывистого ветра, ночевать на влажной земле, на холоду, бродить на грязи и слякоти. Но, не приученный к неге и имевший очень крепкое сложение, Кольцов не чувствовал от этого особенно вредных последствий.

Зимою занятия мальчика переменялись. Отец посылал его на базар, с своими приказчиками, для закупки и продажи товара. Тут должен был Кольцов познакомиться со всеми дрязгами мелочной торговли; ему приходилось видеть тут и грубую, грязную жизнь, и мелкие плутни и обманы, и пошлости людей, которые сталкивались с ним. Будь в нем менее ума и благородства, не будь в его душе глубокого поэтического чувства — трудно было бы ему уберечься от дурных влияний. Но он умел сохранить и здесь чистоту души своей и остался поэтом и человеком благородным.

Отдыхом от этих торговых занятий опять служили ему книги. Возвращаясь домой, во время зимы, он принимался за чтение, которое теперь становится у него разнообразнее и принимает несколько другое направление. Этому помогло следующее обстоятельство. В училище Кольцов сблизился и подружился с одним мальчиком, сыном богатого купца, ровесником ему по годам. Дружба их продолжалась и по выходе Кольцова из училища и отличалась сердечным и благородным направлением. Она была основана не на том, что маленькие друзья играли вместе и помогали друг другу в детских шалостях. Напротив, они сошлись потому, что оба страстно любили чтение и вместе читали попадавшиеся им книги. Отец приятеля Кольцова имел довольно много книг, и приятели целые дни проводили вместе в саду, читая романы Дюкре-Дюмениля, Августа Лафонтена и пр. Эти романы уже несколько выше русских сказок по искусству рассказа; но все еще в них очень много сказочного. Они совсем не похожи на современные романы и повести, в которых мир и жизнь описываются так, как они в самом деле существуют. Там все преувеличено, все необыкновенно, все представлено так, как никогда не бывает в действительной жизни, и потому немножко уродливо. Но Кольцов, свыкшийся с простой и не совсем привлекательной действительностью, рад был отдохнуть в этом воображаемом мире, рад был помечтать над судьбою романтических героев; на него эти рассказы —

Наводили сны,
Сны волшебные,
Уносили в край
Заколдованный...

Особенно нравились ему арабские сказки, которые доставляли обильную пищу его воображению своими волшеб-

ными, занимательными рассказами и роскошными описаниями.

Так прошло три года. Кольцову было уже лет четырнадцать, когда его поразил внезапный удар, нанесенный его дружбе. Приятель, которого он так полюбил, с которым делил до сих пор лучшие свои чувства, которому он обязан, может быть, лучшими минутами своей отроческой жизни,— умер от болезни. Это было первое несчастие, поразившее чувствительное сердце Кольцова. Он глубоко и тяжело горевал о погибшем друге, с которым находил отраду для своего сердца. К нему, кажется, обращался он в 1828 году в стихотворении «Ровеснику»:

О чем, ровесник молодой,
Горюешь и вздыхаешь?
. . . . . . . . . . . . .
Страшна ли жизни темна даль
И с юностью прощанье?
Или нежданная беда
Явилась и сразила?
Житейская ль тебя нужда
Так рано посетила?..

Все это стихотворение, один из самых первых опытов Кольцова, еще очень слабо; но в нем все-таки заметно искреннее чувство, видна чистота и благородство стремлений, которые он питал в своей душе с самого раннего детства и без которых не мог бы быть столь замечательным поэтом.

## ГЛАВА III

## *Первое знакомство Кольцова со стихотворениями и первые попытки собственного стихотворства. Воронежский книгопродавец. Дружба с Серебрянским. Семейные отношения*

Глубоко пораженный смертью своего приятеля, Кольцов долго не мог забыть его и находил некоторое облегчение своей грусти в перечитывании книг, оставшихся ему после молодого друга. Таким образом, благородная любовь к просвещению себя, к умственным занятиям поддерживала для Кольцова отношения дружбы, даже разрушенные смертью. Между тем, имея живой и здравый от природы ум, он скоро перестал довольствоваться и теми сказочными романами, которые до сих пор столько восхищали его, и решился искать чего-нибудь другого, лучшего. Он снова принялся покупать книги на те деньги, какие получал от отца. В Воронеже была в то время всего только одна книжная лавка, и мальчик Кольцов, столь ревностно покупавший и читавший книги, не мог не быть замечен купцом[5]. Это было полезно для нашего поэта. Однажды книгопродавец предложил ему купить стихотворения Дмитриева. Это были первые стихи, которые удалось читать Кольцову. В радости прибежал он домой с своим новым приобретением и тотчас отправился в сад, чтобы там на досуге и без всякой помехи заняться новою книжкой. С первых же строчек, прочитанных им, он понял, что тут написано как-то иначе, нежели все, что он прежде читал. Он стал всматриваться и разбирать незнакомый для него склад этих звучных строчек и скоро нашел, что тут есть некоторое сходство в складе с песнями, которые приводилось ему слышать. Из этого он

заключил, что стихи нужно не читать, а петь, и принялся у себя в саду распевать стихи Дмитриева. Скоро вся книжка была пропета; но этого мало было для Кольцова, заметившего, что стихи эти шевелят в глубине его души какое-то особенное, неопределенное, но сильное чувство. Ему захотелось самому сложить что-нибудь, что бы было так же складно и звучно. Вообще Кольцов принадлежал к числу таких людей, которым необходима собственная, самостоятельная деятельность, и в этом заключается, между прочим, высокое превосходство его натуры. Есть люди, которые умеют повторять за другими то, что им сказано, умеют исполнить то, что велено, помнят и знают все, что услышали; но сами собою ничего не могут сделать. Такие люди навсегда останутся только исполнителями чужой воли, второстепенными, обыкновенными орудиями для общего дела и никогда не выйдут из ряда других, не будут руководителями ни в каком деле, не скажут никакого нового слова. Напротив, есть другого рода люди, которые никогда не хотят бессознательно и слепо следовать за другими, никогда не ленятся сами думать и действовать, а стараются всегда пробовать собственные силы на том поприще, какое им представляется. От этаких людей всегда можно ожидать дел замечательных. Такого рода человек был и Кольцов. Он никогда не мог ограничиться тем, чтобы только принимать впечатления, запоминать и усвоивать их. Душа его постоянно просила деятельности, и он никак не мог удержать в себе стремление сделать самому что-нибудь в том роде, который особенно ему нравился и поражал его. Еще когда читал он наши лубочные сказки, и тогда уже воображение его разыгрывалось, независимо от этих сказок, и в мечтах мальчика являлись разные чудесные происшествия, сцепление которых составляло цельные картины и истории, но которые никогда им не были записаны и скоро позабыты. Читая романы Лафонтена и Дюкре-Дюмениля, Кольцов тоже пытался сам создать в голове своей что-нибудь в том же роде; но это было выше сил его, и желание осталось неосуществленным.

Теперь опять сильно захотелось ему попробовать своей силы в сочинении стихов. Он не знал, как за это взяться, потому что не знал не только правил стихосложения, но даже и грамматических правил языка: к орфографии он не мог приучиться даже во всю жизнь свою. Кроме этих затруднений, четырнадцатилетнему мальчику, получившему такое скудное образование, какое получил Кольцов, мудре-

но было и сыскать предмет для своих стихов. Но желание его было сильно, он решился сделать что-нибудь, а решившись раз и попавши на свою дорогу, люди, подобные Кольцову, никогда не отстают от своего решения. Перебравши несколько предметов, он вспомнил рассказ одного своего товарища о сне, который ему привиделся и повторился три ночи сряду. Еще во время самого рассказа Кольцов был сильно поражен этим случаем и теперь решился взять его как предмет для своего стихотворения. Выбравши время, когда мог быть один, не опасаясь помехи, Кольцов сел за дело. Не имея понятия о правилах стихосложения, он выбрал одну пьесу Дмитриева и стал подражать ее размеру, пробуя поверять слухом, выходит ли склад в написанных стихах. Сначала это было ужасно трудно для самоучки-поэта, и первый десяток стихов достался ему очень тяжело. Но потом, немножко прислушавшись к чтению стихотворной речи, следующие стихи Кольцов написал уже с гораздо меньшим трудом. В ночь готово было стихотворение, под названием «Три видения». Стихотворение это было чрезвычайно плохо, но теперь главное для Кольцова состояло в том, что он достиг уменья *складывать стихи,* как бы ни было ничтожно их достоинство. «Три видения» он сам истребил впоследствии, как произведение совершенно негодное. Однако же первый успех в стихослагательстве ободрил его, и он начал после этого слагать и другие стихотворения. Чтобы более ознакомиться с размером и сущностью поэтической речи, он поспешил купить себе сочинения Ломоносова, Богдановича, Державина. Вероятно, в первых его опытах отзывалось влияние этих писателей не только в составе стиха, но и в тоне и в устройстве целого произведения; но почти все свои стихи, писанные в то время, уничтожил сам автор, а в позднейших его стихотворениях совсем незаметно ничего ни ломоносовского, ни державинского: и язык и содержание их отличаются самобытностью и оригинальностью. Так на Кольцове оправдалось то замечание, что чем больше в человеке внутренней силы, чем выше собственная нравственная природа его, тем легче и скорее он освободится от всякого чужого влияния.

Кольцов совершенно увлекся стихотворством и даже почти перестал читать книги, написанные прозою; ему все хотелось прислушиваться к гармонии стихов, любоваться игрою созвучий в рифме и плавностью поэтической речи. Он сам все продолжал свои стихотворные опыты, сочиняя по

слуху и не умея еще хорошенько определить, в чем заключается разница стихов от прозы. Не надеясь на свои силы и желая найти совет и ободрение в ком-нибудь, начинающий поэт наш долго искал человека, которому можно бы было довериться и показать стихи свои. Но такого человека близко к Кольцову решительно не было. Приятель его уже умер; с другими он мало знался, да и едва ли они могли быть судьями в этом деле; в семействе своем Кольцов тоже не ожидал встретить сочувствие, а, напротив, опасался насмешек и брани, если бы решился обнаружить плоды своих поэтических занятий. Но таить от всех свои труды он уже не мог; ему непременно хотелось высказаться хоть перед кем-нибудь, получить хоть чье-нибудь одобрение или замечание. После нескольких соображений и колебаний он решил, что о деле литературном должен иметь некоторое понятие книгопродавец, так как он все около книг возится. Сделавши такое заключение, Кольцов отправился в книжную лавку и представил на суд книгопродавца «Три видения» и несколько других пьес, написанных им большею частию в подражание разным поэтам, которых читал он в то время. Книгопродавец, разумеется, был очень удивлен явлением мальчика с просьбою — прочесть его стихотворения и дать о них свой суд. Однако же, к счастию Кольцова, это был человек не только добрый, но и неглупый, хотя и не получивший большого образования. Он прочитал стихи самоучки-поэта и откровенно объявил, что они ему не нравятся. Но вместе с тем, он, как человек истинно честный, сознался, что не умеет объяснить, что и почему в них нехорошо, а что есть для этого особые правила, которых он не знает. Тут предложил он Кольцову книгу, которая заключает в себе полные наставления о том, как писать правильные и хорошие стихи, именно «Русскую просодию, изданную для воспитанников благородного университетского пансиона в Москве»[6]. Кольцов был в таком восторге, как будто бы внезапно открыл новый мир. Он и не подозревал, что могли существовать уже определенные правила для искусства, которое так много затрудняло его. Видя его восхищение, купец был тронут и заинтересован такой сильной страстью к поэзии. Как видно, он принадлежал к числу добрых и благородных людей, готовых помогать своим ближним: он подарил Кольцову «Русскую просодию» и даже предложил ему давать книги для чтения безденежно. Поэт наш был вне себя от радости. Немедленно принялся он за изучение просодии,

нашел там определение разных размеров, какими пишутся стихи, нашел правила, как пользоваться этими размерами, и механизм стиха стал для него уже делом довольно простым и легким. Тут же он с жадностью принялся за чтение. Теперь ему было из чего выбирать и уже не было необходимости перечитывать одни и те же старые книги, не нужно стало и покупать всякую дрянь, какая прежде попадется под руку, потому что теперь он мог прочитать и узнать книгу прежде покупки. И в самом деле, с этого времени Кольцов покупал только те книги, которые особенно ему нравились. Так, скоро приобрел сочинения Жуковского, Пушкина и Дельвига. У Дельвига особенно поразили его «русские песни». Он с радостью увидел, что барон и, конечно, ученый человек не пренебрегает песнями. До сих же пор Кольцов старался все писать правильным размером, подражая книжному изложению и формам стихотворцев, которых он читал. И в этом он скоро достиг некоторого успеха: стихи его были правильны и гладки, как свидетельствует стихотворение «Сирота», написанное им в 1825 году, когда ему было шестнадцать или даже пятнадцать лет. Приводим его, чтобы дать понятие о самом раннем из сохранившихся до нас опытов Кольцова и чтобы показать, в какой степени он владел уже в то время формою стиха:

Не прельщайте, не маните,
Пылкой юности мечты.
Удалитесь, улетите
От бездомной сироты!
Что ж вы, злые, что вы вьетесь
Над усталой головой?
Что вы с ветром не несетесь
В край неведомый, чужой?
Были дни, и я любила
Сны о радости земной;
Но надежда изменила,
Радость — сон в судьбе моёй.
Наяву же, в облегченье,
Только слезы проливать,
И не верить в обольщенье,
И покоя не вкушать.
Не прельщайте ж, не маните,
Светлой радости мечты,
Унеситесь, улетите
От бездомной сироты!..

В этом стихотворении совсем еще не видно силы, оригинальности и меткости выражения, которыми отличаются

лучшие песни Кольцова. В самом содержании заметна немножко томная сентиментальность, какою отличался тогда Мерзляков, Дельвиг и др. и какой впоследствии совсем не находим у Кольцова. Но стихи и здесь уже довольно гладки, особенно для 1825 года, когда и Пушкин не написал еще лучших своих произведений, и Лермонтова не было, и вообще механизм стиха не был еще так упрощен, как теперь.

Скоро новое обстоятельство подкрепило Кольцова в его поэтических стремлениях. Около этого времени он сошелся с одним молодым человеком, к которому до самой его смерти сохранил самые дружеские отношения. Это был Серебрянский. Он учился в Воронежской семинарии; но, как все даровитые и сильные натуры, образованием своим обязан был более самому себе, нежели школьному ученью. Известно, что как бы ни дурно учили ребенка в детстве, как бы ни плохи были преподаватели в школе, но если ученик имеет добрую волю и твердое желание учиться, то при хороших его способностях он непременно достигнет образования сам, независимо от своих наставников. Оправдывают свое невежество неискусством учителей только те, которые сами из себя ничего не умеют сделать и все ждут, чтобы их тащили за уши туда, куда они сами должны идти. Серебрянский был не таков. Он имел от природы прекрасные способности и потому скоро понял, как недостаточны те знания, которые мог он приобрести от своих наставников. Это сознание не привело его, однако же, к лености и пренебрежению учением. Нет, он хорошо понимал, что без образования человек очень жалок, и потому он стал искать образования сам собою. Он стал читать, размышлять и скоро действительно развился и образовался самостоятельно, не покидая, впрочем, семинарского курса, по окончании которого он намерен был поступить в Медико-хирургическую академию. Около 1827 года, т. е. когда Кольцову было лет семнадцать или восемнадцать, он сошелся с Серебрянским. Вместе с ясным и твердым умом Серебрянский имел и прекрасное сердце, и потому он принял в молодом поэте самое горячее участие. Он стал заниматься с ним, передавать ему все, что сам успел узнать и обсудить, и особенно старался растолковать ему, в чем состоит истинное достоинство и красота поэтических произведений. Кольцов никогда не мог без особенного чувства благодарности вспоминать, сколько он обязан этому чело-

веку. И видно, что в самом деле Серебрянский много помог образованию Кольцова и развитию его поэтического дарования. У них не было назначенных уроков, не было преподавания, но была живая, умная беседа о важных, полезных и благородных предметах. Кольцов не принимал на веру слова своего друга, но сам рассуждал, спорил с ним, как видно из одного позднейшего письма его. Вот что писал он, между прочим, в 1838 году, вскоре после смерти Серебрянского, выражая свою грусть о рано погибшем друге: «Вместе с ним мы росли, вместе читали Шекспира, думали, спорили. И я так много был ему обязан... Он чересчур меня баловал... Вот почему я онемел было совсем (после его смерти), и всему хотелось сказать: «прощай!»[7].

Стараясь сообщить Кольцову необходимое образование, Серебрянский был в то же время и строгим критиком его первых поэтических трудов. Со времени знакомства с ним Кольцов не имел уже необходимости обращаться за судом и одобрением к книгопродавцу. В новом друге своем он нашел судью более надежного и более радушного. Серебрянский тщательно рассматривал и обсуживал каждое стихотворение, написанное самоучкой-поэтом. Он делал свои замечания на каждый стих и подробно объяснял Кольцову, чего недостает ему для художественного совершенства. Об этих отношениях свидетельствует нам сам Кольцов в стихотворении «Серебрянскому»:

Не посуди: чем я богат,
Последним поделиться рад.
Вот мой досуг; в нем ум твой строгий
Найдет ошибок слишком много:
Здесь каждый стих, чай,— грешный бред.
Что ж делать! Я такой поэт,
Что на Руси смешнее нет!
Но не щади ты недостатки,
Заметь, что требует поправки...

И впоследствии рассмотренные Серебрянским стихи действительно исправлялись и таким образом мало-помалу получали внешнюю отделку, при которой можно было и печатать их. К сожалению, скоро Кольцову пришлось расстаться и с Серебрянским и снова остаться на некоторое время одному, без советника и друга. Серебрянский был беден и видел необходимость доставать средства для жизни собственными трудами. Чтобы иметь впоследствии по крайней мере верный кусок хлеба, он решился сделаться врачом и для этого скоро должен был отправиться из Во-

ронежа в Москву, чтобы поступить там в Медико-хирургическую академию. Кольцов остался один.

В семействе своем он находил не много отрады и не мог ожидать поощрения своим литературным стремлениям. Отец его по-прежнему видел в сыне только помощника себе в торговых делах и с неудовольствием смотрел на его любовь к чтению и к поэтическим упражнениям. Чем больше вырастал Кольцов, тем больше дела отдаваемо было отцом на его руки. Теперь он один уже часто отправлялся летом в степь для разных распоряжений и для перегонки скота с места на место. Теперь чаще прежнего приходилось ему отправляться и на базар со скотом или с возами сала и заниматься мелким торгашеством, которое было так не по душе ему. Чем больше жил и развивался Кольцов, тем тяжелее ему становилась та жизнь, которую он принужден был вести. Честный и благородный по природе, получивший некоторые высшие понятия и стремления, он никогда не мог успокоиться на тех мелких и часто не совсем чистых занятиях и отношениях, к которым был привязан обстоятельствами своего происхождения. При всем том он не впал в отчаяние и бездействие; напротив, он был деятельным торговцем, распорядительным хозяином и даже из своей деятельности извлек внутреннюю пользу, усвоив посредством ее положительный, здравый взгляд на жизнь, так хорошо выражающийся в его песнях. Как всякая истинно благородная и даровитая натура, он умел даже в самом дурном отыскать хорошие стороны и воспользоваться именно этим хорошим.

При всем том окружающие Кольцова так мало понимали его, что он ни в ком не находил сочувствия. Еще до дружбы с Серебрянским он успел было сблизиться в своем доме с одним существом, которое могло понимать его. Это была девушка, жившая в семействе Кольцовых. Но скоро, по решению родных, он и с нею был разлучен, и после того в своем семействе он уже не находил решительно никого, с кем бы мог быть близок душою. Он долго грустил после своей разлуки, и грусть эта отзывалась и впоследствии во многих из его стихотворений. Дружба с Серебрянским облегчила его горе в то время. Теперь, расставшись с ним, Кольцов остался совершенно одинок, пока снова не встретил на своем пути благородного человека, принявшего в нем участие и имевшего важное влияние на последующую судьбу. Этот человек был Станкевич.

ГЛАВА IV

## *Знакомство с Станкевичем. Поездка в Москву. Первое издание стихотворений Кольцова Станкевичем. Белинский. Знакомство Кольцова с литературным кругом в Москве и в Петербурге*

Любовь к чтению, имевшая такое благодетельное влияние на всю жизнь Кольцова, содействовала, кажется, и сближению его со Станкевичем. Едва ли не в единственной книжной лавке воронежской в первый раз сошлись они и познакомились друг с другом. Николай Владимирович Станкевич был сын воронежского помещика, совершенно одних лет с Кольцовым (он родился в 1809 году[8]). В то время (около 1830 года) он был студентом Московского университета и приезжал в Воронеж на вакации. Он узнал о стихотворных опытах Кольцова, прочитал их и одобрил. И это было уже очень важно для молодого поэта, лишившегося после отъезда Серебрянского всякой подпоры и руководства в своих поэтических трудах. Но Станкевич имел на него еще более важное влияние в последующее время.

Влияние это чувствовали на себе все сближавшиеся со Станкевичем; все знавшие его доныне отзываются о нем с особенной признательностью. Это был живой, мыслящий и благородный человек, в полном значении этих слов. Такие люди встречаются редко, но о них можно себе составить понятие по противоположным явлениям. Всем, конечно, случалось видать на своем веку таких людей, которые живут день за день, ничем особенно не поражаются и не увлекаются, ни над чем долго не задумываются, не имеют никаких возвышенных стремлений и глубоких убеждений.

С ними нельзя толковать о высших и благороднейших истинах, они тупо отказываются от понимания всего, в чем не видят материального барыша для своей жизни. При них нельзя восхищаться прекрасным: их сердце черство, чувства ничем не возбуждаются, и присутствие их обдает холодом самого пылкого человека, сдерживает самые стремительные порывы. При них даже добром нельзя увлекаться: они понимают нравственность совершенно по-своему и готовы даже осмеять и осудить всякий живой, сердечный порыв к добру. Это люди сухие, мелкие, эгоистические. Но бывает и совершенная противоположность: встречаются иногда на свете люди с живою, любящею душою, с светлым, высоким умом, с горячими и благородными стремлениями. С такими людьми отрадно разделить всякое чистое чувство, всякую живую и благородную мысль. Их присутствие одушевляет человека на все доброе, возбуждает в душе самые святые и чистые стремления, дает как бы более простора для ума. И вот почему около таких людей всегда собирается кружок благородно мыслящих и чувствующих друзей, иногда далеко простирающих свое влияние и всегда хранящих память о том, вокруг кого они собирались. К числу таких редких людей принадлежал Н. В. Станкевич. Он всегда был средоточием небольшого кружка благородных людей, из которых многие впоследствии сделались известными и полезными в литературе. В этот кружок ввел Станкевич и Кольцова. В 1831 году поэт-прасол по делам отца своего должен был отправиться в Москву. По приезде сюда он отыскал Станкевича и, по его просьбе, остановился у него на квартире. Здесь-то, между друзьями Станкевича, услышал он в первый раз новые для него, разумные речи; здесь-то в первый раз ум его озарился понятиями, которые доселе были ему чужды и о которых ничего не мог сообщить ему даже Серебрянский. Известно, что в то время все общество, которое собиралось у Станкевича, занято было особенно высшими философскими вопросами. Они были тогда в большом ходу, и особенно возбуждалось общее внимание учением знаменитого германского мыслителя Гегеля. Философию у нас вообще привыкли считать чем-то чрезвычайно трудным и темным, но на самом деле она весьма проста, потому что основывается на здравом смысле и простой логике, которые есть, конечно, у всякого неглупого человека. У немцев все это выходит, правда, довольно мудрено, потому что они в философии употребля-

4 Заказ 1079

ют множество особенных слов и оборотов. Но у нас на русском языке подобных выражений еще нет совсем, так как вообще у нас мало писали о философии. Поэтому кружок Станкевича, толкуя о философских вопросах по-русски, поневоле должен был переводить отвлеченные фразы на простой язык; а в этом виде философия была понятна и самоучке Кольцову. И много новых дум, много новых вопросов подняли в душе поэта одушевленные беседы в кружке Станкевича. Недаром уже в 1833 году он говорил в своей думе «Великая тайна»:

Смелый ум с мольбою
Мчится к провиденью:
Ты поведай мыслям
Тайну сих созданий!
Шлют ответ, вновь тайный,
Чудеса природы,
Тишиной и бурей
Мысли изумляя...

Здесь видим мы только вопрос и недоумение поэта; но много уже значит и то, что он спрашивал и задумывался о предметах высших...

Кольцов сам впоследствии, в стихотворении, посвященном памяти Станкевича, трогательно и живо изображает эти светлые беседы, этих бодрых, вдохновенных юношей, в кругу которых он тогда находился:

Могучая сила
В душе их кипит,
На бледных ланитах
Румянец горит.
Их очи, как звезды
По небу, блестят;
Их думы — как тучи;
Их речи горят...
...И с мира и с время
Покровы сняты;
Загадочной жизни
Прожиты мечты.
Шумна их беседа,
Разумно идет;
Роскошная младость
Здоровьем цветет...

и пр.

Кольцов, с своей живой и страстной душою, с своим постоянным стремлением к знанию и образованию себя, не мог не увлечься в этот чудный, новый для него мир фило-

софских размышлений, и он действительно увлекся, как доказывают его думы, особенно написанные им в 1836 году, когда он в другой раз побывал в Москве и повидался с своими друзьями. Но, разумеется, он не мог предаться вполне этому направлению как по внешним обстоятельствам своей жизни, так и по скудости своего предварительного образования. Оттого-то у него в голове возникло много вопросов, на которые он не в состоянии еще был отвечать. Тем не менее живая мысль, соединявшаяся теперь с его поэтическим чувством и благородным настроением души, придала новое достоинство последующим его стихотворениям.

С этого же времени начинается и литературная известность Кольцова. В 1831 году два или три стихотворения его были напечатаны в одном из тогдашних московских журналов[9]. Кольцов, до сих пор все еще чрезвычайно мало доверявший себе, увидел в этом как бы ручательство за то, что стихи его могут быть годны, и был от всего сердца рад, что успел попасть в печать. Возвратившись в Воронеж, он уже теперь с большею уверенностью в своих силах стал продолжать свои поэтические труды.

Вскоре Станкевич предложил Кольцову издать его стихотворения отдельной книжкой. Кольцов согласился и прислал ему довольно толстую тетрадь своих стихотворных опытов. Между ними было много пьес слабых, невыдержанных, не отделанных, и Станкевич решился выбрать из тетради только лучшее, справедливо опасаясь, что если издать все, то во множестве дурного совсем и не заметят хорошего. Таким образом в 1835 году явилась маленькая книжка, в которой напечатано было 18 стихотворений, избранных Станкевичем из тетради Кольцова. Стихотворения эти еще не обнаруживали во всем блеске самородного таланта Кольцова, но и в них уже можно было видеть, как замечательно его поэтическое дарование и как много оно обещает в будущем. Притом же немало имело значения и то обстоятельство, что Кольцов был простолюдин, самоучка. На него обратили внимание и стали хвалить его произведения даже такие люди, которые совсем бы не стали их читать, если бы они написаны были человеком, получившим обыкновенное образование.

Но и в то время уже нашлись проницательные люди, которые увидели в Кольцове талант гораздо выше обыкновенного. Таков был Белинский, бывший впоследствии дру-

гом Кольцова и написавший его биографию в 1846 году, приложенную к изданию стихотворений Кольцова, предпринятому гг. Некрасовым и Прокоповичем. В. Г. Белинский имел также благодетельное влияние на развитие таланта Кольцова. Вообще этот человек много сделал для развития всей нашей литературы. В продолжение пятнадцати лет он писал критические статьи, сначала в журнале «Телескоп», издававшемся профессором Надеждиным в Москве, потом в «Московском наблюдателе», который в 1832 году самим же Белинским и издавался[10], затем в «Отечественных записках» и, наконец, с 1847 года, в «Современнике». При жизни своей (он умер в 1848 году) он не пользовался обширной известностью в читающей публике, потому что почти никогда не подписывал под статьями своего имени. Но зато между литераторами и людьми, близкими к журналистике, его значение было огромное. Его слово всегда имело высокую цену, принималось с любовью и доверием. Да и для всех вообще читателей голос Белинского был всегда силен и убедителен. Его критические статьи читались с жадностью, с восторгом, его мнения находили себе жарких защитников и последователей, хотя большая часть читателей и не знала, кто именно высказывает в журнале эти мнения. И самое это обстоятельство уже показывает, сколько ума и силы было в Белинском. Нередко принимают какое-нибудь мнение только потому, что оно поддерживается человеком важным или пользующимся славой умного, добросовестного и т. п., тут действует сила так называемого авторитета. Но когда с восторгом принимают мысли, высказанные неизвестно кем, безлично,— это значит, что в самых мыслях заключается сила правды и убедительности. Такая сила заключалась во многих статьях Белинского. Он обладал необыкновенной проницательностью и удивительно светлым взглядом на вещи. Из множества примеров возьмем один. Когда появились первые повести Гоголя, который теперь так высоко ставится всеми, когда все критики наши сочли его просто веселым рассказчиком и упрекали за то, что он очень ярко выставлял пошлость предметов, действительно пошлых. Но Белинский тогда же, прежде всех, понял, какое значение имеет Гоголь. Еще в 1835 году он напечатал в «Телескопе» статью[11], в которой говорил, что до Гоголя у нас, собственно, не было хорошей чистой русской повести и что она начинается только с Гоголя! После того он постоянно

защищал Гоголя против всех обвинений других критиков, и статьи его доказывают, что он совершенно ясно и верно понимал, в чем заключаются истинные достоинства Гоголя и сущность его таланта. Прошло двадцать лет, вся русская публика признала, вслед за Белинским, великое значение Гоголя, и порицатели его принуждены были умолкнуть... Многие мнения Белинского о литературе, высказанные, по гениальному соображению, лет за пятнадцать и за двадцать тому назад, подтверждаются ныне новыми исследованиями. То же самое было и в отношении к Кольцову. В 1835 году Белинский напечатал в «Телескопе» статью о стихотворениях молодого поэта, в которой утверждал, что у Кольцова — необыкновенный поэтический талант, и определял сущность его поэзии. Вот несколько строк из его довольно обстоятельной статьи. «Немного стихотворений напечатано из большой тетради, присланной Кольцовым,— говорит Белинский,— не все и из напечатанных — равного достоинства... найдется между ними два-три слабых, но ни одного такого, в котором бы не было хотя нечаянного проблеска чувства, хотя одного или двух стихов, вырвавшихся из души... Большая часть положительно и безусловно прекрасны... Почти все они имеют близкое отношение к жизни и впечатлениям автора и потому дышат простотою и наивностию выражения, искренностью чувства, не всегда глубокого, но всегда верного, не всегда пламенного, но всегда теплого и разнообразного... В «Великой тайне» читатель найдет удивительную глубину мыслей, соединенную с удивительною простотою и благородством выражения, какое-то младенчество и простодушие, но вместе с тем и возвышенность и ясность взгляда!» («Телескоп», 1835, ч. 27, стр. 476).

В заключение своей статьи Белинский высказывает горячее желание, чтобы дарование Кольцова не заглохло под тяжестью обстоятельств жизни, но развивалось и крепло. Он оканчивает напоминанием поэту о твердости духа и неутомимой борьбе с жизнью и приводит его же стихотворение «К другу», заключающееся следующими стихами:

И пусть меня людская злоба
Всего отрадного лишит,
Пусть с колыбели и до гроба
Лишь злом и мучит и страшит:
Пред ней душою не унижусь,
В мечтах не разуверюсь я;

Могильной тленью в прах низринусь,
Но скорби не отдам себя!..

Так хорошо умел Белинский понять Кольцова еще в то время, когда прасол-поэт не написал лучших произведений своих. Лучшие пьесы из напечатанных тогда были: «Песня пахаря», «Удалец» и «Крестьянская пирушка». И по этим-то пьесам преимущественно умел знаменитый критик наш определить существенный характер и особенности самородной поэзии Кольцова.

Но совсем не с таким одушевленным участием приняли стихотворения Кольцова многие из людей, считавшихся в то время опытными и умными судьями в деле литературы. Это выразилось отчасти в приеме, какой они сделали Кольцову, когда он в 1836 году в другой раз приехал в Москву по делам отца, а отсюда должен был проехать и в Петербург. В Москве он, как и в первый раз, остановился у Станкевича и тут же коротко познакомился с Белинским, который был уже в это время очень близок со Станкевичем. Белинский представил воронежского поэта многим из почетных московских литераторов; но немногие между ними умели понять Кольцова. Один из них начал рассуждать с поэтом, воображая, что он непременно придет в исступление, или начнет сладко сентиментальничать, или как-нибудь иначе выкажет свое поэтическое настроение. Но Кольцов держал себя как и все обыкновенные люди и рассуждал очень положительно, как торговец, привыкший к простой, трудовой жизни, а не к прихотливым фантазиям. Почтенный литератор заключил из этого, что в Кольцове нет поэтического чувства... А другой литератор, очень сухо принявши Кольцова, даже подсмеивался над тем, кто ему представил поэта. «Что вы нашли в этих стишонках,— говорил он,— какой тут талант? Да это просто ваша мистификация: вы сами сочинили эту книжку ради шутки!..»

Среди таких людей не очень весело было Кольцову, да он и не слишком добивался чести быть знакомым с ними. Он был всегда скромен и даже застенчив в обществе; но застенчивость эта происходила только от непривычки к новым людям и отчасти от скромного сознания, что он сам ничем не может интересовать других. Он привык к деловым отношениям, привык видеть, что люди тогда сходятся друг с другом, когда один в другом почему-нибудь нуждается. Ему странно было отправляться к человеку так, ни

за чем. А если он видел, что к нему выказывают особенное расположение, стараются ухаживать за ним, ищут его знакомства, это даже внушало ему недоверчивость на первый раз. Он опасался, нет ли тут какого-нибудь скрытого расчета, не хотят ли посмеяться над ним и т. п. Он не мог понять, за что его любят и ищут, и говорил обыкновенно в таких случаях: «Да что я ему?.. что такое во мне?..» Только уверившись, что его ласкают от души, выказывают расположение искреннее, он решался сблизиться с человеком. И тут уже он не был застенчив, не был скрытен с такими людьми. В кругу друзей своих он был, как говорится, совершенно нараспашку; им он открывал все свои мысли и чувства, рассказывал всю свою жизнь, даже в самых мелочных подробностях. Не нужно, впрочем, думать, чтобы тут Кольцов пускался в какие-нибудь жалостные и трогательные изложения своих чувств и судьбы своей. Нет, он не любил ничего плаксивого. Напротив, он всегда сохранял свой положительный характер и даже с друзьями редко распространялся о своих чувствах. Напротив, он часто любил толковать о своем ремесле, о своей ловкости в хозяйственных распоряжениях, даже о разных проделках в торговле, о том, как умел он надуть неопытного покупщика, продать подороже и купить подешевле. По этому поводу г. Катков, хорошо знавший Кольцова, рассказывает следующий анекдот[12].

Однажды среди таких рассказов поэта кто-то из присутствующих тут приятелей спросил его:

— Скажите, Алексей Васильевич, неужели вы и нас бы надули?

— И вас бы надул,— отвечал Кольцов,— ей-богу, надул бы. Последним готов поделиться с вами, а на торгу не дал бы спуску, не удержался бы. Лучше после отдал бы вам вдвое, а тут надул бы.

Этот анекдот очень замечателен. Он свидетельствует о том, как сильно действует даже на благородную натуру дурная привычка, с первых лет жизни укоренившаяся в человеке, и как мало иметь только прекрасное сердце для того, чтобы быть строго, безукоризненно нравственным. Кольцов был благороден и чист в душе своей, он всегда имел стремления добрые, готов был последним поделиться с друзьями, но и он не мог освободиться от дурного обычая барышничать при торговле; он говорит, что на торгу «не мог удержаться» от этого... Без всякого сомнения, такие

поступки были следствием привычки, а не делом убеждения: привычка всегда тем сильнее на нас действует, чем менее мы о ней думаем. Но чем более образовывался ум Кольцова, чем более стал он размышлять (особенно после сближения с друзьями Станкевича в 1836 году и 1838 году, когда он снова прожил довольно долго в Москве), тем тяжелее ему становилась обязанность мелкого торговца, тем сильнее он чувствовал отвращение от нее. В письмах Кольцова после 1838 года, приведенных Белинским в его биографии, все яснее и яснее выражается это отвращение. Тотчас по приезде в Воронеж он писал: «С моими знакомыми расхожусь помаленьку: наскучили мне их разговоры пошлые». Около того же времени пишет он следующие строки: «Писать к вам хочется, а ничего нейдет из головы. Плоха что-то моя голова сделалась в Воронеже, одурела вовсе, и сам не знаю отчего, не то от этих дел торговых, не то от перемены жизни. *Я было так привык быть у вас и с вами, так забылся для всего другого;* а тут вдруг все надобно позабыть, сделать другое, думать о другом: ведь и дела торговые тоже сами не делаются, тоже кой о чем надобно подумать. Так одряхлел, так отяжелел; право, *боюсь, чтобы мне не сделаться вовсе человеком материальным. Боже избави!* уже это будет весьма рано; не хотелось бы это слышать от самого себя!..» Эти строки невеселы, но все еще в них видно некоторое спокойствие и надежда. А в 1840 году его слова отзываются уже безотрадной, тяжелой грустью: «У меня давно уже,— пишет он,— лежит на душе грустное сознание, что в Воронеже долго мне несдобровать... Давно живу я в нем и гляжу вон, как зверь. *Тесен мой друг, грязен мой мир, горько жить мне в нем давно.* Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживает меня от падения. И если я не переменю себя, то скоро упаду; это неминуемо, как дважды два — четыре. Хоть я и отказал себе во многом, и *частию, живя в этой грязи, отрешил себя от ней, но все-таки не совсем, но все-таки не вышел из нее!..»*

В этих немногих строках выражается благородная душа поэта, стремящегося к совершенству и готового упрекать себя даже за те обстоятельства жизни, которые приводили его к чему-нибудь дурному и пошлому независимо от его воли... По свидетельству друзей Кольцова, любимейшей мечтой его жизни было отделаться от мелочной торговли и на свободе предаться ученью... Особенно сильно и

постоянно выказывал он это стремление после 1836 года.

Вообще пребывание в Москве и в Петербурге в 1836 году принесло Кольцову много новых впечатлений и познакомило его со многими предметами, которых он не знал до этого времени. Самое знакомство с новыми людьми было для него интересно и полезно. Сначала он всегда робел и смущался при новых лицах, но потом, осмотревшись немножко, принимался делать свои наблюдения. Он обыкновенно говорил мало, смотрел несколько исподлобья, и все думали, что он находится в каком-то замешательстве, что ему неловко, а он между тем все наблюдал и замечал с необыкновенной проницательностью и искусством... Таким образом он скоро умел разгадать человека и нередко смело открывал пустоту и ничтожество тех, кого, по слухам, должен был уважать как людей умных и образованных. Подобные открытия, подтверждаемые истинными друзьями поэта, должны были, конечно, придать ему более доверия к собственным силам, хотя на первый раз и не могли не огорчать его... И действительно, с этого времени решительно проявляется самостоятельность Кольцова в его песнях.

По приезде в Петербург Кольцов и там скоро успел познакомиться с первыми литературными знаменитостями того времени. И здесь он был принят очень хорошо. С особенным радушием и сердечным участием принял его Пушкин, который вообще отличался искренней любовью к литераторам и уважением ко всякому таланту. Кольцов никогда не мог забыть ласкового приема Пушкина и рассказывал о нем почти со слезами на глазах. Скоро после того (в январе 1837 года) Пушкина не стало, и Кольцов посвятил его памяти свое превосходное стихотворение — «Лес».

Кроме Пушкина, Кольцов познакомился в Петербурге с кн. Одоевским, с Жуковским, с кн. Вяземским. Последний постоянно оказывал ему свое участие и был во многом полезен ему своим вниманием, когда Кольцов по делам отца снова приехал в Москву в 1840 году. Из других литераторов многие сами поспешили познакомиться с простолюдином-поэтом. Он с ними сначала был скромен и застенчив, но потом и здесь, точно так же как в Москве, умел выказать свою наблюдательность...

Одним из важных последствий литературных знакомств Кольцова было, между прочим, обогащение его библиотеки

новыми книгами. Почти каждый из писателей, с которым он знакомился, спешил подарить ему свои сочинения и издания. Это было очень приятно для Кольцова, у которого страсть к чтению с течением времени не только не проходила, но все более и более возрастала.

Но теперь он уже менее интересовался романами и другими сочинениями для легкого чтения, а более полюбил науку и дельные книги, особенно исторические. Только стихи по-прежнему привлекали его внимание, хотя он уже и не нуждался теперь в образцах для подражания, открывши свой особенный род, в котором был совершенно самостоятельным и решительно не имел соперников... Как видно из его писем, книги и журналы присылались ему разными литераторами и в Воронеж, и он всегда с восхищением принимал такие подарки.

## ГЛАВА V

*Возвращение в Воронеж. Домашние занятия. Душевные тревоги Кольцова. Новая поездка в Москву и новая грусть и жалобы поэта по возвращении в Воронеж. Последняя поездка в Москву и Петербург. Тоска и болезнь Кольцова в Воронеже. Семейные отношения. Предположения о переселении в Петербург. Смерть*

Кончивши благополучно все свои дела в Москве и Петербурге, Кольцов возвратился в Воронеж и тотчас же принялся там за хозяйственные хлопоты. Вот что писал он в это время о своих занятиях: «Батинька два месяца в Москве, продает быков; дома я один, дел много. Покупаю свиней, становлю на винный завод на барду; в роще рублю дрова; осенью пахал землю; на скорую руку езжу в села; дома по делам хлопочу с зари до полночи»[13]. С этого времени особенно делаются хлопотливыми его занятия, потому что отец возложил на него почти все торговые дела. На его имя были переведены все долги, все векселя и обязательства, его трудами должно было поддерживаться благосостояние целого дома. Сначала эта деятельность заняла его, но скоро он стал тяготиться ею, вспоминая о своих московских друзьях и о тех высоких, благородных понятиях, которые там раскрывались пред ним. Только в 1837 году он был утешен посещением В. А. Жуковского и тем вниманием, какое оказал ему знаменитый поэт и воспитатель наследника престола пред лицом всех воронежских граждан.

Вообще же время 1836—1838 годов было тревожно для Кольцова. Он чаще прежнего задумывался над вопросами,

которых не мог решить, и сильнее прежнего чувствовал неудобства своего положения, из которого, однако, не мог выйти. Душевная борьба его выразилась в это время во многих думах, в которых почти всегда находятся глубокие вопросы с очень слабыми и недостаточными ответами. Между прочим, в одной думе поэт старается оправдать и объяснить самые свои сомнения и вопросы:

Как же быть мне
В этом мире
При движенье
Без желанья?
Что ж мне делать
С буйной волей,
С грешной мыслью,
С пылкой страстью?
В эту глыбу
Земляную
Сила неба
Жизнь вложила,
И живет в ней,
Как царица!
С колыбели
До могилы
Дух с землею
Ведут брани:
Земь не хочет
Быть рабою,
И нет мочи
Скинуть бремя;
Духу ж неба
Невозможно
С этой глыбой
Породниться.

Здесь как будто выражается какая-то попытка объяснить вопрос, обративши внимание на противодействие духа и тела. Но поэт не решается и на этом остановиться: несколько стихов далее он отказывается от собственных соображений, говоря:

В этой сказке
Цель сокрыта;
В моем толке
Смыслу нету,
Чтоб провидеть
Дела божьи.

Кольцов теперь более нежели когда-нибудь сознавал и горько сожалел, что он недостаточно образован. От при-

роды он был очень умен и проницателен; он не мог смотреть на жизнь и на природу без желания понимать их. Ему беспрестанно приходили в голову новые, важные вопросы относительно всего, что он видел и слышал. Его ум и некоторые общие понятия, какие успел он приобрести, убеждали его, что эти вопросы можно решить с помощию науки. Но именно наукой-то он и не владел настолько, чтобы делать точные и решительные выводы и соображения. Это ему было очень горько, и он писал однажды к своему приятелю: «Будь человек и гениальный, а не умей грамоте — не прочтешь и вздорной сказки. На всякое дело надо иметь полные способы. Прежде я таки, грешный человек, думал о себе и то и то, а теперь, как кровь угомонилась, так и осталось одно желание — учиться». И на самом деле, Кольцов все продолжал учиться, постоянно читая книги, среди своих хозяйственных занятий.

В 1838 году опять Кольцов был в Москве и прожил здесь довольно долго. Опять сошелся он тут с своими благородными друзьями, и сердце его отдохнуло с ними от тяжелых, мелочных забот, торговых сделок и того грубого общества, которое окружало его в Воронеже. В это время он написал довольно много хороших пьес, и, конечно, это опять много зависело от того обстоятельства, что он был совершенно спокоен и душа его ничем не возмущалась. Зато еще тяжелее было ему теперь возвратиться в Воронеж. Тотчас по приезде туда он писал в Москву: «В Воронеж я приехал хорошо; но в Воронеже жить мне противу прежнего вдвое хуже: скучно, грустно, бездомно в нем. И все, кажется, то же, а не то...» Видно, что ему тяжело было теперь жить с людьми, которые не умели понимать его, и между тем в том же письме он замечает: «Воронеж принял меня в десять раз радушнее противу прежнего; я благодарен ему». Но видно, что это радушие было только по наружности. В том же письме Кольцов рассказывает, каким образом разница понятий заставила его разойтись с прежними знакомыми в Воронеже. «Я хотел с приезда уверить их,— говорит он,— что они криво смотрят на вещи, ошибочно понимают; толковал так и так. Они надо мной смеются, думают, что я несу им вздор. Я повернул себя от них на другую дорогу, хотел их научить — да ба! и вот как с ними поладил: все их слушаю, да сам про себя думаю о другом; всех их хвалю во всю мочь; все они у меня люди умные, ученые, прекрасные поэты, философы,

музыканты, образцовые чиновники, образцовые купцы, образцовые книгопродавцы; и они стали мною довольны; и я сам про себя смеюсь над ними от души. Таким образом все идет ладно; а то что, в самом деле, из ничего наживать себе дураков-врагов? Уже видно, как кого господь умудрил, так он с своею мудростью и умрет». Это письмо еще раз доказывает нам, что Кольцов по натуре своей был чрезвычайно благороден и умен, но что ему постоянно вредил недостаток образования. Он с радостью готов был передать другим те новые понятия, которые сам приобрел, и потому принялся было учить знакомых и близких к нему людей. Но это дело было выше его сил, его осмеяли, и он скоро сам увидел бесполезность своих попыток и решился оставить все, как было... Положение Кольцова в семействе было теперь, однако, лучше, чем прежде. Отец его, видя, что стихи не мешают сыну заниматься делом и даже доставляют расположение и уважение важных людей, не стеснял его и был с ним в хороших отношениях. Кольцов сам пишет в том же письме: «Старик отец со мною хорош; любит меня более за то, что дело (в Москве) хорошо кончилось: он всегда такие вещи очень любит». Добрые отношения были еще у Кольцова в это время с младшею сестрою, которую он очень горячо любил. Всеми силами старался он доставить ей образование: необходимость его он сам так сильно чувствовал. Он часто рассуждал, читал с нею и употребил все усилия, лесть, даже хитрость, чтобы умолить отца купить ей фортепьяно, взять учителя музыки и французского языка... К несчастию, впоследствии мелкие домашние дрязги и расчеты нарушили и эту привязанность, как ни старался Кольцов сохранить ее и как ему ни больно было встретить неблагодарность и вероломство в оплату за свою любовь.

Поддерживать торговые и хозяйственные дела также было не совсем легко для Кольцова. Кроме разнообразных хлопот по делам, у него на руках была теперь новая забота — стройка дома. Во время его отсутствия все шло дурно, и по возвращении из Москвы ему надобно было особенно много трудиться, чтобы все поправить и устроить. Между тем и люди, с которыми ему приходилось иметь дело, вовсе не радовали его. Ему поневоле приходилось хитрить и притворяться с ними, иногда для избежания неприятности, а иногда даже для спасения от гибели. Например, однажды в степи какой-то работник так на него озлобился,

что хотел зарезать его. Кольцов успел как-то приметить или узнать его намерение. Что было делать? Сейчас же схватить и обличить бездельника было опасно, уберечься от его нападения не было никакой возможности: дело было в степи. Кольцов решился на хитрость: он вдруг притворился чрезвычайно расположенным к мужику, стал с ним особенно ласков и любезен, поил его вином, сам с ним пил и братался. Таким образом ему удалось избежать опасности, и по возвращении в Воронеж ему уже нетрудно было обличить злодея и рассчитаться с ним, как ему хотелось. Тяжело было жить с подобными людьми такому доброму, благородному человеку, каким был Кольцов; в нем все сильнее разгоралось желание оставить Воронеж и переселиться в Москву или в Петербург. При невозможности же сделать это ему хотелось по крайней мере освободиться от мелкого торгашества, в котором поневоле приходилось прибегать к мелким плутням и всякого рода неправдам. Одно из самых отрадных предположений Кольцова в это время состояло в том, чтобы, по приведении в порядок дел по степи и по окончании постройки дома, сдать всю эту мелкую торговлю на руки отцу, а самому открыть в своем доме книжную лавку. К сожалению, это предположение не исполнилось.

В 1838 году умер Серебрянский. Смерть его глубоко огорчила Кольцова. Грусть о потере преданного и благородного друга делала еще тяжелее его положение в кругу людей, которые не умели ценить и понимать его. Его преследовали насмешками, осуждениями, бранью все те, которым не хотелось сознаться, что он лучше их. Кольцова это иногда смешило, но иногда ему и тяжело приходилось. В одном письме к своему другу он говорит: «Здесь, кругом меня, татарин на татарине, жид на жиде, а дел беремя. Стройка дома (которая кончилась с месяц назад), судебные дела, услуги, прислуги, угождения, посещения, счеты, расчеты, брани, ссоры... И как еще я пишу? И для чего пишу? Для вас, для вас одних; а здесь я за писания терплю одни оскорбления. Всякий так и лезет на меня: дескать, писаке-то и крылья ошибить; это меня часто смешит, когда какой-нибудь чудак петушится...»

В 1840 году еще раз побывал Кольцов в Москве и в Петербурге. Причиной его поездки были два тяжебные дела, для окончания которых нужно было хлопотать ему самому в обеих столицах. Одно дело (в Петербурге) было про-

играно. Кольцов поспешил в Москву, чтобы там хлопотать о другом. Здесь хлопоты его кончились благополучно благодаря особенному участию князя П. А. Вяземского, давшего ему много рекомендательных писем к разным лицам, к которым ему бы иначе и доступа не было.

В Москве Кольцов опять отдохнул душою среди своих старых друзей и с ужасом думал о возвращении в Воронеж. «Если бы вы знали,— писал он в Петербург к Белинскому,— как не хочется мне ехать домой: так холодом и обдает при мысли ехать туда, а надо ехать — необходимость, железный закон». Поэтому он и по окончании дел еще несколько времени жил в Москве и радостно встретил с друзьями новый, 1841 год. Через год он грустно вспоминает об этом в стихотворении на новый, 1842 год:

Прожитый год, тебя я встретил шумно,
В кругу знакомых и друзей.
...Так до зари беседа наша
Была торжественно шумна,
Веселья круговая чаша
Всю ночь не осушала дна!
Но год прошел: одним звездою ясной,
Другим он молнией мелькнул,
Меня ж год, встреченный прекрасно,
Как друг, как демон обманул!
Тяжелый год,— тебя уж нет, а я еще живу
И новый тихо, без друзей, один встречаю,
Один в его заманчивую тьму
Свои я взоры потопляю.
Что в ней таится для меня?
Ужели новые страданья?
Ужель безвременно из мира выйду я,
Не совершив и задушевного желанья?

Предчувствие поэта не обмануло его. Ему уже не суждено было прожить до конца 1842 года. В начале 1841 года он принужден был воротиться домой, потому что в Москве не имел никаких средств для жизни. Пред самым отъездом он писал в Петербург: «Не хочется ехать, да и только. Вот пришло время: и дом и родные невзлюбились наконец. И если б была какая-нибудь возможность жить в Питере,— я бы прямо — марш, и остался бы в нем навсегда. Но без средств этого сделать нельзя,— и я еду домой... Я, признаться, думал сначала махнуть в Питер; но как прохватил меня голод, я и присел — и хорошо сделал...»

Как только приехал Кольцов в Воронеж и устроил немножко дела по торговле и по дому, первой заботой его

было выпросить у отца согласие на отъезд свой в Петербург. На этот раз отец был согласен и даже решился уплатить долги по тем векселям, которые были на имя сына и могли препятствовать его выезду из Воронежа, решился также прекратить торговлю скотом и заняться только присмотром за домом, с которого можно было получать теперь до 7000 рублей ассигнациями годового дохода. Кольцов был необыкновенно рад такому решению. Но в это время он захворал, и очень опасно. На страстной неделе в 1841 году он чуть не умер, однако ж на этот раз жизнь его была еще спасена, благодаря особенно радушным попечениям доктора, который лечил его. Мать Кольцова постоянно оставалась при нем и ходила за больным, несчастным сыном своим с самым нежным участием. Несколько раз Кольцов просил доктора оставить леченье, если он не ожидает выздоровления. «Доктор, если моя болезнь неизлечима,— говорил он,— если вы только протягиваете жизнь, то прошу вас не тянуть ее. Чем скорей, тем лучше, и вам меньше хлопот». Доктор уверял больного, что он выздоровеет, и это на время успокоило Кольцова. «Если так, будем лечиться»,— говорил он. Действительно, на несколько времени ему стало лучше, и он даже получил на время хорошее, спокойное расположение духа, сблизившись с одним существом, прекрасным и образованным, в котором думал найти свое счастие. Но скоро разлука отняла у Кольцова и эту последнюю отраду, и здоровье его еще более прежнего расстроилось. Он почувствовал боль в груди и чрезвычайное расслабление во всем теле. Для излечения доктор посоветовал Кольцову пользоваться купаньем в Дону, и он отправился для этого на дачу к одному из своих родственников. Купанье действительно несколько помогло ему, но он принужден был прекратить свое леченье, не кончивши его, потому что вскоре наступила осень и продолжать купанье было уже невозможно. Впрочем, и после этого он продолжал еще понемножку поправляться, стал читать и писать, возобновил переписку с своими друзьями.

Но для совершенного выздоровления нужно было полное спокойствие, а этого-то и недоставало Кольцову. Родные теперь совершенно оставили его, так что ему приходилось терпеть бедность и недостаток в самом необходимом. Случалось, что ему не на что было купить лекарства; иногда у него недоставало чаю и сахару; иногда приходилось даже оставаться без обеда и ужина. К недостатку скоро

прибавилось еще беспокойство: в том доме, где жил Кольцов, готовилась свадьба, и поднялась беготня, уборка и суматоха, ни на час не дававшая покоя больному. Грустно читать одно из последних его писем, в котором он описывает свое положение в это время. «Все начало ходить и бегать через мою комнату; полы моют то и дело, а сырость для меня убийственна. Трубки, благовония курят каждый день; для моих расстроенных легких все это плохо. У меня образовалось воспаление, сначала в правом боку, потом в левом; противу сердца, довольно опасное и мучительное. И здесь-то я струсил не на шутку. Несколько дней жизнь висела на волоске. Лекарь мой, несмотря на то, что я ему очень мало платил, приезжал три раза в день. А в эту пору у нас вечеринки каждый день,— шум, крик, беготня, двери до полночи в моей комнате ни минуты не стоят на петлях. Прошу не курить — курят больше; прошу не благовонить — больше; прошу не мыть полов — моют...»[14] Наконец, скрепивши сердце, Кольцов решился молчать и терпеть до тех пор, пока свадебные пирушки кончатся. А потом он даже извинился сам пред всеми за те неприятности, которые вытерпел, и таким образом кое-как уладился и помирился с домохозяевами. Его оставили в покое, и он с радостью говорит об этом в одном письме: «Я теперь, слава богу, живу покойно, смирно. Они меня не беспокоят. В комнате тишина; сам большой, сам старшой. Обед готовят порядочный. Чай есть, сахар тоже, а мне пока больше ничего не нужно. Здоровье мое стало лучше. Начал прохаживаться и два раза был в театре. Лекарь уверяет, что я в пост не умру, а весной меня вылечит».

В эти недолгие промежутки времени, когда облегчались страдания болезни, в эти светлые минуты покоя у Кольцова с новой силой явилось желание переехать в Петербург. Еще и перед этим временем несколько раз представлялись ему случаи получить там торговое занятие. Так, в 1840 году предлагали ему принять на себя управление книжной лавкою, основанною на акциях. Около того же времени издатель «Отечественных записок» А. А. Краевский предлагал ему принять на себя заведование конторою этого журнала. Но в то время Кольцова удерживали в Воронеже долговые обязательства, переведенные отцом на его имя. Притом же он боялся начинать новую торговлю без капитала, опасаясь, чтобы, при незначительности средств, и тут не пришлось повторять того же, что он успел вытерпеть

и что ему так не нравилось в прасольских его занятиях. Теперь же, когда у него, по разным интригам близких ему людей, ничего не осталось, когда он чуть не из милости мог жить в своем доме,— теперь он решительнее прежнего задумал переселиться в Петербург и только ждал своего выздоровления. Но и теперь еще его очень сильно тревожила мысль: как и чем будет он жить в Петербурге? В одном письме он говорил: «Удерживаться дома — житье-бытье мне будет плохое; но все, как ни говори, а со двора меня не сгонят. Ехать в Питер — мне не дадут для этого ни гроша. Ну, положим, я найдусь туда приехать; у меня есть вещей рублей на триста; этого достаточно. Но, приехавши туда, что я буду делать? Наняться в приказчики? — Не могу; от себя заниматься? — Не на что. Положить надежду на мои стишонки: что за них дадут?.. Что, если в сорок лет придется нищенствовать?.. Плохо!..»

Подобные мысли и опасения тревожили Кольцова почти постоянно и возмущали последние дни его жизни. Во все продолжение 1842 года он был болен. Наконец силы его совершенно истощились: он упал под бременем болезни, бедности и бесплодной борьбы с обстоятельствами. 19 октября 1842 года, в три часа пополудни, Кольцова не стало. Он умер на тридцать четвертом году от рождения.

Мы рассказали о жизни этого замечательного человека, насколько это известно из рассказов, до сих пор напечатанных. Но нет сомнения, что еще много откроется впоследствии для биографии Кольцова новых фактов, которые еще более заставят любить и уважать его. Доселе друзья Кольцова, которые могли бы многое рассказать из его жизни, молчали по чувству особенной деликатности, чтобы не выставить в дурном свете многих людей, близких поэту. Со временем, конечно, появятся более полные и откровенные рассказы, в которых мы увидим самые подробности домашнего быта Кольцова. Впрочем, и того, что мы знаем теперь, уже достаточно, чтобы сделать общее заключение о характере этого человека. Во всей его жизни мы видим одно стремление, одну постоянную заботу — образовать себя. Это стремление обнаруживается в нем еще с детства и во всю жизнь нигде и никогда не покидает его. Все, что окружает поэта, противится этому стремлению, но оно все-таки остается в душе его твердо и непоколебимо. Это стремление пробуждает в нем сначала охоту к чтению, потом желание и самому сочинить что-нибудь, и отсюда начина-

ется его поэтическая деятельность. И сама эта деятельность развивалась и совершенствовалась у него по мере большего и большего образования его ума. Как истинный и высокий поэт, Кольцов никогда не предавался одному только безотчетному чувству, без всякого участия разума. Нет, размышление всегда соединялось у него с чувством. В каждом из стихотворений Кольцова непременно есть мысль. И чем выше становилась образованность поэта, тем яснее и полнее выражалась мысль в стихах его, тем теснее она соединялась с чувством сердца. Самые недостатки некоторых стихотворений, например дум, происходят оттого, что поэт брался в них за представление таких предметов, которые он еще не совсем ясно понимал и в которых поэтому не могло сильно выразиться поэтическое чувство.

То же было и в жизни. Кольцов еще позволял себе ложь, хитрость, торговые проделки и т. п., пока ум его, образовавшись более, не дошел до сознания высших обязанностей. Но как скоро он их понял, ему стало грустно и тяжело: он почувствовал отвращение к прежней жизни и до самой смерти своей все старался изменить свои обстоятельства и начать новую жизнь. Бедный поэт не успел в своих стремлениях: зло вокруг него было слишком сильно; он не мог выйти победителем из борьбы. Но все же он боролся и даже многое выиграл в этой борьбе; его поэзия досталась ему не даром: многого стоило ему сохранить и воспитать в себе поэтическое чувство, выучиться слагать стихи и даже приобрести то скудное образование, какое видно в его произведениях. Всю жизнь свою он исполнял то, что обещал себе уже незадолго до смерти: «Буду жить, пока живется, работать, пока работается; употреблю все силы, пожертвую, сколько могу; буду биться до конца-края, приведу в действие все зависящие от меня средства. И когда после этого упаду, мне краснеть будет не перед кем и перед самим собою я буду прав».

И действительно, если свет был неправ перед ним, зато он был вполне прав и перед собою и перед светом, которому оставил на память о своей жизни такую высокую, истинную поэзию.

## ГЛАВА VI

### *Характер поэзии Кольцова. Верность и правдивость в изображении предметов. Положительный взгляд на вещи. Присутствие мысли в стихотворениях. Думы. Некоторые черты народного характера в песнях Кольцова. Сила чувства и выражения. Язык Кольцова. Заключение*

В жизни Кольцова мы видели, что он постоянно стремился к высшему образованию своего ума и сердца: одно уже это обстоятельство делает его замечательным человеком и заставляет любить и уважать его. Но, как мы заметили, борьба поэта с обстоятельствами жизни не осталась бесплодною: он многое преодолел, многого достиг силою своей твердой воли и природного ума. И все, приобретенное Кольцовым, не скрылось в душе его, неведомо для людей, а ясно, живо и звучно выразилось в его поэзии. По своим поэтическим произведениям Кольцов замечателен еще более, нежели по своей жизни. Эти произведения не бесполезны и для пополнения биографии поэта. В них так хорошо высказалась живая, поэтическая душа его. Для нас же они важны еще более как превосходные литературные произведения, имеющие общий интерес и значение. По всем этим причинам мы к рассказу о жизни Кольцова прибавим теперь еще несколько слов о характере и значении его стихотворений.

Кольцов писал сначала разные мелкие стихотворения, подражая отчасти известным поэтам нашим. Это самые слабые его произведения, из которых только немногие заслуживают особенного внимания. Кроме того, у Кольцова есть думы и песни. В думах он обыкновенно старался пе-

редать свои сомнения, свои вопросы, которые рождались в его уме при взгляде на мир. Эти думы имеют один важный недостаток: поэт говорит в них о том, чего сам ясно не понимает, и, задавши вопрос, часто очень важный и глубокий, оставляет его без ответа, а иногда еще и прибавляет в конце, что напрасно и рассуждать об этом.

Песни Кольцова составили у нас совершенно особый, новый род поэзии. И до Кольцова, правда, писали у нас русские песни, но мы уже видели выше, что это были за песни. Несмотря на то, что в них являлся как будто простой русский человек, однако ж ни в содержании, ни в самом выражении этих песен не было ничего простого и русского. Кольцов первый стал представлять в своих песнях настоящего русского человека, настоящую жизнь наших простолюдинов так, как она есть, ничего не выдумывая. Это происходило от двух причин. Во-первых, Кольцов хорошо знал народную жизнь, знал не понаслышке, а по собственному опыту. Многие потому только воображают, что они знают народную жизнь, что проезжали чрез деревни и встречались с крестьянами. Такие люди обыкновенно думают, что отличие жизни крестьянина от их жизни состоит только в том, что крестьянин не бреет бороды, не понимает тонкости обращения и не делает визитов. Поэтому они часто представляют, что мужичок сидит у ручейка и жалобно поет чувствительную песню, или, выгнавши в поле стадо, садится под тень развесистого дерева и сладко играет на свирели, или сидит у себя под окошком и собирается убежать в лес, чтобы скрыться от злых толков. Сочинители крестьянских песен не хотят знать, что мужичку некогда переливать из пустого в порожнее, разговаривать с волнами попусту, мечтать бог весть о чем: у него есть дело поважнее. Он сам должен заботиться о себе, если хочет иметь хлеб насущный да хоть плохонький кафтанишко. Он должен и пахать, и боронить, и косить, и молотить, и на базар хлеб свезти, да еще и за домом присмотреть и скотину покормить. И мало ли у него дела! Каждый божий день занят с утра до ночи, так что и в светлый праздник чуть отдохнуть успеет. Когда же тут пускаться в мечтания о каком-то золотом веке, о счастии в хижине, и пр. и пр. Только тот, кто не знает жизни крестьянской, т. е. хоть и видал, да не испытал ее,— только тот может представить мужичка с такими чувствами и мечтами. И замечательно еще то, что в этих подделанных песнях никогда

не видно, что за человек, как и где живет тот, чьи чувства выражаются в песне. Называется это лицо добрым молодцом или красной девицей, значит, человек из простого звания. А между тем нет тут никакого намека на жизнь простого народа, не видно даже никакого следа заботы о том, чем обыкновенно занят крестьянин,— о приобретении возможности быть сытым, одетым и пр. Как будто они живут где-нибудь в облаках, питаются воздухом, одеваются ветром, умываются росою небесною!..

Совсем не то у Кольцова. Он сам испытал все нужды простого народа, сам жил с ним, сам был в том же положении, в каком живут наши простолюдины. Поэтому и в стихотворениях Кольцова русские люди являются настоящими, а не выдуманными существами.

Другая причина естественности изображений в песнях Кольцова заключается в самых свойствах природного ума поэта. Он всегда отличался положительным, практическим взглядом на вещи и чем более приобретал образованности, тем яснее становился в нем такой взгляд. Он не был из тех людей, которых называют обыкновенно идеалистами и которые, будучи незнакомы с нуждами и трудностями жизни, смотрят с пренебрежением на заботы о вещественном благосостоянии. Кольцов образовался и воспитался именно в школе житейской нужды и лишений. Поэтому он хорошо понимал важность достатка в жизни — и в его поэзии ярко отразилось это.

Во всем у него видно живое, положительное направление. Например, он любуется степью и прекрасно изображает ее; но он не забывается в этом наслаждении. Главная мысль его та, что в степь эту приходит молодой косарь, которому нужно добыть денег, чтобы жениться на дочке старосты. И вот как размышляет косарь, обращаясь к степи:

В гости я к тебе
Не один пришел:
Я пришел сам-друг
С косой вострою;
Мне давно гулять
По траве степной,
Вдоль и поперек,
С ней хотелося...
Раззудись, плечо,
Размахнись, рука!
Ты пахни в лицо,
Ветер с полудня!

Освежи, взволнуй
Степь просторную!
Зажужжи, коса,
Засверкай кругом!
Зашуми, трава
Подкошённая;
Поклонись, цветы,
Головой земле!

Вслед за этим чудным изображением работы косаря рисуется практическая цель, для которой все это делается:

Нагребу копен,
Намечу стогов —
Даст казачка мне
Денег пригоршни.
Я зашью казну,
Ворочусь в село —
Прямо к старосте:
Не разжалобил
Его бедностью,
Так разжалоблю
Золотой казной...

Эта забота о вещественных средствах жизни везде видна в песнях Кольцова. Пахарь его не восхищается только природою; нет, он думает о другом:

Заблестит наш серп здесь,
Зазвенят здесь косы;
Сладок будет отдых
На снопах тяжелых.
...Уроди мне, боже,
Хлеб — мое богатство.

В стихотворении «Урожай» после превосходнейшего описания пробуждения сельской природы весной идет речь о полевых работах крестьян, и главная мысль обращается на то,

Что послал господь
За труды людям.

Собираясь на пирушку, крестьяне опять —

...пьют и едят,
Речи гуторят —
Про хлеба, про покос,
Про старинушку:
Как-то бог и господь
Хлеб уродит нам,
Как-то сено в степи
Будет зелено.

По осени мужички —

Хлеб везут, продают,
Собирают казну,
Бражку ковшиком пьют.

Невесте своей поэт сулит не одну любовь в хижине, а говорит:

Будут платья дорогие,
Ожерелья с жемчугом;
Наряжайся, одевайся
Хоть парчою с серебром.

Говоря о ссорах с дурной женой, не забывает он и о долгах:

И живем с ней — только ссоримся,
Да роднею похваляемся,
Да, проживши все добро свое,
В долги стали неоплатные...

В радости своей он говорит:

Я не в поле вихрем веялся,
По людям ходил, деньгу копил,
За морями счастья пробовал...
Моя доля здесь счастливая:
Я нажил себе два терема,
Лисиц, шелку, много золота,
Станет — век прожить боярами.

В грусти своей он опять жалеет о том, что нет у молодца —

Золотой казны,
Угла теплова,
Бороны-сохи,
Коня-пахаря.

Описывая свое бедствие, он говорит:

С той поры я с горем-нуждою
По чужим углам скитаюся,
За дневной кусок работаю,
Кровным потом умываюся...

В грусти своей он не забывает и о своей одежде. Прошла моя золотая пора, говорит он,—

До поры, до время
Всем я весь изжился,

И кафтан мой синий
С плеч долой свалился!

Лихач Кудрявич рассказывает даже подробно, что когда приневолят выйти к старикам на сходку,—

Старые лаптишки
Без онуч обуешь,
Кафтанишка рваный
На плечи натянешь,
Бороду вскосматишь,
Шапку нахлобучишь.

Все эти черты совсем не похожи на восклицания о тоске, о грусти, какие встречаются очень часто в песнях, сделанных другими сочинителями. И, несмотря на видимую простоту и отсутствие всяких поэтических прикрас, в песнях Кольцова несравненно более поэзии, чем в тех сочинениях, и потому именно, что в них более правды. Люди, которые в них изображаются, ближе к нам по своему положению и по своим чувствам. Мы видим, что они в самом деле живут, радуются и страдают, понимаем и причины их веселья и горя,— и поэтому их жизнь, их чувства производят на нас гораздо сильнейшее впечатление, нежели жалобы выдуманных лиц, плачущих так себе, от нечего делать.

Точно так же и описания природы у Кольцова вполне верны и естественны. Он не придумывает скалистых берегов, журчащих ручейков, прекрасных лесов с расчищенными дорожками и т. п., как это очень часто делалось многими сочинителями. Он описывает именно то, что он видел и знает: степь, ниву, лес, деревню, летний зной, осенние бури, зимние вьюги, и представляет их именно так, как они бывают в природе. Таких картин природы у него чрезвычайно много рассыпано в разных его стихотворениях.

Некоторые привели мы выше, например описание степи. Другие можно видеть в стихотворениях, помещенных в конце этой книжки, особенно в «Урожае», «Песне пахаря», «Что ты спишь, мужичок?», «Светит солнышко» и др.

Кроме уменья изображать природу и жизнь, не искажая их,— у Кольцова есть еще важное достоинство: он понимает предметы правильно и ясно. Не просто он рассказывает то, что случалось видеть ему; это была бы пустая болтовня. Нет, он думает, о чем ему говорить и что гово-

рить,— в его стихотворениях всегда есть мысль. Все изображения предметов и людей служат у него только для объяснения или для лучшего выражения главной мысли. У него нет ни одного стихотворения, которое просто, без всякого толку, описывало бы что-нибудь; а у других это часто бывает. Услышит человек, что ветер воет, и пишет стихи, что вот, дескать, я сижу и слушаю, как ветер воет; увидит облака на небе — и пишет стихами, как он на облака смотрит; застанет его дождь на дороге — опять стихи готовы, что вот я иду, а меня дождик мочит. У Кольцова не найдем таких стихотворений. И он, конечно, говорит и о ветре, и о солнце, и о буре; но все это у него приведено к чему-нибудь, а не само по себе стоит. У него везде является человек, и рассказывается о том, какое действие производит на него то или другое явление природы. Так, в одном стихотворении у него старик при мысли о весне вспоминает о том, что ему недолго уже наслаждаться жизнию. В другом — весна разнеживает сердце молодых людей и пробуждает в них живые чувства. В третьем — весна возбуждает заветные, мирные думы поселян об урожае. То веянье ветра напоминает ему о дороге, и он поет:

В поле ветер веет,
Травку колыхает,
Путь — мою дорогу —
Пылью покрывает.

То он вызывает бурю, чтобы прикрыть бегство удальца:

Подымайся, туча-буря,
С полуночною грозой!
Зашатайся, лес дремучий,
Страшным голосом завой!
Чтоб погони злой боярин
Вслед за нами не послал...

То осенние ветры и туманы пробуждают в душе его чувство одиночества, и он грустно поет:

Дуют ветры,
Ветры буйные,
Ходят тучи,
Тучи темные,
Не видать в них
Света белого,
Не видать в них
Солнца красного.

Во сырой мгле —
За туманами
Только ночка
Лишь чернеется...
В эту пору
Непогожую
Одному жить
Сердцу холодно...

Таким образом каждая картина, каждый стих у Кольцова имеет свой смысл, свое значение по отношению к человеку. Он старался еще глубже понять этот смысл, заключенный в природе, и в этом старании отыскать смысл везде, во всем мире, состоит содержание его дум. Он говорит:

Горит огнем и вечной мыслью солнце,
Осенены все той же тайной думой,
Блистают звезды в беспредельном небе,
И одинокий, молчаливый месяц
Глядит на нашу землю светлым оком...
...Повсюду мысль одна, одна идея...
...Одна она — царица бытия...

Он спрашивает, смотря на лес:

О чем шумит сосновый лес,
Какие в нем сокрыты думы?
Ужель в его холодном царстве
Затаена живая мысль?

Он знает, что человек может и должен рассуждать, давать себе отчет обо всем, что совершается пред ним в мире, потому что —

Целая природа
В душе человека;
Проникнуты чувством,
Согреты любовью,
Из нее все силы
В образах выходят...

Правда, эти стремления отыскать мысль в явлениях природы ни к чему не привели Кольцова. Он только уверился, что

Мир есть тайна бога,
Бог есть тайна жизни,—

и не дошел до того, чтобы проникнуть в эту тайну. Для этого он был еще очень мало образован; думы тяготили его, как он сам признается:

Тяжелы мне думы,
Сладостна молитва...

Впрочем, положительность Кольцова удержала его от так называемого мистицизма, т. е. от стремления находить таинственный смысл во всех даже самых простых вещах. Он возвратился наконец к своему простому, светлому взгляду на предметы, без лишних умствований и мечтаний. В этом отношении любопытно сравнить два его стихотворения. Одно написано еще в 1830 году, когда Кольцов совершенно незнаком был с высшими философскими вопросами.

Что значу я?
Что, крошка мелкая, я значу?
Живу, заботливо тружусь,
В желанье счастья время трачу
И вечно, недовольный, плачу.
Чего ж ищу? к чему стремлюсь?
В какой стране, на что гожусь?
Есть люди: до смерти желают
Вопросы эти разгадать;
Но что до них! Пусть как хотят,
О всем серьезно рассуждают.
Я недоросль — я не мудрец.
Мне нужнее знать немного;
Шероховатою дорогой
Иду шажком я, как слепец;
С смешным сойдусь ли — посмеюсь;
С прекрасным встречусь — им пленюсь;
С несчастным — от души поплачу,—
И не стараюсь знать, что значу...

Здесь еще видна некоторая уклончивость; тон этого стихотворения напоминает тон русского мужичка, когда он с лукавым простодушием говорит: «Где нам!.. Мы люди темные». Кольцов в этих стихах как будто бы хочет сказать, что он и приниматься не хочет за рассуждения, что он и знать не хочет вопросов, над которыми люди трудятся. Тут еще видно пренебрежение вообще к мышлению философскому.

Другое стихотворение написано уже в 1841 году, в последнее время жизни Кольцова:

Не время ль нам оставить
Про высоты мечтать,
Земную жизнь бесславить,
Что есть иль нет — желать?
Легко, конечно, строить
Воздушные миры

И уверять и спорить,
Как в них-то важны мы...
Но от души ль порою
В нас чувство говорит,
Что жизнию земною
Нет нужды дорожить?
Темна, страшна могила,
За далью мрак густой;
Ни вести, ни отзыва
На вопль наш роковой!
А тут дары земные:
Дыхание цветов,
Дни, ночи золотые,
Разгульный шум лесов,
И сердца жизнь живая,
И чувства огнь святой...

Здесь также поэт сознается, что бесполезно строить воздушные миры и мечтать про высоты; но теперь мысли его высказаны гораздо серьезнее; видно, что он восстает не против мышления, не против разума, которому так много был обязан, а только против злоупотребления ума, когда он пускается в мечтательные теории и отдаляется от жизни. Такую перемену произвело в Кольцове то время, когда он познакомился с высшими вопросами и хорошо передумал их. Его можно было бы сравнить в этом с алхимиком*, который, долго искавши философского камня, убеждается наконец в нелепости алхимии, но вместо нее обращается к истинной науке и делает в ней новые открытия. В этом случае даже и не совсем ясные, несколько мечтательные умствования все-таки не бесполезны были для Кольцова, приучив его ум к более серьезному взгляду на предметы и утвердивши еще более природную ясность и положительность его ума. Так, если человек, совсем не имеющий понятия о чужих странах, отправится в них путешествовать, то получит пользу даже и тогда, если эти страны не покажут ему ничего особенно хорошего: по крайней мере чрез сравнение он научится лучше ценить свое родное, близкое к нему, и правильнее им будет пользоваться.

И Кольцов действительно умел воспользоваться всем,

* Алхимиками назывались существовавшие в прежнее время ученые, которые думали, что можно найти средство делать золото и составить напиток, который, сохраняя постоянно молодость и красоту в людях, мог бы продолжить жизнь их на бесконечные времена. С этой целью алхимики произвели множество опытов и составили науку, называемую алхимией.

что было близко к нему. Он прекрасно понимал не только русскую жизнь, но и характер русского народа, и умел его выразить в своих песнях. Так, у него прекрасно высказывается широкий разгул русского человека, эта удаль, которая идет на все и которой все нипочем. Это можно видеть в пьесах: «Как здоров да молод», «Расчет с жизнию», «Дума сокола».

Весьма верно, вместе с удалью, выражается у Кольцова также и беззаботность, это заветное «авось», с которым идет русский человек навстречу и горю и радости. Песни Лихача Кудрявича совершенно в русском народном характере. Лихач Кудрявич не слишком любит рассчитывать: он —

Что шутя задумал —
Пошла шутка в дело,
А тряхнул кудрями —
В один миг поспело...

По его мнению —

Не родись богатым,
А родись кудрявым:
По щучью веленью
Все тебе готово.

Так говорит он в счастии. Приходит беда — и тут он не изменяет своему характеру: он опять не рассчитывает, как помочь горю, как отвратить напасть, а покорно покоряется своей участи.

Не родись в сорочке,
Не родись талантлив,—
Родись терпеливым
И на все готовым...
Зла беда не буря —
Горами качает,
Ходит невидимкой,
Губит без разбору...

От нее не уйдешь, так уж лучше и не хлопотать понапрасну... Зато —

Как здоров да молод,—
Без веселья весел,
Без призыва счастье
И валит и едет...

Тут и заботиться не о чем: хлеба ли нужно —

А там бог уродит,
Микола подсобит
Собрать хлебец с поля...

Достатка ли надобно —

Куда глянем — всюду наша степь:
На горах — леса, сады, дома,
На дне моря — груды золота,
Облака идут — наряд несут.

Не нужно, впрочем, думать, чтобы сам Кольцов тоже так смотрел на вещи. Напротив, он и в поэзии, как во всей жизни своей, выражает убеждение, что нужно бороться с обстоятельствами и что беспечность непременно ведет к лени и усыплению.

Он обращается с укором к поселянину:

Что ты спишь, мужичок?

Он говорит своему другу:

Что ты ходишь с нуждой
По чужим по людям?
Веруй силам души
Да могучим плечам!..

Если обстоятельства жизни слишком тяжелы для него, то он не падает духом, но смело идет —

Горе мыкать, жизнью тешиться,
С злою долей переведаться.

Он всегда готов к тому —

Чтоб порой пред бедой
За себя постоять,
Под грозой роковой
Назад шагу не дать...

Его стремления всегда живы и сильны, и они почти всегда превосходно выражаются в его стихах. Как сильно, как естественно, как верно выражение мыслей и чувств у Кольцова, — это можно видеть из приведенных выписок и еще более из чтения самих стихотворений его. Скажем здесь еще несколько слов о форме их. Песни Кольцова писаны особенным размером, близким к размеру наших народных песен, но гораздо более правильным. В них большею частию нет рифмы, а если и есть, то всего чаще через

стих. Язык Кольцова совершенно простой, народный. Редко-редко можно встретить в его стихах книжное выражение, да и то большею частию в слабых его пьесах, которые писал он правильным, метрическим размером в первое время своей поэтической деятельности. Выражения народные встречаются у него часто; но формы везде почти правильные, принятые в литературе. Можно найти всего пять или шесть фраз неправильных, например: до время, задной головою и т. п. Но эти недостатки совершенно незначительны и нисколько не вредят истинным красотам поэзии Кольцова.

Теперь мы знаем главные события жизни Кольцова и важнейшие особенности его поэзии. Полнейшее знакомство с нею должно быть продолжаемо чтением его произведений. Мы же, после всего сказанного нами, можем прийти к следующим заключениям.

В поэзии Кольцова выразилась его душа, его жизнь, полная возвышенных стремлений, тяжелых испытаний и благородных, чистых чувств. В ней виден его светлый взгляд на предметы, уменье понимать жизнь и природу, в ней, наконец, является живое, естественное представление вещей, без прикрас и без искажений природы. Все это — такие достоинства, которые делают стихотворения Кольцова весьма замечательными в нашей литературе. В них соединяются все условия, необходимые для поэтического достоинства, т. е. разумная мысль, благородное стремление и живое, глубокое чувство. Из соединения этих условий происходит та правдивость и искренность, которою отличается Кольцов как в изображении собственных душевных ощущений, так и в представлении предметов внешних. Это последнее достоинство получает особенную цену в глазах наших, когда мы вспомним, как редко являлось оно у наших писателей до Кольцова.

Оканчивая наши замечания о жизни и стихотворениях Кольцова, мы можем, кажется, в заключение смело сказать, что Кольцов вполне заслуживает наше внимание и сочувствие не только как замечательный простолюдин-самоучка, но и как великий народный поэт.

5 Заказ 1079

# О СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ НАРОДНОСТИ В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(«ОЧЕРК ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ» А. МИЛЮКОВА. ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ, СПб., 1858)

Книжка г. Милюкова — наша старая знакомая. Первое издание ее было в 1847 году, и тогда же она была оценена по достоинству в наших журналах. Новое издание этой книжки приятно напомнило нам время первого ее появления и заставило подумать о том, что произошло в нашей литературе в последнее десятилетие. По-видимому, ничего не произошло особенного: в 1847 году высказывались идеи и стремления, совершенно близкие к тем, какие высказываются в 1858 году. Книжка г. Милюкова может служить лучшим тому доказательством. Следуя мнениям Белинского о русских литературных явлениях, г. Милюков составил тогда очерк развития русской поэзии — и этот очерк до сих пор не теряет своей правды и значения. Тогда находил он хорошими только те явления русской поэзии, в которых выражалось сатирическое направление; и теперь не нашел он ничего, что можно бы было похвалить у нас вне сатирического направления. Тогда заключил он свой очерк словами Лермонтова «Россия вся в будущем»[1] — и теперь заключает его теми же словами... Ожидаемое будущее еще не настало для русской литературы; продолжается все то же настоящее, какое было десять лет тому назад... Мы еще в том же гоголевском периоде и напрасно ждем так давно нового слова: для него еще, верно, не выработалось содержание в жизни.

Но если не заметно ничего особенного во внутреннем содержании и характере литературы, зато нельзя не видеть, что внешним образом она развилась довольно значительно. Вспомним, какие люди действовали у нас на литературном поприще в сороковых годах и до 1847 года включи-

тельно. Хотя в этом году Гоголь уже издал «Переписку», но все же он был жив, и надежды на него не покидали его почитателей[2]. За Гоголем возвышался гениальный критик его, энергически, громко и откровенно объяснивший России великое значение ее национального писателя. За Белинским высились еще два-три человека, возбуждавшие внимание публики к вопросам философским и общественным[3]. Под их знаменем ратовала тогда литература против неправды и застоя; от них заимствовала она свою энергию и жизнь.

Теперь тоже литература призывает общество к правде и деятельности, тоже восстает против злоупотреблений — но кто несет наше знамя? Вокруг кого собрались литературные деятели? Из тех, кто одушевлял литературу в сороковых годах,

Иных уж нет, а те далече[4].

Из новых же деятелей нет никого, кто бы по своему таланту и влиянию равнялся Гоголю или Белинскому. Теперь нет литературных вождей, подобных прежним; они исчезли один за другим, русская литература утратила их в самый год смерти Белинского или недолго спустя. Некоторые из них продолжали действовать и после, даже еще в больших размерах, чем прежде; но для большинства русской публики труды их оставались неизвестными в эти года[5]. Так, Гоголь до конца жизни не переставал работать над своим созданием; но только немногие, близкие к нему люди знали, какое произведение готовит он. До прочих едва доходили темные, неопределенные слухи о продолжении «Мертвых душ». Так было и с некоторыми из других литературных деятелей. Так и до сих пор, после смерти Гоголя и прекращения деятельности Белинского и некоторых его сподвижников, продолжается у нас отсутствие громкого имени, от которого приходила бы в движение литература, которым бы направлялась известным образом ее деятельность.

А между тем кто не видит, что литература, при всех своих утратах и неудачах, осталась верною своим благородным преданиям, не изменила чистому знамени правды и гуманности, за которым она шла в то время, когда оно было в сильных руках могучих вождей ее. Теперь никого нет во главе дела, но все дружно и ровно идут к одной цели; каждый писатель проникнут теми идеями, за которые лет десять тому назад ратовали немногие, лучшие люди, каж-

дый по мере сил преследует то зло, против которого прежде возвышалось два-три энергических голоса. То, что было тогда достоянием немногих передовых людей, перешло теперь во всю массу людей образованных и пишущих. Кто не умел или не хотел усвоить себе этих живых уроков недавнего прошедшего, тот уже считается отсталым, отчужденным от общего дела, мертвецом между живыми, и его хоронят заживо, несмотря ни на ученость, ни на талант. Да что же иначе и делать с человеком, который сам зарывает талант свой в землю и мертвой буквой убивает жизнь духа? Бог с ними: пусть сочиняют себе надгробные надписи, долженствующие некогда напомнить об их бессмертии. Живой о живом думает, и нынешняя литература стремится изведать жизнь и на практике приложить и проверить истины, привитые общему сознанию достопамятными деятелями прежних лет. Все проникнуто этим духом, и — повторим еще раз — хотя во внутреннем содержании литература не подвинулась вперед, круг идей ее не расширился, но круг приверженцев этих идей значительно увеличился; усвоение их стало тверже и полнее. В этом видим мы внешнее развитие литературы, составляющее прогресс ее в последние десять лет, и несомненную, действительную ее заслугу. Она собственною силою сохранила еще свое достоинство от мелких проделок и жалких поползновений, унижавших в другие времена звание писателя. Она собственною силою завоевала себе этот кружок людей, со всею энергией правды и молодости отдавших себя на служение правому делу, чтоб при первой возможности честно и правдиво послужить ему. В этом уже немалая заслуга, и она может сделаться громадною, если распространение идей добра и правды будет продолжаться таким же образом и если интересы, возбужденные литературою, проникнут наконец в массы народа. Тогда-то нельзя будет не признать великого значения литературы.

Но это все будущее и, без сомнения, довольно отдаленное. Книга же г. Милюкова дает нам повод проследить значение русской литературы в прошедшем. Кстати, здесь же мы можем объясниться с некоторыми книжниками, которые взводят на «Современник» обвинение, будто он совершенно отвергает всякое значение литературы для общества[6].

Книжные приверженцы литературы очень горячатся за нее, считая прекрасные литературные произведения нача-

лом всякого добра. Они готовы думать, что литература заправляет историей, что она изменяет государства, волнует или укрощает народ, переделывает даже нравы и характер народный; особенно поэзия, — о, поэзия, по их мнению, вносит в жизнь новые элементы, творит все из ничего. В подтверждение своих взглядов они указывают на великие поэмы первых веков человечества, на поэзию индийскую, еврейскую, греческую и на продолжение их в творениях величайших гениев новых времен. «Сколько великих тайн,— говорят они,— поведано миру в великолепных созданиях фантазии юного человечества! Без индийской и персидской поэзии не было бы в человечестве сознания о борении двух начал, добра и зла, во всем мире; без Гомера не было бы Троянской войны, без Вергилия Эней не странствовал бы в Италию, без Мильтона не было бы «Потерянного рая», без Данте — живых представлений ада, чистилища и рая». Не было бы — это в высшей степени справедливо; все эти прекрасные создания принадлежат творческой фантазии младенчествующего народа или увлеченного вдохновением поэта. Но знаете ли что?— создания фантазии так ведь и остаются в области фантастических призраков и не переходят в действительность. Несмотря на все величие гомеровских рапсодий, героический век, с своими богами и богинями, не явился в Греции во времена Перикла, равно как и в Италии Вергилий, при всем своем красноречии, не мог уже возвратить римлян империи к простой, но доблестной жизни их предков и не мог превратить Тиберия в Энея. Мало того — явления, изображенные во всех названных нами поэмах, и сами по себе-то не имеют действительности и с каждым годом все далее отодвигаются в туманный мир призраков... Увы!

...Мечты поэта!
Историк строгий гонит вас![7]

Юнона не обольщала Зевса, Афродита не спасала Париса на поле битвы, Афина не обманывала Гектора, Эней не видался с Дидоной, Шива не боролся с Брамой и т. д. Если во всех этих преданиях и есть что-нибудь достойное нашего внимания, то именно те части их, в которых отразилась живая действительность. Самые заблуждения, какие мы в них находим, интересны для нас потому, что некогда они не были заблуждениями, некогда целые народы верили им и по ним располагали жизнь свою. Оттого-то и нравится

нам доселе поэзия древнего мира и некоторые фантастические произведения поэтов нового времени, тогда как ничего, кроме отвращения, не возбуждают в нас нелепые сказки, сочиняемые разными молодцами на потеху взрослых детей и выдаваемые нередко за романы, были, драмы и пр. Там видна жизнь своего времени и рисуется мир души человеческой с теми особенностями, какие производит в нем жизнь народа в известную эпоху; а здесь ничего нет, кроме праздных выдумок, стоящих в разладе с жизнью и происходящих от фантастического, произвольного смешения понятий и верований разных времен и народов. Так, в музыке нравятся нам нередко дикие аккорды, уклоняющиеся от правил музыкальной гармонии, но удачно выражающие какой-нибудь действительно существующий диссонанс в природе: между тем нам дерет уши, а вовсе не производит приятного впечатления нечаянно сделанная ошибка, когда артист возьмет одну ноту вместо другой. Делая это сравнение, мы хотим сказать, что поэзия и вообще искусства, науки слагаются по жизни, а не жизнь зависит от поэзии и что все, что в поэзии является лишним против жизни, т. е. не вытекающим из нее прямо и естественно, все это уродливо и бессмысленно. Что отжило свой век, то уже не имеет смысла, и напрасно мы будем стараться возбудить в душе восхищение красотою лица, от которого имеем только голый череп. Боги греков могли быть прекрасны в древней Греции, но они гадки во французских трагедиях и в наших одах прошлого столетия. Рыцарские воззвания средних веков могли увлекать сотни тысяч людей на брань с неверными для освобождения святых мест; но те же воззвания, повторенные в Европе XIX века, не произвели бы ничего, кроме смеха. Пиндар воспевал олимпийские игры, и вся Греция благоговейно внимала ему; в наше время никто уже серьезно не воспевает церемониальных процессий и торжеств всякого рода; а если и находились господа, воспевавшие излеровские фейерверки и иллюминации на разные случаи, то они всем показались до того пошлы, что даже не возбудили смеха[8]. Конечно, не поэзия произвела все эти явления в жизни, а жизнь заставила иначе смотреть на поэзию. Пора нам освободить жизнь от тяжелой опеки, налагаемой на нее идеологами. Начиная с Платона восстают они против реализма и, еще не понявши хорошенько, перепутывают его учение. Непременно хотят идеализма — хотят делить мир на *мыслимое* и *являемое,* уверяя, что только

чистые идеи имеют настоящую действительность, а все являемое, т. е. видимое, составляет только отражение высшей, отвлеченной идеи жизненной силы, а просто хлеб — объект, который можно съесть. Пора бы отстать и от отвлеченных идей, по которым будто бы образуется жизнь, точно так, как отстали наконец от телеологических мечтаний, бывших в такой моде во времена схоластики. Бывало, ведь добрые люди пренаивно рассуждали, как это удивительно глаз приноровила природа к тому, чтобы видеть: и зрачки, и сеточки, и оболочка — все, точно нарочно, так уж и приделано, чтобы видеть; и никак ведь не хотели сообразить добрые люди, что не потому глаз так устроен, что нам такая крайняя есть необходимость видеть, и видеть именно вверх ногами и в миниатюре; а просто видим мы, и видим так, а не иначе, именно потому, что глаз наш так уж устроен. Или удивлялись, как реки текут: воде, видите, надо всегда вниз бежать, и — непостижимая предусмотрительность природы! — в каждом месте, где река течет, непременно в русле есть склон; ну, вода-то и течет себе свободно... Добрые люди и того не хотели подумать, что река по склону-то именно и течет: не будь его вправо, так она пойдет влево, а не станет дожидаться, покуда под нею склон образуется. Нет, по мнению добрых людей, если Волга течет в Каспийское море, так это потому единственно, что она питает особенное, невещественное, идеальное сочувствие к Каспию, и в силу такой идеи она должна была непременно дойти именно до Каспия, хотя бы целые Альпы встретились ей на дороге.

В естественных науках все подобные аллегории давным-давно оставлены; пора бы покончить с ними и в области литературы и искусства. Не жизнь идет по литературным теориям, а литература изменяется сообразно с направлением жизни; по крайней мере так было до сих пор не только у нас, а повсюду. Когда человечество, еще не сознавая своих внутренних сил, находилось совершенно под влиянием внешнего мира и, под влиянием неопытного воображения, во всем видело какие-то таинственные силы, добрые и злые, и олицетворяло их в чудовищных размерах, тогда и в поэзии являлись те же чудовищные формы и та же подавленность человека страшными силами природы. Когда же человек немножко попривык к этим силам и сознал отчасти свое собственное значение, тогда и силы природы стал он представлять антропоморфически, приближая их к

себе. Таким образом развивалась поэзия греческая, с своими божествами. В себе человек сознал прежде всего внешние, физические качества — и на первой ступени развития каждого народа являются героические сказания. Сила доставляет одним преимущества, которых лишаются другие; в элемент поэзии входит воспевание того, как один победил другого и какие получил трофеи. Трофеи доставляют победителям возможность давить побежденных своим великолепием, а побежденных заставляют склониться пред силою победителя и признать над собою ее права; в поэзии в это время является восторженная ода, воспевающая покорность рабов и вассалов. Но победители забываются и начинают уж слишком теснить побежденных; является ропот, негодование, и в литературе он выражается сатирой, сначала глухой, действующей намеками — в басне, потом более открыто — в сатире лирической и драматической. Возбужденное негодование пробуждает, разумеется, в обеих сторонах взаимные опасения, желание уладить дело к выгоде собственной и как можно больше вытянуть для себя от противной стороны. Это обстоятельство заставляет обратить внимание на устройство общества и семейной жизни, на отношения одних членов общества к другим, и литература склоняется к общественным интересам. Разнообразие этих интересов и успехи борьбы из-за них определяют дальнейшее развитие литературы. Бывает время, когда народный дух ослабевает, подавляемый силою победившего класса, естественные влечения замирают на время, и место их заступают искусственно возбужденные, насильно навязанные понятия и взгляды в пользу победивших; тогда и литература не может выдержать: и она начинает воспевать нелепые и беззаконные затеи класса победителей, и она восхищается тем, от чего с презрением отвернулась бы в другое время. Так было, например, у немцев в начале прошлого столетия, когда хотели заставить их забыть за разными потехами кровавые передряги предшествовавшего времени. Подобное тому бывало и у других народов. Но как скоро общество или народ очнется и почувствует, хотя смутно, свои естественные нужды, станет искать средств для удовлетворения своим потребностям — и литература тотчас является служительницею его интересов. И голос ее обыкновенно бывает тем резче, тем тверже, чем более силы приобретает в обществе дело, ею защищаемое. Наоборот не бывает; а если иногда и кажется, будто жизнь пошла по ли-

тературным убеждениям, то это иллюзия, зависящая от того, что в литературе мы часто в первый раз замечаем то движение, которое, неприметно для нас, давно уже совершалось в обществе. Иначе и не может быть: откуда вдруг взялись бы, хоть у нас, например, жалобы на злоупотребления чиновников или толки о железных дорогах, если бы в обществе не было давно уже потребности в правосудии и в хороших путях сообщения? Для того чтобы известная идея высказалась наконец литературным образом, нужно ей долго, незаметно и тихо созревать в умах людей, имеющих прямое, непосредственное соотношение с практическою жизнью. На вопросы жизни отвечает литература тем, что находит в жизни же. Поэтому направление и содержание литературы может служить довольно верным показателем того, к чему стремится общество, какие вопросы волнуют его, чему оно наиболее сочувствует. Разумеется, все это мы говорим[9] о тех случаях, когда голос литературы не стесняется разными посторонними обстоятельствами. Нельзя, например, думать, что индийцы спокойно смотрят на неистовства англичан, потому что в ост-индских газетах не было некоторое время резких статей против английских злоупотреблений. Мы знаем, что причина такого странного спокойствия вполне внешняя — запрещение ост-индского генерал-губернатора. Точно так, зная, что в Австрии почти не выходит порядочных философских книг, нельзя полагать, чтобы немцы, живущие в Австрии, от природы лишены были способности философствовать, которою так богаты их единоплеменники, живущие в других государствах. Не выходит же книг потому, что католические монахи зорко за ними смотрят и стараются не допускать их до печати. Но это явления исключительные, возможные только при австрийской подозрительности да при ост-индском произволе; большею же частию общественные жизненные интересы тотчас проявляются в литературе, с большею или меньшею сознательностью и ясностью.

Сознательности и ясности стремлений в обществе литература много помогает — в этом мы отдаем ей полную справедливость. Чтобы не ходить далеко за примерами, укажем на то, чем полна теперь вся Россия, что отодвинуло далеко назад все остальные вопросы, — на изменение отношений между помещиками и крестьянами. Не литература пробудила вопрос о крепостном праве: она взялась за него, и то осторожно, не прямо, тогда только, когда он уже совершен-

но созрел в обществе; и только теперь, когда он уже прямо поставлен правительством, литература осмеливается прямо и серьезно рассматривать его. Но как ничтожно было участие литературы в возбуждении вопроса, столь же велико может быть ее значение в строгом и правильном его обсуждении. Нам уже много раз приходилось слышать от многих просвещенных помещиков, что теперь необходимо, чтобы люди науки и мысли, равно как и люди жизненного опыта, — одинаково приняли на себя труд высказать печатно свои замечания о том, как, по их мнению, лучше устроить это дело, столь важное и благодетельное. В этом случае литература незаменима. По нашему мнению, она может принести здесь гораздо более пользы, чем даже открытые публичные совещания. Совещания эти, во всяком случае, должны иметь более или менее частный характер, и, кроме того, в них слишком много страстности, импровизации нередко заменяет строго последовательное рассуждение и решение. Литературные рассуждения имеют характер всеобщности: их может читать вся Россия. Кроме того, в литературном изложении пыл первого увлечения непременно сглаживается, и место его необходимо заступает спокойная обдуманность, хладнокровное соображение мнений разных сторон и вывод строго логический, свободный от впечатлений минуты. Здесь роль литературы чрезвычайно важна, и великость ее значения ослабляется в этом случае только малостью круга, в котором она действует. Это последнее — такое обстоятельство, о котором невозможно без сокрушения вспомнить и которое обдает нас холодом всякий раз, как мы увлечемся мечтаниями о великом значении литературы и о благотворном влиянии ее на человечество.

В самом деле, мы впадаем в страшное самообольщение, когда считаем свои писания столь важными для народной жизни; мы строим воздушные замки, когда полагаем, что от наших слов может переменяться ход исторических событий, хотя бы и самых мелких. Конечно, приятно и легко строить воздушные миры

И уверять, и спорить,<br>
Как в них-то важны мы!

Но сделайте маленький беспристрастный расчет, и вы увидите, как велико ваше самообольщение. У лучших наших журналов, в которых сосредоточивается вся литературная

деятельность, насчитывается до 20 000 подписчиков; столько же будет и у газет (хотя подписчики на журналы обыкновенно подписываются и на газеты). Если на каждый экземпляр положить 10 читателей, то окажется 400 000. Можно порадоваться такой цифре, забыв на минуту, что она преувеличена. Но скажите, что же значат эти сотни тысяч пред десятками миллионов, населяющих Россию? Как же живут эти остальные 64 600 000, не читающие наших газет и журналов? Участвуют ли они в тех рассуждениях о возвышенных предметах, какие мы с такою гордостию стараемся поведать миру? Интересуют ли их наши художественные создания, которыми мы восхищаемся? Находят ли они отраду в тех живых мыслях, какие мы высказываем, в наших литературных обличениях, общественных вопросах, поднятых во имя целого человечества? Знает ли это человечество, что мы о нем хлопочем, что мы лезем из кожи, готовы подраться между собой, споря о его благосостоянии?.. Знают[10] ли крестьяне села Безводного или Многоводного, Затишья или Залесья, что их исправники, становые и управители давно уже преданы суду общественного мнения — в литературных очерках, картинах, воспоминаниях и т. п.? Знают ли они все это и чувствуют ли облегчение своей участи под благотворным влиянием литературы? Да и сами-то исправники, становые и управители знают ли о литературном судилище? Многие слыхали, вероятно, а иные, может быть, и сами читали; но большая-то часть, вероятно, не читала. Да и когда им читать? Им надобно службой заниматься; бросить служебных занятий нельзя, потому что они выгоду доставляют; а читаньем ведь сыт не будешь. Если же и случится прочитать кое-что, так каждый поймет по-своему и примет к сведению то, что наиболее приближается к его понятиям. Можно предполагать, что число негодяев и мошенников, исправленных литературою, крайне ограничено. Кажется, мы не ошибемся, если на сто тысяч общего числа читателей положим одного исправленного негодяя (да и то мы боимся, чтобы читатели не осердились на нас за то, что мы предполагаем в их числе таких нехороших людей; но просим извинения, оправдываясь пословицею: «в семье не без урода»). Следовательно, все эти столь многие сотни литераторов, проникнутых горячею любовью к добру и еще более горячею ненавистью к пороку, все эти доблестные фаланги мирных рыцарей слова должны ограничить круг своих подвигов только *четырь-*

*мя* обращениями (да и то сомнительными, заметит читатель). Ту же самую ограниченность круга действий нужно заметить и в тех отделах литературы, которые имеют предметом распространение знаний. Например, сколько было у нас толков о воспитании и обучении. Толковали преимущественно о школьном воспитании. А сколько народу у нас учится в школах? Всего-навсего, во всех ведомствах и на всех степенях обучения, с небольшим 350 000 мальчиков да девочек до 40 000. Из всего числа их статьи о воспитании были прочитаны, разумеется, только несколькими студентами. Да они, правда, не для воспитанников и назначались, а для учителей. Учителей у нас тысяч пятнадцать (на всю-то Россию!), и можно полагать, что десятая часть из них прочитала то, что было писано о недостатках современного воспитания и обучения. Из этой десятой части половина, наверное, знала еще гораздо раньше то, на что наконец указывает литература; а из остальных одни прочитали и не согласились, а другие согласились, да поняли по-своему, и хорошо, если хоть десятая доля поняла все как следует. Из понявших же, вероятно, не более опять как десятина приняла на себя труд приложить писаные мудрости к делу, да и из них дай бог чтобы хоть десятая часть имела успех. Таким образом и окажется только полтора человека, в практической деятельности которых проявится благодетельное влияние литературы. Результаты не до такой степени блистательные, чтобы за них сочинять себе триумфы, соплетать венки и воздвигать памятники! Напрасно также у нас и громкое название народных писателей: народу, к сожалению, вовсе нет дела до художественности Пушкина, до пленительной сладости стихов Жуковского, до высоких парений Державина и т. д. Скажем больше: даже юмор Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже он и грамоте выучится: он должен заботиться о том, как бы дать средства полмиллиону читающего люду прокормить себя и еще тысячу людей, которые пишут для удовольствия читающих. Забота немалая! Она-то и служит причиною того, что литература доселе имеет такой ограниченный круг действия. Не навязывай мы народу заботы о нашем прокормлении и о всяком нашем удовольствии, так, конечно, мы же были бы в выигрыше: наши просвещенные идеи быстро распространились бы в массах, и мы стали бы иметь больше значения,

наши труды стали бы ценить выше. Но, к сожалению, литература, т. е. ее восхвалители и многие деятели находятся в горьком самообольщении, из которого труд извлечь их. Изобразивши художественным образом красу природы, неба, цвет розо-желтый облаков, или совершивши глубокий анализ какого-нибудь перегороженного сердца, или трогательно рассказавши историю будочника, вынувшего пятак из кармана пьяного мужика, литератор воображает, что он уж невесть какой подвиг свершил и что от его создания произойдут для народа последствия неисчислимые. Напрасно: создание это, во-первых, и не дойдет до народа, а во-вторых, если и дойдет, то нимало не займет его и не принесет ему пользы. Массе народа чужды наши интересы, непонятны наши страдания, забавны наши восторги. Мы действуем и пишем, за немногими исключениями, в интересах кружка более или менее незначительного; оттого обыкновенно взгляд наш узок, стремления мелки, все понятия и сочувствия носят характер парциальности. Если и трактуются предметы, прямо касающиеся народа и для него интересные, то трактуются опять не с общесправедливой, не с человеческой, не с народной точки зрения, а непременно в видах частных интересов той или другой партии, того или другого класса. В нашей литературе это последнее обстоятельство еще не так заметно, потому что вообще у нас в прежнее время мало толковали о народных интересах; но в литературах западных дух парциальности выставляется несравненно ярче. Всякое явление историческое, всякое государственное постановление, всякий общественный вопрос обсуживается там в литературе с различных точек зрения, сообразно интересам различных партий. В этом, конечно, ничего еще нет дурного,— пусть каждая партия свободно выскажет свои мнения: из столкновения разных мнений выходит правда. Но дурно вот что: между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе[11]. Так, например, множество есть историй, написанных с большим талантом и знанием дела и с католической точки зрения, и с рационалистической, и с монархической, и с либеральной — всех не перечтешь. Но много ли являлось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы, для людей вообще, а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полко-

водцев и т. п.? Политическая экономия, гордо провозглашающая себя наукою о *народном* богатстве, в сущности заботится только о возможно выгоднейшем употреблении и возможно скорейшем увеличении капитала, следовательно, служит только классу капиталистов, весьма мало обращая внимания на массу людей бескапитальных, не имеющих ничего, кроме собственного труда. Несколько голосов поднималось, правда, во Франции в защиту этих беспомощных людей от одностороннего могущества капитала;[12] но капиталисты назвали эти голоса безумием и сочинили против них великое множество систем, в которых строго логически доказывали, что никто не имеет права запретить им приумножать свои капиталы посредством труда людей бескапитальных. Да уж что говорить о науках? Даже поэзия, всегда столь сочувствовавшая всему доброму и прекрасному и презиравшая мелкие, своекорыстные расчеты, — даже поэзия постоянно увлекалась духом партий и классов и только в немногих частных явлениях возвышалась до точки зрения чисто человеческой, превышающей частные интересы кружков или каких-нибудь особенных личностей. Она избирала всегда возвышенные идеи, возвышенные личности, далеко выдающиеся из толпы, и редко спускалась до простого люда. У греков это еще было так себе, ничего, потому что и жизнь у них была устроена особенным образом, так что масса народа не исключалась из участия в общем ее ходе. Поэтому и в литературе их хотя возвышеннейшие роли играются богами, полубогами, царями и героями, но, с другой стороны, и народ является нередко в виде хора, играющего роль здравомысла и хладнокровно обсуживающего преступления и глупости главных действующих лиц пьесы. В начале греческой поэзии видим мы, правда, взбалмошных Менелаев и Агамемнонов да сладострастных Парисов, из-за которых народы проливают кровь свою; но во время высшего развития греческой цивилизации являются и Аристофановы поселяне. Вообще в греческой поэзии интересы народа уважались еще несколько. Но в Риме находим уже не то: там уже развивается односторонняя государственная идея, и человек имеет значение только как принадлежность Рима. Там уже не трогают страдания народа, не занимают его интересы и радости. Римская поэзия воспевает отвлеченные, возвышенные идеи да сильных мужей, вроде того, который не побледнеет, если весь мир станет пред ним разрушаться. Это отталкивающее преклонение

пред бесчеловечием мертвит всю поэзию Рима, и человеческое чувство пробуждается в ней почти только для эпикурейских наслаждений. Даже сатира имеет там характер вовсе не гуманный, а или отвлеченный, или лично раздражительный. При императорах народ особенно подвергся презрению; даже слово vulgaris (vulgaire собственно: народный) приняло значение пошлого, даже неприличного. В средних веках продолжается та же история, только в более грубом виде. Барды, прославляющие подвиги победителей, да трубадуры и менестрели, воспевающие воинскую доблесть, знатное происхождение и неестественно возвышенные чувства, озладевают всей поэзией. Народ награждается полным презрением; ему за милость только дозволяют любоваться подвигами знатных рыцарей, а уж если придется простому человеку угостить рыцаря, так это такая честь, от которой он весь век должен быть счастлив. В первое время преобладание физической силы было так громадно, страх, нагнанный победителями на побежденных, так был силен, что сам народ как будто убеждался в том, что все эти высокомерные бароны и ордалы всякого рода — особы священные, высшей породы, и что он должен чтить их с трепетом и вместе с радостью. Не одни сановные трубадуры, ездившие с оруженосцами, жонглерами и всякими приспешниками, не одни придворные паразиты, а сам народ наивно воспевал героев, «погубивших более народа, чем жесточайшая чума», и «величавые, недоступные дворцы, у ворот которых стояли львы, как живые, будто готовые поглотить всякого, кто, не приглашенный, дерзнет приблизиться к великолепному жилищу». Скоро, впрочем, народ воспользовался иначе орудием, которое дали ему в руки: в XV веке он решительно изменяет тон и слагает злейшие сатиры на своих притеснителей и на тех, от которых он прежде ждал спасения, но в которых жестоко обманулся, — на католических духовных. У народов Западной Европы до сих пор сильно распространен этот род поэзии, но настоящая, светская, аристократическая литература пренебрегает такой поэзией. Она имеет другие стремления, другой характер: ей нужно сочувствие известных кружков общества, полных своими обыденными заботами и вовсе не беспокоящихся о том, что делалось и делается в остальном человечестве, за пределами их тесного круга. Интересы этих кружков и отражаются в поэтических созданиях новых народов. Если же когда вздумается литератору взглянуть и

на свои отношения к массе, то он взглянет на это непременно по-своему, с точки зрения собственных интересов. С течением времени, разумеется, все больше и больше начинают обращать внимание на требования масс, иногда литература и расшумится, если произойдет какое-нибудь заметное столкновение интересов различных классов в самой жизни. Но способ рассуждения, употребляемый в подобных случаях, обыкновенно напоминает графа де Местра и его книгу о папе[13]. Граф, как набожный католик и отставной пьемонтский сенатор, рассуждает очень мило. «Народы страдают,— говорит он,— от произвола, жестокости и насилий светской власти; нужно противодействие этой власти. Но сам народ глуп, груб, безнравствен, подл и потому противодействия составить не может. Единственно возможное и действительное средство для его спасения и охранения состоит в том, чтобы обратиться к святейшему папе и признать над собой его духовную и светскую власть...» В таком же роде и современные, хоть бы французские писатели сочиняют: один — мелодраму — для доказательства, что богатство ничего не приносит, кроме огорчений, и что, следовательно, бедняки не должны заботиться о материальном улучшении своей участи; другой — роман — для убеждения в том, что люди сладострастные и роскошные чрезвычайно полезны для развития промышленности и что, следовательно, люди, нуждающиеся в работе, должны всей душою желать, чтобы побольше было в высших классах роскоши и расточительности, и т. п.

Редко, и то у высших гениев поэзии, являлась чистая любовь к человечеству, не возмущаемая интересами партий. Еще в невежественной Европе XVI века раздались знаменательные слова: «Человек был он»[14], и в них выразилось сознание гения о достоинстве человека. В эпоху, близкую к нашей, другой гений той же нации, называемый обыкновенно ненавистником человечества, сказал пророчески, что «пройдет на земле царство меча, и невозможны будут поработители»[15]. Злобными сарказмами мстил недавно торжествующим партиям за германский народ Генрих Гейне, полагавший весь смысл искусства и философии в том, чтобы пробуждать от сна задремавшие силы народа[16]. Все горести и труды бедняков нашли себе живой и полный отголосок в песнях национального французского поэта, которого недавно парижское правительство похоронило с такой официальной торжественностью. В своем поэтическом

понимании общих нужд и стремлений человечества Беранже возвысился до таких стихов:

Le pauvre a-t-il une patrie?
Que me font vos vins et vos blés,
Votre gloire et votre industrie,
Et vos orateurs assemblés!*

Но немного подобных стихов в европейских литературах; немногие поэты возвышались над интересами кружков и решались отказаться от воспевания отвлеченных добродетелей — храбрости, решительности, верности, терпения и т. п., или от сияющих игрушек, вроде великолепных мостов, зданий, фейерверков и пр., или, наконец, личных ощущений при взгляде на звезды, при прогулке вдвоем, при посещении музея, и т. п. Возвыситься над мелкими интересами кружков, стать выше угождения своекорыстным требованиям меньшинства, к сожалению, не умела еще до сих пор ни одна европейская литература.

Это небольшое отступление, сделанное нами по поводу ограниченности круга действия русской литературы, приводит нас к рассмотрению содержания и характера, успевшего проявиться в истории нашей литературы. Выше мы заметили, что у нас не так заметно выказывался характер парциальности, развившейся в литературах Западной Европы. Слова эти требуют пояснения. Мы вовсе не хотели ставить нашу литературу выше всех европейских, вовсе не думали приписывать ей небывалое беспристрастие и широту взгляда, отрешение от частных интересов в пользу общих, высшее сознание человеческого достоинства и т. п. Совсем нет; мы хотели только сказать, что так как у нас до сих пор литература не считалась важной и существенной принадлежностью жизни, то по большей части никто и не думал делать ее орудием своих планов, никто не обращал внимания на то, служит ли литература каким-нибудь партиям и каким именно, к чему она расположена, против чего восстает. Все очень хорошо понимали, что мало кто может у нас соображаться с тем, что говорится в книгах, и что ход нашей жизни зависит не от писаных убеждений,

* Имеет ли бедняк отечество?
Мне не нужно ни вашего вина, ни вашего хлеба,
Ни вашей славы, ни вашей индустрии,
Ни ваших ораторов, взятых вместе (*франц.*).— *Ред.*

до которых никому нет дела, а от вещей гораздо более существенных, имеющих непосредственное отношение, по пословице: «к *своей рубашке* каждого». Поэтому-то никто и не заботился о духе и направлении литературы, и в ней не выразилось такого заметного увлечения духом различных партий, как на Западе. Но нельзя же было оставаться ей без всякого направления; нужно же было выразить какие-нибудь стремления и понятия: без этого не может обойтись ни одно произведение мысли человеческой. Всего ближе, разумеется, было выразиться в литературе интересам и мнениям тех, в чьих руках было книжное дело, и тех, в ком оно находило хоть маленькую поддержку и опору. Так и случилось.

Во время языческой древности у русских, как и у всех славян, существовала уже поэзия народная. Не зная древней языческой русской поэзии в ее настоящем, неиспорченном виде, мы можем судить о ней только по аналогии с поэзиею других славянских племен и по намекам, сохранившимся в том, что до нас дошло от русской древности в изменениях позднейшего времени. Сравнительное изучение поэзии славянских народов привело многих к полному убеждению в том, что в древности выражались в ней действительно общенародные интересы и воззрения на жизнь. Это, разумеется, и было совершенно естественно при господстве патриархальных отношений, когда еще не существовало ни малейшего разлада между жизнью семейною и государственною, а, напротив, они сливались в одно нераздельное целое. Что может быть проще и естественнее того, что

Всяк отец в дому своем владыка:
Мужи пашут, жены шьют одежду;
А умрет глава всех домочадцев,
Дети всем добром съобща владеют,
Выбрав старшину себе из рода,
Чтоб ходил, для пользы их, на сеймы,
Где с ним кметы, лехи и владыки*.

Когда жизнь устроена еще таким образом, то, само собою разумеется, поэзия непременно должна выражать народные интересы. Но, к сожалению, почти ничего не имеем мы от той древности, когда кметы рассуждали с лехами и владыками на общественных сеймах. По всей вероятности,

* Кметы — простые поселяне, лехи — богатые владельцы, владыки — мелкие владетели.

и рассуждали-то они плохо, потому что мало имели образования, слишком сильно еще были подавлены внешними влияниями. Рассуждениям их недоставало много для того, чтобы удовлетворить всех и чтобы быть вполне справедливыми и разумными. Не было у них пособия ни в жизненной опытности прошедших веков, ни в знании природы и уменье владеть ею, ни в знании мира души человеческой. Круг их зрения был узок, они ходили ощупью, делали неурядицу и, не понимая выгод своего положения, сами должны были искать исхода из тех беспорядков, к которым сами себя привели. Исход нашелся, конечно, такой же, как и везде,— несколько лехов сказали бестолковым кметам: «Вы ничего не понимаете и делаете только глупости, предоставьте все нам и делайте то, что мы прикажем». По врожденной человеку лени и по сознанию своего бессилия кметы с радостью согласились и даже начали сочинять песни во славу мудрых и сильных лехов, умевших водворить между ними тишину и порядок. Тут-то народная поэзия и должна была изменить свой характер сообразно с новым устройством жизненных отношений. Но и при этом изменении остались следы общего характера прежней поэзии: народные песни не скоро потеряли свой простой, естественный характер, не скоро увлеклись чуждыми интересами, и до сих пор в них замечают следы первоначальной простоты естественных условий быта. В этом отношении славянская народная поэзия имеет даже преимущество пред прочими европейскими: в ней более песен бытовых и менее воинственных, рыцарских повествований, да и те, какие есть, относятся большею частью к позднейшим эпохам, когда уже и народ приучился ко множеству односторонних отвлеченностей. Вообще же, по отзыву одного из любителей-славянистов (Бродзинского), «в славянских народных песнях выражаются люди не властолюбивые, жестокие, страстные ко всему необыкновенному, привязанные к мечтам собственного воображения, но люди, далекие от желаний причудливых и странных, от страстей буйных и насильственных»[17], и пр. Суждение это вполне может быть применено к русской народной поэзии. По нашему мнению, в ней заключается много доказательств того, что в народе нашем издревле хранилось много сил для деятельности обширной и полезной, много было задатков самобытного, живого развития. В этом случае мы не можем согласиться с г. Милюковым, который все безобразие русских сказок и песен складывает на народность и

говорит, что от нее нечего было ожидать без коренной реформы. Мы думаем, что нет у нас достаточно данных для того, чтобы обвинять народность в безобразиях поэзии и даже самой жизни, а есть, напротив, данные, позволяющие видеть причину их в обстоятельствах, пришедших извне. Народная поэзия, как видно, долго держалась своего естественного, простого характера, выражая сочувствие к обыденным страданиям и радостям и инстинктивно отвращаясь громких подвигов и величавых явлений жизни, славных и бесполезных. На деле народ должен был терпеть их и даже принимать в них участие, но в поэзии его нет ни малейших следов хоть какого-нибудь сочувствия к подобным явлениям. В этом отношении нам кажется любопытною заметка г. Бодянского (в сочинении «О славянской народной поэзии», стр. 124), в которой он говорит об участии народа в удельных ссорах князей. «Народ не брал к сердцу их счетов между собою,— говорит он,— не интересовался их выгодами и потерями; ему все равно было пустошить землю, взять на щит городок и т. п., под стягом ли Олеговичей или Мономаховичей. Это была деятельность, не склонявшая в свою пользу сердца ратовавших, деятельность, так сказать, машинальная. Доказательством служит то, что народ не почтил этих усобиц ни одной своей песней, никаким почти преданием, ни малейшею, хотя бы глухою, темною молвой». Это замечание, высказанное с лишком двадцать лет тому назад, до сих пор не опровергнуто ни одним фактом, несмотря на множество вновь изданных с тех пор памятников и исследований. В самом деле, можно полагать, что до самой татарской эпохи народ держал себя совершенно равнодушно в отношении к политическим событиям Руси, имевшим со времен Владимира большею частию династический интерес. Только во времена бедствий родной земли вспомнил он минувшую славу и обратился к разработке старинных преданий, оставшихся, конечно, еще от времен норманнов. Тут он начал организовать разбросанные сказания, перепутал лица, местности и эпохи и целый трехсотлетний период сгруппировал около лица одного Владимира, бывшего ему памятнее других. Возбуждалась любовь к этим песням, конечно, горьким чувством при взгляде на современный порядок вещей. При нашествии народа неведомого ожидания всех обратились, разумеется, к князьям: они, которые так часто водили свой народ на битву с своими, должны были теперь защищать родную землю от чужих. Но оказалось,

что князья истощили свои силы в удельных междоусобиях и вовсе не умели оказать энергического противодействия страшным неприятелям. Они бегали от монголов, пока не узнали, что они не вмешиваются во внутреннее управление и довольствуются собиранием подати. Тогда они признали себя данниками монголов, и народ узнал, что он стал татарским улусом и что подати на нем прибавилось. Горько было настоящее положение народа, обманутого в своих ожиданиях; он невольно сравнил нынешние события с преданиями о временах давно минувших и грустно запел про славных могучих богатырей, окружавших князя Владимира. Песня эта была сначала горьким упреком настоящему, а потом, доставляя народу забвение и даже утешение, стала увлекать его и заставляла применять прежние события к современному течению дел. Таким образом, богатырей Владимировых заставили сражаться с татарами и самого Владимира сделали данником «грозного короля Золотой орды, Этмануйла Этмануйловича». Дальнейшие искажения объясняются так же легко: в живой действительности народ не видел никакого средства управиться с своими поработителями и должен был безмолвно склониться пред их силою. Но тяжела ему была эта покорность, и он все не оставлял мечтать о средствах освобождения. Чем далее эти мечты были от действительности, тем более они принимали детский характер: в них являлись и волшебники, и оборотни, и неестественных размеров богатыри, и разумные кони, и наговоры еретические. А когда попались эти песни в руки книжникам, то и последнюю жизненность потеряли под их риторическими прикрасами. Но влияние книжной литературы на родную словесность заслуживает более подробного разбора. Г-н Милюков, к сожалению, не сделал этого, и потому его статья о народной поэзии русской не имеет окончательной полноты. Мы скажем здесь об этом несколько слов, которые кажутся нам нелишними для того, чтобы яснее понять причины и свойства разлада, постоянно господствовавшего у нас между литературою книжною и словесностью народа.

Наша книжная словесность, начавшаяся со времен Владимира, не была, как всем известно, произведением национальных элементов, а была перенесена к нам с чужа. Мало того, она явилась к нам не вследствие того, что в народе явилась потребность заимствования чужой образованности, а просто по случайному обстоятельству. Простодуш-

ный рассказ Нестора убеждает нас неопровержимо, что народ во времена Владимира еще не созрел для той высшей цивилизации, которая при нем принесена была на Русь вместе с божественным учением христианства. Сам Владимир отослал от себя магометан болгарских только потому, что ему не понравилось обрезание и запрещение пить вино, а немцев — потому, что «отцы наши этого не приняли». Бояре, посланные для испытания вер, вовсе не думают о внутреннем их содержании и достоинстве, а обращают внимание только на внешность: болгарская служба им не понравилась, у немцев не нашли они никакой красоты, а от Византии были в восторге, потому что там, по наивному рассказу Нестора, патриарх, услышав об их прибытии, «повеле создати крилос, по обычаю сътвориша праздник, и кадила возжгоша, пения и лики съставиша; и иде с ними в церковь, и поставиша я на пространьне месте, показающе красоту церковную, пения и службы архиерейски» (Нестор, под годом 6495). А другие бояре, не стоявшие на месте пространьне во время архиерейского служения, тоже подали голос в пользу Византии, но уже отказываясь решительно от собственного мнения в таком важном деле, а ссылаясь просто на авторитет Ольги. Владимир удовлетворился их мнениями. Если же князь и бояре действовали таким образом, то, разумеется, и странно было бы ожидать от народа какого-нибудь сознательного убеждения. Через столетие после самого события один, без сомнения, из просвещеннейших людей тогдашней Руси — Нестор летописец — и тот еще не понимал необходимости внутреннего убеждения в подобных случаях. Он находит совершенно естественным, что накануне неверные люди плачут о Перуне, которого бросили в Днепр, и кричат ему: «Выдыбай, боже!», а на другой день слышат приказ: «Аще не обрящется кто на реце, богат ли, ли убог, или нищ, ли работник, противен мне да будет», и с радостью идут на реку, говоря: «Аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре прияху». Рассматривая этот случай беспристрастно, можно приложить к нему то же самое мнение, какое высказано г. Бодянским об участии народа в междоусобных ссорах князей. А между тем Нестор заключает свой рассказ тем, что «бяше си видети радость на небеси и на земли, толико душ спасаемых, а дьявол стеня глаголаше: увы мне, яко отсюда прогоним есмь» (Нестор, 6496 год).

Все это неопровержимо доказывает, что народ не был

предварительно приготовлен к принятию тех высоких истин, которые ему предлагались, и не в состоянии был еще воспользоваться как следует благодеяниями новой цивилизации, входившей в Русь вместе с христианством. Для полнейшего убеждения в этом нужно вспомнить продолжение того же рассказа Нестора — о том, как вели себя русские люди в отношении к новой цивилизации. Владимир, говорит летописец, начал поставлять церкви, разрушать кумиры, ставить попов и «нача поимати у нарочитое чади дети и даяти нача на ученье книжное; матере же чад сих плакахуся по них: еще бо не бяху ся утвердили верою, но яко по мертвеци плакахуся». Нисколько не сочувствуя, конечно, отвращению народа от ученья, нельзя, однако же, с грустию не согласиться, что факт этот не подлежит ни малейшему сомнению и что даже в наше время в простом народе он не утратил своего значения. Ни самого ученья, ни тех, которые боятся его, обвинять тут нечего, да и вообще здесь никого обвинять нельзя, кроме разве несовершенства рода человеческого, которое всегда мешает истории идти, как бы нам хотелось теперь, при наших просвещенных воззрениях. Разумеется, если бы русские были более образованны во времена Владимира, более приготовлены самою жизнию к отвержению своих языческих понятий и верований, то последствия мер, произведенных Владимиром, были бы несравненно благотворнее. Но что же делать, если этого не случилось? Нельзя сердиться на это, а можно только отметить факты, последовавшие затем и имеющие непосредственную связь с положением образованности русского народа при Владимире. Факты эти, правда, неутешительны; но пропустить их нельзя, потому что они слишком резко обозначились и в жизни и в поэзии народной и не истребились до сих пор. Мы говорим о множестве суеверий и предрассудков, доныне охватывающих всю жизнь крестьянина и составляющих несомненный остаток языческих верований. Эти суеверия тем глубже вкоренились в народной жизни, что они издавна перемешались с христианскими воззрениями и таким образом как будто получили некоторую законность, на взгляд простолюдина. Такого смешения, разумеется, не могло бы быть, если бы высокие истины христианства с самого начала были хорошо поняты в народе и если бы он сам дошел до сознания ложности язычества. Тогда и успехи цивилизации в массах народа были бы быстрее, и ход развития был бы правильнее, потому что не было бы двойственности

в началах, управлявших жизнью и деятельностью народа. Теперь эта двойственность должна была проявиться в размерах весьма обширных. С одной стороны, новое учение должно было проникать постепенно в сознание народа, и о внушении его должны были стараться те лица, в руках которых находилась власть над народом; с другой стороны, языческие понятия и предания были слишком сильно вкоренены во всех проявлениях народного быта и оказывали сильное противодействие новым началам. Возникло неизбежное противоречие в народной жизни, и оно самым естественным образом должно было привести к тому, что имевшие в руках своих силу воспользовались ею для того, чтобы доставить торжество своим началам. Мы не имеем положительных известий об этом от первых времен христианства в России; но последующее время постоянно дает нам аналогические факты, подтверждающие мысль, что так велось и с самого начала. В конце XI столетия «Правило» Иоанна митрополита[18] восстает против волхвования и языческих обычаев; в половине XII века обличаются суеверия языческие в «Вопрошаниях Кирика к Нифонту»; в XIII веке Серапион обличает их[19]. Начиная же с XIV века сохранилось множество окружных посланий и грамот, запрещающих «бесовские игрища» с песнями. Обличения пастырей против смешения языческих понятий с христианскими не прерывались до времен Тихона Воронежского, которого поучения против Ярилы и т. п. отличаются жестокою нетерпимостью[20]. К несчастию, все их усилия не были в состоянии возвысить народ до совершенно чистых и правильных понятий о христианской религии. Нужно было употребить другое средство заставить народ по крайней мере отставать хоть понемногу от привязанности ко всему языческому. Для этого надобно было действовать запрещениями, направленными против всего, что носило на себе отпечаток язычества. Очевидно, что такое положение дел не могло быть благоприятно для развития народной поэзии, родившейся у славян тоже на языческой почве. Их древние предания должны были заглохнуть среди новых условий быта или измениться сообразно с этими условиями. Заглохнуть совершенно они не могли, потому что народ, не имеющий еще письменной литературы, и притом народ славянский, не мог оставаться без устной поэзии. Но сохранить свою первоначальную чистоту и свежесть эта поэзия тоже не могла, потому что новые понятия неизбежно примешивались к кругу прежних

верований и изменяли характер произведений народной фантазии. Книжная словесность, вынесенная к нам из Византии, старалась, конечно, внести в народ свои идеи; но, как чуждая народной жизни, она могла только по-своему искажать то, что было живого в народе, и не в состоянии была ни проникнуться истинными его нуждами, ни спуститься до степени его понимания. Что книжная словесность хотела сделаться близкою к народу, это доказывается множеством духовных стихов, которые носят на себе самые яркие следы книжного влияния. Об этих стихах г. Милюков совершенно справедливо говорит, что они «принесены к нам первоначально из Греции и остались совершенно чуждыми народу, который, слушая слепых нищих, не заимствовал у них ни одной песни и не знал, о чем они поют». Без всякого сомнения, размножение у нас духовных стихов не было случайным явлением, равно как не могло оно быть и явлением, естественно возникшим вследствие потребности самого народа. Необходимо предположить, что учители наши, прибывшие из Византии, старались о том, чтобы привить народу чуждые ему предания, и даже прибегали для этого к самим преданиям народным, переделывая их на свой лад и примешивая к ним то, что считали нужным. Самым ярким примером может служить «Сказание о Мамаевом побоище» в сравнении с «Словом о полку Игореве»[21]. Сравнительный разбор этих двух произведений очень хорош у г. Милюкова, и мы привели бы его здесь, если б он не был слишком обширен (стр. 15—24). В нем весьма ярко выставляются прибавки позднейшего книжника, человека, принадлежащего к клиру и потому старавшегося заменить народные воззрения своими понятиями, более или менее чуждыми народу и доселе. Известно, что в «Слове о полку Игореве» вполне господствует языческое миросозерцание: предзнаменования, сны, обращение к природе — все это противно духу христианства. А между тем составлено это сказание могло быть не ранее конца XII века — вот доказательство, как мало новые понятия успели укорениться в умах народа даже в течение двух столетий. Но еще через два столетия книжник, вовсе не знавший народа, вздумал воспользоваться канвою народного эпического сказания для применения ее к другому событию, в котором бы мог выразиться другой взгляд на мир и на жизнь. И вот иерей Софроний пишет[22], как Мамай, попущением божиим, от научения диавола, идет казнити улус свой, Русскую землю; как

великий князь Димитрий прежде всего обращается за советом к митрополиту Киприану; как тот советует «*утолить* Мамая *четверицею* (т. е. дать ему вчетверо больше того, что прежде давалось), дабы не разрушил Христовой веры», как Димитрий получает благословение двух воинов-монахов от св. Сергия; как он припадает с молитвою слезною к чудотворным иконам; как пред битвою вкушает присланной ему от св. Сергия просфоры; как участь сражения решается святою помощью Бориса и Глеба. Во всей повести господствует строго благочестивый взгляд, и повсюду предвещания и дива языческие заменены знамениями и чудесами христианскими. Ясно, что новые верования много бы выиграли от подобного образа действий, если бы книжные учители Древней Руси, при своем благочестии, владели еще уменьем постигнуть дух народный и имели бы сколько-нибудь поэтического такта. К сожалению, этого не было у них; в поэтических произведениях древних книжников господствует вялость, мертвенность, отвлеченность, отсутствие всякой поэзии. Оттого-то они и не проникли в народ, а с тем вместе и идеи, вставленные в них, распространялись очень слабо. Тем не менее народная поэзия не могла уже остаться неприкосновенною, и позднейшие наросты ясно видны в том, что по основе своей должно относиться к древнейшему времени. Очень жаль, что г. Милюков мало принял в соображение те изменения, какие должны были произойти в народных, особенно в исторических, песнях с течением времени, и всю их грубость и все недостатки отнес на счет древней русской жизни, не определяя, какую именно древность он разумеет. Поэтому некоторые явления древней русской поэзии поняты им, кажется, не совсем верно. Например, он, говоря, что в исторических песнях русских есть даже попытки на изображение характеров, указывает для примера на лицо Владимира, которое будто бы имеет сходство с историческим Владимиром. С этим мы никак не можем согласиться. В личности Владимира, по нашему мнению, более, нежели в чем-нибудь, выразилось византийское влияние на нашу народную поэзию. Не такими представлял народ наш своих князей, близких к норманнскому периоду; это мы видим в народных преданиях, записанных Нестором. Вспомним величавый образ Святослава, храброго, деятельного, разделяющего с подданными все труды и недостатки, заботящегося о богатстве земли своей, говорящего: «Не посрамим земли Русския,— ляжем костьми ту». Вспомним и поздней-

шее изображение князя Игоря в «Слове», мало подвергшемся книжной порче: и он, подобно древним князьям, является храбрым и деятельным; он сам идет во главе своего войска в чужую землю, чтобы отомстить врагам за обиду земли Русской; он не смущается пред опасностями и говорит: «Лучше потяту быти, неже полонену быти...» Не таким является Владимир в наших народных сказаниях. В нем нет и признаков русского князя; это не что иное, как византийский владыка или вообще восточный правитель, недоступный для народа, стоящий от него на недосягаемой высоте, счастливый избранник судьбы, не имеющий другого дела, кроме пиров и веселья. В народных песнях Владимир постоянно является пирующим. Почти каждая песня начинается тем, что у «ласкова князя Владимира было пированье — почестной пир, было столованье — почестной стол». Князь Владимир потешается на этом пире, и, что бы ни случилось, он ничего другого не делает, как только «по светлой гридне похаживает да черные кудри расчесывает». Являются во время пира его служители, израненные, «булавами буйны головы пробиваны», с известием о каких-то неведомых людях, появившихся на княжеской земле,— а князь пьет, ест, прохлаждается, их челобитья не слушает. Нападает на Киев Калин-царь, Владимир «весьма закручинился, запечалился, повесил буйну голову и потупил очи ясные», оттого что «нет у него стоятеля, нет оберегателя...». Приезжает Илья Муромец с Соловьем-разбойником и велит ему свистнуть вполсвиста, а князя Владимира вместе с его княгинею берет под пазуху, чтобы они не упали от свисту соловьиного. А в другой песне князь Владимир и *«окорач ползет»* от сильного свисту конского... Есть ли во всем этом хоть какое-нибудь сходство с чисто русским, собственным, народным представлением князей? Есть ли что-нибудь подобное вообще в славянских песнях, не подвергшихся восточному влиянию? Как хотите, сваливать подобные представления на коренную русскую народность невозможно. Они могли явиться только в позднейшую эпоху, принесшую к нам много восточных понятий, усердно распространявшихся в народе книжниками, которые столь же плохо понимали требования поэтической истины, как и нужды русского народа. Невозможно сомневаться, что значительная доля искажений в русской народной поэзии произведена была — намеренно или ненамеренно — именно этими книжниками.

С течением времени народная поэзия все теряла свое зна-

чение, слабела и глохла, а книжная словесность принимала все более широкие размеры и вторгалась с своими определениями во все отделы народной жизни. Но в ней не было жизненной силы, она не могла проникнуть в самый дух народа и должна была ограничиться только внешностью, формой. С самого начала, не понявши народного характера, она стала совершенно чуждою народности русской и заключилась в тесной сфере своих схоластических определений. В этой схоластической отвлеченности держалась она невозмутимо до тех пор, пока жизнь Руси тянулась молчаливо и однообразно, без прогресса, без самобытного развития, под неурядицей удельных междоусобий, под игом татар, под влиянием неустановившихся государственных отношений... Отличительною чертою этой книжной, схоластической словесности было бессилие пред существующим фактом и бессмысленное подчинение ему, даже без желания объяснить его. Если встречались факты противоположные, книжники склонялись пред тем, который брал перевес, и во имя его преследовали другой, противный. Так восставали они против языческих суеверий с течением времени все больше и больше, между тем как, по естественному порядку вещей, надобно полагать, что они с течением времени все-таки постепенно ослабевали. Так в конце XIII столетия вздумал Серапион говорить против княжеских междоусобий, когда в это время, под игом татар, удельные распри сами собою уже значительно ослабели. Так было и во всех других случаях. Но, при всей своей жалкой немощи, при всем отсутствии живых сил, явления, подобные Серапиону, представляют еще отрадную сторону нашей древней письменности[23]. Они были прогрессом в сравнении с тою безжизненною схоластикою, какая господствовала в большинстве книжников. Те уже стояли совершенно в стороне от русской жизни и толковали, весьма горячо и пространно, именно о том, до чего русскому не было ровно никакого дела. Замечательно, чем начали свое письменное поприще в России древние книжники. Первое по времени произведение, написанное в России, было послание Льва митрополита (умер в 1007 году) против латинян, где он подробно рассуждает об опресноках, о посте в субботу, о безженстве священников и т. п. Нельзя не сознаться, что трудно было выбрать предмет, более далекий от русской жизни. Но выбор его объясняется, конечно, отношениями Византии, которая была тогда в самом разгаре своей вековой распри с Римом.

Впрочем, при всей видимой неподвижности древней русской письменности, при всей ее отвлеченности и безжизненной схоластике и в ней нельзя не видеть некоторого развития, которое с течением времени делается все приметнее. И в ней выразился общий закон распространения образованности, постепенно расширяющей свой круг, несмотря ни на какие препятствия. Литература вообще всегдашний спутник образованности: развитие ее идет параллельно с развитием потребностей образованных классов. Пока образованных людей немного, литература необходимо служит выражением интересов немногих; когда все будут образованны, литература — нет сомнения — будет отзываться на потребности всех, расширив круг своего действия и избавившись от духа кружков и партий. Это самое расширение круга действия литературы совпадает с другим не менее важным обстоятельством — приближением ее к настоящей, действительной жизни, с избавлением от всего призрачного и с признанием интересов истинных и существенно важных. Любопытно было бы сделать очерк всей русской литературы с этой точки зрения. Г-н Милюков не мог этого сделать, потому что в древней Руси он отвергает всякое развитие, а в новой, послепетровской, видит развитие уже слишком быстрое. В основании, конечно, и то и другое вполне справедливо, особенно в отношении к поэзии; но нам кажется, что если мы согласимся вполне с первым, отрицательным положением г. Милюкова, то окажется несколько преувеличенным второе положение — о новой поэзии. Дело в том, что и в древней письменности все же заметно некоторое расширение взгляда, доказывающее, что с течением времени книжное дело начинает интересовать уже большее количество лиц, чем прежде, и что эти лица принадлежат к более разнообразным кругам. В первое время письменность никого не интересовала, кроме духовенства, и ни для чего не нужна была, кроме распространения истин веры. Других потребностей еще не было в обществе, и вследствие того являются только книги священные, богослужебные, и рассуждения о предметах, занимавших только духовенство, и притом не русское, а византийское. Таким образом и являлись послания против латинян, поучения о посте, о молитве во храме, об иконах и пр., вызванные не нуждами русской жизни, а возражениями, которым эти предметы подвергались в Византии. Вскоре основаны были у нас монастыри, и вслед за тем явились монашеские уставы, сочи-

нения о монашеском житии и пр. Почти при самом же своем начале письменность не ограничивается уже, однако, исключительно религиозными интересами: она служит также орудием власти светской, хотя все еще не выходит из круга духовных предметов. Владимир издает уже «Устав о церковном суде», которым определяется отчасти формальное отношение духовенства к народу. Зато и со стороны духовенства является вскоре похвала князю Владимиру, написанная митрополитом Иларионом (половина XI столетия)[24]. Долгое время затем в письменности русской видно почти исключительное проявление интересов княжеских и духовных. Не говоря о поучениях, посланиях, грамотах монастырям и церквам, житиях святых — даже древние путешествия и летописи отличаются тем же характером. Путешествия предпринимались преимущественно на Восток, с религиозной целью, и на все предметы смотрели наши древние путешественники с точки зрения иноческой. Светские интересы их не занимали; игумен Даниил[25] был в Иерусалиме тогда, как им владели крестоносцы, виделся с Балдуином и, не обратив ни малейшего внимания на такое историческое событие, как крестовые походы, со всею теплотою души рассказал, как он ставил свое кадило, и пересчитал, за каких именно князей русских он поставил его. То же и в летописях: внесены сюда и проповедь грека-философа пред Владимиром, и исповедание Владимирово, и история построения Печерской обители, и житие Бориса и Глеба, и множество текстов и духовных рассуждений. С другой стороны, тщательно записывается время рождения и смерти всякого князя, описывается его нрав, его наружность; его отношение к духовенству никогда не забывается — и только. Если отношение князя к дружине указывается, то лишь затем, чтобы восхвалить князя; дружина упоминается только к слову. Если говорится, что князь был милостив и нищелюбив, то опять это говорится не потому, чтобы благо народное трогало душу летописца, а потому, что этим доказывается дорогая для него мысль: «бе бо князь сей любя словеса книжная»; а в словесах этих сказано: «блажен муж милуяй» и т. п. Таким образом, первые представители просвещения в России, ставшие выше массы народа, выражали в письменности свои стремления и интересы, тесно связанные один с другим и взаимно друг друга поддерживавшие. Но отношения их к массе народа естественно вынуждали их обратить внимание и на то, чтобы

устроить сколько возможно лучше эти отношения. Выражение этой потребности в книжных произведениях является, с одной стороны, в светском законодательстве, начинающемся весьма рано, с «Русской правды»[26], а с другой стороны — в духовных поучениях, имеющих некоторое отношение к жизни. Таковы были нравственные наставления о смирении, терпении, отречении от всех благ мирских и покорности воле божией и т. п. Бывало даже и более прямое отношение к народной жизни, очевидно вызванное обстоятельствами, имевшими значение в глазах князей и духовных. Так, например, еще в XI веке, в Правиле митрополита Иоанна, находим статью против торговли рабами; так в XII веке, в послании Никифора[27], читаем увещание князю, чтобы он сам входил во все и не слушал наветов людей, окружающих его. В XII и XIII веках самые летописи несколько более начинают обращать внимание на положение народа; обстоятельство это, без сомнения, произошло не без отношения к тому, что в это время встречаются между писателями многие из белого духовенства, бывшие, конечно, в ближайшем соприкосновении с народом, чем монахи. Для Нестора жизнь ограничивалась Печерским монастырем, а для какого-нибудь попа Иоанна или пономаря Тимофея не могла ограничиваться даже одним их приходом. Поэтому-то мы и встречаем, например, в Новгородской летописи (под 1230 годом) подробное и живое описание действий голода на новгородских жителей, с замечаниями даже о цене съестных припасов. Далее, круг людей грамотных (значит, по-тогдашнему образованных) расширяется, как видно, и в XIV—XV веках предпринимаются и описываются путешествия уже светскими людьми, как, например, Стефаном Новгородцем, Василием — гостем московским, Афанасием Никитиным — тверским купцом[28], в то же время организуются целые системы вероучения, противные православию и нередко составляющиеся без всякого участия лиц духовных. Круг деятельности духовенства расширяется и находит себе предмет, имеющий действительное значение в народе и вызванный явлениями самой жизни. Точка зрения, разумеется, остается та же, отвлеченно-возвышенная, без малейшего приноровления к народным нуждам и воззрениям, без всякого живого взгляда на жизненные отношения, производящие то или другое явление в народе. Но важно уже и то, что содержание письменности все-таки расширяется и обращается к настоящему положению дел; значит, в самой жизни

была сила, которая могла вывести даже книжную схоластику из ее мертвых отвлечений на поприще деятельности, хоть сколько-нибудь живой. Мало того, из среды самой массы поднимаются отголоски на явления общественной и государственной жизни. В этом отношении интересны дошедшие до нас две различные повести о взятии Пскова[29]. Одна из них составлена в Москве и восхваляет подвиги московского воинства, приходя в негодование от своеволия псковитян. Другая повесть принадлежит псковичу и смотрит на дело с другой стороны: обвиняет московского наместника в притеснениях, князя — в вероломстве и сожалеет об утрате вольности. Это — несомненный знак, что литературные интересы теперь уже так расширились, что в письменности может даже отражаться мнение большинства народа, в противность покоряющей его силе. В XVI веке размножаются частные летописцы отдельных областей, раздаются обличения Максима Грека[30], направленные даже против митрополита и самого царя, и, кроме того, это столетие представляет нам две книги, в высшей степени замечательные: «Домострой» и «Сказания Курбского»[31]. «Домострой» во всех своих воззрениях верен старой рутине и с этой стороны дает только новое доказательство того, как книжное учение портило у нас самые простые и естественные отношения, как оно узаконяло собою множество нелепых и грубых понятий. Появление этой книги важно в другом отношении: оно свидетельствует, что в XVI веке чувствовали уже надобность применить книжную мудрость и к семейной жизни, следовательно, письменность служила уже не одним интересам церковным и государственным. «Сказания Курбского» имеют другое значение. Здесь и самый взгляд на дело резко отличается от того взгляда, который старались усвоить России греческие и огречившиеся наши книжники. Представителем этого взгляда является тут уже сам Иоанн, бывший, как известно, весьма искусным в книжном учении. В переписке его с Курбским весьма интересно следить, как он располагает арсеналом доводов, взятых из книг того времени, для того чтобы оправдать свое поведение и во что бы то ни стало обвинить Курбского. Он силится доказать, что бояре, как и все подданные, обязаны были до конца претерпеть с кротостью и незлобием все его жестокости; в пример подобной кротости приводит он раба Курбского, Василия Шибанова, который спокойно стоял пред Иоанном, когда этот своим костылем пригвоздил его ногу к полу и,

облокотясь на костыль, читал письмо Курбского. Но Курбский уже не убеждается доводами Иоанна: у него другая точка опоры — сознание своего собственного достоинства. Взгляд его не может еще возвыситься до того, чтобы объяснить надлежащим образом и поступок Грозного с Шибановым; нет — Шибанов пусть терпит, ему это прилично, и князю Курбскому нет дела до того, что приходится на долю Васьки Шибанова. Но с собой, с князем Курбским, аристократом и доблестным вождем, он не позволит так обращаться. За себя и за своих сверстников — аристократов он мстит Иоанну гласностью, историей. Книжное дело призывается теперь для служения не одной духовной власти и правительственным распоряжениям, а уж и для интересов иного класса — бояр и высших сановников. К ним преимущественно относились жестокие казни и опалы Иоанновы; из их среды и нашелся человек, который употребил оружие слова для выражения своего неудовольствия. Но в России того времени нельзя было писать того, что написал Курбский; только в наше время его сказания могли быть повторены русским историографом и изданы в России в подлинном виде. В царствование Грозного горькая истина должна была высказываться в чужой земле, далеко от России, в которой вся письменность блуждала еще в византийских отвлечениях, не касаясь жизни. Книга Курбского первая написана отчасти уже под влиянием западных идей; ею Россия отпраздновала начало своего избавления от восточного застоя и узкой односторонности понятий. Вслед за нею начинаются события, более и более сближающие нас с Западом и оживляющие нашу литературную деятельность. Уния возбуждает религиозные споры, не ограничивающиеся схоластическими прениями, но сопровождающиеся важными последствиями в самой жизни. В то же время вместе с желанием, с той и другой стороны, доказать народу превосходство своих мнений является потребность дать ему средства к образованию. И вот являются катехизисы для народа, руководства к правой вере и т. п. Но этого мало: надо дать возможность читателям понимать и обсуживать самим спорный вопрос. Теперь уже нельзя ограничиться одними положениями и запрещениями: как скоро есть спор, сомнение, нужно во что бы то ни стало рассеять его, подействовавши на рассудок. А для рассудка нужны данные, факты, знания; и вот являются учебные книжки, очевидно назначенные для первоначального образования: грамматики, слова-

6 Заказ 1079

ри, синопсисы и пр. Разумеется, везде, где можно было, во всех этих книжках высказывался односторонний взгляд той партии, к которой принадлежал автор; разумеется само собою и то, что ни та, ни другая партия не заботилась ни о каких других интересах, кроме своих собственных, и что до народного блага им дела не было. Но важно здесь то, что книжники уже поставлены были в такое положение, в котором должны были допустить надобность некоторого образования и в других классах народа, не принадлежащих к сословию, имевшему до того монополию книжного дела и вообще образованности. В этом отношении уния имела сходство с Реформациею: при движении реформационных идей папы тоже поставлены были в невозможность поддерживать свое значение запрещением народу читать библию, оставлением его в невежестве и т. п. Все нужно было разъяснить, все выставить наружу. Конечно, движение, возбужденное униею, не имело таких размеров, как движение Реформации, но все же оно имело с ним некоторое сходство по своему характеру. Оно выразилось преимущественно в западной и южной Руси, но не могло не коснуться и северо-восточного края, тем более что он пришел с Западом в ближайшее соприкосновение во время самозванцев. Тут интерес был еще ближе к жизни, нежели в западной Руси во время унии; обращение к народу еще необходимее, чем там. Книжники должны были понять теперь, как слабы узы, доселе державшие старый порядок: они разорваны были самим народом при первом появлении призрака, принявшего имя законного государя. Видя, что неведение народа о самых простых вещах гибельно делается для тех самых, которые его воспитывали; догадавшись наконец, что невежество ненадежно, что на него нельзя положиться ни в чем, потому что оно постоянно может служить орудием в руках первого обманщика,— книжники решились вразумлять народ относительно некоторых предметов: толковали ему о самозванцах, рассказывали историю Годунова и Дмитрия, писали увещательные грамоты и пр. Грамоты и повествования эти читали теперь уже не только духовенство и правительственные люди: книжность спустилась уже и в класс мелкого чиновничества, которое не только читало, но даже и само принялось сочинять. Много произведений XVII века принадлежит в России дьякам, подьячим, переводчикам приказов и другим чиновникам. Одно из таких сочинений, написанное опять-таки не в России, а в чужой земле — рус-

ским подьячим посольского приказа,— выходит из ряда обыкновенных произведений старой Руси и обнаруживает уже замечательную силу анализирующей мысли. Мы говорим о Кошихине[32]. У него уже взгляд более широкий, более человечный, чем у всех русских, до него писавших о России, даже в отрицательном духе. Он является образованным представителем интересов среднего сословия, над которым налегло старинное барство с своим невежеством и спесью. У Кошихина уж не те идеи, что у Курбского: он уже сожалеет и о грубости семейных отношений, и о невежестве высшего класса, и об административных обманах, и о жестокости пытки, и об отчуждении России от Европы. И замечательна его точка зрения: в нем нет неприязни к России, он не смотрит на ее недостатки как нераздельные с природою народа, он объясняет их обстоятельствами, отношениями различных классов между собою, и тому подобное. Так, например, говоря о бесстыдстве и невежестве бояр, Кошихин объясняет его тем, что они наученья никакого не принимают от других народов; не принимают же потому, что обычая не повелось ездить за границу, из опасения нарушить чистоту веры и старые обычаи. «Российского государства люди породою своею спесивы и необычные ко всякому делу, понеже в государстве своем поучения никакого доброго не имеют и не приемлют, кроме спесивства, и бесстыдства, и ненависти, и неправды. Понеже для науки и обычая в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веру и обычаи, начали б свою веру отменять и приставать к иным, и о возвращении к домам своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили... А который бы человек, князь или боярин, или кто-нибудь, сам или сына, или брата своего послал для какого-нибудь дела в иное государство, без ведомости, не бив челом государю, и такому б человеку за такое дело поставлено было в измену, и вотчины, и поместья, и животы взяты б были на царя; и ежели б кто сам поехал, а после его осталися сродственники, и их пытали б, не ведали ли они мысли сродственника своего; или б кто послал сына, или брата, или племянника, и его потому ж пытали б, для чего он послал в иное государство, не напроваживаючи ль каких воинских людей на Московское государство, хотя государством завладети, или для какого иного воровского умышления по чьему научению, и пытав того таким же обычаем» (41 стр.). Этот отзыв привели мы для

того, чтобы показать, что уже в половине XVII века сознавалась людьми среднего сословия необходимость разумных заимствований от Европы. Суждение Кошихина может, пожалуй, показаться исключительным явлением; но здесь важно не то, во скольких лицах мысль выразилась, а то, что она могла появиться в это время, и появиться как естественный вывод из данных, существовавших в самой жизни. Значит, жизнь уже сама по себе вела к сближению с Западом и к заимствованию его знаний и обычаев; и, значит, совершенно напрасно утверждают некоторые[33], что меры Петра шли совершенно наперекор естественному ходу нашей истории. Он, конечно, ускорил движение, и еще, может быть, от него зависела отчасти форма, в которой проявилось заимствование. Но, зная несколько относящихся сюда фактов из времен, предшествовавших Петру, нельзя не убедиться, что и здесь от естественного хода дел зависело более, чем от личной воли преобразователя. Обыкновенно петровской реформе делают тот упрек, что, совершивши сближение наше с Европой слишком быстро, Петр не дал установиться у нас на этот счет здравым и солидным идеям, а все подражание обратил только к одной форме, к внешности. Факт сам по себе справедлив. Но невозможно приписывать его только влиянию быстроты петровской реформы: как бы медленно мы ни заимствовали, все-таки стали бы заимствовать сначала только внешность — таково было состояние просвещения даже в высших классах, которые более других имели средств к сближению с «иных государств людьми». Одни, как видно из Кошихина, вовсе не хотели тогда ничего иностранного; другие же, как видно из фактов, признавали необходимость введения некоторых вещей на иностранный манер,— но на какие же предметы обращалось их внимание? Из-за границы выписывали отличных архитекторов, кое-каких музыкантов и комедиантов, которые «комедь ломали», и т. п. Разве это не внешность была? И разве этим путем Русь вернее могла дойти до истинных начал образованности, чем путем обширной, всеобщей реформы, предпринятой Петром? Напротив, при этих-то мелочных заимствованиях, удовлетворявших вкусу немногих бояр, которые желали воспользоваться европейскою образованностью для собственной потехи, Русь всего менее могла бы успеть в своем развитии, тогда как реформа Петра, взволновавши давнишний застой Руси, разорвавши узы, которыми связывали всех остатки местничества и другие боярские пред-

рассудки и обычаи, давши больше простора всем классам, значительно ускорила ход самой образованности — которая до того подвигалась таким медленным, едва приметным шагом,— а вместе с тем раздвинула и пределы литературы. В периоде послепетровском литературное развитие, не отступая от своего главного хода, идет гораздо быстрее, чем прежде, хоть не до такой степени быстро, как полагает г. Милюков.

Мы чувствуем, что читатели уже недовольны нами за то, что мы так долго останавливаем их внимание на предмете, не имеющем ни малейшего соотношения ни с одним из животрепещущих вопросов, волнующих современное общество. Мы знаем, что теперь, когда умы всех обращены к интересам первой важности — к отменению крепостного права, к гласности, злоупотреблениям между чиновниками, недостаткам воспитания и образования и т. п.,— теперь немногие захотят заглянуть в статью, толкующую о вопросах литературных, не касающихся жизни. Знаем мы, что плохое время выбрали для своей скромной статьи, столь далекой от всех общественных вопросов. Но что же делать, если дело литературы так мило нам — хоть нас и бранят за мнимое пренебрежение к ней,— если судьбы ее так нас занимают, что мы не умеем остановиться, раз заговоривши о ней. А говоря об ее исторических судьбах, что же могли бы мы сказать интересного для современных читателей, когда общественные вопросы до самого последнего времени были чужды нашей литературе, когда она держалась совершенно особняком и существовала «для немногих»? Впрочем, мы чувствуем, что оправдания наши очень неудовлетворительны, и, сознавая свою вину, постараемся окончить наши заметки как можно скорее, так как в дальнейшем развитии нашей литературы (нужно предупредить читателя) интересы, волнующие ныне общество, оставались почти в той же неприкосновенности, как было и до Петра.

Познакомившись с нравами и государственным устройством других народов, Петр увидел, как важно образование народное для блага целого царства. Поэтому постоянной заботой его было водворение в России образования по примеру Европы. Лучшим средством для распространения образованности он справедливо считал книги, и в его время письменность русская является решительно провозвестницею воли монарха для подданных. Он понял, что, при заботе о просвещении народа, необходимо призвать на помощь

живое убеждение, и это убеждение распространял посредством книг. Всякое событие его царствования, всякий новый закон, новое распоряжение находили себе объяснение и оправдание в произведениях письменности. Так являются во время Петра книги «О причинах, какие имел он к начатию войны со шведами», «Правда воли монаршей о наследовании престола», множество регламентов, специальных книг по части инженерной, артиллерийской, морской и пр., наконец, «Ведомости», в которых в первый раз русские увидали всенародное объявление событий военных и политических. Все новые потребности, возбужденные Петром, непременно, по его же мысли и желанию, сопровождались книжными явлениями, которые таким образом служили разумным оправданием мер, принятых правительством. Почти все книги такого рода были изданы не частными людьми, а по распоряжению самого же правительства; но самая возможность писать о всяческих предметах, начиная с политических новостей и оканчивая устройством какой-нибудь лодки, расширила круг идей литературных и вызвала на книжную деятельность многих, которые в прежнее время никогда бы о ней и не подумали. Замечательнейшим явлением в тогдашней письменности был, без сомнения, крестьянин Посошков, решившийся рассуждать самоучкой о вопросах политической экономии — о средствах умножить избыток в народе и отвратить скудость[34]. Не говоря о точке зрения Посошкова, которая, может быть, не совсем удовлетворит требованиям живой народной науки,— заметим здесь только о том, как в этом случае простой здравый смысл русского человека сошелся с результатами, добытыми наконец в многолетних опытах и исследованиях людей ученых. Посошков принялся за рассуждения о богатстве народном просто потому, что этот предмет был к нему ближе всякого другого и проще для него; а между тем этот самый предмет составляет науку, служащую венцом всех так называемых общественных наук. Справедливость требует, впрочем, сказать, что Посошков, хотя и крестьянин, не был вполне представителем своего класса, а скорее выходцем из него: он занимал какую-то начальственную должность, и в его рассуждениях, вместо естественного побуждения прямых нужд народных, видны нередко разные административные виды. То, что в маленьких размерах приметно у Посошкова, в колоссальном виде выказалось у другого крестьянина, который благодаря Петровой реформе получил возможность выучиться

разным наукам, побывал за границей и сделался тоже выходцем из своего сословия. Ломоносов сделался ученым, поэтом, профессором, чиновником, дворянином, чем вам угодно, но уж никак не человеком, сочувствующим тому классу народа, из которого вышел он. Иначе, впрочем, и не могло быть в то время: хотя Петр и уничтожил китайскую стену, отделявшую до него боярина от окольничего, окольничего от думного человека и т. д., хотя он, признавши права заслуг и образования, дал всем простор идти вперед,— но не могли же все вдруг приобресть образование и отличиться заслугами. Всего легче могли воспользоваться средствами образования опять-таки дети бояр, окольничих и т. п. Низшие сословия могли также высылать теперь на состязание своих избранных; но состязание, во всяком случае, было неровное, и эти избранные все-таки оставались едва заметными исключениями из целой массы. Если русская аристократия петровского времени не стала во главе целой нации по своей образованности и нравственному превосходству, то причина этого заключается, конечно уж, не в недостатке материальных средств, а просто в лености и неподвижности, разъедающем и отупляющем влиянии нашего старинного барства. Впрочем, если не по умственным совершенствам, то по своему общественному положению, по табели о рангах, боярство все-таки завладело тогда литературою, и она, не сделавшись непосредственным достоянием высших классов, как была прежде достоянием духовенства, постоянно, однако же, употреблялась непосредственно к их услугам. Мы говорим здесь о меценатстве, которое так распространилось у нас во времена после Петра и делало Россию отчасти похожею в некоторых отношениях на Рим времен империи и последних годов республики. Князь Кантемир, принадлежавший еще к веку самого Петра и притом сам аристократ, держался довольно независимо и по влечению сердца воспевал правительственные и общественные реформы Петра. Но Ломоносов имел уже своих *милостивцев*, в угоду которым сочинял разные «стиховные штуки», как говорил Тредиаковский. Ломоносов много сделал для успехов науки в России: он положил основание русскому естествоведению, он первый составил довольно стройную систему науки о языке; но в отношении к общественному значению литературы он не сделал ничего. Как до него схоластическая поэзия ограничивалась изображением «Орла российского» или сочинением аллегорического «Плача и утеше-

ния», в виршах Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, так точно и у Ломоносова поэзия не шагнула дальше дидактического нравоучения да напыщенного воспевания бранных подвигов. Действительной жизни он не хотел знать и даже полагал, кажется, что о ней можно говорить не иначе, как низким слогом, которого должен избегать порядочный писатель. Нельзя же было, в самом деле, рассказывая хоть бы, например, о затруднениях мужика, у которого последняя лошадь пала, возвыситься до того пафоса, до какого доходили наши поэты, описывая ужин и фейерверк, данный знатным боярином. Тут уже не только чувства не те, самый язык не тот будет. Возвышенным, красноречивым, витиеватым слогом можно воспевать только высокие явления жизни — взятие неприятельского города, отбитие у врага нескольких пушек, торжество по случаю победы, иллюминацию, раздачу наград и т. п. Вследствие таких соображений лучшие представители тогдашней литературы старались, так сказать, вести себя сколько можно аристократичнее в отношении к низким предметам и к подлому народу, как называли тогда публику, не принадлежавшую к высшему кругу. Ломоносов, правда, говорил иногда судиям земным, чтобы они блюлись от буйности и подданных не презирали, а наблюдали народную льготу; но это говорится так, en masse, в видах отвлеченной добродетели и справедливости и отчасти даже для красного словца, а ничуть не по глубокому сердечному сочувствию к нуждам народа. Так точно Сумароков восставал против невежества, спеси дворянской, взяточничества и т. п. и в то же время сочинял трагедии, в которых разные герои, владыки и их наперсники вещали высоким слогом нелепейшие бессмыслицы. Те, против кого писал Сумароков грозные сатиры, слушали эти нелепости и хвалили, зная, что автор в милости у знатных особ; а простая публика, видя, что тут для нее ничего нет, преоткровенно грызла орехи во время представления. Тут уже Сумароков пришел в истинное негодование и от души высказал, что этот «подлый народ» не стоит чести смотреть трагедии российского Корнеля и Расина и что сей подлый народ есть необразованная скотина, не признающая даже таких авторитетов, как г. Вольтер и он, г. Сумароков. Но Сумарокову еще можно простить: у него уж такой нрав был: он всех ругал, сколько сил хватало, хотя сам и восхищался очень наивно своим чином и кавалерством. Можно, с другой стороны, простить и пресмыкание перед знатными

какому-нибудь Тредиаковскому, которого можно было высечь за непоставку к сроку оды на маскарад: это уж был человек убитый; его так все и принимали за шута. О всех этих Петровых, Костровых и т. п. говорить нечего: они только и жили милостивцами, стараясь потешать их невежество то великолепной стиховной галиматьей, то собственной фигурою. Так, в Риме, после покорения им Греции, образованные рабы, гувернеры, пииты и вместе с тем шуты и полные невольники невежественных патрициев, служили им своим умом, образованностью, ловкостью и вместе щеками и спиною. Учиться и работать считалось в тогдашнем Риме недостойным патриция; наука и работа признавались и в тогдашней России не дворянским делом. Высший класс выпустил из головы своей мысль об образованности и думал удержать ее в своих руках посредством подачек своим паразитам, торговавшим дарами просвещения. К удивлению, находим, что барам нашим проделка их удавалась очень долго. Г-ну Милюкову кажется, что Державин целым веком отделен от Ломоносова; но мы никак этого не находим. Державина сама императрица приняла под свое покровительство, но и тут не избавила его от необходимости отыскивать милостивцев, которых производил он и в геркулесы, и в гиганты, и чуть не в полубоги. Что же касается до взгляда на народ, его нужды и отношения, то Державин подвинулся немного со времен Ломоносова или даже Симеона Полоцкого. Довольно припомнить его восклицание:

Прочь, дерзка чернь, непросвещенна
И презираемая мной![35]

Восклицание, нужно признаться, не совсем гуманное, как и вообще произведения Державина, носящие на себе отпечаток то отвлеченной мертвой схоластики, то эпикурейских ощущений, не очищенных ни изящным вкусом, ни здравой мыслью, то придворного шутовства в духе нравов того времени. Нет, мы решительно несогласны с г. Милюковым, будто от Ломоносова до Державина совершилось какое-то громадное развитие в русской поэзии. Если развитие и было, то самое ничтожное, да и то скорее в отношении к внешности, к форме выражения, а уж никак не в отношении к развитию и расширению содержания. Как прежде воспевались отвлеченные добродетели и совершенства, так и теперь, только еще утомительнее. Ни одна из нравственных од Ломоносова не может поравняться величиною с подобными же ода-

ми Державина, из которых в иных нет ли, пожалуй, стихов до тысячи. Как прежде поэт падал ниц в немом восторге пред мужем брани, меряя свое благоговение числом людей, убитых под его начальством, так точно и теперь — да еще восторженнее прежнего. Как прежде на всемирные события смотрели из маленькой форточки своего узенького окошечка с решеткой и меряли всю землю собственной четвертью, так и теперь круг зрения нисколько не расширился. Довольно привести один факт: Державин был кем-то обижен и написал «Оду *на коварство*». Через три года произошла французская революция; он приделал к своей «Оде на коварство» несколько строф и пустил ее в свет под названием: «Ода на коварство французского возмущения». Не удовольствуясь этим, он пришил к ней еще похвалу князю Пожарскому. Такие воззрения существовали у русских поэтов прошедшего века!..

На кого еще указать из этого же периода литературы? На Хераскова и Княжнина? У них еще менее народности, еще менее возвышения до интересов общественных, чем у Державина. Предметы поэм Хераскова и трагедий Княжнина уже сами собою показывают, как мало чуяли дух русской народности сии высокопарные пииты, певшие «от варваров Россию свобожденну»[36] и гремевшие своими Росславами[37]. Выбор событий мифологических или ненародных, отвлеченная точка зрения, старание делать намеки, приятные высшим (как, например, в «Титовом милосердии»)[38],— все это обличало отчуждение от народности, пренебрежение к нуждам и страданиям людей, если они только не пользуются громкими титулами.

О Карамзине говорили у нас как о писателе народном, впервые коснувшемся родной почвы, спустившемся из области мечтаний к живой действительности. Правда ли все это? Можно ли сказать, что Карамзин избавился от призраков, которые тяготели над его предшественниками, и взглянул на действительную жизнь светло и прямо? Едва ли. Правда, державинское и ломоносовское парение является у Карамзина уже весьма слабо (а все-таки является); правда и то, что он изображает нежные чувства, привязанность к природе, простой быт. Но как все это изображается! Природа берется из Армидиных садов, нежные чувства — из сладостных песен труверов и из повестей Флориана[39], сельский быт — прямо из счастливой Аркадии. Точка зрения на все по-прежнему отвлеченная и крайне аристократическая.

Главная мысль та, что умеренность есть лучшее богатство и что природа каждому человеку дает даром такие наслаждения, каких ни за какие деньги получить невозможно. Это проповедует человек, живущий в довольстве и который после вкусного обеда и приятной беседы с гостями садится в изящном кресле, в комнате, убранной со всеми прихотями достатка, описывать блаженство бедности на лоне природы. Выходит умилительная картина, в которой есть слова *природа, простота, спокойствие, счастие,* но в которой на деле нет ни природы, ни простоты, а есть только самодовольное спокойствие человека, не думающего о счастии других. Отчего происходило это? Неужели писатели карамзинской школы в самом деле полагали, что наши северные поселяне похожи на аркадских пастушков? Неужели они не видели, что в простом народе есть свои нужды, свои стремления, есть нищета и горе житейское, а не призрачное? Конечно, они это знали и видели; но им казалось, что этого незачем вносить в литературу, что это будет даже неприлично и смешно. Так, в наше время что сказали бы мы о писателе, который бы описал с пафосом и подробностью страдания лошади, оторванной от корму, запряженной против воли в карету и принужденной ударами кнута ехать, куда ей вовсе не хочется? Так в карамзинское время дико было снисходить до истинных чувств и нужд простого класса. В самой истории Карамзин держится постоянно той точки зрения, которая выразилась в заглавии его творения: «История *государства* Российского». Через двадцать лет после него Полевой хотел писать историю русского *народа;* но ему весьма плохо удалось его дело[40]. Нельзя, впрочем, винить ни его за неудачу, ни Карамзина за его образ воззрения. История не сочиняется, а составляется по данным, сохранившимся более всего в письменных памятниках. А что представляла историку наша древняя письменность? Мы уже видели, что в ней принимали участие только два малочисленнейшие класса народа и их только интересы выражались в ней. Следовательно, истории народа по данным летописным составить было невозможно, если человек не умел, как говорится, читать между строк. А Карамзин если и имел отчасти это искусство, то единственно для проведения своей главной идеи о государстве. Таким образом нашел он, что Иоанн III в некоторых отношениях выше Петра Великого; таким образом умел провести нить великих князей киевских, а потом владимирских, через весь удельный период; таким образом по-

рядку государственному он противополагал свободу народную; не умевши понять, что они нераздельны и взаимно друг друга поддерживают, он говорил: «Народы дикие любят свободу, народы просвещенные любят порядок...» До какой степени Карамзин сблизил русскую литературу с действительностью, видно из творений его поклонника и последователя — Жуковского. Мечтательность, призраки, стремление к чему-то неведомому, надежда на успокоение там, в заоблачном тумане, патриотические чувства, обращенные к русским шлемам, панцирям, щитам и стрелам, соединение державинского парения с сентиментальностью Коцебу — вот характеристика романтической поэзии, внесенной к нам Жуковским. Одно только из русской народности воспроизвел Жуковский (в «Светлане»), и это одно — суеверие народное. И, кажется, только в этом отношении романтическая поэзия и могла соприкасаться с нашим народным духом: во всем остальном она отделялась от него неизмеримой пропастью.

И, однако же, Карамзин и Жуковский получили в русском обществе такое значение, какого не имел ни один из предшествовавших писателей. Чем же объяснить это? Тем, разумеется, что оба они удовлетворяли потребностям того общества, которое их читало. Вопрос остается за тем, что это было за общество? Говорят, что Карамзина и Жуковского любит и знает Россия, и этому верят зело ученые люди, которые полагают, что они-то, ученые и образованные, и составляют Россию, а все остальное, находящееся вне нашего круга, вовсе недостойно имени русского. Коренная Россия не в нас с вами заключается, господа умники. Мы можем держаться только потому, что под нами есть твердая почва — настоящий русский народ; а сами по себе мы составляем совершенно неприметную частичку великого русского народа. Вы, может быть, намерены возразить мне, заговоривши о преимуществах образованности, которая дает человеку власть над неодушевленной природой, над неразумными животными и возвышает нас над толпой. Но погодите хвалиться вашей образованностью, по крайней мере до тех пор, пока вы не найдете средств обходиться без этой толпы или давать ей столько же, сколько она вам дает. Всякий закон, всякое приобретение, всякое положение, всякая вещь, наконец, тем лучше, чем большему количеству личностей или предметов доставляет пользу или удобство. А это что же за великое явление, которое в течение веков все огра-

ничивается сотнями и тысячами людей, не обращая внимания на миллионы!.. И поверьте, что эти миллионы вовсе не виноваты в своем невежестве: не они отчуждаются от знания, от искусств, от поэзии, а их чуждаются и презирают те, которые успели захватить умственное достояние в свои руки. Если же им и дают что-нибудь вроде мертвых схоластических стихов вместо живой народной поэзии, то народ, естественно, отвращается от подобных прелестей, как вовсе не подходящих к его потребностям и к его положению. Кем же ограничивалась литература даже во времена Карамзина и Жуковского? Круг людей, требованиям которых удовлетворяли эти писатели, был, правда, шире прежнего. Ломоносовские и державинские оды восхвалялись и повторялись только людьми, не чуждыми придворной жизни; повести Карамзина и баллады Жуковского перечитывались, можно сказать, во всем дворянском круге. Это и составляет значительный шаг вперед, сделанный карамзинскою школою. Вместе с тем она неизбежно должна была теперь несколько спуститься к действительности — хотя все еще далеко не достигла ее. Что в прежней, пиндарической школе было призрачное величие, то здесь — призрачная нежность; там великолепие, здесь достаток; там гром и молния, здесь роса и радуга; там фейерверки, здесь каскады; там трубы и кимвалы, грохочущие славу князей на удивление смертных, здесь арфы, призывающие простых детей природы наслаждаться чувствительностью. Здесь приближение к действительной жизни находим мы по крайней мере в том, что уже менее возбуждаются всякие страшилища и разрушители земного счастия. Литература сама еще не смеет подойти к действительности и объявить себя на стороне настоящего положения вещей; но уже с меньшей охотой, чем прежде, восхваляет она то, что противоречит естественному порядку дел. В литературе, видимо, является наклонность к примирению с жизнью и характер консервативный. Теперь, если недовольство действительным миром является, то уже не во имя каких-нибудь громких исключительных явлений, а во имя чего-то «очарованного», как выражался Жуковский, во имя каких-то глубочайших стремлений человеческого духа, которых, однако же, поэт и сам не сознавал хорошенько. Такая перемена необходимо должна была явиться при расширении круга людей, интересующихся литературою. Очевидно, что в древние времена какой-нибудь скальд, для которого весь мир заключался в высокородном рыцаре —

его господине и милостивце,— мог без зазрения совести с самым искренним восторгом петь его бранные подвиги, оставаясь совершенно равнодушным к страданиям человечества. Его ведь никто и не слышал из этого человечества; он пел для своего рыцаря и его дружины. Если же какие-нибудь скованные пленники и присутствовали тут же во время песни, то их стоны и проклятия только возвышали славу певца и удовольствие доблестного рыцаря с дружиною. Нельзя было оставаться при таком же направлении в то время, когда не одна рыцарская дружина, но уже и мирные граждане стали интересоваться поэтическими созданиями. Нужно было и их потешить чем-нибудь: и вот является для их удовольствия украшенная природа, грациозные китайские куколки, изящные чувства и т. п. Это был неудачный суррогат действительности, на которую явилась уже потребность, но которую боялись дать живьем, боясь оскорбить отвлеченные требования искусства.

Батюшков, любивший действительную жизнь, как эпикуреец, но тоже боявшийся пустить ее в ход прямо, увидел, однако, что наши попытки на создание золотого века из простой жизни никуда не годятся. Он пошел по другой дороге и в своей недолгой литературной деятельности выразил такое умозаключение: «Вы боитесь изображать просто природу и жизнь, чтобы не нарушить требований искусства; но у древних вы признаете соблюдение правил искусства; смотрите же, я буду вам изображать жизнь и природу на манер древних. Это все-таки будет лучше, чем выдумывать самим вещи, ни на что не похожие». Это действительно было лучше, но все-таки было еще плохо, тем более что у нас почти не было людей, которые могли бы сказать, так ли Батюшков изображает мир и жизнь, как древние, или вовсе не похоже на них.

Пушкин пошел дальше: он в своей поэтической деятельности первый выразил возможность представить, не компрометируя искусства, ту самую жизнь, которая у нас существует, и представить именно так, как она является на деле. В этом заключается великое историческое значение Пушкина. Но и в Пушкине проявилось это не вдруг, и притом проявилось не с тою широтой взгляда, какой можно было ожидать от такой художественной личности. Карамзинская опрятность, мечтательность Жуковского и эпикуреизм Батюшкова сильно проглядывают в нем; а к этому присоединяется еще влияние Байрона, которого, как справедливо за-

мечает г. Милюков, Пушкин не понял и не мог понять, как по основе собственного характера, так и по характеру общества, окружавшего его. Натура неглубокая, но живая, легкая, увлекающаяся, и притом, вследствие недостатка прочного образования, увлекающаяся более внешностью, Пушкин не был вовсе похож на Байрона. «Пушкин не мог понимать,— говорит г. Милюков,— той ужасной болезни, какою томилось общество европейское, не мог питать к нему той неумолимой ненависти и презрений, какие кипели в душе британского певца, рожденного посреди самого просвещенного народа, не мог проливать тех горьких, кровавых слез, какими плакал Байрон. Общество русское не было похоже на европейское, и если в то время в самой Европе не оценили еще значения певца Чайльд-Гарольда и называли его главою *сатанинской школы*, то, разумеется, Пушкин совсем не в состоянии был понять его... Он пленился только разочарованным и гордым характером его героев, мрачным колоритом картин и свободною легкостью формы». Таким образом, Пушкину долго не давалась русская народность, и он изображал разочарованных «Пленников» и «Алеко», вовсе не подозревая, что такое разочарование не в русском характере, хотя и встречалось в нашем обществе. Одаренный проницательностью художника, Пушкин скоро постиг характер этого общества и, не стесняясь уже классическими приличиями, изобразил его просто и верно; общество было в восторге, что видит наконец *настоящую*, не игрушечную поэзию, и принялось читать и перечитывать Пушкина. С его времени литература вошла в жизнь общества, стала необходимой принадлежностью образованного класса. Но опять вопрос: как относится этот класс по количеству и качеству к населению целой России? Здесь нельзя не сознаться, даже с некоторым удовольствием, что класс людей, изображенных Пушкиным и находящихся в близких отношениях к нему, следовательно, им интересующихся, весьма малочислен у нас. Повторяем: говорим это с удовольствием, потому что, если бы в России было большинство таких талантливых натур, как Алеко или Онегин, и если бы, при своем множестве, они все-таки оставались такими пошляками, как эти господа — москвичи в Гарольдовом плаще,— то грустно было бы за Россию. К счастью, их у нас всегда было мало, и их изображение не только народу было бы вовсе непонятно, но даже и в образованном обществе интересовало не всех. Гораздо более привлекли к Пушкину внимание публики те

картины русской природы и жизни, какие рассыпаны повсюду в его стихотворениях и выполнены с удивительным художественным совершенством. В то время и живое изображение природы было в диковину, а Пушкин так умел овладеть формой русской народности, что до сих пор удовлетворяет в этом отношении даже вкусу весьма взыскательному.

Мы сказали: *формой* народности, потому что содержание ее и для Пушкина было еще недоступно. Народность понимаем мы не только как уменье изобразить красоты природы местной, употребить меткое выражение, подслушанное у народа, верно представить обряды, обычаи и т. п. Все это есть у Пушкина: лучшим доказательством служит его «Русалка». Но чтобы быть поэтом истинно народным, надо больше: надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и пр., прочувствовать все тем простым чувством, каким обладает народ,— этого Пушкину недоставало. Его генеалогические предрассудки, его эпикурейские наклонности, первоначальное образование под руководством французских эмигрантов конца прошедшего столетия, самая натура его, полная художнической восприимчивости, но чуждая упорной деятельности мысли,— все препятствовало ему проникнуться духом русской народности. Мало того,— он отвращался даже от тех проявлений народности, какие заходили из народа в общество, окружавшее Пушкина. Особенно проявилось это в последние годы его поэтической деятельности. Жизнь все шла вперед; мир действительности, открытый Пушкиным и воспетый им так очаровательно, начал уже терять свою поэтическую прелесть; в нем осмелились замечать недостатки, уже не во имя отвлеченных идей и заоблачных мечтаний, а во имя правды самой жизни. Ждали только человека, который бы умел изобразить недостатки жизни с таким же поэтическим тактом, с каким Пушкин умел выставить ее прелести. За людьми дело не стало: явился Гоголь. Он изобразил всю пошлость жизни современного общества; но его изображения были свежи, молоды, восторженны, может быть, более, чем самые задушевные песни Пушкина. Пушкин тоже тяготился пустотою и пошлостью жизни; но он тяготился ею, как Онегин, с каким-то бессильным отчаянием. Он говорил о жизни:

Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я[41].

Но он не видел исхода из этой пустоты, его сил не хватало на серьезное обличение ее, потому что внутри его не было ничего, во имя чего можно было предпринять подобное обличение. Он мог только восклицать с лирической грустью:

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум[42].

Оттого-то он и не пристал к литературному движению, которое началось в последние годы его жизни. Напротив, он покарал это движение еще прежде, чем оно явилось господствующим в литературе, еще в то время, когда оно явилось только в обществе. Он гордо воскликнул в ответ на современные вопросы: «Подите прочь! какое мне дело до вас!»[43] и начал петь «Бородинскую годовщину» и отвечать «клеветникам России» знаменитыми стихами:

Вы грозны на словах, попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

Можно было бы спросить: это ли направление чистой художественности? Не поднимает ли здесь поэт тоже общественных вопросов, с тою разницею, что здесь выражаются интересы совсем другого рода? Да, эти произведения были в поэтической деятельности Пушкина шагом назад — к державинской и ломоносовской эпохе. Но общество наше было теперь уже не то. Г-н Милюков справедливо говорит: «Общество скоро поняло, что любимый поэт оставил его, что народные радости и печали не находят уже в нем горячего сочувствия и даже встречают холодное презрение. Тогда публика, в свою очередь, по невольному инстинкту оставила поэта. Это охлаждение публики сильно тревожило Пушкина в последние годы его жизни. Он видел, что разорвалась та симпатическая связь, которая соединяла его с обществом, и начал с лихорадочным беспокойством бросаться во все отрасли литературы: в историю, роман, журналистику, отыскивая какой-нибудь струны, которая связала бы его с публикою. Но ничто не помогало, и смерть избавила его от печальной необходимости видеть себя живым мертвецом по-

среди того общества, которое прежде рукоплескало каждому его слову» (стр. 177). Все это служит доказательством того, что Пушкин постиг только форму русской народности, но не мог еще войти в дух ее. Этим-то и объясняется, что в последнее время он стал писать стихотворения «Клеветникам России» и т. п., имевшие, может быть, прекрасную художественную отделку, но по своей мысли все-таки назначенные «для немногих», а никак не для большинства публики. Впрочем, недавно изданный VII том Пушкина показывает, что восприимчивая натура поэта не оставалась глуха к призывам общественных вопросов; только недостаток прочного, глубокого образования препятствовал ему сознать прямо и ясно, к чему стремиться, чего искать, во имя чего приступать к решению общественных вопросов.

Более сил нашел в себе Гоголь, которого значение в истории русской литературы не нуждается уже в новых объяснениях. Но и он не смог идти до конца по своей дороге. Изображение пошлости жизни ужаснуло его; он не сознал, что эта пошлость не есть удел народной жизни, не сознал, что ее нужно до конца преследовать, нисколько не опасаясь, что она может бросить дурную тень на самый народ. Он захотел представить идеалы, которых нигде не мог найти; он, не в состоянии будучи шагнуть через Пушкина до Державина, шагнул назад до Карамзина: его Муразов есть повторение Фрола Силина, благодетельного крестьянина, его Уленька — бледная копия с бедной Лизы. Нет, и Гоголь не постиг вполне, в чем тайна русской народности, и он перемешал хаос современного общества, кое-как изнашивающего лохмотья взятой взаймы цивилизации, с стройностью простой, чисто народной жизни, мало испорченной чуждыми влияниями и еще способной к обновлению на началах правды и здравого смысла.

Если окончить Гоголем ход нашего литературного развития, то и окажется, что до сих пор наша литература почти никогда не выполняла своего назначения: служить выражением народной жизни, народных стремлений. Самое большое, до чего она доходила, заключалось в том, чтобы сказать или показать, что есть и в народе нечто хорошее. С течением времени подобные замечания и указания делаются все чаще и чаще, и в этом пока заключается развитие нашей литературы. В числе исключительных личностей, мало имевших влияния на литературное движение, нельзя забыть Кольцова и Лермонтова[44]. Кольцов жил народною жизнью,

понимал ее горе и радости, умел выражать их. Но его поэзии недостает всесторонности взгляда; простой класс народа является у него в уединении от общих интересов, только с своими частными житейскими нуждами; оттого песни его, при всей своей простоте и живости, не возбуждают того чувства, как, например, песни Беранже. Лермонтов же обладал, конечно, громадным талантом и, умевши рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе. Доказательством служит его удивительное стихотворение «Родина», в котором он становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно. Он говорит:

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Что же любит в родине этот поэт, равнодушный и к воинской славе, и к величавому покою государства, и даже к преданьям темной старины, записанным смиренными иноками-летописцами? Вот что он любит:

Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи кочующий обоз
И на холме, средь желтой нивы,
Чету белеющих берез.
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску, с топаньем и свистом,
Под говор пьяных мужичков.

Полнейшего выражения чистой любви к народу, гуманнейшего взгляда на его жизнь нельзя и требовать от русского поэта. К несчастью, обстоятельства жизни Лермонтова поставили его далеко от народа, а слишком ранняя смерть помешала ему даже поражать пороки современного общест-

ва с тою широтою взгляда, какой до него не обнаруживал ни один из русских поэтов...

Таков был, по нашему мнению, общий ход развития русской литературы с древнейших ее времен.

«А сатирическое-то направление? — восклицает читатель. — Вы о нем ничего не говорите? Что литературное развитие вообще было слабо, это мы знаем; это и г. Милюков говорит, и еще гораздо сильнее вас. Но он вместе с тем превозносит сатирическое направление. Г-н Милюков говорит, что без сатирического направления никакого опасения не было для русской литературы и что сатирическое направление всегда ее поддерживало, оживляло, возносило и прославляло. Г-н Милюков говорит, что «сатира всегда сражалась с массою, которая постепенно уменьшается; что она враждовала с настоящим, как с остатками прошедшего, указывая на славное будущее; что она всегда производила благотворное действие на нравы; что в сатире общество наше нашло того двигателя, который постоянно продолжает вести его по пути к совершенству, уничтожая преграды, поставленные вековым отчуждением и невежеством». Вот что говорит г. Милюков о значении сатиры. А вы даже не упомянули о ее благотворном влиянии».

Да, отвечаем мы, верьте г. Милюкову! Он слишком нежно смотрит на русскую литературу; он проникнут такою горячею любовью к ней, что непременно хочет в ней отыскать нечто превосходное и благодетельное для нравов общества. Не за что взяться, так он и принялся за сатиру, как за прекрасное средство дать почувствовать благородные стремления литературы. Это с его стороны большая поблажка, делающая честь доброте его сердца, но тем не менее излишняя. Что касается до нас, то мы вполне верим г. Милюкову только тогда, когда он бранит что-нибудь: уж если такой добрый и снисходительный человек находит, что это дурно, думаем мы, то, уж верно, и в самом деле дурно. Но когда он хвалит, то нельзя не видеть, как его доброе сердце преувеличивает значение восхваляемой вещи. Вот хоть бы и сатира русская... Мы о ней нарочно не говорили, именно потому, что г. Милюков так превозносит ее. «Очерк поэзии» г. Милюкова составлен так хорошо, как ни одна из историй русской литературы, и потому нам не хотелось спорить с почтенным автором о предмете, который так последовательно проведен им по всей книге. Сатирическое направление, разумеется, хорошо; кто же об этом спорит? Но зачем приходить от него в

такой восторг? зачем приписывать ему исправление нравов общества, зачем считать его каким-то двигателем? Стоит всмотреться пристальнее в нашу сатиру, чтобы убедиться, что она проповедовала зады. Положение наших сатириков было, в самом деле, отлично-выгодное: они видели перед глазами в других частях Европы лучший порядок и могли смеяться над нашим дурным порядком, зная, чего именно хотят они. Они могли выставлять на позор наши заблуждения, наше невежество, почерпнув из западной науки истины, еще неизвестные и недоступные нашему обществу. Но что же делала сатира? Она всегда шла позади жизни, тогда как, по своему исключительному положению среди нашего общества, могла опережать ее; она видела порок только тогда, когда он был уж уличен, опубликован и всенародно наказан; ранее она не осмеливалась дотронуться до него. Ведь были у нас, конечно, люди образованные и раньше Кантемира; были и противники просвещения; отчего же только после указа Петра о том, что стыдно быть невеждою, особливо дворянину, и что все дворяне должны учиться,— отчего только после этого является сатира на хулящих учение?.. Пьянство испокон веку у нас было распространено; против него были указы еще в XVI и XVII веке; а до Кантемира опять никто сатирически не изобразил его. Местничество при Петре уже окончательно пало, а Кантемир потешается над ним (то есть вообще над боярской спесью) в целой длиннейшей сатире[45]. А ханжество, лесть, обман и т. п. разве меньше были распространены до Кантемира? Что же никто не поражал их? Ответ, конечно, легок: тогда и сатиры вовсе не было, а на нет и суда нет. Ну, хорошо; а почему Кантемир не поражал тех пороков, какие в его время были сильны? Вы спросите, какие пороки? Да возьмите современные записки или хоть немножко пораньше. Возьмите хоть Кошихина. Вот, например, он говорит, что при царском погребении, которое совершается всегда ночью, бывает страшный грабеж, потому что московских людей *натура не богобоязлива:* «И сыщется того дни, как бывает царю погребение, мертвых людей, *убитых и зарезанных,* больше ста человек. И взойдется на царское погребение денег на Москве и в городах близко того, что на год придет с государства казны» (стр. 17). Или, например, тот же почтенный подьячий пишет, что «во всем свете нигде такого на девки обманства нет, яко в Московском государстве», и описывает эти обманства. А они продолжались, с разными видоизме-

нениями, и во времена Кантемира. Или — у Кошихина есть такое известие о чиновниках: хотя, говорит он, за взятки и положено наказание и чиновники клянутся и крест целуют, чтобы посулов не принимать, но «ни во что вера их и заклинательство: от прелести очей своих удержати не могут и руки ко взятию скоро допущают, хотя не сами собою, однако по задней лестнице чрез жену, или дочерь, или чрез сына, и брата, и человека, и не ставят того себе во взятые посулы, будто про то и не ведают» (стр. 93). Или вот это: «а буде (бояре и дворяне) учинят над подданными своими крестьянскими женами и дочерьми какие блудные дела, или у жонки выбьют робенка, или мученая и битая с робенком умрет, и будет на таких злочинцев челобитье, и по их челобитью отсылают такие дела на Москву к патриарху» (стр. 114). Да чего тут ждать челобитья! Сатирой бы их хорошенько, этих злочинцев! Их-то именно и прикрыть бы сатирой! Но сатира Кантемирова молчала об этом, а восставала с благородным негодованием против Медора, завивающего кудри, против Менандра, переносящего вести, против скупого Хризиппа, против расточительного Клеарха[46]. А главной ее заботой было воспеть пользу преобразований, уже сделанных Петром, и посмеяться над теми, которые бессильно, на словах, еще отвергали их пользу. А то мало ли было во время Петра и вскоре потом пороков, подлежащих обличению литературы! Загляните только в «Записки Желябужского»;[47] чего там нет! «В 193(1685) году князю Петру Крапоткину учинено наказанье: бит кнутом за то, что в деле своровал, выскреб и приписал своею рукою. В том же году князь Яков Иванов, сын Лобанов-Ростовский, да Иван Андреев, сын Микулин, ездили на разбой по Троицкой дороге к красной сосне, разбивать государевых мужиков, с их, великих государей, казною, и тех мужиков они разбили, и казну взяли себе, и двух человек мужиков убили до смерти. В 201 году (1693) князю Александру Борисову, сыну Крупскому, чинено наказанье: бит кнутом за то, что жену убил. В 202 году земского приказу дьяк Петр Вязмитинов перед московским судным приказом подыман с козел и, вместо кнута, бит батоги нещадно: своровал в деле, на правеж ставил своего человека, вместо ответчика». Такие явления заслуживали, я думаю, литературного обличения более, нежели завиванье кудрей и пристрастие к французским модам. Если хотите проследить явления русской жизни, подлежащие сатире, далее, то можете заглянуть во многие кни-

ги, только не в сатирические творения. В русской сатире современность вы редко найдете; скорее попадется она вам в каких-нибудь мемуарах Манштейна, Миниха, Храповицкого, Грибовского, в «Семена Порошина записках», в «Актах, извлеченных из иностранных архивов» Тургеневым, в «Полном собрании законов российской империи». В Полном собрании есть, например, указ Петра I о том, «что крестьян продают на розницу, как скотов, и даже так, что от семей, от отца или от матери, дочь или сына помещик продает, отчего немалый вопль бывает». Сатира не коснулась таких явлений до последнего времени. Можно ли же после этого сказать, что она была двигательницею общества по пути к совершенству? Стоит ли также говорить о ее благотворном влиянии на исправление нравов? Сумароков преследовал взяточничество; это было хорошо, хотя и поздно немножко, потому что об этом зле есть уже положительные упоминания в XVI столетии. Но что же вышло из его обличений? Через двадцать пять лет после него Капнист опять обличал то же; через сорок лет потом Гоголь восстал против того же в «Ревизоре»; ныне, через двадцать лет после «Ревизора», образовалась целая литература приказной казуистики;[48] видно, что мало пользы принесли сатиры русских авторов, как они ни были разнообразны и ядовиты. А все отчего? Оттого, что сатира всегда была робка, мелочна, близорука, пока сама жизнь не опережала ее. Кого выводили преследователи взяток? Городничего, исправника, станового, квартального, председателя гражданской палаты да еще какого-то нарицательного судью, вероятно уездного. Предположите же, что все подобные мелкие чиновники исправились бы после сатирических нападений на них; думаете ли вы, что этого было бы довольно для прекращения взяточничества в целой России? Притом посмотрите, с какой точки зрения делаются у нас все обличения сатирические. Говоря,— совершенно справедливо, что

...Законы святы,
Да исполнители лихие супостаты[49],—

наши сатирики на этом и успокаиваются. Не принимая в расчет состояния общественной нравственности, ни исторических обстоятельств развития порока, ни общего положения администрации, ни отношений одного класса к другому, сатирики рады свалить всю беду на бедную личность чиновника, которая часто вовсе без вины виновата. Так, один ум-

ный администратор, вроде Сквозника-Дмухановского, хотел предать суду одного человека, пойманного на месте в азартной игре. «С кем же он был пойман?» Да один, видите: он вел азартную игру сам с собою!..

Возьмите другой порок, который преследовала наша сатира,— невежество. Кантемир смеялся над теми, которые не слушаются указов Петра I; чувства его очень похвальны, хотя опять нельзя сказать, чтоб они предупредили жизнь... Но посмотрим, что из того вышло. Прошло тридцать — сорок лет; Сумароков опять выводит господина, который говорит:

Не надобно наук:
Пускай убытчатся, уча ребяток, моты,
Мой мальчик не учен, а в те ж пойдет вороты[50].

Прошло еще лет двадцать; г-жа Простакова говорит: что за география? извозчики есть; что за деление? ни с кем делиться своим добром не надобно, и пр. в этом духе. Проходит еще лет сорок, и мы слышим сожаление о князе Федоре, который, бог знает зачем, учится разным наукам...[51] Что из этого следует? По-нашему — то, что одно из двух положений г. Милюкова в пользу сатиры неверно: или сатира не производила благодетельного влияния на нравы, или же она производила его, и тогда, значит, после Кантемира она уж все повторяла зады единственно для своего удовольствия.

Повторять зады, впрочем, не в диковинку было русской сатире: она отлично умела бранить то, что уж отжило свой век и было неопасно. В этом отношении особенным искусством отличался Державин. Он умел сочинить даже оду сатирическую, обративши стрелы своего остроумия на прошедшее да на некоторые анонимные личности, которых, впрочем, испугался, узнав, что до них дошла его ода. Между прочим, он остроумно и справедливо говорит, что при дворе Фелицы

...свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят;
Не щелкают в усы вельмож;
Князья наседками не клохчут,
Любимцы въявь им не хохочут
И сажей не марают рож.

А ведь когда это все совершалось, ничей сатирический голос не поднялся для порицания подобных потех! Вот вам и могущество русской сатиры!

Если же не на прошедшее обращались нападения сатириков, то уж на такие микроскопические недостатки, от которых общественная нравственность решительно не изменяла своего положения. Например, в прошлом столетии каждый сатирик непременно преследовал со всем жаром «плохих стихотворцев». На них и сатиры и басни писались, и в посланиях они задевались и даже, кажется, в разговорах в царстве мертвых осмеивались. Не правда ли, какое достойное занятие для русского сатирика! Как хорошо рисуется этим домашнее, патриархальное значение русской литературы, которая писалась сама для себя, находила предметы в своем тесном кружке и довольна была тем, что производила послания одного поэта к другому, эпиграммы другого на третьего, критики третьего на послания первого, сатиры первого на критики третьего и т. д. Вот уж в подлинном смысле литература была сама для себя целью: художественная, видно, была литература!

Что же касается до действительных и важных злоупотреблений поэзии, они никогда не встречали своевременного обличения. Пиндаризм, имевший в виду

...награду перстеньком,
Нередко сто рублей, иль дружество с князьком[52],—

не встретил насмешки ни в ломоносовское, ни в державинское время; а уже тогда, когда он отжил свой век, явилась злая сатира Дмитриева: «Чужой толк». Над поэмами Хераскова тоже стали смеяться только с двадцатых годов нынешнего столетия. Только над Жуковским Батюшков осмелился посмеяться очень скоро, сочинивши пародию на его «Певца», зато пародия эта не была известна публике до прошедшего года[53].

А подражание французам! От Кантемира, Сумарокова, Фонвизина до «Русского педагогического вестника», издаваемого с прошлого года неким господином Вышнеградским,— все, вот уж с лишком сто лет, все нападают на подражание французам; но только все не впрок! Бог знает отчего это!— кажется, уж «Русская беседа» и русское воззрение сочинила на место французского, а все толку нет: как открылась первая возможность, так и отправились десятки тысяч за границу... А заметьте, что подражание французам распространено ведь в ничтожном меньшинстве русских; народ и до сих пор хоть и не чуждается иноземцев, как прежде, но и не думает перенимать их нравы. Что же

это за могучая сатира, которая с ничтожным кружком в частном вопросе не может справиться?

Нет, как вы хотите, и в сатире нашей постоянно господствовала та мелкость, та узкость взгляда, которые мы заметили вообще в нашей литературе. И сатира не возвышалась у нас до понимания народных интересов, несмотря на некоторые исключительные явления, почти всегда имевшие только частный смысл. Нельзя же ведь Сумарокова, например, назвать представителем народных интересов только потому, что у него есть такие стихи:

На то ль дворяне мы, чтоб люди работали,
А мы бы их труды по знатности глотали?
Мужик и пьет, и ест, родился и умрет;
Господский так же сын, хотя и слаще жрет,
И благородие свое нередко славит,
Что целый полк людей на карту он поставит.
Ах, должно ли людьми скотине обладать[54].

Этими стихами обобщаться не должно; смысл их не простирается далее такого заключения: людьми надобно обладать не скотине, а людям, и обладать по-людски, т. е. милостиво и справедливо. Та же мысль и у Фонвизина, в отзывах Простаковой о Палашке. В случае надобности это можно доказать другими местами из их сочинений.

Вообще, что русская сатира не народна, это видно уж из того, что она противоречит народной пословице: «лежачего не бьют». Она постоянно восставала на лежачего, как только переставала пересыпать из пустого в порожнее. А большею частию занималась этим полезным пересыпаньем. Ведь придет же, в самом деле, в голову русскому сатирику переводить «Боалову сатиру о различии страстей человеческих»! Или переделывать на русские нравы Ювеналову сатиру о благородстве! Грибоедов как будто имел в виду русских сатириков, изображая Чацкого. Ни к селу ни к городу, людям, которые не хотят их слушать и не могут понять, а если поймут, то не могут выполнить их требований, начинают они кричать о Кузнецком мосте и вечных нарядах, об иголках и шпильках (не замечая слона), восстают против мелочных недостатков, зависящих от обычая или даже приличий, принятых всеми и, в сущности, никому не мешающих. И тут же вдруг, как снег на голову, грянут с каким-нибудь маленьким требованьем: будь, дескать, добродетелен, служи бескорыстно, ставь общее благо выше собственного и т. п. абстракции, весьма милые и вполне справедли-

вые, но, к несчастью, редко зависящие от воли частного человека... Совершенно так, как Чацкий издевается над фраком, очень хорошо понимая, однако, что носить или не носить фрак, брить или не брить бороду вовсе не зависит от восклицаний какого-нибудь одного азартного господина.

Нет, мы решительно недовольны русской сатирой, исключая сатиры гоголевского периода. Вот почему и не хотели мы говорить о ней так, как мы о многом не хотели говорить в этой статье. Просим читателей не видеть в наших отрывочных заметках каких-нибудь особенных претензий. Мы даже не хотели проводить своего взгляда по всем явлениям русской литературы; мы сказали только, что любопытно было бы представить ход развития русской литературы с такой точки зрения: как она постепенно сближалась с народом и действительностью, постепенно избавляясь от исключительного влияния книжников-монополистов и от призрачных, туманных идей, насильно навязанных ими литературе. Г-н Милюков отчасти имел в виду этот взгляд в последней половине своего труда, именно в оценке деятельности Пушкина, Лермонтова и Гоголя; но, увлекшись жаркою любовью к сатирическому направлению, он не мог провести этого взгляда по всей книге. Да если бы и провел, то результаты его казались бы, вероятно, излишне плодотворны, опять по тому же крайнему уважению к сатире. Мы же, с своей стороны, признаем только плодотворность сатиры Лермонтова, Гоголя и его школы — да и то не в таких громадных размерах, как представляет г. Милюков. Мы видим, что и Гоголь хотя в лучших своих созданиях очень близко подошел к народной точке зрения, но подошел бессознательно, просто художнической ощупью. Когда же ему растолковали, что теперь ему надо идти дальше и уже все вопросы жизни пересмотреть с той же народной точки зрения, оставивши всякую абстракцию и всякие предрассудки, с детства привитые к нему ложным образованием, тогда Гоголь сам испугался: народность представилась ему бездной, от которой надобно отбежать поскорее, и он отбежал от нее и предался отвлеченнейшему из занятий — идеальному самоусовершенствованию. Несмотря на то, художническая его деятельность оставила глубокие следы в литературе, и от нынешнего направления можно ожидать чего-нибудь хорошего, потому что нынешние деятели начинают явно стыдиться своего отчуждения от народа и своей отсталости во всех современных вопросах. Предупредить жизни литература не может,

но предупредить формальное, официальное проявление интересов, выработавшихся в жизни, она должна. Пока еще известная идея находится в умах, пока еще она только должна осуществиться в будущем, тут-то литература и должна схватить ее, тут-то и должно начаться литературное обсуждение предмета с разных сторон и в видах различных интересов. Но уж когда идея перешла в дело, сформировалась и решилась окончательно — тогда литературе нечего делать; разве только один раз (не больше) — похвалить то, что сделано. Поздняя же брань будет просто постыдным пересыпаньем из пустого в порожнее и будет только напоминать того хохла, который, будучи сильно побит, пришел домой и храбрился перед родными, хвастаясь, что когда его били, так он тоже свое дело делал — «показывал фигу» — в кармане.

Пора наконец и расстаться с г. Милюковым. Но мы не можем расстаться с ним, не обративши внимания читателей на его превосходный разбор «Мертвых душ», по всем правилам эпической поэмы. Применение всех этих правил к «Мертвым душам» обнаруживает в авторе большой диалектический талант. Как, например, умел он найти чудесное в «Мертвых душах»? Это была трудная задача, а он нашел, и нашел так искусно, что мы не можем удержаться от удовольствия выписать это место:

В героической поэме, по условиям теории, должно быть чудесное: таково в «Энеиде» вмешательство Эола и Юноны в судьбу Анхизову, а в «Илиаде» — участие богов Олимпа во всех битвах и событиях под стенами Трои. И это мы находим в нашей отечественной эпопее. Что может быть чудеснее этих мертвых душ, которые «окончили в некотором роде свое земное существование», а между тем невидимо присутствуют перед вами во всей повести и служат главным основанием подвигов героя, важнейшим средством его к достижению высокой цели обогащения? И кому не покажется сверхъестественным, что души крестьян, давно уже совершивших свое жизненное поприще, существуют еще за Стиксовой гранью гражданской палаты, незримо живут в грудах бумаг и ревизских сказок, таинственно прикованы еще к земле и не смеют вкусить успокоения в Елисейских полях, пока не прозвучит труба новой ревизии и не освободит их от невидимого заключения в судебных вертепах! Кто не увидит чудесного в том, что эти мертвые души продолжают еще невидимо платить за себя подати и отправлять повинности, служить предметом сделок и процессов, средством обогащения и спекуляции и даже вводят в сомнение Коробочку, не годятся ли они еще на что-нибудь в домашнем хозяйстве! Все это в высшей степени чудесно, а вместе с тем действительно и вполне естественно — выгода, какой не имел решительно ни один из древних эпических поэтов (стр. 214—215).

Повторим в заключение, что книжка г. Милюкова умнее, справедливее и добросовестнее прежних историй литературы, составлявшихся у нас в разные времена, большею частью с крайне педантической точки зрения. Особенно тем из читателей, которые стоят за честь русской сатиры и которым наш взгляд на нее покажется слишком суровым и пристрастно-неблагонамеренным, таким читателям лучше книжки г. Милюкова ничего и желать нельзя в настоящее время.

# СТИХОТВОРЕНИЯ А. ПОЛЕЖАЕВА

С ПОРТРЕТОМ АВТОРА
И СТАТЬЕЮ
О ЕГО СОЧИНЕНИЯХ,
ПИСАННОЮ В. БЕЛИНСКИМ.
ИЗДАНИЕ В. СОЛДАТЕНКОВА
И Н. ЩЕПКИНА, МОСКВА, 1857

Полежаев пользуется у нас довольно печальной известностью в кружке тех читателей, которые доселе продолжают читать его. Кому не случалось встречать молодых людей, хранивших размашисто переписанные тетрадки с непечатными стихами Полежаева? Эти юноши восхищаются темной стороной Полежаева[1], забывая или не зная о его истинных достоинствах. Обвинять ли их за это, считать ли людьми пустыми, ничтожными, неспособными возвыситься над грубыми животными побуждениями? Едва ли справедливо будет такое обвинение; по крайней мере мы никогда не решимся произвести его. Иначе мы должны были бы осудить на ничтожество самого Полежаева, который, конечно, более всего должен подвергаться ответственности за свои стихи. Нет, заблуждение еще не порок, одностороннее развитие — не преступление. Оно всегда есть прямое, неизбежное следствие тех обстоятельств, среди которых суждено человеку жить и развиваться. Можно жалеть о человеке, для которого обстоятельства сложились дурно,— можно горько задумываться о той жизненной обстановке, которая может губить лучшие силы души, направляя их к злу и пороку. Но напрасно было бы обвинять самого человека в ошибочном направлении, какое принимает его деятельность под влиянием враждебных обстоятельств. По нашему мнению, только тот заслуживает полного презрения, кто совсем не обнаруживает никакой деятельности, оставаясь во всю свою жизнь существом совершенно пассивным. Такие существа действительно не заслуживают никакого участия и могут быть заклеймены названием людей неспособных, негодных, ничтожных, унижающих свое человеческое достоинство. От них ни-

чего нельзя ожидать, как бы ни были благоприятны окружающие их обстоятельства. Получивши раз толчок от внешней силы, они безмятежно и ровно, по силе инерции, движутся в одном, данном им направлении. Они часто достигают предположенной цели весьма удачно, переходя от переписки бумаг к их подписыванью,— от первого места на школьной скамье — к наставнической кафедре, и пр. Но со всем тем трудно удержать в себе порыв презрения и даже негодования против этих людей, которых все нравственное достоинство заключалось в умеренности, аккуратности и терпимости и которых труды, бессмысленные и мертвые, могут быть с гораздо большим успехом исполняемы хорошею машиною. Отрекаясь от своей самостоятельности, делаясь орудием чужой силы, такие люди сами становятся в разряд низших существ, сами отказываются от общего братства людского и добровольно вызывают на себя презрение даже тех, которые пользуются их услугами. Подвиг высокой доблести и самая отвратительная низость с одинаковым хладнокровием и аккуратностью совершаются пассивными натурами, как скоро дан им внешний толчок, приводящий их в движение. Тут уже не может быть заблуждений, борьбы, страданий, падения... Тут, собственно говоря, нет и вины, как нет заслуги... Но тяжкая вина пред судом общества и истории — лениво зарыть в землю свой талант, попрать свое достоинство, рутиной и бездействием убивши силы, данные от природы... Зато и общество попирает ногами таких ленивцев. Зато и история эти натуры обходит презрительным молчанием.

Не такова судьба тех несчастных, но все-таки сравнительно высших натур, которые, чуя в себе родник живых сил души, хотят непременно пробиться с ним сквозь кору житейских дрязгов, общественных несправедливостей и людских предрассудков. Течение их жизни бывает бурно и мутно, часто гибельно; нередко они теряются на дороге, если сверху сушит их солнечный зной, а внизу поглощает сожженная, рассыпчатая почва; во всяком случае, их отдельная струя пропадает в общем океане истории человечества. Но все же это — движение, жизнь, а не болотный застой. В болоте погибнуть так же легко, как и в море; но если море привлекательно опасно, то болото опасно отвратительно. Лучше потерпеть кораблекрушение, чем увязнуть в тине. Моралисты обыкновенно люди сонные; их можно разбудить только грозой. При сильном ударе грома они про-

сыпаются, торопливо спрашивают: «Что случилось?» — и потом начинают кричать об ударе рока, постигшем одного человека, убитого громом. А перед их глазами, возле них сотни и тысячи человек падают от изнеможения, задыхаются, гибнут без шума и следа;[2] этого они не замечают, а если и замечают, то находят, что это совершенно в порядке вещей.

Все эти мысли невольно приходят в голову после прочтения маленькой книжки стихов Полежаева и статьи о нем, написанной Белинским[3]. С обычной своей проницательностью и силой выражает Белинский характер поэзии Полежаева и отношение ее к его жизни. Но у него есть одна фраза, которая может подать повод к ложному толкованию. «Полежаев не был жертвою судьбы,— говорит Белинский,— и, кроме самого себя, никого не имел права обвинять в своей гибели»[4]. Мы уже сказали, что, по нашему мнению, именно себя-то он и не мог обвинять.

Пострадал ли Полежаев от судьбы, странно враждебной всем лучшим поэтам нашим, можно видеть при внимательном взгляде на его портрет, который приложен к нынешнему изданию его сочинений[5].

Повесть его жизни немногосложна, но из нее видно, что Полежаев принадлежал к числу натур деятельных, для которых лучше падение в борьбе, нежели страдательное отречение от всякой личности и самостоятельности. Начало его жизни было лучше, чем ее продолжение, как это заметно из частых сожалений поэта о потерянных годах, как видно из его задушевных воззваний к прежнему времени:

Где ты, время невозвратное
Незабвенной старины?
Где ты, солнце благодатное
Золотой моей весны?
Как видение прекрасное
В блеске радужных лучей,
Ты мелькнуло, самовластное,
И сокрылось из очей!..[6]

Но и это время, о котором он вспоминал потом с грустным сожалением, не было продолжительно, так что он и не успел им воспользоваться как следует. Двадцатилетний юноша, увлекся он, как и все увлекаются в двадцать лет, страстностью своей натуры и пылкостью молодой крови; только его увлечение выразилось ярче, было сильнее, бурнее, чем бывает у других, и к этому-то времени студенчества

в Московском университете относится первая, непечатная известность Полежаева. Перед концом жизни он так вспоминал об этом бурном периоде своей жизни:

Я подвиг жизни совершил
И юных лет фиал безвкусный,
Надолго памятный,— разбил!
Давно ли я в оргиях шумных
Ничтожность мира забывал
И в кликах радости безумных
Безумство счастьем называл!
Тогда, вдали от глаз невежды
Или фанатика-глупца,
Я сердцу милые надежды
Питал с улыбкой мудреца,
И счастлив был! Самозабвенье
Таилось в бездне пустоты...[7]
. . . . . . . . . . . .

Если бы мы захотели, мы могли бы найти у Полежаева много подобных признаний, доказывающих, что он был человек не вроде поручика Пирогова[8] и что порыв, увлекавший его к наслаждениям чувственности, скоро сменился бы другим, более благородным увлечением. Он уже начинал, кажется, этот поворот жизни, когда над ним разразился новый удар судьбы, и

Мир души погребла
К шумной воле любовь...[9]

Из молодого, разгульного кружка своих товарищей внезапно попал Полежаев в другой круг — гораздо более грубый, порочный и невежественный, в котором смотрели на поэта как на преступника и негодяя[10]. Он не хотел и не мог подчиниться тому, чему легко подчинялись другие,— а его заставляли подчиняться.

Порабощенье,
Как зло за зло,
Всегда влекло
Ожесточенье[11].

И Полежаев ожесточился против людей и судьбы. Сначала у него еще оставался какой-то гений, которого он не называет ни добрым, ни злым, но который обещал ему свое покровительство, а потом забыл его... Полежаев с доверчивостью ждал его помощи, и надежда на этого гения поддерживала его в постоянной борьбе с обстоятельствами. Утомляясь борьбою, он восклицал:

7 Заказ 1079

Давно могучий ветер носит
Меня вдали от берегов;
Давно душа покоя просит
У благодетельных богов.
Казалось, теплые молитвы
Уже достигли к небесам,
И я, как жрец, на поле битвы
Курил мой светлый фимиам,
И благодетельное слово
В устах правдивого судьи,
Казалось, было уж готово
Изречь: воскресни и живи!
Я оживал, но ты, мой гений,
Исчез, забыл меня, и я
Теперь один в цепи творений
Пью грустно воздух бытия...
Темнеет ночь, гроза бушует,
Несется быстро мой челнок,—
Душа кипит, душа тоскует,
И, мнится, снова торжествует
Над бедным плавателем рок...[12]

Несмотря на эти минуты сомнения и тоски душевной, долго еще крепился бедный поэт и гордо сражался с гнетущей его судьбой:

Увы, давно печален, равнодушен,
Он привыкал к лихой своей судьбе:
Неистовый, безжалостный к себе,
Презрел ее в отчаянной борьбе,
И гордо был несчастию послушен[13].

Стремление к самостоятельной жизни развилось в нем еще больше среди несчастий и стеснений[14], и в то время как челнок его уже тонул, он еще находил в себе силы петь эту песнь погибающего пловца:

Сокровенный
Сын природы,
Неизменный
Друг свободы
С юных лет.
В море бед
Я направил
Быстрый бег
И оставил
Мирный брег.
На равнинах
Вод зеркальных,
На пучинах
Погребальных
Я скользил;

Я шутил
Грозной влагой,
Смертный вал
Я отвагой
Побеждал...[15]

Таким открытым выражением энергии и силы смелого бойца отличаются стихотворения Полежаева до того времени, когда является в них упоминание о заключении и болезни. Известно, что в последнее время своей жизни Полежаев страдал чахоткой и умер в больнице, получив в минуты предсмертного томления офицерский чин. Это последнее время тяжелой болезни вызвало у поэта несколько отчаянных, ожесточенных стихотворений. Он изнурен был битвою жизни, гений его не являлся к нему на помощь, усилия его свергнуть с себя гнетущее иго судьбы оказывались бесплодными,— и одно отчаянное, страшное презрение к жизни осталось в душе поэта. Ужасные звуки нашел он в себе для выражения силы своего отчаяния:

Без чувства жизни, без желаний,
Как отвратительная тень,
Влачу я цепь моих страданий
И умираю ночь и день!
Порою огнь души унылой
Воспламеняется во мне:
С снедающей меня могилой
Борюсь, как будто бы во сне;
Стремлюсь, в жару ожесточенья,
Мои оковы раздробить
И жажду сладостного мщенья
Живою кровью утолить.
Как раб испуганный, бездушный,
Кляну свой жребий я тогда,
И вновь взираю равнодушно
На жизнь позора и стыда[16].

Эта жизнь позора и стыда могла бы быть жизнью славы и величия. Человек, нашедший такие звуки для выражения отчаяния, умел бы проникнуться какими угодно возвышенными чувствами и найти для них выражение в слове и в деле. При другой жизненной обстановке не погиб бы этот энергический талант жертвою неровной и бесплодной борьбы. Не звуки проклятий и злобы, а роскошные звуки чистых, спокойных стремлений мог бы он завещать миру, потому что, кроме чрезвычайной силы, талант Полежаева отличается еще необыкновенной страстностью и стремительностью. Она-то и увлекает пылких юношей в непечатных сти-

хотворениях Полежаева. Мы не виним их за это в пустоте и ничтожности: можно этим увлекаться и не будучи ничтожным человеком. Но мы глубоко и тяжко должны сожалеть о той среде, которая не представляет ничего лучшего для увлечения молодых людей; мы должны грустно, безотрадно задуматься о тех преданиях, которыми передаются, как драгоценное наследие, из поколения в поколение грязные произведения поэтов, сбитых с чистого пути и столкнутых в вонючую лужу. Не один Полежаев погиб у нас в этой мрачной и душной среде, под влиянием этих развратных преданий, поддерживаемых застоем общественной жизни. Грустное раздумье одолевает всегда при воспоминании о гибели деятельной натуры. Напрасно стараешься успокоить себя тем, что гибель эта не бесплодна, что она была необходима по законам истории. Все-таки остается в душе неотвязный вопрос, так поэтически выраженный Полежаевым:

Но зачем же вы убиты,
Силы мощные души?
Или были вы сокрыты
Для бездействия в тиши?
Или не было вам воли
В этой пламенной груди,
Как в широком, чистом поле,
Пышным цветом расцвести?..[17]

# СОЧИНЕНИЯ ПУШКИНА

СЕДЬМОЙ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОМ.
ИЗДАНИЕ П. В. АННЕНКОВА.
СПб., 1857

Все еще помнят, вероятно, какой живой восторг возбудило три года тому назад во всей читающей публике известие о новом издании Пушкина, под редакциею г. Анненкова[1]. После вялости и мелкоты, которою отличалась наша литература за семь или за восемь лет пред тем, это издание действительно было событием не только литературным, но и общественным. Русские, любившие Пушкина, как честь своей родины, как одного из вождей ее просвещения, давно уже пламенно желали нового издания его сочинений, достойного его памяти, и встретили предприятие г. Анненкова с восхищением и благодарностью. И в самом деле, память Пушкина как будто еще раз повеяла жизнью и свежестью на нашу литературу, точно окропила нас живой водой и привела в движение наши, окостеневавшие от бездействия, члены. Вслед за Пушкиным вышло второе издание «Мертвых душ», потом второй том их, затем полное издание Гоголя, потом издание Кольцова с биографией его, написанною Белинским... Впрочем, нечего и перечислять столь недавние и общеизвестные факты; довольно сказать, что со времени издания Пушкина, первые томы которого вышли в начале 1855 года, наша литература оживилась весьма заметно, несмотря на громы войны, несмотря на тяжелые события, сопряженные с войною. Последствия показали, впрочем, что эти самые бедствия имели весьма полезное значение для нашего умственного совершенствования: они заставили нас и дали нам возможность получше рассмотреть самих себя, пооткровеннее сообщить друг другу свои замечания, побольше обратить внимания на свои недостатки. Литература тотчас же явилась у нас выразительницею общественного движения, и ее деятели одушевились сознанием важности сво-

его долга, любовью к делу, горячим желанием добра и правды. Это одушевление, при новом положении литературы, скоро выразилось решительно во всем, даже в библиографии, бывшей у нас долгое время бесплодным занятием празднолюбцев, для развлечения их скуки. В прежнее время библиографы наши подбирали факты ничтожные, вели споры об обстоятельствах пустых, занимались часто решением вопросов, ни к чему не ведущих. Мы помним за последние десять лет множество статеек, написанных даже людьми дельными и почтенными, но пускавшимися в такие ненужные мелочи и делавшими при этом такие наивные ошибки, что со стороны становилось наконец досадно, хотя и забавно, смотреть на трудолюбивых библиографов. И замечательно, что целыми годами труда самого кропотливого — не добывалось тогда ровно никаких результатов: публику душили ссылками на №№ и страницы журналов, давно отживших свой век, а она часто и не знала даже, о чем идет дело. В последнее время и библиография переменила свой характер: она обратила свое внимание на явления, важные почему-нибудь в истории литературы, она старается в своих поисках по архивам и библиотекам отыскать что-нибудь действительно интересное и нередко сообщает читателям вещи, доселе бывшие вовсе неизвестными в печати. Так, например, недавно были напечатаны «Сумасшедший дом» Воейкова[2], пародия Батюшкова на «Певца во стане русских воинов»[3] и пр.; так, представлены были (в «Записках» г. Лонгинова[4], в «Сборнике студентов СПб. университета») новые интересные сведения о мартинистах, о Радищеве и Новикове и пр. Ставя это в заслугу библиографам последних лет, мы, разумеется, вовсе не думаем этим унижать лично прежних деятелей. На поприще библиографии и ныне подвизаются большею частию те же лица, что и прежде, и, следовательно, за нынешние полезные труды упрекать их в прежних бесполезных было бы с нашей стороны совершенно несправедливо. Мы очень хорошо понимаем, что удача или неудача библиографа в сообщении читателям интересных сведений весьма часто не зависит от его воли. Он всегда рад бы печатать все хорошее, но что же делать, если не имеет средств к этому? Личности литературных деятелей обвинять за это нельзя,— и мы хотим обратить внимание читателей на вопрос именно с той точки зрения, что в последнее время наша библиография значительно расширилась в своих пределах и средствах[5].

Вышедший ныне седьмой том Пушкина служит одним из самых ярких доказательств этого расширения средств нашей библиографии, особенно в отношении к возможности и легкости сообщать публике свои находки. Правда, что в этом последнем отношении она еще и теперь далеко не совершенна, даже неудовлетворительна; но все же какое сравнение с тем, что было прежде, и незадолго прежде! Мы помним, как лет пять тому назад двое ученых — старый и молодой — ожесточенно ратовали друг против друга за то, как нужно произнести один стих Пушкина: на четыре *сторо́ны* или *сто́роны*[6], помним, как двое молодых ученых глумились друг над другом из-за одного вздорного стихотворения с подписью «Д—г», не зная, кому приписать его — Дельвигу или Дальбергу[7]. Да мало ли что можно вспомнить из этого времени в том же безвредном роде, как будто вызванном отчаянием скуки. И ничего не вышло из этих споров, исследований и открытий: г. Анненков взял просто рукописи Пушкина, да с них и печатал большую часть его стихотворений; библиографические справки также наведены им, кажется, почти совершенно независимо от указаний прежних библиографов. Говорим это потому, что большая часть стихотворений и отрывков, помещенных в VII томе, или является ныне в первый раз в печати, или указана не ранее прошлого года, в «Библиографических заметках» г. Лонгинова[8]. Так, им указаны были пьесы: «На лире скромной, благородной», «Когда средь оргий жизни шумной», «И некий дух повеял невидимо» (отрывок), несколько строф из «Евгения Онегина» и других стихотворений, несколько эпиграмм и пр. Об этих произведениях мы не станем говорить, потому что читатели «Современника», вероятно, помнят их содержание или по крайней мере характер. Из стихотворений, напечатанных ныне в первый раз, замечательны особенно два, относящиеся к последнему времени жизни Пушкина: «Когда за городом задумчив я брожу» и «Когда великое свершалось торжество». Оба они напечатаны были в прошедшей книжке «Современника», и потому о них мы тоже не станем распространяться. Из раннего периода деятельности Пушкина напечатаны два превосходные послания к Аристарху, силою и серьезностью мысли напоминающие послание «Лицинию», а по энергии выражения не уступающие лучшим ямбам Пушкина позднейшей эпохи. Чтобы яснее обрисовать характер выражения пьесы,

приведем из нее то место, где поэт определяет обязанности своего Аристарха (Пушкин, том VII, стр. 32).

О, варвар! кто из нас, владелец русской лиры,
Не проклинал твоей губительной секиры?
Докучным евнухом ты бродишь между муз:
Ни чувства пылкие, ни блеск ума, ни вкус,
Ни слог певца «Пиров», столь чистый, благородный,—
Ничто не трогает души твоей холодной!
На все кидаешь ты косой, неверный взгляд,
Подозревая всех — во всем ты видишь яд.
Оставь, пожалуй, труд, нимало не похвальный;
Парнас — не монастырь и не гарем печальный;
И, право, никогда искусный коновал —
Излишней пылкости Пегаса не лишал.

За этим стихом в издании г. Анненкова перерыв: вероятно, поэт допустил «некоторые намеки на современные лица и события», от которых издатель старался, по его словам, *очищать* пьесы Пушкина[9]. Не знаем, до какой степени полезно это очищение, потому что не имеем под руками полной пьесы; но думаем, что пьеса нисколько не потеряла бы своего художественного значения, если бы была напечатана вполне. Да если бы и так, то все-таки следовало бы выпущенные в пьесе стихи поместить хотя в примечаниях. Впрочем, так как этого не сделано, и, конечно, по уважительным причинам, то мы возвращаемся к тому, что есть. Поэт продолжает свое обращение к Аристарху:

Зачем себя и нас терзаешь без причины?
Скажи, читал ли ты Наказ Екатерины?
Прочти, пойми его, увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права; пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной.
. . . . . . . . . . . . . .[10]
Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры,
Их горделивые разоблачал кумиры;
Хемницер истину с улыбкой говорил;
Наперсник «Душеньки» двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала,—
И никому из них цензура не мешала.
Ты что же хмуришься? Признайся, в наши дни
С тобой не так легко б разделались они.
Ты в этом виноват. Перед тобой зерцало,
Дней Александровых прекрасное начало:
Проведай, что в те дни произвела печать!
На поприще ума нельзя нам отступать...

За этим стихом, заключающим в себе столь высокую и благородную мысль, опять находится у г. Анненкова пе-

рерыв, тем более досадный, что тут следовали, вероятно, какие-нибудь подробности, которые могли бы объяснить нам некоторые литературные взгляды Пушкина[11]. Но тут издатель опять оставляет нас в недоумении, и за последним приведенным нами стихом следуют стихи, заключающие в себе возражение Аристарха, выказывающее его личность в несколько комическом свете.

Все правда,— скажешь ты,— не стану спорить с вами,
Но можно ль мне, друзья, по совести судить?
Я должен то того, то этого щадить.
Конечно, вам смешно, а я нередко плачу,
Читаю да крещусь,— мараю наудачу.
На все есть мода, вкус. Бывало, например,
У нас в большой чести Бентам, Руссо, Вольтер;
А нынче и Миллот попался в наши сети.
Я бедный человек; к тому ж жена и дети...

Рассерженный этой репликою, поэт заключает ее, с своей стороны, следующими стихами:

Жена и дети, друг, поверь — большое зло;
От них все скверное у нас произошло!

Второе послание к Аристарху, писанное в том же 1827 году, отличается уже тоном гораздо более умеренным[12]. Тут Пушкин уже очень доволен тем, что Аристарх его разрешил заветные доселе эпитеты: *божественный, небесный,* в приложении их к красоте,— и приписывает это благотворному влиянию Шишкова, «воспринявшего тогда правление наук». Стихи «Сей старец дорог нам» и пр. находятся в этом послании. Мысли обоих посланий интересно сличить, между прочим, с позднейшими «Мыслями о цензуре», чтобы видеть, каким образом Пушкин приобретал все более и более умеренности в суждениях об общественных вопросах.

В VII томе являются также в первый раз довольно полные отрывки из «Моей родословной» (1830); но и здесь она напечатана не вполне, вероятно по тем же соображениям, по которым выкинуты некоторые стихи из посланий к Аристарху[13]. Но некоторые из выпущенных стихов едва ли могли бы вредить пьесе в каком-нибудь отношении.

Вообще мы не понимаем, отчего до сих пор не печатались многие из стихотворений Пушкина, давно известные в рукописях и не заключающие в себе ничего предосудительного. Их бы тем скорее следовало напечатать, что их ведь уж знают же почти наизусть все почитатели Пушкина.

Например, зачем не напечатаны многие литературные эпиграммы? Мы не хотим подозревать издателя в согласии с мнениями «Северной пчелы» и фельетонистов «Русского инвалида», но все-таки не можем не заметить, что в издании напрасно сделана эта уступка мнениям некоторых господ, которые боятся, чтобы не помрачилась память Пушкина от напечатания его эпиграмм. В «Северной пчеле» недавно помещена была благодарность «Инвалиду» за его брань на эпиграммы. К этой благодарности «Пчела» от себя прибавляет сравнение эпиграмм и полемических статей Пушкина с доносом Ломоносова на Миллера (хотя еще неизвестно, кто, в отношениях Булгарина и Пушкина, более приближался к ломоносовскому образу действий) и весьма замысловато замечает, что от обнародования этого доноса гораздо более проиграл в мнении публики Ломоносов, нежели Миллер. Из этого ясно должно быть выведено заключение, что и от издания полемики Пушкина гораздо больше проиграет он сам, нежели гг. Греч и Булгарин. Так думает «Северная пчела» и осыпает г. Анненкова укоризнами. Спрашивается теперь, к чему же послужила деликатность г. Анненкова, везде выставившего только заглавные буквы имен тех, на кого нападал Пушкин, и даже вместо «Видок Фиглярин»[14] поставившего «В. Ф.»? Совершенно напрасно думал издатель, что гг. Греч и Булгарин сконфузятся от напоминания о том, как честил их Пушкин. Чтобы убедиться в этом, стоило взять одно из изданий, выходивших под редакциею сих двух журналистов во время Пушкина. Не говоря о пошлой брани, расточавшейся там великому поэту, мы нашли бы там, что гг. Булгарин и Греч все умеют растолковать в свою пользу!.. Недаром же г. Булгарин столько лет подвизался на поприще журнальном вместе с Н. И. Гречем; недаром же про него и аллегория была сложена, что он владел некогда мечом обоюдоострым. Нет, совершенно напрасно было церемониться с теми господами, которые сами не церемонились с Пушкиным и Гоголем. Нам могут сказать, что о гг. Грече и Булгарине лучше не говорить, потому что участь их в литературе уже решена... Пусть имя их своею смертию умрет; пусть их писательская деятельность не донесется до потомства, невзирая на то, что ими самими многократно чужая деятельность доносима была до сведения любителей в их разборах, и еще большею частию в искаженном виде...[15] Это все так, и в литературном ничтожестве гг. Булгарина и Греча мы нисколько не сомневаемся. Но

ведь объявляют же они сами о себе,— объявляет же, вероятно в трехсотый раз, книгопродавец Лисенков о том, что у него *поступили в продажу* или *могут быть получаемы* сочинения Ф. В. Булгарина (вышедшие лет двадцать тому назад — о чем, впрочем, объявление благоразумно умалчивает)... Напоминают же они о себе; отчего же и нам не напомнить им кое-чего? В полемику, разумеется, с ними никто уж вступать не будет. Что для них могли бы значить скромные, деликатные намеки и упреки новейшего времени, когда яркие, живые, энергические, убийственно остроумные статьи Феофилакта Косичкина не могли устыдить их. Им сказали, что напрасно они пренебрегают Александром Анфимовичем Орловым, который ничуть не хуже их, а г. Греч возразил на это, что в мизинчике г. Булгарина гораздо больше ума, чем в головах многих рецензентов!.. Зато и досталось же им за этот мизинчик... Жаль только, что «настоящий Выжигин», обещанный Пушкиным в конце статьи о мизинчике,— не появился в свет. Там, вероятно, интересны были бы в литературном отношении многие главы, особенно восьмая и пятнадцатая[16].

Из других полемических статей, напечатанных в VII томе, интересен «Отрывок из литературных летописей», с неподражаемым юмором рассказывающий историю о том, как г. Каченовский «принимал другие (нелитературные) меры» против игривого произвола Полевого, «быв увлечен следствиями неблагонамеренности, прикосновенными к чести службы и к достоинству места, при котором г. Каченовский имел счастие продолжать оную»[17]. История была, в самом деле, забавна, и положение почтенного профессора крайне незавидно: Пушкин скромно и спокойно, но совершенно ясно успел изобразить действия Михаила Трофимовича так, что для публики не могло оставаться насчет их ни малейшего сомнения, особенно при помощи ядовитой эпиграммы «Обиженный журналами жестоко»[18], которая появилась в то же время.

Из статей исторических в VII том вошли две записки Пушкина, составленные им только как материал для обработки: «Материалы для первой главы истории Петра Великого» и «О камчатских делах». Обе они впервые являются теперь в печати. Точно так же впервые напечатана статья Пушкина о Радищеве, совершенно конченная и отделанная[19]. Относительно этой статьи мы не можем согласиться с мнением издателя, что она принадлежит к тому зрелому, здра-

вому и проницательному критическому такту, который отличал суждения Пушкина о людях незадолго до его кончины.— В этой статье мы видим взгляд весьма поверхностный и пристрастный. Пушкин увлекся здесь мыслью единственно о прямодушии, необходимом в авторском деле, и понял все дело односторонне. Он никак не хотел отделить *преступления печати,* совершенного Радищевым в молодости, от всей его последующей жизни. Стараясь видеть в Радищеве полу-невежду и полу-негодяя, Пушкин нередко впадает даже в противоречия с самим собою[20]. В конце статьи он говорит о нем с резкостью, какую редко позволял себе: «Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление пред своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему,— вот что мы видим в Радищеве». Такой приговор слишком жесток, и эпитеты — слабоумного, невежественного, слепого,— слишком положительны, чтобы можно было ожидать от Пушкина высокого мнения об уме Радищева. Несмотря на то, мы находим, что Пушкин, упрекая Радищева за его книгу, говорит, что он мог бы лучше прямо представить правительству свои соображения, потому что оно всегда «чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих»; таким образом, поэт не отказывается поставить в число людей «просвещенных и мыслящих» этого человека, которому сам же приписал невежество, слабоумие, поверхностность и пр. Это непоследовательно. Или нужно было признать Радищева человеком даровитым и просвещенным, и тогда можно от него требовать того, чего требует Пушкин; или видеть в нем до конца слабоумного представителя полупросвещения, и тогда совершенно неуместно замечать, что лучше бы ему, вместо «брани, указать на благо, которое верховная власть может сделать, представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян, потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено, и мысль, священный дар божий, не была рабой и жертвой бессмысленной и своенравной управы, а с другой — чтобы писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной»[21]. Зачем такие высокие требования от человека, в котором, тремя строками выше, не признается ничего, кроме невежества, слабоумия

и пр.? Что толковать с таким человеком?.. Зачем укорять его, что он не сделал того, чего мы хотим, если мы сами признаем, что он не мог этого сделать?.. Но Пушкин не один только раз впадает в такую ошибку. В другом месте он старается оправдать Радищева в том, что он под старость «переменил образ мыслей и не питал уже в сердце своем никакой злобы к прошедшему». От какого же обвинения оправдывает он Радищева? Конечно, уж не от обвинения в том, что он оставил свою злобу; само по себе это обстоятельство должно было представляться Пушкину очень похвальным. Оправдание здесь возможно было для Пушкина только в отношении к самому факту *перемены* мнений. Но стоило ли оправдывать перемену мнений в человеке, который отличается только *«слепым* пристрастием к новизне, *поверхностными* сведениями, *наобум* приноровленными ко всему»? Такой человек, разумеется, должен менять свои мнения тотчас, как только проходит мода на них. Не забудьте, что он *слепо* увлекается всем новым, не мыслит сам, а только *наобум* приноровляет ко всему свои поверхностные сведения. Но Пушкин считает нужным оправдывать перемену Радищева, следовательно, тем самым признает в нем искренние и честные убеждения, оставление которых может бросать тень на самый характер человека. Еще яснее выражается, без ведома автора, уважение его к Радищеву в самом оправдании, решительно противоречащем строгому приговору, произнесенному относительно всей деятельности этого человека вообще. «Время изменяет человека,— говорит Пушкин.— Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют (следовательно, Радищев не был глуп, не был невежественным представителем полупросвещения, а постоянно развивался и пользовался опытами времени). Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время *ужаса?* (Следовательно, он не *слепо* увлекался всем новым.) Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? (Где же тут слабоумное изумление перед своим веком?) Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого «сентиментального тигра». (Значит ли это, что он наобум применял ко всему свои поверхностные сведения?) Выразивши таким образом, против во-

ли, высокие понятия о Радищеве, которого непременно хочет выставить с дурной стороны, поэт-критик рассказывает вслед за тем смерть Радищева и повод к ней, с явным желанием и тут осудить его. Дело происходило таким образом. Император Александр по вступлении на престол вспомнил о Радищеве и, заметивши в сочинителе «Путешествия» «отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды», определил его в Комиссию составления законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Радищев исполнил это со всею откровенностью и смелостью своих задушевных убеждений. Начальник, которому принес он свой проект, заметил ему: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! Или мало тебе было Сибири?» Видя, что убеждения его принимаются таким образом, Радищев глубоко оскорбился и, пришедши домой, отравил себя. Рассказывая эту историю, Пушкин, как бы с намерением кольнуть Радищева, замечает, что «автор «Путешествия» вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям». Об этом обстоятельстве, вероятно, забыл Пушкин, когда высказал свое требование, чтобы Радищев, вместо брани, представил лучшие свои соображения и пр. Несчастный автор, верно, знал себя и обстоятельства, в которых он находился, гораздо лучше, нежели его беспощадный критик.

В заключение своей статьи автор спрашивает: «Какую цель имел Радищев? Чего именно желал он?» И говорит за него: «На сии вопросы вряд ли мог он сам отвечать удовлетворительно», то есть, по мнению Пушкина, несчастный автор, печатая свое «Путешествие», сам не понимал, к чему он это делает, и не имел в виду никакой определенной цели. Мы не будем входить в рассмотрение того, справедливо ли это мнение само по себе, но заметим, что такое суждение противоречит другому месту в той же самой статье, где Пушкин говорит: «Не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным, *политического фанатика,* заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какою-то рыцарскою совестливостью». Если он был фанатиком, только заблуждающимся в своих стремлениях, то, значит, все-таки у него была же какая-нибудь цель, к которой он стремился. Фанатизм непременно должен привязываться к какому-нибудь предмету, и нам кажется, что невозможно представить себе фанатика, кото-

рый бы не знал, чем он увлекается. Возможно ли же примирить суждения Пушкина, что Радищев был политическим фанатиком, и чтобы, несмотря на то, он не имел никакой цели в своем поступке?

Вообще нужно заметить, что статья о Радищеве любопытна, как факт, показывающий, до чего может дойти ум живой и светлый, когда он хочет непременно подвести себя под известные, заранее принятые определения. В частных суждениях, в фактах, представленных в отдельности, постоянно виден живой, умный взгляд Пушкина; но общая мысль, которую доказать он поставил себе задачей, ложна, неопределенна и постоянно вызывает его на сбивчивые и противоречащие фразы. К сожалению, статья о Радищеве представляет не единственный пример подобного несправедливого увлечения. Он составил себе круг идей, которые уже были для него неприкосновенны в своей святыне, хотя бы даже несправедливость их и была очевидна. Он уже восклицает:

*Да будет проклят правды глас,*
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно[22].

Проклиная правду, когда она благоприятна была для посредственности, и наивно признаваясь в этом, поэт, разумеется, старался поддерживать в себе всякий обман, казавшийся ему благородным и возвышенным. «Нас возвышающий обман» был для него действительно дороже тьмы *низких* истин[23]. В разделении истин на низкие и высокие опять отражалось, разумеется, влияние старой риторической школы, допускавшей еще и *средние* истины, так же точно как допускала она высокий, средний и низкий слог. И Пушкин, при всем своем презрении к риторической школе, не мог от нее освободиться в этом случае, и в последнее время жизни, вместе с полным обращением его к чистой художественности, усилилось в нем и пристрастие к некоторым исключительным истинам, соединенное с отвращением от других. Он уже заглушал в себе некоторые из прежних сердечных звуков, называя их действием безумства, лени и страстей; он уже позволил себе в одном стихотворении назвать наглецом Наполеона, о котором сам писал за десять лет: «Да будет омрачен позором тот малодушный, кто безумным омрачит укором его развенчанную тень»...[24] Прежние задушевные мечты высказывались теперь уже тоном шутливым и даже

насмешливым, а то, что в молодости вызывало насмешки, теперь возбуждало в поэте благоговейное умиление. Прежде писал он к одному из друзей гордое послание (не напечатанное почему-то у г. Анненкова)[25], в котором поверял своему другу свои надежды и мечты о славе пророка, обличителя земли своей, а через несколько лет он писал:

Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленьи вдохновенном
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена[26].

Не мудрено, что при таком расположении ему очень не нравилось все, что мешало лени и тишине, и что по этому случаю Радищев заслужил особенно его нерасположение.

Впрочем, здравый природный ум предохранял Пушкина от излишних крайностей в принятом им направлении, и, при всем недостатке серьезного образования, он умел понимать ошибки людей, заходивших слишком далеко в применении тех начал, верности которых он сам, по-видимому, вполне доверял. В этом обстоятельстве мы находим ясное подтверждение того, что направление, принятое Пушкиным в последние годы, вовсе не исходило из естественных потребностей души его, а было только следствием слабости характера, не имевшего внутренней опоры в серьезных, независимо развившихся убеждениях и потому скоро павшего от утомления в борьбе с внешними враждебными влияниями. Оттого-то в последние годы его жизни мы видим в нем какое-то странное борение, какую-то двойственность, которую можно объяснить только тем, что, несмотря на желание успокоить в себе все сомнения, проникнуться как можно полнее заданным направлением,— все-таки он не мог освободиться от живых порывов молодости, от гордых, независимых стремлений прежних лет. До сих пор в печати известны были почти только те произведения последних лет жизни Пушкина, в которых выражалось, более или менее ярко, направление, господствовавшее в нем в эти последние годы. Ныне изданный дополнительный том сообщает много произведений совершенно противоположного характера, и они-то доказывают, что Пушкин и пред концом своей жизни далеко еще не всей душою предан был тому направлению, которое принял, по-видимому, так пламенно, которое зато произвело охлаждение к нему в лучшей части его почита-

телей. Известно, например, что в последнее время в нем особенно сильно развились генеалогические предрассудки; но ныне напечатанное стихотворение «Когда за городом задумчив я брожу» обнаруживает воззрение совершенно чистое, равно как и некоторые стихи пьесы, озаглавленной «Из VI Пиндемонте» и написанной, так же как и «Кладбище», в 1836 году. В ней есть, между прочим, такие стихи:

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги,
Или мешать... друг с другом воевать...
...Иные, лучшие мне дороги права...
...Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать...
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...
Вот счастье! вот права!..

Известно также, что в стихотворениях Пушкина, и чем позднее, тем ярче, постоянно высказывалось[27] чрезмерное уважение к штыку и презрение к оружию слова. Судя по знаменитому стиху «Кому венец? мечу иль крику?»[28], предполагали не без основания, что Пушкин решительно не признавал силы убеждения; между тем напечатанные ныне статьи его о Радищеве, о мнении г. Лобанова, «Отрывок из литературных летописей», о нападках на дворянство — доказывают, что он придавал очень большое значение не только вообще литературе, но даже и тем памфлетическим возгласам, которые именно можно назвать криком. Следовательно, до конца жизни он не был решительным, слепым поклонником грубой силы, не оживленной разумностью.

В последнее время Пушкин окончательно также склонился, по-видимому, к той мысли, что для исправления людей нужны «бичи, темницы, топоры», а не сила слова, не сатира, не литературное обличение. Он отталкивал от себя общественные вопросы жестоким восклицанием:

Подите прочь! какое дело
Поэту мирному до вас?..[29]

Но ныне, в VII томе, напечатано его стихотворение, в котором он сам хочет приняться за сатиру и клеймить пороки. Стихотворение это написано в 1830 году, следовательно, в то же время, как и пресловутая «Чернь». Начинается это стихотворение так:

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич.

А оканчивается:

О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!..[30]

Поэт, как мы знаем, не исполнил своего предположения; но уже самое намерение его служит лучшим опровержением мыслей, высказанных в «Черни» и увлекших многих силою своего выражения.

В отношении к суждениям о некоторых литературных явлениях Пушкин тоже является не всегда верен самому себе. Боязливая попечительность о соблюдении нравственности, похожая на заботу жены Платона Михайлыча о здоровье своего мужа в «Горе от ума»,— все больше и больше овладевала Пушкиным в последние годы жизни. Он приходил в ужас от издания «Записок палача Самсона»[31] и говорил, что следовало бы запретить их. Но он же в последний год своей жизни очень энергически восстал против г. Лобанова[32], когда сей академик произнес в Академии речь «о нелепости и безнравии» современной литературы и говорил, что, «по множеству сочиненных ныне безнравственных книг, цензура должна проникать все ухищрения пишущих» и что Академия должна ей помогать в этом, «яко сословие, учрежденное для наблюдения нравственности, целомудрия и чистоты языка», то есть для того, чтобы «неослабно обнаруживать, поражать и разрушать зло» на поприще словесности. Пушкин возражал на это следующей репликой, которая также напечатана в изданном ныне томе и которую мы считаем нелишним выписать для того, чтобы показать, что и в самых уклонениях своих от здравых идей, в самом подчинении рутине Пушкин не доходил никогда до обскурантизма и даже поражал, когда мог, обскурантизм других. Вот его мысли, опровергающие г. Лобанова:

Но где же у нас это множество безнравственных книг? Кто сии дерзкие, злонамеренные писатели, ухищряющиеся ниспровергать законы, на коих основано благоденствие общества? И можно ли упрекать у нас цензуру в неосмотрительности и послаблении? Вопреки мнению г. Лобанова, цензура не должна *проникать все ухищрения пишущих*. Цензура долженствует обращать особенное внимание в дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора, и *в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе про-*

*извольного толкования оной в дурную сторону* (Устав о ценсуре, § 6). Такова была высочайшая воля, даровавшая нам литературную собственность и свободу мысли! Если с первого взгляда сие основное правило нашей ценсуры и может показаться льготою чрезвычайною, то по внимательнейшем рассмотрении увидим, что без того не было бы возможности напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово может быть перетолковано в худую сторону (т. VII, стр. 109 второй нумерации).

Мы коснулись всего наиболее замечательного в дополнительном томе сочинений Пушкина. О литературных отрывках, помещенных в конце тома, сказать нечего: они интересны только в том отношении, в каком «всякая строка всякого великого писателя интересна для потомства». Читая их, мы можем припомнить знакомые черты, знакомые приемы любимого поэта; но подобные отрывки не подлежат критическому разбору.

В заключение мы должны сказать несколько слов о самом издании. Оно аккуратно по-прежнему; опечаток значительных немного; в правописании сохраняются своенравные ошибки Пушкина (так, например, писатель, отечество — печатаются с большой буквы, а Гораций — с маленькой); при каждой статье находятся примечания, большею частию библиографические; в конце тома приложены: алфавитный указатель всех сочинений Пушкина, помещенных в семи томах издания г. Анненкова, и подробный указатель к материалам для биографии Пушкина, помещенным в первом томе того же издания. Этот последний указатель значительно облегчает пользование материалами, которое до сих пор было несколько затруднительно, по недостатку разделения их на главы. Теперь, с изданием VII тома Пушкина, дело г. Анненкова кончено, и всякий любитель литературы, кроме разве людей, сочувствующих издателям «Северной пчелы», почтит, конечно, искренней благодарностью его труды по изданию нашего великого поэта, как истинную заслугу пред русской литературой и обществом.

# СТИХОТВОРЕНИЯ Н. М. ЯЗЫКОВА

ПРИ НИХ ПРИЛОЖЕНЫ:
ЕГО ПОРТРЕТ, СВЕДЕНИЯ
О ЕГО ЖИЗНИ
И ЗНАЧЕНИИ
И НАПИСАННОЕ О НЕМ
В РАЗНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
И ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ.
ДВЕ ЧАСТИ. СПб., 1858

Языков — тоже славянофил в своем роде[1], и вот почему нисколько не удивительно, что г. Перевлесский, издавший уже славянскую грамматику и хрестоматию (в которую, впрочем, не попал Языков)[2], издает, между прочим, и Языкова. Стихотворения этого «певца вина и страсти нежной» до того нравятся г. Перевлесскому, что он, не довольствуясь одним разом, считает нужным, для удовольствия читателей, напечатать некоторые из них два раза в одной и той же книжке. Так, например, в первой части, на стр. 4 напечатаны три элегии, а на стр 94—95 той же части — те же элегии, только уж каждая порознь. На стр. 96 первой части — послание Т — ву, а на стр. 296 второй части — то же послание с заглавием: «Татаринову»[3]. Из этого видно, что желание некоторого библиографа, чтобы все русские поэты изданы были так же тщательно, как теперь Языков, — не совсем справедливо[4]. Впрочем, издание г. Перевлесского хорошо тем, что в нем помещены все статьи, какие были писаны по поводу стихотворений Языкова. Вместе со статьями гг. Погодина, Шевырева, Ксенофонта Полевого тут же есть и отзыв Белинского[5], который повторять нет нужды. Для любителей веселого чтения тут же находится и рецензия «Библиотеки для чтения», весьма остроумная[6].

Не считая нужным входить в рассуждения по поводу значения Языкова в истории русской литературы, мы решаемся указать только на одну сторону таланта Языкова, более других почтенную, но менее известную русской публике. На Языкова смотрят обыкновенно как на певца разгула, вина, сладострастия или как на возвышенного патри-

ота, бранившего всех немцев нехристью, прославлявшего Москву, старину и хвалившего

Метальный, звонкий, самогудный,
Разгульный, меткий наш язык...

Все это было в своем роде превосходно. Но мы считаем нелишним указать также и на первое время поэтической деятельности Языкова, когда «шалости любви нескромной, пиры и разгул» воспевал он только между прочим, а лучшую часть своей деятельности посвящал изображению чистой любви к родине и стремлений чистых и благородных. В то время муза его была еще свободна от многих предрассудков кружка, которые заметны в некоторых произведениях последних годов его жизни. Тогда он воспевал родину — не как безусловно совершенную страну, которой одно имя должно повергать в священный трепет, не говоря уже о ее пространстве, ее реках, морозах, кулаках и прочих затеях русской остроты. Нет, источник его тогдашнего сочувствия к родине был гораздо выше: он славил ее подвиги, ее благородные порывы, без всякого затаенного желания приписать их именно известному времени или стране. Он потому любил родину, что видел в ней много великого или по крайней мере способности к великому и прекрасному, а вовсе не находил прекрасным и великим все русское только потому, что оно народное, русское. В последствие времени Языков уклонился от своего первоначального чистого направления и сначала признал разгул очень хорошею вещью, воображая, что тут сидит русская народность:

Не призывай чужого бога,
Живи и *пей по-своему*,—

советовал он одному из своих приятелей.

Так точно впоследствии увлекся он другими особенностями русской природы и жизни и, воображая, что в них-то и есть чистая народность, издевался над немцами, не умеющими ходить по гололедице, уверял с увлечением, что картины Волги краше, чем распрекрасный Кавказ, да побранивал — и очень бесцеремонно — тех, кому не нравились публичные лекции г. Шевырева, в которых, по выражению поэта, ожила

Святая Русь — и величава,
И православна, как была...

Всего этого не было в произведениях ранней молодости поэта, в период 1822—1825 годов. Тогда он обращался к временам бедствий России, среди которых именно мог проявиться великий дух народа. Таковы, например, песни барда из времен монгольского ига. Вот что поет бард, обращаясь к Димитрию Донскому, пред битвой с Мамаем («Стих. Языкова», ч. I, стр. 25):

Твои отцы — славяне были,
Железом страшные врагам:
Чужие руки их рукам
Не цепи — злато приносили.
И не свобода ль им дала
Их знаменитые дела?
Когда с толпой отважных братий
Ты грозно кинешься на бой,—
Кто, сильный, сдержит пред тобой
Врагов тьмочисленные рати?
Кто сгонит бледность с их лица
При виде гневного бойца?
Рука свободного сильнее
Руки, измученной ярмом:
Так с неба падающий гром
Подземных грохотов звучнее;
Так песнь победная громчей
Глухого скрежета цепей!..

Освобождение Руси от ига монгольского внушило Языкову несколько стихотворений, которые, по силе выражения и по чистоте выражаемого в них чувства — любви к отечеству, должны быть отнесены к числу лучших его произведений. Нельзя без удовольствия перечитывать даже в настоящее время его «Песни барда во время владычества татар в России» (стр. 18). Она сопровождается у Языкова примечаниями, взятыми из истории Карамзина и поясняющими его выражения («Стих. Языкова», ч. I, стр. 18—19); но мы полагаем, что читатели наши не нуждаются в этих примечаниях, и потому приведем только самые стихи, ярко рисующие бедствия Руси при татарах:

И вы сокрылися, века полночной славы,
    Побед и вольности века!
Так сокрывается лик солнца величавый
    За громовые облака.
Но завтра солнце вновь восстанет...
    А мы... нам долго цепи влечь;
Столетья протекут, и русский меч не грянет
    Тиранства гордого о меч.
Неутомимые страданья

Погубят память об отцах,
И гений рабского молчанья
Воссядет, вечный, на гробах.
Теперь вотще младой баян
На голос предков запевает:
Жестоких бедствий ураган
Рабов полмертвых оглашает;
И он, дрожащею рукой
Подняв холодные железы,
Молчит, смотря на них сквозь слезы.

Те же чувства выражаются и в других стихотворениях ранней поры Языкова. Но, к сожалению, источник их был не в твердом, ясно сознанном убеждении, а в стремительном порыве чувства, не находившего себе поддержки в просвещенной мысли. В этом заключается, по нашему мнению, главный недостаток всех поэтов пушкинского кружка. Языков не мог удержаться сознательно на этой высоте, на которую его поставило непосредственное чувство; у него недоставало для этого зрелых убеждений и просвещенного уменья определить себе ясно и твердо свои стремления и требования от своей музы. Оттого-то во всей его поэтической деятельности выражается какое-то намерение, никогда не исполняемое, потому что поэт бессилен его исполнить. Он восклицает иногда довольно решительно:

Во прах надежды мелочные,
И дел и мыслей мишура!
У нас надежды золотые
Сердца насытить молодые
Делами чести и добра!..

И в то же самое время тот же поэт восклицает с неменьшею решительностью:

Последний грош ребром поставлю,
Упьюсь во имя прошлых дней
И поэтически отправлю
Поминки юности моей!

Так вот чем насыщаются молодые надежды относительно чести и добра! Вот где поэзия находит свое полное осуществление!

Немного спустя Языков опять говорит в стихотворении «Поэту»:

Иди ты в мир, да слышит он пророка,—
Но в мире будь величествен и свят!
Не лобызай сахарных уст порока,

И не проси и не бери наград.
Приветно ли сияние денницы,
Ужасен ли судьбины произвол:
Невинен будь, как голубица,
Смел и отважен, как орел!
И стройные и сладостные звуки
Поднимутся с гремящих струн твоих;
В тех звуках раб свои забудет муки,
И царь Саул заслушается их!..

Переверните страницу (7-ю) в нынешнем издании стихотворений Языкова, расположенных в хронологическом порядке, и вы прочтете в стихотворении «Кубок»:

Горделивый и свободный,
Чудно пьянствует поэт!
Кубок взял; душе угодны
Этот образ, этот цвет:
Сел и налил; их ласкает
Взором, словом и рукой...

и пр.

Вот каков этот смелый и отважный орел, этот пророк, грядущий в мир! Вот каковы его поэтические звуки, стройные и сладостные,

В которых раб свои забудет муки,
И царь Саул заслушается их.

Поэт напрасно ищет во всем мире этого чудного забвения: он находит его только в вине.

С течением времени остепенился и Языков. Г-н Перевлесский говорит об этом с откровенным простодушием, может быть даже не чуждым иронии,— по крайней мере оборот речи, употребленный издателем Языкова, не особенно благоприятен для последнего периода деятельности поэта. «Во время странствований Языкова по целебным водам,— пишет г. Перевлесский,— в годы тяжких страданий от сокрушительного недуга, разгульный строй его лиры нередко менялся на важный и торжественный; вместо игривых, разудалых песенок слышались спокойные, величавые и благоговейные песнопения отчизне и религии». Итак, нужны были страдания сокрушительного недуга, чтобы отучить Языкова от его песенок! Но, отучивши от песенок, к чему же болезнь приучила его? Ни к чему — решительно. В это время, как и прежде, под влиянием важного настроения духа Языков мог написать две-три возвышенных звучных пьесы; но общий характер, содержание поэзии до конца жизни осталось у Языкова одно и то же. Изменение толь-

ко в том, что поэт беспрестанно *сожалеет* теперь о том, что прежде воспевал с таким восторгом. Из пьес серьезного направления, написанных Языковым в один из последних годов его жизни, есть одна,— действительно замечательная вещь — «Стихи на памятник Карамзину». Особенною живостью и силою отличается здесь изображение времен Грозного. Но, вообще говоря, бессилие Языкова пред серьезными вопросами и идеями было в конце жизни, может быть, еще более, чем в начале его поэтической деятельности. В стихотворении «Землетрясение» он задает поэту задачу, которою, как известно, восхищался Гоголь:[7]

Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли,
Несись душой превыше праха
И ликам агельским внемли.
И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины,
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.

И прежде, как мы видели, Языков призывал поэта к проповеданию истин людям; теперь он только иначе мотивирует свое требование. Как же это призвание выражается у него в тот период его поэзии, к которому относится «Землетрясение»? Вот как:

В Москве там вас,— я помню, я
Не раз, не два, и всенародно,
Пел горячо и превосходно,
Громко-хвалебными стихами,
Усердно поклонялся вам.
И подобает тем стихам
Хвала моя...
Смотрите вот:
Лишь мало-мальски успокоен
В моем житье, еще расстроен
Толпой болезненных забот
Почти весь день, еще надежде
Почти не смею доверять,
*Что буду некогда опять*
*Таким, каким бывал я прежде.*

Смеем думать, что последние стихи относятся не к одному только восстановлению здоровья поэта, а и к его поэтическому характеру. То же может подтвердить и другое послание, относящееся к тому же времени и начинающееся стихами:

В достопамятные годы
Милой юности моей
Вы меня, певца свободы
И студентских кутежей,
Восхитительно ласкали...—

и продолжающееся так:

Поэтически-живая,
Отцвела весна моя,
И дана мне жизнь иная,
Жизнь тяжелая,— но я...
*Тот же я*...

Оба эти стихотворения писаны, как видно, тогда, когда Языков немножко выздоравливал. Они объясняют нам, как смотреть на его грустные сожаления о том, что он вину и кутежу

Уже не может, как бывало,
Петь вольнодумную хвалу...

Да, в натуре Языкова были, конечно, некоторые задатки хорошего развития; но у него мало было внутренних сил для разумного поддержания своих добрых инстинктов. Он погубил свой талант, воспевая пирушки да побранивая немецкую нехристь, тогда как он мог обратиться к предметам гораздо более высоким и благородным. Так, впрочем, погиб не один он: участь его разделяют, в большей или меньшей степени, все поэты пушкинского кружка. У всех их были какие-то неясные идеалы, всем им виднелась «там, за далью непогоды» какая-то блаженная страна. Но у них недоставало сил неуклонно стремиться к ней. Они были слабы и робки...

А туда выносят волны
Только сильного душой!..[8]

# НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТАНКЕВИЧ

## (ПЕРЕПИСКА ЕГО И БИОГРАФИЯ, НАПИСАННАЯ П. В. АННЕНКОВЫМ. М., 1858)[1]

Еще в 1846 году, в биографии Кольцова, Белинский писал о Станкевиче: «Это был один из тех замечательных людей, которые не всегда бывают известны обществу, но благоговейные и таинственные слухи о которых переходят иногда и в общество из кружка близких к ним людей»[2]. Белинский сам принадлежал к числу этих близких людей, и уже одного упоминания его было бы, конечно, достаточно для того, чтобы возбудить в нас желание узнать покороче личность, внушившую ему такие строки. Теперь, благодаря биографии Станкевича, написанной г. Анненковым, и еще более переписке, изданной им же, это справедливое желание может быть удовлетворено. Биографический очерк Станкевича был еще раньше напечатан г. Анненковым в «Русском вестнике»; теперь он издан (в сокращенном, впрочем, виде) в отдельной книге, вместе с перепискою Станкевича. Мы не будем здесь представлять извлечения из фактов и мнений, находящихся в книге г. Анненкова: их уже все прочли, конечно, в «Русском вестнике»[3]. Мы не хотим излагать и содержания переписки Станкевича, в которой ясно отражается благородная, открытая, любящая душа его. Нет сомнения, что большую часть писем Станкевича прочтут с удовольствием все, кому дорого развитие живых идей и чистых стремлений, происшедшее в нашей литературе в сороковых годах и вышедшее преимущественно из того кружка, средоточием которого был Станкевич. Изданные письма (большею частию к Я. М. Н<еверо>ву, меньшею — к Грановскому и еще к нескольким лицам) не составляют, конечно, *всей* переписки Станкевича;[4] но уже и из них очень ясно видна степень того значения,

какое имел он среди передовых тогдашних деятелей русской литературы. А это уже достаточно объясняет его права на внимание и память образованного русского общества, которое немало обязано своим развитием русской литературе, и особенно критике сороковых годов.

Чтение переписки Станкевича так симпатично действовало на нас, нам так отрадно было наблюдать проявления этого прекрасного характера; личность писавшего представлялась нам, по этим письмам, так обаятельною, что мы считали переписку Станкевича окончательным объяснением и утверждением его прав на внимание и сочувствие образованного общества. Мы не думали, чтоб нашлись люди, которые бы остались холодными и бесстрастными пред поэтическим обаянием этого юноши и сурово потребовали бы у него еще иных, более осязательных прав на уважение и сочувствие общества. Но, к сожалению, нашлись такие люди и показали нам возможность строгого допроса, обращенного к памяти человека, о котором с любовью и уважением вспоминают все, кто только знал его. Мы слышали суждение о книге, изданной г. Анненковым, выраженное в таком тоне: «Прочитавши ее до конца, надобно опять воротиться к первой странице и спросить, вместе с биографом Станкевича: чем же имя этого юноши заслужило право на внимание общества и на снисходительное любопытство его?»[5] Выражавшие такое суждение не видели в Станкевиче ничего, кроме того, что он был добрый человек, получивший хорошее воспитание и имевший знакомство с хорошими людьми, которым умел нравиться: что же за невидаль подобная личность? Мало ли кто имел хорошие знакомства!

Значит, все-таки неясно еще значение Станкевича, все-таки есть поводы не признавать его права... На это отрицание нельзя смотреть как на следствие каких-нибудь личных интересов и страстей, подобное тому, что мы видели недавно в унижении заслуг Грановского[6]. Там говорили воспоминания друзей разного рода; многое сказалось в жару спора, многое возбуждено было тем, что противникам Грановского показались слишком неумеренными восторги его поклонников. Здесь ничего подобного нет и не было. О Станкевиче пишут и рассуждают люди, лично его не знавшие; споров никаких не было, даже и восторгов почти не было. Если бы кто-нибудь стал превозносить Станкевича выше меры, стал бы уверять, что он был главою кружка, что от

него заимствовано все, что было хорошего у его друзей; если бы кто-нибудь стал приписывать великое, мировое значение его беседам с друзьями и возводить его в гении и благодетели человечества; тогда, конечно, было бы отчего в отчаянье прийти и даже, пожалуй, ожесточиться. Но ведь этого никто не делает. Говорят просто: Станкевич был человек очень замечательный по своему светлому уму, живой восприимчивости и симпатичности своей натуры. Его стремления были возвышенны и идеальны, он искал все обобщить, во всем дойти до идеи, до начала знания. Вся его молодая жизнь прошла в мире науки и искусства, которым он восторженно предавался в надежде *приготовить* себя к полезной деятельности. Около него собирался круг друзей, из которых многие сделались потом известными своей деятельностью. Все они вспоминали и вспоминают о нем с какой-то благоговейной любовью; лучшие из них говорят открыто, что многим ему обязаны и в умственном и в нравственном отношении[7]. Личность такого человека не должна быть забыта, хотя бы и для того, чтобы определить, чем мог он действовать так обаятельно на своих друзей? Интерес его биографии возрастает, когда мы узнаем, что это обаяние не заключалось просто в мягкости характера и добродушии, а имело гораздо лучшие основания. Прочитав его переписку, узнав его жизнь, мы убеждаемся, что он имел действительно благотворное значение в кругу своих друзей и что он замечателен сам по себе, а не потому только, чтобы на него упал отблеск славы кого-нибудь из них.

Что тут преувеличенного? Что из этого может отнять у Станкевича тот, кто не имеет предъявить фактов, противоречащих заключениям, сейчас переданным нами? Кажется — ничего. Но есть люди, отличающиеся весьма мрачным взглядом на жизнь и вместе с тем какой-то философской выспренностью. У них своя точка зрения на все предметы, и они становят вопрос таким образом:[8]

«Станкевич,— говорят они,— все занимался наукой и искусством: где же его ученые или литературные труды? сделал ли он хоть одно открытие в науке, произвел ли он хоть одно художественное chef d'oeuvre? Даже просто, сделал ли он хоть что-нибудь для науки? Нет? Так за что же уважать его? Он занимался наукой и искусством потому, что находил в них наслаждение, и это служит для него уже достаточной наградой. Станкевич любил и изучал философию: где же результаты его изучения? Трудился ли

он для передачи другим своих взглядов, образовал ли какую-нибудь школу философии? Нет? Так что нам за дело до его философских идей? Пусть их остаются его субъективной принадлежностью и не разоблачаются перед обществом: ведь он изучал философию для себя, а не для общества. Если же что и передал он другим, то бессознательно, а бессознательные действия не подлежат никакому нравственному вменению. Станкевич был добрый и симпатичный человек: как же это выражалось в его жизни? Спешил ли он отыскивать несчастных и помогать им, подавал ли нищим, делился ли последним с неимущими, как это делал, например, И. И. Мартынов[9], переводчик греческих классиков? Об этом мы не имеем сведений; в чем же выражалась доброта и высокая нравственность Станкевича? Неужели в том только, что он умел привязать к себе своих друзей? Это еще небольшая заслуга. Станкевич имел благородные и твердые убеждения; как же они выразились в жизни? Страдал ли он из-за них, жертвовал ли им своим счастием, подвергался ли клеветам, брани, огорчениям, лишениям в борьбе за свои убеждения? Нет? Так что же может заставить нас уважать его убеждения и его самого? Мы видим из всего, что Станкевич не был тружеником и мучеником идеи, а просто был эпикурейцем, хотя и не в дурном значении этого слова. У него не было того качества, которое необходимо для общественного деятеля— *самоотвержения.* Что он ни делал, он во всем искал прежде всего удовлетворения собственной потребности, собственного стремления и не думал обрекать себя на жертву для других. Такой человек не имеет прав на общественное значение, какое имеет, например, И. И. Мартынов. Тот менее имеет известности, менее, может быть, имел дарований, чем Станкевич; но его права на благодарность потомства несомненны, именно потому, что он всегда жертвовал собою для других. Он учился — не как дилетант, не потому, что его привлекала та или другая книжка, та или другая идейка, а потому всего более, что хотел оправдать ожидания и надежды своего начальника и благодетеля. Он занимался литературой, но не для собственного удовольствия, не по какому-нибудь безотчетному влечению сердца, а с сознательным желанием принести пользу согражданам, и главное — потому, что,— по собственному его выражению,— литература была близка ему «как чиновнику министерства просвещения»[10]. Следовательно — занятия литера-

турные были для него не удовольствием, не забавой, а трудом, пожертвованием, службою. Кроме того, он был и на действительной службе, а в частной жизни полезен был тем, что помогал бедным. Вот какие права надобно иметь на общественное значение, а не такие, какие предъявляются на Станкевича. Станкевич был прекрасный человек, но прекрасный для себя, а не для других, не для общества. Он никогда не принуждал себя, не занимался тем, к чему не чувствовал сердечного влечения, не налагал на себя тяжелых нравственных вериг, не жертвовал своей личностью для пользы общей. Он был эгоист, хотя и в возвышенном смысле. Все, совершенное им, было им совершено прежде всего *для себя,* а если потом и выходила польза для других, то совершенно без всяких расчетов с его стороны. Люди, развившиеся под его влиянием, развились бы и без него: если бы они были неспособны к развитию сами по себе, то и Станкевич ничего бы не мог из них сделать: доказательство — то, что он не сделал великого поэта из Красова, точно так же, как не мог всех своих друзей поставить на ту ступень умственного развития, до которой дошел Белинский. Нет — и образование и идеи германской философии развились в нашем обществе по естественному ходу образования, и развились бы независимо от Станкевича, если бы его никогда и не было на свете».

Такой взгляд не составляет исключительной принадлежности нескольких лиц; он очень свойствен многим в нашем образованном обществе. Известно, что вообще о правах личности существуют два противоположные взгляда, оба ошибочные в своих крайностях. Один, происходя от неуважения к личности вообще, от непонимания прав каждого человека, приводит к неумеренному, безрассудному поклонению нескольким исключительным личностям. Так, на первой степени развития невежественного народа, человек, пораженный необычайной силой или ловкостью какого-нибудь дикого героя, забывает и свою личность и личность своих ближних и, вместе со всеми, признает свое полное ничтожество пред удивительным богатырем и его беспредельную власть над собою. Так и в обществе, еще мало сведущем и образованном, замечается особенная наклонность к преклонению перед всем, что хоть немножко выходит из ряда обыкновенных явлений. Чуть явится неглупый человек, о нем кричат, что он гений; чуть выйдет недурное стихотворение, немедленно провозглашают, что

им могла бы гордиться всякая литература; чуть обнаружит человек кое-какие знания, к нему смело обращаются с просьбой о разрешении всяческих вопросов, даже неразрешимых. И перед личностью, возбудившей общее благоговение, все падает во прах, все говорит: «Бей меня, топчи, плюй на меня,— а я с радостью все от тебя снесу, потому что ты гений, потому что ты герой» — или что-нибудь другое в этом роде. Такие порывы смешны, конечно, и даже возмущают душу, потому что в них выражается неуважение каждой отдельной личности к самой себе. Охота к восхвалению и преклонению пред так называемыми избранниками судьбы, гениальными натурами — заслуживает, конечно, обличения и противодействия. Так и было в нашей литературе, когда после необдуманного восхищения фантазиями Кукольника, Тимофеева, после благоговейного трепета пред авторитетами Хераскова, Державина и пр. явилась строгая критика, решившаяся основательно определить меру их достоинства. Начала, принятые этой критикой, утвердились и доселе действуют при оценке литературных произведений. Но многие из образованных людей пустились теперь в другую крайность: в уничтожение вообще личностей. Важно общее течение дел, говорят они, важно развитие народа и человечества, а не развитие отдельных личностей. Если личность занималась какой-нибудь специальностью и сделала открытия, то об этих открытиях можно еще говорить, потому что они способствуют общему ходу развития человечества. Но личность сама по себе не имеет никакого значения, и мы не должны обращать на нее внимания. Такое рассуждение показывает, по нашему мнению, только неуменье обращаться с общими философскими положениями, когда дело коснется применения их к частным случаям. Конечно, ход развития человечества не изменяется от личностей. В истории прогресса целого человечества не имеют особенного значения не только Станкевичи, но и Белинские, и не только Белинские, но и Байроны и Гете: не будь их — то, что сделано ими, сделали бы другие. Не потому известное направление является в известную эпоху, что такой-то гений принес его откуда-то с другой планеты; а потому гений выражает известное направление, что элементы его уже выработались в обществе и только выразились и осуществились в одной личности более, чем в других. Следовательно, в сфере отвлеченной мысли, можно сколько угодно уничтожать лич-

ности, имея дело только с идеями. Но не столь справедливо будет в частных случаях, в применениях к действительной жизни, говорить, что такая-то и такая-то личность не заслуживает уважения, потому что через двадцать пять лет о ней останется одно воспоминание, а через двести пятьдесят — и того не будет. Подобное смешение общих теоретических положений с точкой зрения действительности может повести к весьма забавным практическим последствиям. Я, например, знаю, что движение народонаселения в человечестве, и даже в России, и даже в Н—ской губернии вовсе не изменилось от того, что в городе Н. есть прекрасный доктор, вылечивший многих трудно больных. Но между тем я сам живу в городе Н.— беспрестанно слышу благодарные воспоминания о нем от людей, им вылеченных, и нахожу, что его уважают даже люди, никогда не бывшие больными. Неужели я поступлю справедливо и благоразумно, если начну всем этим людям доказывать, что доктор не заслуживает ни благодарности, ни уважения, потому что человечество от него не выиграло, вылечил он немногих, да и те, которых вылечил, все-таки умрут же, и через пятьдесят—шестьдесят лет ничего не останется от его деятельности? Кажется, в этом случае я был бы столько же несправедлив, как и в том, если бы я стал утверждать, что вопрос об увеличении народонаселения на всем земном шаре решительно зависит от деятельности доктора, живущего в городе Н.

Но на Станкевича, кроме его незначительности в истории человечества, взводят еще другое обвинение, которое еще более характеристично для нашего образованного общества и которое мы поэтому намерены рассмотреть подробнее. Говорят, что Станкевич не был тружеником, специалистом, что он не имел самоотвержения и потому не имеет прав на значение общественное. Недавно мы слышали, как многие голоса повторяли то же самое по поводу Грановского, доказывая, что он был не ученый, а артист. Теперь раздаются те же возгласы против Станкевича. Отчего это? Причины этого, кажется, нельзя искать в одних личных пристрастиях; должно быть какое-нибудь основание более глубокое. Основание это должно заключаться в самом взгляде на жизнь, который как-то составился в нашем образованном обществе. Не так давно один из наших даровитейших писателей высказал прямо этот взгляд, сказавши, что цель жизни не есть наслаждение, а, напротив,

есть вечный труд, вечная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противодействуя своим желаниям, вследствие требований нравственного долга[11]. В этом взгляде есть сторона очень похвальная, именно — уважение к требованиям нравственного долга. Но[12], с другой стороны, взгляд этот крайне печален, потому что потребности человеческой природы он прямо признает противными требованиям долга; и, следовательно, принимающие такой взгляд признаются в своей крайней испорченности и нравственной негодности. Это, кажется, ясно; и на основании этого взгляда нетрудно решить вопрос о нравственном достоинстве Станкевича в двух словах: если жизнь должна быть рядом лишений и страданий в силу велений долга, так это ведь потому, что наши собственные стремления не сходятся с требованиями долга. Следовательно, не переносит таких лишений и страданий — или тот, кто совсем не хочет знать велений долга и предается своим дурным, безнравственным наклонностям; или тот, у кого собственные стремления не отдаляются от нравственных требований. Теперь спрашивается: к которому из этих двух разрядов отнести Станкевича? Никто не скажет, чтоб он был дурным человеком; следовательно, отсутствие страданий, внутренней борьбы и всяких душевных мук происходило в нем просто от гармонии его существа с требованиями чистой нравственности. Над ним не имели силы грязные побуждения, мелочные расчеты, двоедушные отношения; оттого во всем существе его, во всей его жизни замечается ясность и безмятежность, без раздвоения с самим собой, без насилования естественных стремлений.

Нас пленяет в Станкевиче именно это постоянное согласие с самим собою, это спокойствие и простота всех его действий. По всей вероятности, эти качества весьма сильно привлекали к нему и друзей его. Из переписки Станкевича мы видим, что только в самых необходимых случаях, для соблюдения светского приличия, он принуждал себя к скрытности и даже невинной лжи. С друзьями и этого, конечно, никогда не было. Станкевич занимался тем, чем ему хотелось, и говорил о своих занятиях с увлечением. Ни в поступках, ни в мыслях своих он не видел ничего предосудительного и потому охотно передавал своим друзьям все случаи своей жизни, все свои мечты и планы. Все его письма дышат полной, беззаветной откровенностью. А известно, как сильно действует простая, дружеская откровен-

ность на молодое, благородное сердце. Друзья Станкевича могли быть уверены, что он не станет им льстить, не скроет своего мнения, не побоится дать прямой, хотя бы и неприятный совет. У него не было этой малодушной совестливости, которая так часто заставляет нас *щадить* людей, к нам близких, из опасения огорчить их. Боязнь эта происходит у нас, конечно, от недостатка доверия к людям, даже близким к нам, и от желания удержать их расположение. А между тем мы все-таки выразим свое мнение, свое неудовольствие — каким-нибудь косвенным намеком, скажем его другим,— оно как-нибудь дойдет до нашего друга, и прежнее доверие между нами неизбежно рушится. У Станкевича не было подобной недоверчивости; он очень просто и спокойно говорит своим друзьям, одному: «Зачем ты свои силы тратишь на пустяки»; другому: «Что ты не учишься по-немецки, это тебе необходимо» — третьему: «Зачем ты расхваливаешь глупую книгу?» — четвертому: «Мне жаль, что болезнь тебя расслабила и что ты теперь ничего не сделаешь для людей». Подобные замечания кажутся очень легкими и естественными в дружеских отношениях; но, право, не часто встречаются друзья, которые могли бы даже такие вещи говорить прямо и просто. А между тем как много неодолимого обаяния заключается в этой ясной искренности, основанной на взаимном доверии и уважении. Если она является в человеке вследствие суровости характера, закаленной в борьбе и опыте жизни, то она принимает, по этому самому, некоторый вид грубости и брюзгливости, не всегда нравящейся, особенно самолюбивым людям. Но даже и эта стоическая, холодная искренность имеет какую-то особенную силу и прелесть и сообщает большое влияние на окружающих тому, кто ею обладает. Тем сильнее было, конечно, обаяние личности Станкевича, соединявшего с простотою и искренностью необыкновенную мягкость характера, силу чувства и способность увлекаться всем прекрасным.

Впрочем, не подумайте, что мы хотим выставлять Станкевича идеальным совершенством. Совсем нет; мы вовсе не хотим утверждать, что он стал в своей жизни выше всех сомнений и противоречий, что внутренняя гармония его существа никогда и ничем не нарушалась. И у него были минуты тяжелых дум, горького недовольства собою, вследствие неудовлетворенных стремлений и неуменья слиться душою с некоторыми требованиями долга. Так, бу-

дучи еще двадцати одного года, он писал: «Я не могу сказать, чтоб я действовал против долга, но, кажется, я слишком много давал воли эгоизму и от этого был всегда недоволен собою. *Неискренность* — вот что еще мучило меня; das Schin* у меня противоположно dem Sein** (особенно в обществе), хотя и не из дурных видов; а это дает дурное направление и рождает опять недовольство самим собою» (стр. 89). Кто хочет видеть во всем мрачную сторону, тот может найти в признании Станкевича подтверждение той мысли, что он был эгоист без твердого характера. Но мы, напротив, видим в этих словах, как высоки были требования Станкевича от самого себя, как тяжелы были для него даже малейшие уклонения от сознанного им долга. Он недоволен собой даже за то, что в обществе не всегда может казаться тем, что он есть; он упрекает себя в эгоизме; а между тем видно по всему, что Станкевич менее всего мог быть лицемером и грубым эгоистом. Его доброе сердце не понимало себялюбивого своекорыстия, не умело быть счастливым без других. В одном письме к Н<еверо>ву он говорит, что внутреннее блаженство заключается в самоотвержении. Следовательно, он понимал самоотвержение как удовлетворение потребности сердца, а не как формальное исполнение какого-то внешнего, сурового предписания. Вообще нам кажется, что взгляд на жизнь как на тяжелый, исполненный горестей, насильственный подвиг,— взгляд этот весьма высоко ценит формальную, внешнюю сторону дела. У нас очень часто превозносят добродетельного человека тем восторженнее, чем более он принуждает себя к добродетели. Но, по нашему мнению,— холодные последователи добродетели, исполняющие предписания долга только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь к добру,— такие люди не совсем достойны пламенных восхвалений[13]. Эти люди жалки сами по себе. Их чувства постоянно представляют им счастие не в исполнении долга, а в нарушении его; но они жертвуют своим благом, как они его понимают, отвлеченному принципу, который принимают без внутреннего сердечного участия. Поэтому они всегда несчастны от своей добродетели, жалуются на свои многотрудные подвиги и часто оканчивают тем, что ожесточаются против всего на свете. В нравственном отно-

* видимость *(нем.).— Ред.*

** существу *(нем.).— Ред.*

шении они стоят на очень низкой степени: они не в состоянии возвыситься до того, чтобы ощутить в себе самих требования долга и предаться им всем существом своим; они должны непременно иметь на себе какую-нибудь узду, чтобы обуздывать себя. Неужели же их, только за то, что они трудятся над собою, можно поставить выше людей, которым этот труд не нужен? Неужели нравственное достоинство человека, чувствующего сильное поползновение красть, но пересиливающего себя потому, что кража запрещена законом,— выше нравственности того, у кого не рождается даже и мысли о присвоении чужого, уже не вследствие запрещения закона, а просто по внутреннему отвращению от кражи? Кажется, не того можно назвать человеком истинно нравственным, кто только терпит над собою веления долга как какое-то тяжелое иго, как «нравственные вериги», а именно того, кто заботится слить требования долга с потребностями внутреннего существа своего, кто старается переработать их в свою плоть и кровь внутренним процессом самосознания и саморазвития, так, чтобы они не только сделались инстинктивно-необходимыми, но и доставляли внутреннее наслаждение[14]. К такому состоянию приближался или стремился Станкевич в большей части своих поступков, и за это он достоин нашего уважения, а не упреков.

Скажут, что[15] в подобном направлении выражается очень сильно собственный эгоизм человека и этому эгоизму как будто подчиняются все другие, высшие чувствования. Но мы спросим: кто же когда-нибудь мог освободиться от действия эгоизма и какое наше действие не имеет эгоизма своим главным источником? Мы все ищем себе лучшего, стараемся удовлетворить своим желаниям и потребностям, стараемся добиться счастия. Разница только в том, кто как понимает это счастье. Есть, конечно, грубые эгоисты, которых взгляд чрезвычайно узок и которые понимают свое счастье в грубых наслаждениях чувственности, в уничижении пред собою других и т. п. Но ведь есть эгоизм другого рода. Отец, радующийся успехам своих детей,— тоже эгоист; гражданин, принимающий близко к сердцу благо своих соотечественников,— тоже эгоист: ведь все-таки *он*, именно *он* сам чувствует удовольствие при этом, ведь он не отрекся от себя, радуясь радости других. Даже если человек жертвует чем-нибудь своим для других, и тогда эгоизм не оставляет его. Он отдает бедняку день-

ги, приготовленные на прихоть: это значит, что он развился до того, что помощь бедняку доставляет ему больше удовольствия, нежели исполнения прихотей. Но если он делает это не по влечению сердца, а потому только, что следует предписанию долга? В этом случае эгоизм скрывается глубже, потому что тут уже действие — не свободное, а принужденное; но и здесь все-таки есть эгоизм. Почему-нибудь человек предпочитает же предписание долга своему собственному влечению. Если в нем нет любви, есть страх. Он опасается, что нарушение долга повлечет за собою наказание или какие-нибудь другие неприятные последствия; за исполнение же он надеется награды, доброй славы и т. п. При внимательном рассмотрении и окажется, что побуждением действий формально добродетельного человека служил эгоизм очень мелкий, называемый проще тщеславием, малодушием и т. п. Право, хвалить за это нечего.

В жизни Станкевича есть, впрочем, одна сторона, подающая мрачно-практическим людям сильное оружие против него и подобных ему личностей. «Он не знал упорного труда, не был в борьбе с препятствиями и ничего не сделал». Вот что говорят о нем и из этого выводят, что он по слабости характера и эпикурейским наклонностям своим и не мог ничего сделать. Отвечать на это довольно мудрено, так как вообще мудрено говорить о том, что бы было, *кабы* не то было, что было. Но все-таки мы склоняемся скорее к тому убеждению, что Станкевич способен был совершить много хорошего: вспомним, что он умер всего двадцати семи лет. Приписывать ему слабость характера нет никаких оснований. Он не был ветрен, занятия его искусствами, историей, потом философией и историей шли ровно и последовательно; в мнениях своих он постоянно был независим, как видно из отношений его к друзьям. Правда, что он не высказывался во внешней деятельности так обильно, как некоторые другие; но у него это было не вследствие беспечности или бессилия. Он много раз в своих письмах говорит о том, что к плодотворной деятельности надобно хорошо приготовиться, и затем высказывает свои планы. В одном письме он высказывает как бы программу своей деятельности. «Надобно или *делать* добро,— говорит он,— или *приготовлять себя* к деланию добра, совершенствовать себя в нравственном отношении, и потом, чтобы добрые намерения не остались без плода, совершенствовать себя в умственном отношении». И эти слова не были пустой

фразой: Станкевич исполнял на деле свои предположения, наблюдал за своим нравственным совершенствованием и учился. В этом периоде деятельности и заключалась его жизнь, слишком рано прекратившаяся. Борьбы за свои идеи и тяжелых столкновений с невежеством и неблагородством он не испытал; но стоит ли жалеть об этом и может ли это уменьшить степень нашего уважения к личности? Может ли это уничтожить значение того нравственного развития, какое выражается, например, в одном письме Станкевича к Грановскому, где он говорит, между прочим: «Более простора уму, более любви сердцу — и все эти сомнения: как мне быть? что мне делать? что из меня выйдет? — пойдут к черту. В самом деле, чтоб истина не пугала, надобно быть чище душою. Скажи человеку, закоренелому в эгоизме: «Ты — ничто! — вот до какой мысли достигнешь ты путем науки: счастье, достойное человека, может быть одно — самозабвение для других,— награда за это одна — наслаждение этим самозабвением»,— и он опечалится, хотя бы в самом деле от юности своея соблюл все законы чести и справедливости. А кто бескорыстно ищет истины, тот уже очищает душу и приготовляет ее к принятию божества». Не правда ли, что в этих словах очень ясно выражается та идея высшего эгоизма и то стремление слить свои влечения с требованиями добра и правды, о котором говорили мы выше? Выражение одних этих стремлений в жизни человека дает уже ему право на общее уважение, несмотря на то, терпел ли он страдания внешние и выходил ли на борьбу со злом.

Да и зачем непременно мерять достоинство человека количеством препятствий, встречаемых им? Зачем возводить к идеалу то, что есть просто следствие неправильности общественных отношений? Разумеется, человек, который попал в игорный дом и не играет, а даже других уговаривает перестать, заслуживает великого уважения. Но зачем же бранить того, кто вовсе не был в игорном доме? Желать всем порядочным людям горя и страданий, по нашему мнению, совершенно излишне: они и без того слишком часто подвергаются несчастиям всякого рода. Разумеется, фальшивое положение в обществе, зрелище злоупотреблений, невежества и порока — тяжело действует на всякую благородную натуру и вызывает ее на борьбу со злом. Ничего не может быть почтеннее такой борьбы, и мы с благоговением смотрим на страдальцев, вышедших из нее чи-

стыми. Но вместе с тем мы жалеем этих страдальцев и никогда не решимся бросить им холодное, фаталистическое: «Так должно! таково назначение великих и благородных людей!» Никогда не захотим мы обвинить человека за то только, что он не посвящает себя враждебным действиям против зла, а просто удаляется от него. Мы обвиним за равнодушие к низостям и пороку только того, у кого это равнодушие проистекает из трусости, корысти и т. п., кто входит в близкие соотношения с пороком и не восстает на него, а потворствует или даже сам подчиняется ему, хотя наружно. Мы будем презирать того, кто бережет себя от борьбы, в надежде поживиться чем-нибудь от тех отношений, к которым чувствует внутреннее отвращение, как к несправедливым и преступным. Но если человек просто удаляется от зла, не видя возможности уничтожить его или не находя в себе самом достаточно средств для этого, мы никогда не осмелимся порицать его и даже не откажем ему в нашем уважении, если он заслуживает его другими сторонами своей жизни.

Что Станкевич был менее полезен для общества, чем, например, Белинский,— об этом никто, конечно, спорить не будет. В этом сознавался сам Станкевич, говоря о различии своей натуры от натуры Белинского. Он сам не находил в себе таких сил для деятельной и упорной борьбы, какими обладал знаменитый критик наш. В одном письме грустно говорит он о том, что Белинскому нужно *примирение* с счастием жизни, а ему, напротив, *раздражение*, препятствия, потому что он по природе своей слишком мягок и идеален. Поэтому он даже сомневается, ехать ли ему к Б<акунины>м, все семейство которых внушало ему чувство самого чистого благоговейного уважения и любви. Вот несколько строк из этого письма:

Я получил письмо от М. Б<акуни>на. Белинский отдыхает у них от своей скучной, одинокой жизни. Я уверен, что эта поздка будет иметь на него благодетельное влияние. Полный благородных чувств, с здравым, свободным умом, добросовестный, он нуждается в одном только: на опыте, не по одним понятиям, увидеть *жизнь* в благороднейшем ее смысле; узнать нравственное счастие, возможность гармонии внутреннего мира с внешним, гармонии, которая для него казалась недоступною до сих пор, но которой он теперь верит. Семейство Б—х — идеал семейства. Можешь себе представить, как оно должно действовать на душу, которая не чужда искры божией. Нам надобно туда ездить исправляться... Но я — я боюсь испортиться. М<ихаил> зовет меня, с своим обыкновенным прямодушием, добротою; не знаю, поеду ли? — Во мне другой недостаток, противоположный недостатку Белин-

ского: я слишком верю в семейное счастье, а иногда с сердечной болью думаю, что это одно возможное. Мне надобно больше твердости, больше жестокости (стр. 189).

Как натура по преимуществу созерцательная, Станкевич не мог броситься в практическую деятельность и произвести какой-нибудь переворот в положении общества[16]. Признавая это и зная, что он сам в этом признавался, мы уже не имеем никакого права приставать к нему с назойливым допросом: «Отчего ты не оставил никаких *положительных*, вещественных, памятников своего существования; отчего ты не вступал в борьбу, отчего ты не громил пороков, не терпел страданий от своих врагов» и пр.? Подобный допрос имел бы еще смысл, если бы борьба, страдания и т. п. были чем-нибудь обязательным, необходимым для сохранения чести и благородства человека. Но ведь, как мы уже заметили, борьба эта есть ненормальное явление, происходящее от фальшивых отношений, среди которых живет общество. Указывают на пример почти всех великих людей, которые являются нам в истории тружениками и страдальцами. Но если всмотреться пристальнее в жизнь каждого из этих страдальцев, то весьма немного найдется таких фанатиков, которые бы сами отыскивали страдания, бросаясь в борьбу только для удовольствия борьбы. Большею частию, почти всегда, борьба эта является следствием обстоятельств, совершенно независимо и даже иногда против воли того, на кого должны обрушиться все тяжелые последствия борьбы. Пора нам убедиться в том, что искать страданий и лишений — дело неестественное для человека и поэтому не может быть идеальным, верховным назначением человечества. Во что бы человек ни играл, он играет только до тех пор, пока еще надеется на выигрыш; а надежда на выигрыш — это ведь и есть желание лучшего, стремление к удовлетворению своих потребностей, своего эгоизма в том виде, в каком он у каждого образовался, смотря по степени его умственного и нравственного развития. Романтические фразы об отречении от себя, о труде для самого труда или «для такой цели, которая с нашей личностью *ничего общего* не имеет»,— к лицу были средневековому рыцарю печального образа; но они очень забавны в устах образованного человека нашего времени. Станкевич очень хорошо понимал всю нелепость насильственной, натянутой добродетели, этого внут-

реннего лицемерия пред самим собою. В нем было слишком много истинной честности и прямодушия, чтоб он мог поддаться подобному лицемерию. Он твердо сознавал, что человек не иначе может удовлетвориться, как полным согласием с самим собою, и что искать этого удовлетворения и согласия всякий не только может, но и должен. Если всякий предмет в природе имеет право существовать прежде всего для себя, то неужели человек должен быть каким-то уродом в создании, изгнанником из общей гармонии? Напротив, он выше других предметов, и потому восприимчивость к благу жизни в нем развита еще больше: низшие предметы природы живут только в себе, наслаждаются собою,— человек может жить в других, наслаждаться чужою радостью, чужим счастьем. Если кто не чувствует в себе этой способности, значит, он еще мало развил в себе истинно человеческие элементы, значит, животные потребности слишком сильно преобладают в нем. «Что мне за утешение приобрести сокровища, пить, есть,— говорит Станкевич в одном письме,— эти животные наслаждения ниже меня: а какое же наслаждение остается еще, кроме любви, жизни в других? Разум мой сознает свою любящую природу в этой мысли,— и то, что мы называем чувством, есть полное одобрительное действие нашего разумения на весь организм». Вот в чем заключался эпикуреизм Станкевича. Ясно, что при обстоятельствах, менее благоприятных для спокойного саморазвития и самосовершенствования, при существовании непосредственных враждебных столкновений с миром Станкевич не побоялся бы отстаивать свои убеждения и действовать против злых в пользу добрых: в этом он умел находить, как мы видим, *собственное* наслаждение. Но обстоятельства расположились иначе: Станкевича не захватил круговорот борьбы здравых идей с шумно восставшими против них предрассудками, и, право, не нужно жалеть об этом. Трудна эта борьба, и немногие выходят из нее победителями. Еще ничего, если человек сокрушится физически: тогда все-таки дело его остается правым, чистым и сильным. Но чаще бывают нравственные падения, вредящие успеху самого дела. Немного найдется таких нравственно чистых личностей, как Белинский, который из своей продолжительной, упорной борьбы с невежеством и злом вышел сокрушенный физически, но нравственно ясный и светлый, без всякого пятна и укоризны. Были в то же время и другие люди, тоже имевшие благо-

родные убеждения, тоже горячо кинувшиеся в борьбу; но имена их не сохранятся в ряду имен чистых и безукоризненных, хотя, может быть, они были даже в этом самом кружке Станкевича[17]. Может быть, они в свое время приносили даже и пользу, следовательно, имели общественное значение; но, по нашему мнению, определять нравственное достоинство лица и, следовательно, права его на общественное уважение по одному только количеству пользы, принесенной им, несправедливо. Это точно так же одностороннне, как и суждение о человеке по одним его намерениям и убеждениям: одно слишком субъективно, другое совершенно объективно. Не нужно забывать, что польза от человеческих действий не всегда происходит именно там, где на нее рассчитывают, и что не всегда люди рассчитывают на общую пользу, когда обработывают то или другое полезное дельце. Иначе мы должны были бы вознести на верх общественного уважения те безобразные гаденькие личности, которые в простонародье заклеймены названием переметной сумы, а в лучшем обществе именуются «дипломатами». Они бывают весьма полезны, когда видят, что по обстоятельствам им следует быть полезными. Когда они убедились, что можно выехать на бескорыстии,— они преследуют взятки; видя, что просвещение пошло в ход, они кричат о святости науки, о любви к знанию; догадавшись, что идеи гуманности и правды одолевают старые начала угнетения и лжи, они являются везде защитниками слабых, поборниками справедливости и т. п. Но переменись завтра обстоятельства — они первые восстанут против того, что еще недавно защищали. Польза, сделанная ими, остается, но нравственное достоинство лица едва ли от того возвышается, и едва ли эти люди приобретают право на общественное уважение.

Напротив, человек высоко честный и нравственный в своей жизни вполне достоин уважения общества именно за свою честность и нравственность. Пусть его жизнь не озарилась блеском какого-нибудь необыкновенного деяния на пользу общую — все-таки его нравственное значение не потеряно. Даже натура чисто созерцательная, не проявившаяся в энергической деятельности общественной, но нашедшая в себе столько сил, чтобы выработать убеждения для собственной жизни и жить не в разладе с этими убеждениями,— даже такая натура не остается без благотворного влияния на общество именно своей личностью. Мысль

и чувство и сами по себе не лишены, конечно, высокого реального значения; поэтому простая забота о развитии в себе чувства и мысли есть уже деятельность законная и небесполезная. Но польза ее увеличивается оттого, что вид человека, высоко стоящего в нравственном и умственном отношении, обыкновенно действует благотворно на окружающих, возвышает и одушевляет их. Есть, конечно, и всегда бывали люди с крайне утилитарными взглядами. Петры Ивановичи Адуевы средней руки, черствые и сухие в своей quasi-философской практичности,— люди, которых не прошибешь указанием на нравственную красоту и высокую степень умственного развития. Такие люди говорят: «Э, помилуйте! все это эгоизм и дилетантизм. Ну, скажите, какая польза от всех этих совершенств? По-моему,— увлекается ли человек философскими вопросами, восхищается ли лучшими произведениями искусства, или наслаждается пустыми романами, трактирным органом и публичными гуляньями,— плоды такого наслаждения для общества будут одинаковы». К счастью, немного таких людей, способных оставаться бесчувственными при виде умственного и нравственного достоинства в человеке. Большая часть людей не лишилась еще прекрасного качества чувствовать благотворное влияние всякой приближающейся к ним благородной и здраво развившейся личности.

Того, что нами сказано, достаточно уже было бы для объяснения прав Станкевича на общественное внимание и уважение. Но в его переписке и биографии находятся факты, указывающие *положительные* его заслуги для общества, состоящие именно в том влиянии, какое имел он на людей, сделавшихся весьма известными в русской литературе. Известно, чем обязан Станкевичу Кольцов, встретивший в нем первого образованного, горячего ценителя и постоянную поддержку[18] и так живо выразивший печаль об его утрате в прекрасном стихотворении «Поминки», в котором называет Станкевича «лучшим» в кружке друзей. Известно также, как много поддерживал Станкевич Грановского в его трудах, в его сомнениях. Об этом предмете нечего говорить более, как только привести следующие слова из письма Грановского, писанного тотчас после смерти Станкевича: «Никому на свете не был я так много обязан: его влияние на меня было бесконечно и благотворно. Этого, может быть, кроме меня, никто не знает». Такое признание *Грановского* имеет, конечно, большое значение при

определении общественных заслуг Станкевича. Правда, что и против значения самого Грановского спорят *некоторые;* но кто же эти некоторые? г. В. Григорьев[19], покойная «Молва»[20] да г. И. Л., недавно раскритиковавший Станкевича в одном из лучших наших журналов!..[21]

Мы пропускаем здесь влияние Станкевича на Красова и на Клюшникова, которые хотя и не были первоклассными художниками, но все же не могут быть названы бездарными. Напротив, у них очень нередко выражалась в звучных стихах живая мысль и искреннее, теплое чувство. Но мы не станем говорить об этом влиянии, чтобы несколько долее остановиться на отношениях Станкевича к Белинскому. Их не нужно искать в письмах к самому Белинскому, которых в издании г. Анненкова напечатано всего два; о них можно судить по всей переписке Станкевича. Мы не скажем, что Белинский заимствовал свои мнения до 1840 года у Станкевича: это было бы слишком много. Но несомненно, что Станкевич деятельно участвовал в выработке тех суждений и взглядов, которые потом так ярко и благотворно выразились в критике Белинского. Мы не станем следить здесь за развитием общих философских положений, обсуждавшихся в кружке Станкевича и сделавшихся потом надолго благотворным источником критики Белинского. Здесь можно было бы найти много данных для определения значения Станкевича в кругу его друзей; но мы уклоняемся от рассмотрения этого вопроса — отчасти потому, что оно завлекло бы нас очень далеко, а главным образом потому, что это дело изложено уже гораздо подробнее и лучше, нежели как мы могли бы это сделать, в одной из статей о критике гоголевского периода литературы, помещавшихся в «Современнике» 1856 года[22]. Мы обратим здесь внимание на явления более частные, касающиеся преимущественно тогдашних литературных явлений. В этом случае замечательно, что в письмах Станкевича встречаются большею частию раньше общие заметки и мнения, которые потом, после небольшого промежутка времени, являются уже основательно и подробно развитыми в статьях Белинского. Видно, что Белинский был наиболее энергическим представителем этого кружка; а может быть, он имел и более материальной надобности высказывать в печати убеждения, выработанные им в обществе друзей, которые менялись своими идеями только между собою. Во всяком случае, очевидно, что при образовании литера-

турных взглядов и суждений в кружке друзей своих Станкевич никогда не был лицом пассивным и даже имел некоторое влияние. Степени и подробностей этого влияния, конечно, нельзя определить тому, кто не был сам в кружке Станкевича; но что влияние было — свидетельствуют многие черты, сохранившиеся в переписке. Так, еще в 1833 году Станкевич высказывает в письмах свои мысли о театре и театральном искусстве, развитые потом Белинским на нескольких страницах «Литературных мечтаний», напечатанных в «Молве» 1834 года. В том же году Станкевич высказывает свое мнение об игре Мочалова и Каратыгина, и оно же выражается в статьях Белинского, в «Молве» 1835 года и даже позже, в «Наблюдателе».

Во всех письмах Станкевича, начиная с 1834 года, постоянно выражается особенное увлечение Гофманом; с тем же характером является это увлечение и у Белинского, особенно в статье о детских книгах в «Отечественных записках» 1840 года, № 3. Тотчас по выходе первого № «Библиотеки для чтения»,— Станкевич писал (15 января 1834 года) — к Я. М. Н<еверо>ву:

Ты, верно, читал кое-что из № 1 «Библиотеки для чтения». Боже мой! что это? Так как это журнал литературный, то, прочитав безжизненное стихотворение Пушкина и чуть живое Жуковского, я, чтобы видеть направление его, взглянул в отделение критики. Кажется, это подвизается Сенк<овский>. Он спрашивает, например, должно ли исторической драме нарушать свидетельства истории? Воображение действует, следовательно, история должна быть нарушена. Какая польза от истории? История полезна одним только: она представляет пример характеров для подражания! А что толкуют о Кукольнике — беда! Великий Байрон, великий Кукольник! Если К. не так слаб душою, чтобы не обольститься лестью, то он должен негодовать; если он доволен — пропал поэтический талант, который я в нем допускал (стр. 83).

Не правда ли, что все эти мысли хорошо знакомы нам по критикам последующего времени? Даже фраза «великий Байрон, великий Кукольник!» неоднократно повторялась потом, в насмешку над слишком решительным критиком! Но будем продолжать начатый параллель мнений Станкевича и Белинского.

В конце 1834 года Станкевич пишет о Тимофееве, что он не считает этого автора поэтом и даже вкуса не подозревает в нем после «мистерии», помещенной в «Библиотеке для чтения». В 1835 году Белинский, с своей обычной неумолимостью, высказал то же в «Молве»[23], и вскоре по-

том Станкевич оправдывает критика, говоря в письме к Н<еверо>ву: «Мне кажется, что Белинский вовсе не был строг к Тим—ву, хотя, иногда, по раздражительности характера, он бывает чересчур бранчив».

В марте 1835 года Станкевич писал о Гоголе: «Прочел одну повесть из Гоголева «Миргород»,— это прелесть! («Старомодные помещики» — так, кажется, она названа.) Прочти! как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой, ничтожной жизни!» Именно на этой мысли основан разбор «Старосветских помещиков», помещенный Белинским в статье его «О русской повести и повестях г. Гоголя» в 7 и 8 (июньских) №№ «Телескопа».

В апреле 1835 года Станкевич извещает Н<еверо>ва: «Надеждин, отъезжая за границу, отдает *нам* «Телескоп». *Постараемся* из него сделать полезный журнал, хотя для иногородних,— прибавляет он.— По крайней мере будет отпор «Библиотеке» и странным критикам Ш<евырева>. Как он мелочен стал!» (стр. 133).

В начале июня Станкевич уведомляет своего приятеля, что «Телескоп» уже передан Белинскому. «Я,— прибавляет он,— тратить времени на «Телескоп» не стану, но в каждое воскресенье мне остается два-три часа свободных, в которые я могу заняться. Кроме того, мы всегда будем обществом *совещаться* о журнале». Тут же говорится, что «Наблюдатель» плох и что Ш<евырев> обманул ожидания Станкевича и его друзей — и оказался педантом. Из этого видно, какое близкое, душевное участие принимал Станкевич в издании «Телескопа» Белинским, и нет сомнения, что он в самом деле много помогал ему своими советами. По крайней мере на мнения его о Ш<евыреве> в «Московском наблюдателе» последовал отголосок в 9-й же книжке «Телескопа», то есть через два месяца, а в 5-й книжке следующего года помещена была специальная статья Белинского: «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя», где много досталось ученому профессору Шев<ыре>ву.

В ноябре 1835 года писал Станкевич, что Бенедиктов не поэт, а фразер: «Что стих, то фигура, ходули беспрестанные. Бенедиктов блестит яркими, холодными фразами, звучными, но бессмысленными или натянутыми стихами. Набор слов самых звучных, образов самых ярких, сравнений самых странных,— но души нет». Вслед за тем (в 11-й книжке «Телескопа») явилась статья Белинского о стихо-

творениях Бенедиктова, великолепно развивавшая то же самое мнение, которого критик наш до конца держался. По поводу этой статьи приятель Станкевича сообщил ему слухи о том, будто бы удары, наносимые рукою Белинского, направляемы были Станкевичем, и последний отвечал на это с обычной своей искренностью: «Не знаю, откуда эти чудные слухи заходят в Питер? Я — цензор Белинского? Напротив, я сам свои переводы, которых два или три в «Телескопе», подвергал ценсорству Белинского, в отношении русской грамоты, в которой он знаток, а в мнениях всегда готов с ним посоветоваться и очень часто последовать его советам. Конечно, его выходка неосторожна, но не более; он хотел напасть на способ составлять репутацию и оскорбил человеческую сторону Бенедиктова. Я ему это скажу».

В 1837 году Станкевич уехал за границу, и литературные суждения в его письмах попадаются реже. Поэтому и мы здесь остановимся. Сделаем только еще выписку из одного письма Станкевича, заключающую в себе его мнение о народности. Вот что говорит он:[24]

> Кто имеет свой характер, тот отпечатывает его на всех своих действиях; создать характер, воспитать себя — можно только человеческими началами. Выдумывать или сочинять характер народа из его старых обычаев, старых действий, значит — хотеть продлить для него время детства: давайте ему общее, человеческое, и смотрите, что он способен принять, чего недостает ему? Вот это угадайте, а поддерживать старое натяжками, квасным патриотизмом никуда не годится (стр. 220).

Это самое мнение, с удивительной близостью даже к способу изложения, подробно и энергически развил Белинский в статьях своих о Руси до Петра, в «Отечественных записках» 1841 года, т. е. с лишком через три года после письма Станкевича.

Мы не перебирали всех статей Белинского и всех мнений, в которых он сходился с своим другом. Мы называли только те статьи, которые мы могли припомнить и которые относятся к частным явлениям литературы. Но сходство частных суждений, по нашему мнению, еще ярче рисует связь, существующую между людьми, нежели согласие в общих истинах. Поэтому мы полагаем, что и представленных фактов довольно уже для того, чтобы отнять у всякого право сказать: между Белинским и Станкевичем не бы-

ло взаимной зависимости друг от друга! Чтобы говорить это, надобно не знать деятельности Белинского до 1840 года, т. е. до смерти Станкевича.

Таким образом, кроме своей прекрасной, благородной личности, столь привлекательной в самой себе, Станкевич имеет еще и иные права на общественное значение, как деятельный участник в развитии людей, которыми никогда не перестанет дорожить русская литература и русское общество. Имя его связано с началом поэтической деятельности Кольцова, с историей развития Грановского и Белинского: этого уже довольно для приобретения нашего уважения и признательной памяти.

В заключение нашей статьи мы просим у читателей извинения в том, что наши заметки приняли форму несколько полемическую. Трудно удержаться от этой формы, говоря о личности, подобной Станкевичу, в виду тех понятий, какие обнаруживаются столь многими в нашем обществе. У нас еще недостаточно развито уважение к нравственному достоинству отдельных личностей; у нас еще нередко можно слышать такое рассуждение: «Он мне ничего худого не сделал; могу ли я назвать его негодяем?» Или такое: «Что мне уважать его? мне от него ни тепло, ни холодно!» Понятно, что люди с такими понятиями (а этаких людей немало) и удивлены и раздражены тем, что им смеют говорить об общественном значении человека, который не только пирамиды не выстроил, Америки не открыл, пороху не выдумал, но даже ни одного благотворительного бала не сделал, даже ни одной толстой книги не сочинил. Поневоле приходится говорить о достоинствах человека, защищая его от близоруких и нелепых обвинений. Такой способ изложения для нас самих очень неприятен и невыгоден — вот в каком отношении. Мы хотим удержать человека на той высоте, на которой стоит он и с которой мелочная утилитарность хочет стащить его в какую-то темную канаву, а нам кричат: «Вы его поднимаете на пьедестал, вы его хотите до облаков вознести! За что это? Какие его положительные заслуги?» и пр. И выходит, как будто мы, в самом деле, ставим на пьедестал человека, особенно когда утилитарные враги начинают утверждать, что они этого человека не трогали и в канаву не тащили...

Но мы еще раз готовы повторить то, что уже сказали в начале статьи. Преувеличенные похвалы Станкевичу нам самим кажутся излишними и несправедливыми; сравни-

вать его с Сократом, идеи которого разнесены по свету несколькими Платонами, нам никогда не приходило в голову[25]. Да, сколько мы знаем, и никто из его друзей и приверженцев не делал подобных сравнений. Но, с другой стороны, мы считаем крайне несправедливым и то отрицание, с которым многие относятся к этой прекрасной, возвышенной личности. Говорят, что жизнь Станкевича прошла бесплодно, что он даром растратил свои силы и не должен иметь места в наших воспоминаниях; говорить это — значит обнаружить полное неуважение к развитию индивидуальности человека и выразить претензию на абстрактное самоотречение, которое, в сущности, есть не что иное, как обезличение. Кто признает права личности и принимает важность естественного, живого, свободного ее развития, тот поймет и значение Станкевича, как в самом себе, так и для общества. Мы, с своей стороны, прибавим здесь одно: если бы во всяком обществе большинство состояло из людей, подобных Станкевичу, то не было бы никакой необходимости ни в этой пресловутой борьбе, ни в муках и страданиях, на которые так любят вызывать всех порядочных людей люди слишком утилитарные.

# СОЧИНЕНИЯ В. БЕЛИНСКОГО

В литературе нашей не может быть новости отраднее той, которая теперь только что явилась к нам из Москвы. Наконец сочинения Белинского издаются! Первый том уже напечатан и получен в Петербурге[1], следующие, говорят, не замедлят. Наконец-то! Наконец-то!..

Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развилась она, Белинский всегда будет ее гордостью, ее славой, ее украшением. До сих пор его влияние ясно чувствуется на все, что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что значительной частью своего развития обязан, непосредственно или посредственно, Белинскому... В литературных кружках всех оттенков едва ли найдется пять-шесть грязных и пошлых личностей, которые осмелятся без уважения произнести его имя[2]. Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно,— это лучшие люди России!..

Для них, наверно, ни одна из наших новостей не могла быть столь радостною, как издание сочинений Белинского. Давно мы ждали его и наконец дождались! Сколько счастливых, чистых минут снова напомнят нам его статьи,— тех минут, когда мы полны были юношеских беззаветных порывов, когда энергические слова Белинского открывали нам совершенно новый мир знания, размышления и деятельности! Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего окружающего, мы мечтали об иных людях, об иной деятельности, и искренно надеялись встретить когда-ни-

будь таких людей, и восторженно обещали посвятить себя самих такой деятельности... Жизнь обманула нас, как обманула и его; но для нас до сих пор дороги те дни святого восторга, тот вдохновенный трепет, те чистые, бескорыстные увлечения и мечты, которым, может быть, никогда не суждено осуществиться, но с которыми расстаться до сих пор трудно и больно...[3]

Россия еще мало знает Белинского. Он редко подписывал под статьями свою фамилию, и теперь, при издании его сочинений, оказалось, что даже литераторы не могли наверное указать *всех* статей, им писанных. Многие из читателей узнали его имя более по статьям, писанным о нем уже после его смерти. Но теперь, когда сочинения его собраны и издаются, всем читателям представляется возможность ближе узнать этого человека, с его взглядами и стремлениями, с его влиянием на всю нашу литературу последних двадцати пяти лет. Узнавши его, все читатели убедятся, что многое, чем они восхищались у других, принадлежит ему, вышло от него,— многие из истин, на которых теперь опираются наши рассуждения, утверждены им, в ожесточенной борьбе с невежеством, ложью и злонамеренностью своих противников, при сонной апатии равнодушного общества... Да, в Белинском наши лучшие идеалы, в Белинском же история нашего общественного развития, в нем же и тяжкий, горький неизгладимый упрек нашему обществу[4].

«Современник» перешел в руки нынешней редакции при участии Белинского, и до своей смерти он не оставлял «Современника»[5]. «Современник» первый заговорил о Белинском после долгого молчания, которое обусловливалось тогдашними обстоятельствами литературы[6]. Идеи гениального критика и самое имя его были всегда святы для нас, и мы считаем себя счастливыми, когда можем говорить о нем. Поэтому, поспешивши сообщить читателям нашу радость об издании его сочинений, мы не отказываемся от права говорить о нем подробнее по поводу этого издания[7], хотя многое уже высказано было о Белинском в статьях «О гоголевском периоде литературы», в «Современнике» 1856 года.

В первом, вышедшем теперь, томе сочинений Белинского помещены критические и библиографические статьи, печатанные им в «Молве» и «Телескопе» 1834 и 1835 годов. Издание, принадлежавшее гг. Солдатенкову и Щепкину,

очень опрятно, и цена назначена дешевая. Том в 530 страниц, в обыкновенном формате щепкинских изданий, стоит всего один рубль; та же цена и за все следующие томы. Нет сомнения, что все издание разойдется быстро, хотя бы его было напечатано двадцать тысяч экземпляров![8]

# КУЛАК

ПОЭМА И. НИКИТИНА.
М., 1858

Содержание «Кулака» очень просто. Мещанин Лукич, кулак, имеет дочь, которой хочется выйти замуж за соседа-столяра. Но столяр беден, и Лукич отдает дочь за купца, у которого надеется быть помощником по делам. Оказывается, однако же, что купец сам кулак в своем роде. «Вы, тятенька, очень пьете да плутуете беспрестанно,— говорит он тестю,— я вам своих дел поручить не могу». Кулак принужден по-прежнему перебиваться грошовыми плутнями; между тем старуха жена его умирает, дочь чахнет, потому что ей плохо жить с купцом. В заключение — плутни кулака уже делаются всем известны, его ругают и колотят за них, и он уже не достает прежних денег. Раз сосед-столяр избавил его от побоев на базаре и дал немножко денег на праздник, да и те кулак с отчаяньем снес в питейный...

Это простое содержание развито г. Никитиным в ряде сцен и изображений, показывающих, с одной стороны, обстоятельное знание того быта, который он описывает, а с другой — ясное понимание того характера, который сделал он героем своей поэмы. Лукич представляет тип человека не дурного по натуре, но забитого горем и бедностью и недостаточно развитого для того, чтобы разбирать средства, какими достаются деньги. Он готов надуть, обвесить, обмерить, обсчитать, все, что вам угодно,— потому, что вдался уже в эту грязь и почитает ее своей профессией, в которой должен отличаться как можно лучше. Но ему все-таки тяжело это ремесло; он рад бы от него отделаться, если бы нашлась какая-нибудь возможность. Он мечтает о том времени, когда зять даст ему порядочное дело и ког-

да ему не будет надобности плутовать так бессовестно и мелко. Из-за этой мечты он жертвует счастьем дочери, выдавая ее за немилого. Он полагает: вздор! что за любовь к столяру! дурь, и больше ничего! — и принимается уговаривать дочь. Странно и неуловимо перемешиваются в его словах — и упрямство его черствой натуры, и грубое понятие о своей отцовской власти, и любовь к дочери, и собственные, личные надежды. «Тебе плохо будет со столяром,— говорит он дочери,— у него мать ворчливая. Да притом же он — бедный человек; не утешит и любовь, когда нет хлеба к обеду. Ты по мне можешь судить, что значит нужда: мать твоя тоже была прежде и весела и здорова, а теперь смотри, что из нее стало... Неужто ты хочешь по миру ходить? Будет того, что и я-то весь век со дня на день колотился; поживи хоть ты-то порядочно». Но когда дочь не слушает этих благоразумных увещаний, кулак выходит из себя; грубая животность берет верх над всеми рассуждениями, над всеми человеческими чувствами, которые хочет пробудить в нем дочь своими мольбами; он прибегает к последнему аргументу:

Не слушаться? Отца родного?
Нет, подожди, к примеру, врешь!
Как! Я не властен над тобою?
Не властен? Стало, ты не мною
Воспитана и рождена?
Ты мне за это не должна
Повиноваться?
— И не жалко,
Не грех вам дочь свою губить?
— Ты... ты не смей меня учить!
Все ребра изломаю палкой.

Видя, что дочь и палки не боится, а все говорит «нет», кулак гонит ее от себя и проклинает. Этого последнего удара девушка не может встретить с прежней твердостью и соглашается на все, чтобы только не нести на себе тяжесть отцовского проклятья. Лукич, удовлетворенный, замечает жене:

...Не хотела
Учить красавицу путем;
Вот довела ее до дела —
До грубости перед отцом.

И до такого поступка Лукич доведен был прекрасными рассуждениями. Ему тяжела доля кулака; он и запивает, собственно, для того, чтоб забыть свою участь горь-

кую, и пропить ее рад бы, да никак она не пропивается. Все горе его происходит от нужды, и он не понимает, чтобы могло быть на свете другое горе. От этой-то нужды он и хочет избавить свою дочь. Он думает про столяра, и про свадьбу, и про свою жизнь вот какие вещи (стр. 20):

Сосед наш честен, всем хорош,
Да голь большая — вот причина!
Что честь-то? коли нет алтына,
Далеко с нею не уйдешь.
Без денег честь — плохая доля!
Согнешься нехотя кольцом
Перед зажиточным плутом:
Нужда — тяжелая неволя!
Мне дочь и жаль! Я человек,
Отец, к примеру... да не век
Мне мыкать горе. Я не молод...
Лукич — кулак!— кричит весь город.
Кулак... Душа-то не сосед;
Сплутуешь, коли хлеба нет.
Будь зять богатый, будь помога,—
Не выйди я из-за порога,
На месте дай бог мне пропасть,
Коли подумаю украсть!

Эти обещания, эти думы — искренни. Напрасно зять Лукича не поверил им. В самом деле — тяжело, должно быть, целый век жить мошенничеством, хоть мы и полагаем часто, что плут и обманщик живет весь век в свое удовольствие. Лукич был плохо воспитан. Отец его был мелкий торгаш: он отдал сына учиться грамоте и прочему и затем уже был спокоен на его счет. Все наблюдение его за воспитанием сына ограничивалось тем, что он иной раз под хмельком поймает, бывало, сына за вихор, да и таскает до слез, так, ни за что, приговаривая: «Ты, дескать, баловень, ты плут!.. вот, мол, знай!..» Мальчишка от ученья, разумеется, бегал; дома говорил, что учитель в классе его продержал долго, а учителю говорил, что отец оставил дома, не велел в класс ходить,— а сам между тем бегал с ребятишками. Видя, что от науки проку мало, отец решился отдать мальчика в лавку к купцу; тут он научился разным плутням, обкрадывал хозяина, сам было начал торговать, да сплошал, потерял капитал и запил. Стал было искать места — не нашел; ремесла не знал никакого... Подумал-подумал да и махнул рукой. «Э, черт возьми! что за капитал, что за мастерство,— подумал он.— Я каждый день могу достать денег на рынке: буду делать

разные закупки да перекупки,— дураков немало, обмануть есть кого... Достанет как-нибудь прожить». И с этой мыслью он сделался кулаком. Сначала дело шло недурно: плут не был ославлен плутом, дело было ему в новинку, не надоело, силы были молодые. А пока была удача, так и совесть, разумеется, не тревожила. Он рассуждал о людях, им обманутых, таким манером:

Ну, вперед наука,
На то, к примеру, в море щука,
Чтоб не дремал карась... Дурак!
Ты верил на слово, и ладно;
Выходит дело, ты и глуп!
А мне-то что? Мне не накладно,
Мне благо, что купец не скуп...

Но при малейшей неудаче в нем пробуждается тревожное чувство; он сознает, что бьется и кривит душой из-за всякой копейки, и это сознание давит его. В нем закипает досада на себя и на других: ведь он мог бы быть не хуже других,— отчего же у него потеряна возможность жить честно? Ведь и другие не лучше его,— отчего же они или имеют возможность не быть кулаками, или хоть и кулаки на деле, да совсем в ином роде и иным почетом пользуются? Так размышляет Лукич еще в то время, когда он не дошел до крайней нищеты, когда он только ищет и ни у кого не находит денег взаймы, для свадьбы дочери.

«Нет, не дождаться мне помоги,—
Грустил дорогою бедняк,—
Не верят мне. Я — голь, кулак!
Вот и ходи, считай пороги,
И гнись, и гибни ни за что,
На то, мол, голь! Кулак на то!
Гм! да упрек-то ведь забавный!
Эх ты, народец православный!
Не честь тебе — лежачих бить,
Без шапки сильных обходить!
Кулак! Да мало ль их на свете?
Кулак катается в карете,
Из грязи да в князья ползет
И кровь из бедного сосет...
Кулак во фраке, в полушубке,
И с золотым шитьем, и в юбке,—
Где и не думаешь — он тут!
Не мелочь, не грошовый плут,
Не нам чета — поднимет плечи,
Прикрикнет,— не найдешь и речи,
Рубашку снимет,— все молчи!

Господь суди вас, палачи!
А ты, к примеру, в горькой доле
На грош обманешь поневоле,—
Тебя согнут в бараний рог:
Бранят, и бьют-то, и смеются...
Набей карманы,— видит бог,—
В приятели все назовутся!
Будь вором,— скажут: не порок...»

В этих рассуждениях видно еще желание грубого и неразвитого старика оправдать себя тем, что ведь не он один плутует. Но совершенно другой оборот принимают его мысли, когда он, после смерти жены, приходит к зятю просить помощи и умоляет его:

Зять! не пусти меня с сумою,
Дай мне под старость отдохнуть!
Поставь меня на честный путь!
Дай дело мне! Господь порука —
Не буду пить и плутовать.

Зять весьма резонно отвечает ему:

Привыкли-с. Трудно перестать!
Вот, значит, вам вперед наука...
На похороны — помогу,
Насчет другого-с — не могу.

Совершенно разбитый и уничтоженный, выходит кулак из дому зятя. Тут уж он не ропщет на других, не ропщет даже на зятя, который оттолкнул его, который при нем же грубо оскорбил тут и его дочь. Всю вину он принимает на себя, и в этот миг его раскаяние чисто; в нем нет уж примеси бессильной злобы против других, нет мысли о том, что если другие делают, то почему, дескать, и мне не делать. Полная неудача во всем, нагоняя черную тоску на его душу, заставляет думать перед гробом жены: и из-за чего это я бился целый век всеми правдами и неправдами?

«Вот,— думал он,— вот жизнь-то наша!
Недаром сказано, что цвет:
Ногою смял — его и нет.
Умри и я, умрет и Саша,
И ни одна душа потом
Меня не вспомнит. Боже, боже!
А ведь и я трудился тоже,
Весь век, и худом и добром,
Сбивал копейку. Зной и холод,
Насмешки, брань, укоры, голод,

Побои — все переносил!
Из-за чего? Ну, что скопил?
Тулуп остался да рубаха...
А крал без совести и страха!
Ох, горе, горе! Ведь метла
Годится в дело! Что же я-то?
Что я-то сделал, кроме зла?
Вот свечи... гроб... Где это взято?..
Крестьянин, мужичок-бедняк
На пашне потом обливался
И продал рожь... а я, кулак,
Я, пьяница, не побоялся,
Не постыдился никого,—
Как вор бессовестный, обмерил,
Ограбил, осмеял его
И смертной клятвою уверил,
Что я не плут!.. Все терпит бог!..
Вот зять, как нищему, помог...
    В глазах мутилось; сердце ныло,—
Я в пояс кланялся, просил!
    А ведь и я добро любил,
Оно ведь дорого мне было...»

Но все эти рассуждения приходят старику уже поздно для практической деятельности. Жизнь сделала свое дело: она наложила на него тяжелую печать общей безнравственности той среды, в которой ему суждено было вырасти, и воля кулака обессилела к добру. Может быть, была еще возможность спасти его, избавивши от нужды, от гнетущих его обстоятельств, но никто над ним не сжалился, никто не вытащил его из омута, в который он попал,— и бедняк погиб жертвою собственного нравственного бессилия. Осудим ли мы его даже за это бессилие? Бросим ли мы ему и всем подобным беднякам презрительный укор и гордое требование, чтоб они сопротивлялись всем искушениям и жертвовали своей жизнью, по требованию долга,— а если уж не выдержали и пали, то чтобы не пеняли ни на кого и не смели предъявлять прав на состраданье и участье? Не знаем, как вы, читатель; но мы, вместо всех укоров за отсутствие геройства, повторим здесь лучше стихи г. Никитина (стр. 21):

Велик, кто взрос среди порока,
Невежества и нищеты —
И остается без упрека,
Жрецом добра и правоты,
Кто видит горе, знает голод,
Усталый, чахнет за трудом,

И, крепкой волей вечно молод,
Всегда идет прямым путем!
Но — пусть, как мученик, сквозь пламень
Прошел ты, полный чистоты,—
Остановись, поднявши камень
На жертву зла и нищеты!
Корою грубою закрытый,
Быть может, в грязной нищете
Добра зародыш неразвитый
Горит, как свечка в темноте!
Быть может, жертве заблужденья
Доступны редкие мгновенья,
Когда казнит она свой век
И плачет, сердце надрывая,
Как плакал, перед дверью рая,
Впервые падший человек.

Мы вполне сочувствуем этим превосходным стихам и считаем их выражением основной мысли всего произведения г. Никитина. Не отличаясь особенной силою художественного таланта, оно замечательно именно по своей основной мысли, которую автор умел очертить довольно ярко. Столкновения кулака с разным людом именно ведут читателя к тому заключению, какое постоянно имел в виду автор.

Посмотрите, — как бы говорит он нам в каждом новом явлении своей истории, — посмотрите на этих людей, окружающих кулака. Они все презирают его, как мелкого плута, они ему не верят, они считают его негодным, погибшим человеком. А между тем всмотритесь хорошенько, — кто таковы сами эти строгие судьи. Вот является он просить взаймы денег к одному дельцу, которому прежде услуживал, и слышит разговор его с кем-то о предстоящих подрядах. «Как ваше дело в уголовной?» — спрашивает гость, — и хозяин отвечает:

Пустяк,— конечно, под сукном,
Жаль, нет войны! подряды мелки;
От мира мало нам добра...

Разговор продолжается в этом роде, а потом, проводив гостя, хозяин обращается к кулаку и презрительно говорит ему, между прочим: ваш брат, дескать,

Привык к безделью, пьет вино,
Да ест, да спит, или плутует,
И только... Знаем вас давно.

Затем он прогоняет Лукича. Лукич отправляется к другому купцу — ханже, который разбогател, обокравши своего хо-

зяина. Лукич застал его за чтением псалтыри, но также был прогнан им, как плут. Отправился к *профессору*, также своему знакомцу, и застал у него двух отцов, просивших за детей своих. Одного профессор непременно хотел исключить за то, что он «воротнички носил да возражений делал много наставникам». Другого тоже хотели исключить за пьянство, но профессор согласился оставить его в училище до исправления, потому что отец обещал выгодно доставить профессору лошадь. И этот человек хотя и соглашается дать кулаку денег под залог дома, но смотрит на него с крайним пренебрежением, издевается над ним, заставляя читать свой латинский диплом, и пр. Жалкие люди! Как они безумно ошибаются в своем самодовольстве, как они тяжко преступны за свое презрение к участи меньшого брата, запятнанного той же смрадной грязью, как и они, но не имеющего средств — ни прикрыть своих пятен нарядной одеждой, ни заглушить этого смрада различными благоуханиями! И зачем эти люди стоят на дороге человечества, самодовольно указывая на людей, увязших в болоте, вместо того чтобы общими силами осушить это болото? Грустно и больно смотреть на них, и тем с большим сочувствием встречаем мы произведение г. Никитина, полное истинно гуманных идей. Не можем удержаться, чтобы не выписать заключительных стихов его:

Не ради шутки, не от скуки,
Я, как умел, слагал мой стих;
Я воплощал боль сердца в звуки!
Моей душе была близка
Вся грязь и бедность кулака.
Мой брат! Никто не содрогнется
Теперь, взглянувши на тебя!
Пройдет, быть может, посмеется,
Потеху пошлую любя...
Ты сгиб. Но велика ль утрата?
Вас много! Тысячи кругом,
Как ты, погибли под ярмом
Нужды, невежества, разврата!
Придет ли наконец пора,
Когда блеснут лучи рассвета,
Когда зародыши добра
На почве, солнцем разогретой,
Взойдут, созреют в свой черед
И принесут сторичный плод;
Когда минет проказа века,
И воцарится честный труд,
Когда увидим человека,
Добра божественный сосуд?

# ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

ОЧЕРКИ ПУТЕШЕСТВИЯ
ИВАНА ГОНЧАРОВА.
В ДВУХ ТОМАХ.
ИЗДАНИЕ А. И. ГЛАЗУНОВА. СПб., 1858

Путевые письма г. Гончарова давно уже известны всей читающей публике. С 1855 года отрывки из них постоянно печатались в журналах, а большой эпизод «Русские в Японии» издан был и отдельно[1]. По поводу издания этой части записок г. Гончарова в «Современнике» 1856 года помещена была обширная критическая статья, написанная г. Дружининым. Мы полагаем, что читатели наши не забыли этой живой и остроумной статьи, в которой автор, по поводу отрывка из путешествия г. Гончарова, представляет вообще характеристику таланта этого блестящего, увлекательного рассказчика. Во всяком случае, мы считаем излишним повторять здесь то, что было в ней высказано и что столько раз уже повторено было в наших журнальных обозрениях. Притом же талант г. Гончарова так хорошо известен публике, что наша оценка, во всяком случае, оказалась бы запоздалою. Мы можем только заметить здесь, что в изданных ныне двух томах читатели не все будут встречать уже прочитанное ими, а найдут и несколько новых статей, еще не бывших напечатанными в журналах. Касательно внешности издания нужно сказать, что она весьма изящна.

Для тех читателей, которые желали бы иметь сжатую в немногих словах, но обстоятельную и полную характеристику достоинств таланта г. Гончарова, мы считаем нужным указать на коротенькое «Предисловие от издателя», помещенное в начале первого тома «Фрегата «Паллады»[2]. Издатель, указывая здесь на значение писем г. Гончарова в нашей литературе, объясняет, что обстоятельства путешествия не зависели от личной воли автора, так как он пу-

стился в путь в качестве секретаря при начальнике экспедиции, снаряженной от правительства, с целью открытия торговых сношений с Япониею. Затем составитель предисловия продолжает:

При таких условиях автор лично для себя и для публики мог сделать только то, что он сделал, то есть не забыть о призвании, доставившем уже ему известность и внимание публики; не забыть, что на нем, по выражению одного критика, «почил дух Пушкина», и в своем быстром и случайном пути взглянуть на разнообразные картины беспрестанно сменявшейся пред ним панорамы, на мелькавшие пред ним явления чуждой жизни с точки зрения поэта. Владея поэтическим талантом, юмором и всеми тайнами родного языка, он мог ограничиться даже летучими, непосредственными и личными впечатлениями, не дополняя их чужим знанием и опытом,— что пришлось бы, может быть, сделать тому, кто, находясь в его положении, но не владея его средствами, захотел бы все-таки сделать описание своего путешествия общезанимательным.

Результатами путевых впечатлений и наблюдений г. Гончаров прежде всего поделился с друзьями; он предложил их публике почти в первоначальном их виде, то есть в виде писем, простых, дружеских, небрежных, но неподражаемых по совершенству языка и усеянных подробностями, в которых интерес самого предмета, интерес путешествия, бледнеет на каждом шагу перед неожиданным в интимной переписке присутствием поэтического творчества.

Из ограниченного круга предметов, подлежавших наблюдению, автор обратил исключительное внимание на то, что влекло его к себе с особенной силой, как человека и поэта народного по преимуществу, начиная от природы, которую он подверг такому осязательному анализу, полному действительного блеска и аромата, и кончая простым матросом, костромским парнем, перенесенным под тропическое небо.

Наконец, автор сделал, сперва для друзей, а потом и для публики,— героем путешествия самого себя и таким образом придал обыкновенным впечатлениям путешественника индивидуальный характер.

Сделав все это, г. Гончаров вышел из обыкновенной колеи, сбросил с себя условия, которые реторика и рутина под разными предлогами стараются наложить даже на путешествие, и описал свою поездку вокруг света так, что она не похожа ни на какое другое произведение этого рода.

Эта смелость, опираясь на талант и искусство, увенчалась успехом: прием журналов, спешивших дать место каждому отрывку «Путевых записок» на своих страницах, и отзывы критики, угадавшей и оценившей поэтическое и национальное значение этой *скромной одиссеи,* служат очевидными тому доказательствами.

Обращаясь потом к некоторым частностям путевых записок г. Гончарова, издатель его совершенно справедливо замечает, между прочим, что «голос поэта эпического, романиста, постоянно слышится в рассказе путешественника». Затем издатель заключает свое предисловие следующими словами:

Устранив из описания своего путешествия почти все хоть сколько-нибудь специальные данные, цифры и вообще все то, что очень часто пропускается и наскучает даже тем, кто педантически требует этого, и сосредоточив все внимание на живой и поэтической стороне предмета, автор расширил круг своих читателей. Классически простое, ясное и веселое, как день, изложение путевых впечатлений и наблюдений человека, одаренного оригинальным умом, поэтическим талантом и глубоко русской природой, всегда найдет ценителей не только в кругу дилетантов, но и в кругу читателей, занятых вовсе не литературными интересами или не сознающих еще этих интересов... Путевыми очерками г. Гончарова может наслаждаться самый ученый специалист, а между тем они, кажется, доступны и для ребенка. Поэтому, предлагая публике, в последовательном порядке, собрание этих очерков, печатавшихся вразбивку в разных журналах в течение двух лет, издатель смеет надеяться не только на успех, но и на благодарность публики.

Мы не думаем, чтоб нам нужно было говорить еще что-нибудь после этой меткой оценки. При всем своем желании критика не может прибавить ничего к этому отзыву, и нам остаётся благодарить издателя не только за прекрасное издание, которым подарил он русскую публику, но вместе с тем и за облегчение обязанности критика, которая, впрочем, в настоящем случае была бы для нас весьма приятна.

# СТИХОТВОРЕНИЯ А. Н. ПЛЕЩЕЕВА

СПб., 1858

Какое-то внутреннее тяжелое горе, грустная жалоба побежденного бойца, печаль о несбывшихся надеждах юности, — вот характер большей части изданных ныне стихотворений г. Плещеева. С первого взгляда тут не представляется ничего необыкновенного: кто не был разочарован горьким опытом жизни, кто не сожалел о пылких мечтах юности? Это сделалось даже обычною пошлою темою бездарных стихотворцев, к которым обращался еще Лермонтов с этими жесткими стихами:

Какое дело нам, страдал ты или нет?  
На что нам знать твои волненья,  
Надежды глупые первоначальных лет,  
Рассудка злые сожаленья?[1]

Но, присматриваясь ближе к содержанию стихотворений г. Плещеева, мы найдем, что характер его сожалений не совсем одинаков с жалобными стонами плаксивых пиит прежнего времени. У тех и надежды-то были действительно не только глупы, но и пошлы, мелки; и сожаления-то были такого рода, что до них именно никому дела не было. Обыкновенно надеялись они на то, что встретят сочувственную женскую душу, которая их полюбит и будет любить страстно и вечно; надеялись они также и на то, что вот, может быть, дождутся они времени, когда весна целый год будет продолжаться, розы не будут увядать, молодость будет вечно сохранять свою пылкость и свежесть, что луна вступит с ними в дружеские отношения и т. п. Лет в двадцать пииты начинали уже разочаровываться, жаловались на измены любимых женщин, сетовали о кратковремен-

9 Заказ 1079

ности цветения розы и пр. Со стороны, разумеется, смешно и скучно было слушать их... Нельзя сказать того же о сожалениях, которым предается г. Плещеев. Его надежды также были, может быть, безрассудны; но все-таки они относились уже не к розе, деве и луне, они касались жизни общества и имели право на его внимание. Поэтому и грусть поэта о неисполнении его надежд не лишена, по нашему мнению, общественного значения и дает стихотворениям г. Плещеева право на упоминание в будущей истории русской литературы, даже совершенно независимо от степени таланта, с которым в них выражается эта грусть и эти надежды.

В истории нашей поэзии начиная с Пушкина есть один грустный факт, который еще ждет себе полного объяснения в будущем. Все, что было замечательного в нашей поэтической литературе последних сорока лет, подверглось влиянию этого грустного факта. Он состоит в том, что конец деятельности каждого сколько-нибудь замечательного поэта ознаменовывается сознанием собственного расслабления и сожалением о напрасно растраченных силах молодости. Такое сознание сообщает какой-то мрачный, безотрадный колорит всей деятельности поэта, и мрак этой безотрадности с каждым годом все более сгущается. И тем безотраднее действует он на душу внимательного читателя, что в начальной деятельности поэта всегда заметны смелые порывы, широкие мечты, благороднейшие, сильные стремления. Нас невольно увлекает поэт силою своего вдохновения, особенно если талант его имеет сколько-нибудь приметные размеры; нам самим хочется, чтобы эти мечты сбылись, эти порывы нашли возможность осуществиться в практической деятельности. И когда поэт начинает свое безотрадное признание, свою тоскливую похоронную песнь о невозвратно потерянных надеждах и напрасно растраченных силах, у нас самих холод пробегает по телу и будто что-то отрывается от сердца. А между тем нет ни одного замечательного русского поэта последнего времени, который бы остался совершенно свободен от этого мрачного настроения, который бы не принялся заживо хоронить себя. С какими смелыми и гордыми надеждами Пушкин выступал на литературное поприще! Как много горячего, молодого увлечения было в нем в те годы, когда еще душу его волновали —

Негодованье, сожаленье,
Ко благу чистая любовь...[2]

И все пропало. В один из последних годов своей жизни он с грустью признавался, что в сердце его, смиренном бурями, настала лень и тишина[3]. А сколько тяжелого уныния, какого-то сдавленного, покорного горя, например, в этих стихах, также относящихся к поздней поре пушкинской деятельности:

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец;
Живу печальный, одинокий,
И жду, придет ли мой конец...[4]

Правда, что Пушкин, при всей громадности своего поэтического таланта, не был человеком, серьезно проникнутым убеждениями, которые проявлялись в нем в ту пору, «когда ему были новы все впечатленья бытия»[5]. Бурям судьбы жестокой не мудрено было сломить этот характер, не отличавшийся глубиною и силою. Но вот другой пример — Лермонтов. Этого уж нельзя упрекнуть в недостатке энергии и твердости; а между тем и он писал под конец жизни почти то же, что Пушкин:

И тьмой, и холодом объята
Душа усталая моя.
Был ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока,
Под знойным солнцем бытия[6].

Тем же кончил и Кольцов, эта здоровая, могучая личность, силою своего ума и таланта сама открывшая для себя новый мир знаний и поэтических дум. Еще не окрепший в своем поэтическом таланте, но гордый молодою силою воли, он говорил о злой судьбе при начале своего поприща:

Пред ней душою не унижусь,
В мечтах не разуверюсь я...
Могильной тенью в прах низринусь,
Но скорби не отдам себя...[7]

Но и его сломила судьба, и незадолго до своей смерти он грустно сознавался:

В душе страсти огонь
Разгорался не раз,
Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас...
Только тешилась мной
Злая ведьма судьба,

Только силу мою
Сокрушила борьба...[8]

Судьба, рок, судьба!.. Вот слова, в безвыходной тоске повторяемые каждым из наших замечательных поэтов. Что это? Бессилие ли отдельных личностей пред силою враждебной им судьбы? Но если оно так неизбежно и так велико даже в людях, которые так щедро наделены от природы, которых мы считаем лучшими между нами, — то в каком виде это бессилие должно представляться во всей остальной массе?.. Или, напротив, это вопль энергической, действительно сильной натуры, подавляемой гнетом враждебных обстоятельств? В таком случае — каковы же должны быть эти обстоятельства, когда они так необходимо, фатально, так безобразно сламывают самые благородные и сильные личности?.. Тяжело становится на душе, когда припомнишь историю этих личностей. Зачем боролись и страдали бедные труженики? Зачем их борьба была так бесплодна, и зачем эти тысячи и миллионы людей, окружавших их, так холодно, безучастно смотрели на их внутренние страдания, так легко дали им пасть под гнетом судьбы?

Как грустна история этого невольного падения, изображенная одним из таких тружеников:

Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем,
Мы в жизнь вошли с неробкою душой,
С желаньем истины, добра желаньем,
Любовью, с поэтической мечтой;
И с жизнью рано мы в борьбу вступили,
И юных сил мы в битве не щадили,
Но мы вокруг не встретили участья,
И лучшие надежды и мечты,
Как листья средь осеннего ненастья,
Попадали, и сухи и желты...[9]

Такая точно история выражается и в стихотворениях г. Плещеева[10]. Мы не говорим о силе таланта, в которой он не может, конечно, быть сравниваем с названными нами выше поэтами; но мы указываем здесь только на аналогические обстоятельства внутреннего развития у разных наших поэтов, не только больших, но и маленьких. В этом отношении и на даровании г. Плещеева легла та же печать горького сознания своего бессилия пред судьбою, тот же колорит «болезненной тоски и безотрадных дум», последовавших за пылкими, гордыми мечтами юности. Мы помним книжечку стихотворений г. Плещеева, изданных лет 12 то-

му назад[11]. В них было много неопределенного, слабого, незрелого; но в числе тех же стихотворений был этот смелый призыв, полный такой веры в себя, веры в людей, веры в лучшую будущность:

Друзья! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
И пусть, под знаменем науки,
Союз наш крепнет и растет...
Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах,
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах.
Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать,
И спящих мы от сна разбудим
И поведем за ратью рать.
Пусть нам звездою путеводной
Святая истина горит.
И верьте, голос благородный
Недаром в мире прозвучит[12].

Эта чистая уверенность, так твердо выраженная, этот братский призыв к союзу — не во имя разгульных пиров и удалых подвигов, а именно под знаменем науки, — это благородное решение не творить себе кумиров — обещали многое. Они обличали в авторе если не замечательное поэтическое дарование, то по крайней мере энергическое решение посвятить свою литературную деятельность на честное служение общественной пользе. Но после издания своих стихотворений г. Плещеев замолк[13]. Прошли годы, и ни одним стихом он не напомнил о себе русской публике. Наконец в 1856 году снова появился он в «Русском вестнике», с робостью новичка печатая свои стихотворения под неполной фамилией А. П — ва. Многие читатели узнали знакомый голос и радушно приняли «старые песни на новый лад», как называл г. Плещеев свои стихи, печатая их в «Русском вестнике»[14]. Теперь наконец решился он издать их и отдельной книжкой. В ней уже нет тех мощных призывов, тех гордых увлечений, тех, отчасти безрассудных, надежд, с которыми так смело выступал он на свое литературное поприще. С ним произошло то же грустное явление, о котором говорили мы выше.

Изданная ныне книжка грустно начинается стихотворением «Раздумье»[15], в котором поражают читателя следующие стихи:

Не вижу я вокруг отрадного рассвета!
Повсюду ночь да ночь, куда ни бросишь взор.
Исчезли без следа мои младые лета,
Как в зимних небесах сверкнувший метеор.
Как мало радостей они мне подарили,
Как скоро светлые рассеялись мечты!
Морозы ранние безжалостно побили
Беспечной юности любимые цветы.
И чистых помыслов, и жарких упований
На жизненном пути растратил много я;
Но средь неравных битв, средь тяжких испытаний
Что ж обрела взамен всех грез душа моя?
Увы! лишь жалкое в себе разуверенье,
Да убеждение в бесплодности борьбы,
Да мысль, что ни одно правдивое стремленье
Ждать не должно себе пощады у судьбы...

В этих стихах читатель может видеть выражение того настроения, которое господствует во всей книжке стихотворений г. Плещеева. Оно проявляется в разных видах: то в горьком укоре враждебному року, то в грустном воспоминании о прошедшем, то в глухом стоне настоящего, внутреннего горя, то, наконец, в печальной иронии над своими погибшими мечтами. Из сорока стихотворений, напечатанных в книжке, в тридцати наверное найдется скорбь больной души, усталой и убитой тревогами жизни, желание приобрести новые силы, чтобы освободиться от гнета судьбы и от мрака, покрывавшего ум поэта...

В одном стихотворении он говорит:

Запуган мраком ночи я,
И в нем я ощупью блуждаю;
Ищу в светильник свой огня,
И где обресть его — не знаю[16].

В другом:

Как часто у судьбы я допросить хотел,
Какую пристань мне она готовит...
Зачем неравный бой достался мне в удел,
Зачем она моим надеждам прекословит...
Ответа не было...[17]

В третьем:

Подстрекнула жизнь лукаво
На неравный бой меня.
И в бою том я потратил
Много страсти и огня.
Только людям на потеху

Скоро выбился из сил,
И осталось мне сознанье,
Что я немощен и хил[18].

Воспоминания прошлого служат для автора постоянным источником грустных сожалений. Сравнение прежней свежести и энергии, прежнего огня и самоуверенности с наступившим потом равнодушием и покорным отчаянием служит для г. Плещеева мотивом многих грустных стихотворений. Вот, например, как рисуется автору его прошедшее в стихотворении «Странник»:

Была пора, и в сердце молодом
Кипела страсть, не знавшая преград;
На каждый бой с бестрепетным челом
Я гордо шел, весенним грозам рад.
Была пора, огонь горел в крови,
И думал я, что песнь моя сильна,
Что правды луч, что луч святой любви
Зажжет в сердцах озлобленных она.
Где ж силы те, отвага прежних лет?
Сгубила все неравная борьба.
И пустота — бесплодной жизни след —
Ждет неизбежная, как древняя судьба.

Дойти до пустоты после возвышенных надежд и благородных порывов — ужасно. Мы не думаем, чтоб на самом деле мог быть доведен до такого состояния, единственно силою обстоятельств, человек, в котором чистые убеждения не были праздною игрою разгоряченного воображения, прихотью опрометчивой юности. Нет, при всей враждебности обстоятельств, человек найдет, чем наполнить свое существование, если в душе его есть не только крепость характера, но и сила убеждений. Крепость может поколебаться и пасть, но убеждение останется и всегда поддержит человека как в борьбе с роком, так и среди житейской пустоты. Его-то должен хранить поэт при всех неудачах своих мечтаний, при всех обманах тяжелого опыта жизни. Оно может не спасти от внешних унижений, может остаться бессильно в тех случаях, где требуется героизм характера, но оно не даст человеку унизиться внутренно и, всегда указывая ему правый путь, даст ему силы на дорогу по крайней мере там, где выбор пути не влечет за собою конечной гибели[19]. Человека, не разошедшегося с своими убеждениями, нельзя еще считать погибшим: пока он знает, что идет поневоле не своей дорогой, и пока в душе тяготится этим, еще нет сомнения, что он при первой возможности воротится на путь

чести и добра. Но зато как страшно положение человека, поставляемого в постоянную необходимость идти против себя, против своих добрых стремлений[20] — и сознающего, что он не может выполнить в жизни тех идеальных требований, которые ставит для самого себя. Тут именно и является самое отчаянное, самое мучительное страдание для человека, проникнутого благородными стремлениями, но не одаренного героизмом убеждений настолько, чтобы разом покончить с окружающим его злом[21]. Страдание подобного рода недурно выражено в следующем стихотворении г. Плещеева:

О, если б знали вы, друзья моей весны,
Прекрасных грез моих, порывов благородных,—
Какой мучительной тоской отравлены
Проходят дни мои в сомнениях бесплодных!
Былое предо мной, как призрак, восстает,
И тайный голос мне твердит укор правдивый:
Чего убить не мог суровой жизни гнет,
Зарыл я в землю сам! Зарыл, как раб ленивый...
Душе была дана любовь от бога в дар,
И отличить дано добро от зла уменье;
На что же тратил я священный сердца жар?
Упорно ль к цели шел во имя убежденья?
Я заключал не раз со злом постыдный мир,
Я пренебрег труда спасительной дорогой,
Не простирал руки тому, кто наг и сир,
И оставался глух к призывам правды строгой.
О, больно, больно мне... Скорбит душа моя,
Казнит меня палач неумолимый — совесть,
И в книге прошлого с стыдом читаю я
Погибшей без следа, бесплодной жизни повесть.

Мы привели это стихотворение потому, что в нем довольно удачно определяется, с какой именно стороны грозит человеку нравственная гибель, при враждебных обстоятельствах внешних, среди пошлости окружающей жизни. Не столько велика опасность, что задохнешься в смраде этой одуряющей атмосферы, сколько страшно то, что привыкнешь к этому смраду и будешь, как и другие, ходить целый век одуренным. От этой последней опасности ничто не спасет вас, кроме светлого и сильного убеждения: вы будете задыхаться в атмосфере гнили, грязи и мертвечины; но веяние живой, чистой мысли все-таки будет для вас освежать несколько эту удушливую атмосферу. Вы по крайней мере не одуреете и с радостью ударитесь бежать, как скоро представится вам возможность выбраться на чистый воздух, и для вас вовсе не будет служить позором то, что

вы некоторое время дышали дурным воздухом, хоть, конечно, ваши легкие все-таки за это поплатятся[22]. Что же делать? Если бы внешние опасности и беды производили в нас только временную наружную боль, нисколько не отражаясь на внутреннем состоянии организма, тогда бы их и бояться было нечего... Главное-то горе в том и состоит, что внешние обстоятельства искажают нас самих и часто делают ни к чему не годными. Хорошо еще, если в нас остается хоть восприимчивость к веянию жизни, хоть желание возрожденья. Эта именно восприимчивость, это желание — заметны повсюду в стихотворениях г. Плещеева. А при таком расположении души можно еще утешиться в том, о чем сожалеет поэт, то есть, что принужден был не раз мириться со злом и зарывать в землю талант, которому нельзя было найти употребления.

Нельзя, однако же, не пожалеть о том, что сила обстоятельств не дала развиться в г. Плещееве убеждениям, вполне определенным и ровным,— *цельным,* как говорят. Со вниманием перечитывая его стихотворения, нельзя в них не заметить следов какого-то раздумья, какой-то внутренней борьбы, следствие потрясенной и еще не успевшей снова установиться мысли. Поэт постоянно жалуется на то, что его надежды разбиты, мечты обмануты, что он сам стал немощен и хил. Но в то же время он не может уберечь себя от новых обольщений и все как будто предается мечте, что для него настанет вторая юность, а для человечества новый золотой век. Эти странные мечты и надежды парализуют ту сторону таланта, которая у г. Плещеева наиболее сильна, потому что наиболее искренна. В своем прошедшем г. Плещеев может найти много страстных и мощных мотивов, способных увлечь человека с душою. В своих воспоминаниях, в своей тоске, в самой боли раздраженного сердца поэт найдет предметы для многих песен. И если к этим песням не примешается фальшивый звук ребяческих смешных надежд и увлечений, то песни его польются звонким, стремительным, широким потоком. Мы говорим это в полном убеждении, что г. Плещеев не утратил той силы мысли и стиха, какая проявлялась в некоторых из первых стихотворений, между тем как беспечность золотых снов юности он уж потерял невозвратно. Об этом ясно свидетельствуют его стихотворения. Везде, где хочет он поидеальничать, где пускается в оптимизм, выражает юношеские надежды и желания, — везде впадает он

в риторику, в звонкие фразы, вычурные сравнения, самый стих становится как-то мягок и вял. В доказательство стоит перечитать стихотворения: «Трудились бедные», «Не говорите, что напрасно», «Была пора, своих сынов» и т. п. Вот, например, окончание стихотворения «Была пора»:

Не страшен нам и новый враг;
И с ним отчизна совладает.
Смотрите: уж редеет мрак,
Уж свет отвсюду проникает.
И содрогаясь, чует зло,
Что торжество его прошло...

Не правда ли, что это прозаично, как модно-современное стихотворение Бенедиктова, и стих тянется так лениво и вяло, точно будто в какой-нибудь заказной оде прошлого столетия...

Во многих стихотворениях г. Плещеев ищет «тропы, затерянной им». Он молит:

Да упадет завеса с глаз,
Да прочь идут сомненья муки;
Внезапным светом озарен,
От лжи мой ум да отрешится,
И вместе с сердцем да стремится
Постигнуть истины закон.

Это показывает опять[23], что он еще стоит на распутье двух дорог и не знает, которая из них ведет к истине. Конечно, не мы решимся быть в этом случае наставниками г. Плещеева, но его собственный опыт должен бы показать ему несостоятельность сладостных мечтаний, которыми он старается утешить себя. Не в них истина: они искажают, украшают и подслащают голую действительность; не в них и красота: какая же красота в мыльном пузыре, надутом глупеньким ребенком? Г-н Плещеев сам это чувствует: прошедшее слишком сильно тревожит его душу, чтобы он мог безмятежно восхищаться мыльными пузырями[24], и он сам говорит:

О, если б я, от дней тревог
Переходя к надежде новой,
Страницу мрачную былого
Из книги жизни вырвать мог!
О, если б мог я заглушить
Укор, что часто шепчет совесть!
Но нет! Бесплодной жизни повесть
Слезами горькими не смыть!

Вот видите ли? Слезами даже и то не смыть, так уж можно ли скрасить мыльными пузырями? Зачем же попусту насиловать свой ум и свой талант?

Хорошо мечтать в те дни, когда еще «нам новы все впечатленья бытия»; хорошо надеяться в ту пору, когда еще не пришла пора практической деятельности... Но что за охота взрослому человеку тратить свое воображение и драгоценное время на мечты о том, как вот придет нянюшка, погладит его по головке и даст гостинца?.. Да и можно ли спокойно предаться таким мечтам? Сейчас зашелестят с суровым неудовольствием какие-нибудь невзначай задетые нами ветки и презрительно спросят нас, как в стихотворении Гейне, переводом которого оканчивается книжка г. Плещеева:

Что тебе надо, безумец,
С глупой мечтою твоей?[25]

# БЛАГОНАМЕРЕННОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

## ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ А. ПЛЕЩЕЕВА. МОСКВА, 1860. ДВЕ ЧАСТИ

Повести г. Плещеева печатались во всех наших лучших журналах и были прочитываемы в свое время[1]. Потом о них забывали. Толков и споров повести его никогда не возбуждали ни в публике, ни в литературной критике: никто их не хвалил особенно, но и не бранил никто. Большею частию — повесть прочитывали и оставались довольны; тем дело и кончалось...

Указанный нами достоверный факт говорит, конечно, не в пользу особенной оригинальности и яркости таланта автора, да и сам он, очевидно, не претендует на эти качества. Следовательно, и мы можем уволить себя от скучнейших эстетических рассуждений о достоинствах и недостатках собственно литературного таланта г. Плещеева. Мы это делали не раз и при обозрении литературной деятельности других писателей; но за иных на нас вскидывались приверженцы «вечных» красот искусства, полагающие, что о произведениях, например, гг. Тургенева или Майкова нельзя рассуждать иначе, как прикидывая к ним шекспировскую и дантовскую мерку. За г. Плещеева никто, кажется, не подымется на нас: всякий понимает, что смешно, говоря об обыкновенных журнальных рассказцах, становиться на ходули и, спотыкаясь на каждом слове, важно возвещать автору и читателям сбивочные принципы доморощенной эстетики. Мы полагаем, что этот беззубый прием неприличен также и при разборе повестей г-жи Кохановской, «Первой любви» Тургенева, «Тысячи душ» г. Писемского и т. п.[2]. Но есть господа, слишком уже погрузившиеся в патриотическую эстетику и полагающие, что произведениям наших лучших талантов можно приписывать великое значение

с той же самой точки зрения, с какой поставляются на удивление векам творения Гомера и Шекспира. При всем уважении к нашим первостепенным талантам мы не считаем удобным рассматривать их с такой точки, и потому при разборе русских повестей, стихотворений и пр. мы всегда старались указывать не на «вечное и абсолютное», навеки нерушимое художество их, а на тот прямой смысл, который имеют они для нас, для нашего общества и времени. Сочинить брошюрку о том, что эпос Гомера воскрес в усовершенствованном виде в «Мертвых душах»[3], провозгласить Лермонтова Байроном, поставить Островского выше Шекспира[4] — это все не новость в русской литературе. Да еще и не то бывало: теперь, вероятно, уже никто не помнит, кто у нас писал исторические романы лучше Вальтер Скотта, кто у нас приравнивался к Гете[5], чьи чухоночки гречанок Байрона милей[6], кто в России воскресил Корнеля гений величавый[7], кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы[8], и пр. и пр. А все это было провозглашаемо в русской литературе и даже возбуждало споры и толки. Теперь по возможности стараются удерживаться от такой смешной игры в имена, но сущность современных эстетических рассуждений о «вечных, общечеловеческих, мировых» достоинствах наших писателей постоянно напоминает нам наивность старинных восклицаний о российских Гомерах и наших родных Байронах...

Так как о великом мировом значении таланта г. Плещеева никто и не думает, то мы, значит, можем быть спокойны, отстраняя от себя эстетический суд над ним и обращаясь к вопросу, который нас интересует гораздо более, именно — к характеру содержания его произведений. Г-н Плещеев написал довольно много: перед нами лежат два томика, в них восемь повестей; да тут еще нет «Папироски» и «Дружеских советов», напечатанных им в 1848 и 1849 году[9], да нет «Пашинцева» («Русский вестник», 1859, № 21—23), «Двух карьер» («Совр.», 1859, № 12) и «Признания» («Светоч», 1860, №1—2) — трех больших повестей, напечатанных им уже после издания его книжек. Из них тоже могло бы составиться почти таких же два томика. Все это было прочитано без неудовольствия, некоторое время занимало собою известную часть русской публики, наравне с произведениями других беллетристов, не заслуживших подозрения в гениальности. Что же, сказалось ли что-нибудь в этой массе печатной бумаги, имеет ли этот десяток больших и малых повестей какое-нибудь отношение к тому, что занимает те-

перь наше общественное внимание? Или это повести просто для упражнения в процессе чтения вроде произведений гг. Каменского, Воскресенского, Вонлярлярского[10] и некоторых новейших, имена которых могут быть небезызвестны отчасти и читателям «Современника»?..

Нам приятно на этот вопрос отвечать, что рассказы г. Плещеева никак не могут быть отнесены к последнему разряду. Элемент общественный проникает их постоянно и этим отличает от множества бесцветных рассказов тридцатых и пятидесятых годов. Тогдашние рассказы, как известно, отличались тем, что в них человек представлялся животным[11] не общественным, а изолированным. Нужно было автору два-три-четыре лица для развития сюжета — так эти два-три-четыре лица и являлись в повести без всякого отношения к остальному миру, как будто бы они жили на необитаемом острове, где все нужное являлось для них по щучьему веленью. Для развязки же обыкновенно приводился, неизвестно откуда, какой-нибудь таинственный deus ex machina[12] вроде богатого дядюшки, сердитого начальника, пожара, наводнения, благодетельного вельможи и т. п. Это было, впрочем, более в тридцатых годах; в пятидесятых же обыкновенно герои, заброшенные на необитаемый остров, сами начинали чувствовать разочарование и уезжали с острова, оставляя героинь плакать и сокрушаться: тем дело и кончалось... Все эти проделки мало коснулись г. Плещеева, так как начало его литературной деятельности относится к сороковым годам — когда была в ходу литература Горемык, Бедных людей, Петербургских вершин и углов[13],— и возобновилась она только в последние годы, когда во всей силе процветало обличительное направление. Во все время жалкой[14] бесцветности пятидесятых годов г. Плещеев не появлялся в печати и, таким образом, спасся от необходимости бежать со своими героями на необитаемый остров и остался в действительном мире мелких чиновников, учителей, художников, небольших помещиков, полусветских барынь и барышень и т. п.[15]. Мирок этот ему знаком, как видно, довольно хорошо и изображается им с полной откровенностью. В истории каждого героя повестей г. Плещеева вы видите, как он связан с своей средой, как этот мирок тяготеет над ним своими требованиями и отношениями, словом — вы видите в герое животное табунное[16], а не уединенное. Элемент общественности присутствует в каждой повести...

Таково главное достоинство рассказов г. Плещеева; но

нужно признаться, что это достоинство принадлежит ему наравне с очень многими из современных беллетристов. Что человек вполне зависит от общества, в котором живет, и что поступки его обусловливаются тем положением, в каком он находится,— это уже сделалось теперь почти неизбежной точкой отправления для всякого мало-мальски здравомыслящего повествователя. Далее — что устройство нашей общественной среды не совсем удовлетворительно и что житейские отношения наши совсем не благоприятствуют нормальному развитию и свободной, здравой деятельности человека,— об этом тоже написано у нас весьма много рассказов даже самыми посредственными беллетристами. Разлад человека, хотя сколько-нибудь порядочного[17], с окружающей действительностью сделался общею темою современной литературы. В этом предмете сходятся все партии, все направления, все оттенки литературных мнений. Возьмете ли вы «Русский вестник» или «Библиотеку для чтения», «Сын отечества» или «Моду»[18] — везде одно и то же. Поэтому изображение антагонизма честных стремлений с пошлостью окружающей среды само по себе теперь уже недостаточно для привлечения общего участия; нужно, чтоб изображение было ярко, сильно, чтобы взяты были новые положения, открыты в предмете новые стороны,— тогда только произведение будет иметь прочный успех и автор выдвинется на заметное место в литературе.

Повести г. Плещеева не выходят из уровня, который установился вообще для произведений той школы беллетристов, которую, пожалуй, по главному ее представлению мы можем назвать тургеневскою. Постоянный мотив ее тот, что *«среда заедает человека»*. Мотив хороший и очень сильный; но им до сих пор не умели еще у нас хорошо воспользоваться. Человек, «заеденный средою», изображался иногда в повестях тургеневской школы довольно живо; но самая «среда» и ее отношения к человеку рисовались бледно и слабо. Изображение «среды» приняла на себя щедринская школа[19], но та взяла только официальную сторону дела, да и то (и это главное) — в проявлениях чрезвычайно мелких. Оттого во всех наших повестях — обличительных или художественных — все равно,— всегда есть много недоговоренного и — главное — всегда есть место двум вопросам: с одной стороны — чего же именно добиваются эти люди, никак не умеющие ужиться в своей среде? а с другой стороны — от чего же именно зависит противоположность этой среды со вся-

ким порядочным стремлением и на чем в таком случае опирается ее сила?

Сколько ни подбирай отвлеченностей для решения этих вопросов, они не прояснятся, пока не будут переработаны в общем сознании самые факты общественной жизни, от которых зависит вся сущность дела. Эта переработка фактов постоянно совершается в самой жизни; но для ускорения и[20] большей полноты сознательной работы общества может быть полезна и беллетристика, и полезна тем более, чем больше художественной полноты и силы будут иметь ее образы. До сих пор школа «разъедающей среды» не дала нам вполне художественных рассказов потому именно, что никогда в ней не являлось полного соответствия между двумя элементами, из борьбы которых слагалось содержание повести. Вы видели человека заеденного; но вам не было ярко и полно представлено, какая сила его ест, почему именно его едят и зачем он позволяет себя есть; на все[21] это вы находили в повестях разве намеки, а никак не полные ответы. Таким образом, исполнение всегда было в этих повестях далеко ниже идеи, которая бы могла придать им жизненность, и оттого все повести этого рода имеют лишь временный, исторический смысл, тотчас исчезающий, как скоро в обществе возникают несколько новые комбинации житейских отношений и новые требования от жизни.

Теперь покамест повести, о которых мы говорим, читаются, хотя уже и не с тем интересом, как пятнадцать лет тому назад. Но уже и теперь являются запросы, которым герои подобных повестей решительно не в состоянии удовлетворить. У свежего и здравомыслящего читателя при чтении, например, хотя бы повестей г. Плещеева тотчас является вопрос: чего же именно хотят эти благонамеренные герои, из-за чего они убиваются? И для разрешения своего вопроса читатель вникает в обстоятельства, служащие источником бед для благородных героев. Но тут мы не встречаем ничего определенного: все так туманно, отрывочно, мелко, что не выведешь общей мысли, не составишь себе понятия о цели жизни этих господ. Они горячатся (как Костин) из-за Фредерики Бремер и Жоржа Занда и тем навлекают на себя нерасположение «среды»; вразумляют (как Городков)[22] высшего начальника относительно негодности своего ближайшего начальника, и через то сами попадают в опалу; вопиют (как Костин опять) о пользе обличительной литературы и тем восстановляют против себя нужных людей... Из всего

этого видно, что у них есть добрые стремления, есть желание, чтобы людям было получше жить на свете, чтобы уничтожилось все, что мешает общему благу. Но дают ли они себе ясное понятие о том, что нужно для осуществления их желаний? Сознают ли они, какие обязанности налагаются на них самих, как скоро они убеждаются в необходимости достижения той цели, которая кажется им святою и высокой? Нет, они постоянно отличаются самым ребяческим, самым полным отсутствием сознания того, к чему они идут и как следует идти. Все, что в них есть хорошего,— это желание, чтобы кто-нибудь пришел, вытащил их из болота, в котором они вязнут, взвалил себе на плечи и потащил в место чистое и светлое. Они бы не стали противиться такому переселению; напротив, были бы очень рады. Но надо согласиться, что в этом особенной заслуги с их стороны нет и что если есть люди, лишенные даже желания выйти из болота, так и это еще не дает нам права считать героями тех, которые *желают* из него выбраться.

Нам скажут, что в Костине, Городкове и пр. нам и не выставляются *герои* и *идеалы*, а просто показывается, как жизнь ломает и перемалывает иногда своим жерновом доброе стремление, зародыши добра и честности. Но мы и не требуем непременно *идеальности*, мы хотим только большей *определенности* и *сознательности* в этих лицах. И это нужно нам потому, что мы хотим сочувствовать честным лицам повести, а между тем для нас очень трудно сочувствие к людям ничтожным, бесцветным, пассивным, к людям ни то ни се... Да и самый художественный интерес повести требует, чтобы в изображении борьбы выставлялись враги, которых силы уравновешивались бы чем-нибудь. А тут — представляется громадное чудовище, называемое «дурною средою» или «пошлою действительностью», и против этого чудовища выводятся какие-то пухленькие младенцы, наивные, ничего не знающие и не умеющие, ко всему доверчивые и по своему внутреннему бессилию находящиеся действительно в полной зависимости от окружающей «среды». Скажут, что других нет, что среда-то наша именно такими и делает всех людей, попадающих в нее. Положим. Но в таком случае что же остается писателю? Остается причислить к той же «среде» и своих героев и уже относиться к ним точно так же отрицательно, как относится он ко всему, их окружающему. Если наша среда не только сама не хороша, но губит и все хорошее, что в нее попадает, и если дурное на-

чало так в ней сильно, что до сих пор невозможно было выискать достаточно твердого и деятельного характера, который бы устоял против нее и поставил на своем; если так, то ясно, что в этой среде нечего и искать, кроме предмета для самой беспощадной сатиры. Таким образом, отношение автора к своим благородным юношам будет совершенно другое: не сочувствие мечтательным и неопределенным их стремлениям будет он возбуждать в читателе, а скорее насмешку над тем, что они, кроме своих отвлеченных фантазий, ничему существенно полезному не обучаются. Герои г. Плещеева, например, обыкновенно поступают на службу; там не уживаются или просто не получают хода и удаляются в отставку. Затем они пробуют литературную работу; но у них таланта не хватает. После того им остается лишь два средства существования: давать уроки и переписывать бумаги. Больше они ничего не умеют, ни к чему не способны. Хотя бы веслами работать умели — на Неву или на Волгу перевозчиками бы нанялись, или, если бы расторопность была,— поступили бы в дворники, а то мостовую мостить, с шарманкой ходить, раек показывать пошли бы, когда уж больно тошно приходится им в своей-то среде... Так ведь ничего не умеют, никуда сунуть носа не могут... А тоже на борьбу лезут, за счастье человечества вступаются, хотят быть общественными деятелями... Да спрашивается,— что они могут делать-то, тщедушные и кабинетные люди? Мечтатели они все, а не деятели и даже не прожектеры. Мечтают-то они очень хорошо, благородно и смело; но всякий из нас может сказать им: «Какое дело нам, мечтал ты или нет?» — и тем покончить разговор с ним. Рассуждая психологически, конечно, нельзя не уважить прекрасных свойств души Костина и Городкова; но для общественного дела[23], смеем думать, от них так же мало могло быть толку, как и от других юношей, о которых рассказывает г. Плещеев в других повестях. За что же будем мы им сочувствовать? Зачем же писать симпатические рассказы об их мечтах и внутренних страданиях, не приводящих ни к чему путному?

За такие жесткие строки нас, разумеется, упрекнут в неблагородстве и сухости сердца, в недостатке симпатии к высоким стремлениям и в фаталистическом поклонении факту[24]. Мы заранее признаем справедливость подобных упреков и продолжаем свои объяснения, предавшись судьбе.

Да, прекрасным стремлениям души мы не придаем никакого практического значения, пока они остаются только

стремлениями; да, мы ценим только факты и только по действиям признаем достоинство людей. Почему мы так судим — объясняется очень просто. Прекрасными стремлениями мы признаем все естественные, неиспорченные стремления человеческой природы; все прекрасные стремления мы признаем следствием естественных, нормальных потребностей человека. Как скоро требование искусственно, мы его признаем дурным, вредным или смешным, как бы оно ни было прекрасно и величественно. Ежели правда, что Нерон сожег Рим, чтобы иметь живой материал для описания пожара Трои, то, при всем великолепии подобного зрелища и при всей эстетичности цели, мы будем считать подобную фантазию отвратительною, как противную нормальной человеческой природе. Так точно отвратительны, например, факирные истязания над собою, браминское презрение к париям, кулачное право и т. п. Потому именно все это и гадко (а в иных проявлениях и смешно), что составляет искажение человеческой природы. Сущность природы собственно человека определить вкратце довольно мудрено; но что, во всяком случае, не подлежит сомнению, так это ее способность к развитию. Для того чтобы иметь возможность развиваться, она требует избежания всяких столкновений и помех. А для этого она, очевидно, предписывает человеку не мешать и другим, потому что иначе он и сам себе помешает, остановит и стеснит себя в своем развитии. Таким образом, признавая в человеке одну только способность к развитию и одну только[25] наклонность к деятельности (какого бы то ни было рода) и отдыху, мы из этого одного прямо можем вывести — с одной стороны, естественное требование человека, чтоб его никто не стеснял, чтобы предоставили ему пользоваться его личными неотъемлемыми средствами и безмездными, никому не принадлежащими[26] благами природы, а с другой стороны — столь же естественное сознание, что и ему не нужно посягать на права других и вредить чужой деятельности. Это самый простой закон, по которому птица не старается свить гнездо именно на том месте, где уже вьет гнездо другая птица, стадо баранов спокойно разделяет между собою луг, где пасется, и т. п. А между тем к этому закону и сводятся все стремления к независимости, самостоятельности и строгой справедливости, все гуманные чувства, все антипатии к деспотизму и рабству[27]. Все это такие качества, которые вовсе не составляют высшего, тысячелетиями цивилизации выработанного и с большим

трудом в университетах, академиях и эстетиках добываемого совершенства. Напротив, качества эти *должны* быть присущи каждому человеку, даже на самой низшей ступени развития. Вспомним хоть Карамзина, нашего незабвенного историографа: по его словам, даже «народы дикие любят свободу и независимость»[28]. Что же касается до гуманных чувств, то есть до того, чтобы никому не мешать и ни у кого не отнимать ничего,— так этот принцип мы даже у хищных животных видим: волки не бросаются друг на друга, чтобы отнять добычу, а предпочитают ее добывать сами, шакалы и гиены ходят целыми стаями, и кровопролитные войны между ними весьма необычны; вообще — ворон ворону глаза не выклюнет[29].

Но волки овец таскают; значит, принцип нестеснения чужой деятельности у них слаб?— Да ведь мы не говорим, чтобы уважением к чужому и чувство гуманности было (и в волках и в людях)[30] следствием каких-нибудь возвышенных идей. Мы выводим его из простого расчета: «буду лучше свое дело делать, чем другим мешать; так будет мне выгоднее и спокойнее». На этом-то основании и волк не дерется с волком, а хватает овцу, еще никем не захваченную, из-за которой истории быть не может. Это он делает вследствие побуждения — голода, так же точно, как человек срывает цветок, удит рыбу, убивает и жарит себе какую-нибудь утку или куропатку. Тут не может быть борьбы с подобным себе, нет враждебных столкновений с своей породой,— вот о чем именно мы говорим. Человек, терпеливо просидевший целый день за уженьем каких-нибудь ершей,— не захочет, однако, стащить рыбу из чужого садка, предполагая, что это может кончиться нехорошо. И, с другой стороны, человек, владеющий садком, может спокойно смотреть на чужих рыбаков, ловящих рыбу в свободных местах реки, но не останется равнодушным, когда потащат рыбу из его садка. Тут естественное требование, чтоб ему не мешали и не стесняли его прав, вызывает его даже на борьбу,— и здесь опять тот же расчет: чтобы мне не потерять возможности действовать беспрепятственно и свободно, надо избегать всяких помех, но уж если помеха явилась, то надо тотчас удалить ее. Иначе вся свобода деятельности уничтожается, всякая возможность естественного развития останавливается.

Все это отступление мы сделали к тому, чтобы показать, как просты и естественны для человека те стремления и понятия, которые обыкновенно выставляются в героях пове-

стей наших как что-то особенное, высшее, поднимающее их над уровнем обыкновенной толпы. Если посмотреть просто и беспристрастно, то окажется, что желание избавиться от стеснений и любовь к самостоятельности деятельности так же точно неотъемлемо принадлежит человеку, как желание пить, есть, любить женщину. Было время, когда можно было удивить всяким фокусом[31], и люди, по целым неделям лишавшие себя пищи и питавшиеся только водою, возбуждали удивление толпы и считались нравственными феноменами. Но теперь мы не уважаем подобных заслуг, равно как не уважаем человека и за то, если он лишил себя способности любить женщину или заглушил в себе собственную волю до того, что уже превратился в автомата, только исполняющего чужие приказания[32]. Все подобные личности и все подобные проделки мы признаем искажением человеческой природы и нарушением естественного порядка вещей. Значит, нормальным положением мы признаем то, чтобы человек пил, ел, любил женщину, сознавал свою личность, стремился к свободной деятельности. После этого с какой же стати требовать от нас симпатии к человеку только за то, что он пьет и ест или ненавидит стеснение? Неужели это с его стороны заслуга, а не естественное, неизбежное требование его организма? Человеку не нравится, когда велят делать не то, что он хочет, и не так, как он хочет: какое образование, какое душевное величие нужно для этого — не правда ли!! Подумайте-ка в самом деле: ведь он чувствует, что ему руки связывают, ведь ему[33] тяжело, что он стеснен, ведь он желает делать что-нибудь по своему разуму и воле!.. Бедный благородный юноша или муж! Как не пролить слезы сочувствия над его участью!

И точно, слезы проливались, благородные юноши изображались в повестях десятками и, несмотря на свою очевидную пошлость, занимали собою наших талантливейших писателей и в общем мнении признавались за людей весьма способных и нужных. На это были, говорят, в свое время и свои причины; но теперь мы можем смотреть на дело немножко иначе. Требуя от людей дела, мы строже можем допрашивать всяких мечтателей, как бы ни были высоки их мечтания; и по допросе окажется, что мечтатели эти — весьма ничтожные люди.

«Нет, неправда!— закричат поклонники Гамлетов Щигровского уезда[34] и всех им подобных[35].— Отчего же, если высокие мечты этих героев так естественны и просты,— от

чего же они не разделяются целым миром? Отчего только у немногих избранных[36] натур проявляются эти стремления, а большинство не только не понимает их, но даже старается им противодействовать? Не есть ли великая заслуга уже и то, что эти мечтатели умели понять и усвоить истинные человеческие стремления, тогда как все вокруг их искажено, развращено, предано лжи или совершенно безразлично ко всему?»

Подобные вопросы и замечания приходится слышать очень часто; но все они происходят только от поверхностного взгляда на дело. Конечно, можно признать известную долю заслуги в человеке, даже и ничего не сделавшем для общества, только уже за то, что он силою размышления и самостоятельных наблюдений дошел до сознания ложности того, что всеми окружающими его выдается за истину. Среди выродившихся субъектов человеческой породы замечателен был бы экземпляр, настолько сохранивший в себе первоначальный тип человечества, что никакими силами нельзя стереть и уничтожить его. О такой личности можно бы написать и любопытную повесть, и над воспроизведением или созданием ее мог бы не бесплодно потрудиться самый первостепенный галант какого угодно европейского народа. Но ведь не такие личности видим мы в нашей литературе. Нам не представляют внутренней работы и нравственной борьбы человека, сознавшего ложность настоящего порядка и упорно, неотступно добивающегося истины; нового Фауста никто нам и не думал изображать, хотя у нас есть даже и повесть с таким названием...[37] Нет, наши благородные юноши обыкновенно получают свои возвышенные стремления довольно просто и без больших хлопот: они учатся в университете и наслушиваются прекрасных профессоров, или в гимназии еще попадаются на молодого, пылкого учителя[38], или входят в кружок прекрасных молодых людей, одушевленных благороднейшими стремлениями, свято чтущих Грановского и восхищающихся Мочаловым[39], или, наконец, читают хорошие книжки, то есть «Отечественные записки» сороковых годов[40]. Весьма часто все эти счастливые случайности сходятся вместе и помогают одна другой. Таким образом, развитие простых человеческих стремлений совершается в добрых юношах без особенных героических усилий; им хочется есть, им со всех сторон говорят: пойдемте обедать, и они идут. Вот и все.

А отчего же другие нейдут? Отчего из людей, точно так

же учившихся и слышавших прекрасные наставления, выходят взяточники, фаты, формалисты, мелкие деспоты, и т. д. и т. д.?..

И на эти вопросы легко ответить: от глупости, или, лучше сказать, от наивности. Видя, что естественная наклонность к самостоятельной, нормальной деятельности встречает препятствие на прямой дороге, все эти люди пробуют свернуть с нее немножко, в надежде, что, обошедши одно препятствие, они опять могут попасть на свой прежний путь. Расчет опять тот же: «лучше я обойду, чем драться и лезть напролом». Но здесь расчет оказывается ошибочным, потому что препятствие не одно, а тысячи их, и чем далее человек уклоняется от первоначального пути, тем сильнее умножаются и препятствия. И он уже поневоле принужден вилять, нырять, наклоняться, перескакивать, топтать, что может, по дороге и самого себя подставлять под всякие мерзости, где нужно — чтобы только как-нибудь продолжать свое странствие. Человек в наивности своей думает: «заплачу деньги за получение места, если нельзя получить иначе; зато я принесу пользу на этом месте». Но оказывается, что единовременной платой нельзя отделаться, нужны и потом расходы, если не в виде прямых денежных приношений, то в виде разных обедов, вечеров, экстренных распоряжений по должности и т. п. Для поддержания этого оказывается нужным делать безвозвратные займы, принимать благодарности, брать взятки; чтобы получать взятки и благодарности, надо кривить душою в делах, при этом необходимо награждать негодяев и теснить честных людей, и т. д. Так и запутывается человек, при каждом шаге все-таки думая, что он избирает наилучшее средство для устранения помех и доставления простора своей деятельности.

Благородные юноши, которыми так долго и усердно занималась наша литература, не запутываются таким образом и потому представляются гораздо выше остальной толпы. Но, всмотревшись в них пристально, вы найдете, что если они не заблуждаются, так это единственно потому, что никуда нейдут, а сидят всё на одном месте. Они ничуть не проницательнее тех, которые пошли на окольной дороге, ничуть не яснее их понимают высокую важность охранения своих человеческих стремлений неприкосновенными от посторонних помех, они только — ленивее. При начале жизненного поприща у тех и других одинаково есть желание идти прямо, свободно и сознательно к цели полезной и доброй; тем

и другим одинаково представляются громадные препятствия, которые на первых же шагах нужно преодолеть. И ни те, ни другие не имеют достаточно бодрости и силы, чтобы прямо начать борьбу с этими препятствиями: одни хотят обойти и, таким образом, теряют из виду цель и попадают в отвратительное болото всяческого разврата[41], а другие остаются на месте и сидят сложа руки, с презрением и желчью отзываясь о тех, которые ударились в сторону, и дожидаясь, не явится ли какой-нибудь титан да не отодвинет ли гору, заслонившую им путь. И — что всего забавнее — эти господа начинают жаловаться — не на свою лень и бессилие и даже не на гору, ставшую на их пути, а на своих товарищей, отправившихся в обход. И общая людям наклонность к деятельности выражается в них тем, что они нападают на несчастных путников и стараются толкнуть их на прямую дорогу. «Да ведь тут нельзя идти,— возражают бедняки,— там мы найдем другую дорогу». — «Нет, вы должны идти здесь!» — кричат разгорячившиеся юноши, а между тем и сами нейдут и горы не прокапывают, не сравнивают, не взрывают[42] и не сказывают, нет ли где тропинки, по которой бы можно подняться. Они сами ничего не знают, ничего не умеют, к грубой работе неспособны, шумного взрыва не вынесут их нервы;[43] они ничем не могут помочь путникам, кроме крика: «Не ходите туда, а идите здесь»... тогда как здесь-то и нельзя идти, не прокладывая новой дороги.

«Но все-таки они понимают, что не нужно уклоняться в сторону, а следует держаться прямой дороги; оттого они никак не могут попасть в тину вонючего болота, в которое погружаются другие на окольной дороге: вот за что заслуживают они уважения».

Нимало. Если мы будем так легко расточать наше уважение всем, кто не делает мерзостей, то принуждены будем согласиться со всеми нелепостями г. Ахшарумова, который именно с этой точки находит какие-то великие патриархальные доблести в Илье Ильиче Обломове[44]. Людей, *«гордых тем, что не вредят»*, очень много на свете; но мы не желаем даже г. Ахшарумову наслаждаться такой гордостью. Идиллистические мечты о счастливом уединении от людей — теперь вовсе некстати. Элемент общественный вступил в свои права, и[45] мы должны рассматривать себя как членов общества, обязанных что-нибудь делать для него, так как иначе мы будем ему вредны уже одним своим тунеядством.

Да и можно ли назвать истинным пониманием и убежде-

нием то смутное, робкое полузнание, которым отличаются доблестные представители лучших стремлений в нашей литературе? По нашему мнению, убеждение и знание только тогда и можно считать истинным, когда оно проникло внутрь человека, слилось с его чувством и волей, присутствует в нем постоянно, даже бессознательно, когда он вовсе о том и не думает. Такое знание, если оно относится к области практической, непременно выразится в действии и не перестанет тревожить человека, пока не будет удовлетворено. Это своего рода жажда, незаглушаемая, неотлагаемая. Когда я мучусь жаждой в безводной равнине и вдруг вижу ручеек, то я брошусь к нему, несмотря на то, что он окружен колючими кустами, из которых выглядывают змеи. Самое худое, что я могу потерпеть в этих кустах,— это смерть; но ведь я все равно умру от жажды, стало быть я ничем не рискую...[46] Так действует и истинное, живое, полное убеждение: человек может подвергаться опасности умереть, добиваясь его осуществления; но это ничего не значит — он точно так же умер бы и оттого, если бы принужден был заглушить свое убеждение... Найдите же хоть в ком-нибудь из добрых юношей нашей литературы такую решительность и полноту убеждения. Не найдете ни в одном.

Но еще это бы ничего: мы уже сказали, что не требуем героизма, а хотим только большей сознательности и определенности стремлений в добрых юношах. И этого не находим. Они заражены очень высоким мнением о своей чистоте и твердости и потому никак не хотят оглянуться вокруг себя и уразуметь хорошенько свои отношения ко всему окружающему. В наивности и неумелости они не уступают самому простодушному из тех людей, которые всю жизнь идут в сторону от прямой дороги, воображая, что — все равно — придут к той же точке. Первое, что представляется в наших юношах, это жалоба на своих спутников. Они хотят идти прямо, но толпа около них стремится в сторону и их тащит за собою; прямостремительные юноши начинают волноваться и шуметь на толпу, зачем она не так идет, начинают жаловаться на толчки, получаемые ими от бегущих мимо их, утверждают наконец, что нет возможности идти прямо, ибо толпа не пускает... Но благонамеренные, прямые юноши не дают себе труда даже подумать серьезно о том, отчего же, однако, их спутники именно в этом месте сворачивают в сторону? Неужели так, по прихоти, без

всякой причины и надобности? Если бы они задали себе этот вопрос, то увидели бы, что причина не в толпе идущих, а в препятствии, стоящем на дороге; что[47] прямую дорогу всякий бы охотнее выбрал, если б не встретилось на ней особенных неудобств, и что вовсе не толпа виновата в том, если прямой путь стремительных юношей затрудняется. Стоило бы немножечко подумать, и все эти жалобы на «среду», на ее неприготовленность[48], пошлость и злонамеренность исчезли бы сами собой. Положим, что и «среду» похвалить не за что: вместо того чтобы проложить прямую дорогу, она делает такие крюки, из которых потом выбраться не может: это очень глупо и нерасчетливо. Но ведь и юноши-то сами не пролагают дороги, а толкутся на одном месте в безделье и недоумении, сваливая вину на других и даже не понимая, что другие изменяют прямое направление решительно по той же самой причине, по которой они сами останавливаются. Доблестные юноши мало имеют человечества в груди и смотрят на все как-то официально, при всей видимой вражде своей ко всякой формалистике; они воображают, что человек идет в сторону и делает подлости именно потому, что уж это такое его назначение, так сказать — должность, чтобы делать подлости; а не хотят подумать о том, что, может быть, этому человеку и очень бы хотелось пройти прямо и не сделать подлости, и он очень бы рад был, если б кто привел его прямой дорогой,— да не оказалось к тому близкой возможности. Благонамеренные юноши восстают ужаснейшим манером, например, на взяточников, на дурных помещиков, на светских фатов и т. п. Все это прекрасно и благородно: но, во-первых, бесплодно, а во-вторых — даже и не вполне справедливо. В официальной сухости своих понятий о людях и в самообольщении собственной гордости добрые юноши полагают, что только им одним доступны человеческие стремления, а другие все уже совершенно им чужды. Они воображают, что чиновник чувствует особенное наслаждение от неправого разрешения дела, что помещик от природы призван к тому, чтобы сечь и[49] обременять работами своих крестьян, что светский франтик бывает наверху блажества, ломая свои ноги еженощно в течение целой зимы и просиживая по целым часам за своим туалетом. Юноши никак не хотят понять того, что все это делается вследствие общего человеческого стремления — найти себе возможно лучшее положение, обеспечить себе возможность свободной и покойной жизни. Сделайте

так, чтобы чиновнику было равно выгодно — решать ли дела честно или нечестно,— неужели вы думаете, что он все-таки стал бы кривить душой по какому-то темному, дьявольскому влечению натуры? Дайте делам такое устройство, чтобы «расправы» с крестьянами не могли приводить помещика ни к чему, кроме строгого суда и наказания,— вы увидите, что «расправы» прекратятся. Поставьте какого угодно фата, даже аристократической породы и военного звания, в такое общество, в котором танцмейстерское совершенство встречается с насмешливой улыбкой, на туалет не обращают внимания и предъявляют человеку более серьезные требования: и он — даже он! — сделается серьезнее[50]. Надеемся, что против этих положений спорить не станут: о них уже так часто и так много говорено было в «Современнике»[51], а теперь мы встречаем повторение тех же мыслей и в других изданиях[52]. На такой мысли основана даже целая повесть г. Плещеева «Пашинцев», напечатанная в прошлом году в «Русском вестнике». Пашинцев этот — ни то ни се, «ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет»; есть у него и хорошие наклонности, и не глуп он, и сердце у него доброе, но воспитан он дурно, и фатства в нем много. Приехавши из Петербурга в губернский город, он попадает в идеально хорошую семью и начинает серьезно работать над своим развитием; но, познакомившись с обществом губернским и получив там некоторые успехи, он опять тонет в его грязи и пошлости. В заключение здравомысл повести — г. Заборский повторяет о нем старую песню — что его «среда заела!». Мы против этого и не спорим; мы требуем только продолжения и распространения этой мысли. Пашинцев, как и множество других героев повестей этого рода, вовсе не представляет феномена; вся среда, заедающая его, состоит именно из таких же людей, как и он сам: у всех есть добрые наклонности, но нет инициативы в характере, нет решимости на самостоятельную деятельность. Теперь обратитесь же к каждому из членов этой «среды» с вопросом г-жи Простаковой: портной учился у другого, другой у третьего, и т. п... То есть — одного заела среда, другого среда, третьего среда, да ведь из этих — одного, другого, третьего — среда-то и состоит; кто же или что же — сделало ее такою заедающею? В чем главная-то причина, корень-то всего?[53] Нам кажется, что благородные юноши, нейдущие по дурной дороге, а стоящие на одном месте, прежде всего на досуге должны были бы об этом подумать и сообразно

с тем расположить свои действия или по крайней мере свои наставления путникам, сворачивающим в сторону.

Между тем юноши вовсе об этом не думают и вымещают свой гнев на первом встречном. В другой повести г. Плещеева, «Благодеяние», это выражается довольно хорошо. Прекрасный юноша Городков принят на службу и облагодетельствован важным лицом; у важного лица правителем канцелярии — Юконцов, взяточник и негодяй; этот Юконцов делается ближайшим начальником Городкова и начинает ему пакостить. Городков, в своей наивности воображающий, что важное лицо и благодетель его только по неведению терпит при себе такого человека, как Юконцов, принимается *вразумлять* благодетеля насчет Юконцова. Понятно, что из этого выходит. Затем благодетель хочет выдать за Городкова свою отцветшую любовницу и делает ему это предложение через Юконцова же. Городков ругает Юконцова и говорит: «Не может быть, чтоб генерал был так низок и бессовестен; это вы сами выдумали нарочно». Разумеется, все это передается генералу, и вслед за тем Городков выгоняется из службы и умирает от чахотки. Спрашивается: какая же причина его гибели? Его же собственная наивность. Вольно же ему было предполагать, что благодетель его так добр и глуп вместе, вольно ему было видеть препятствие для своей честности в Юконцове, который вовсе не был настоящим самостоятельным препятствием, а был (пожалуй, и не теперь, а гораздо прежде, но все-таки был) — таким же несчастным путником, принужденным — или остановиться в начале пути, или уклониться в окольные дорожки, так как прямая дорога была заставлена.

«Так, значит, надо считать главным препятствием это важное лицо, благодетеля Городкова?..» Боже мой, какой наивный вопрос!.. Неужели нужно отвечать на него?.. Нет, нет и тысячу раз нет: благодетель Городкова тоже должен быть отнесен к несчастным и неразумным путникам,— и не только он, но и его начальник, и всякий человек вообще, вся среда...

Кто же виноват во всем этом, где же коренное начало всех этих помех, толчков и беспокойств?

А где начало толчков, которые вы получаете в узком переулке, выводящем к какой-нибудь ярмарочной площади?— Не виноват тут никто: вас толкает и теснит один, потому что его теснит другой, а того третий. Но вся причина в том, что к ярмарочной выставке все спешат, а улица тесна... Хо-

тите не испытывать толчков в своем путешествии для закупок нужных вам вещей? Не деритесь понапрасну с людьми, бегущими вместе с вами,— а постарайтесь устроить вместо кратковременной ярмарки постоянный торг да сделайте улицу пошире. Тогда и не будет никакой давки и «среда» перестанет обременять вас.

Но чтоб устроить такой торг, надо иметь капитал, и довольно большой; а юноши наши тем-то и плохи, что их одолела всяческая скудость и нищета. Недостатку *большого* капитала еще можно бы помочь: недаром у нас ныне развились акционерные компании и все делается на паях и в складчину. Но, к несчастию, этим беднякам и в складчине-то, участвовать нечем: ничего-то они не умеют, ничего не знают, ни на что не годятся. Ежели их дожидаться, то придется капитал составлять медленнее, чем Акакий Акакиевич скапливал деньги на шинель[54]. Вместе с прекрасными желаниями в них господствует такая вялость, запуганность, такое младенчество воззрения, что на них столько же мало надежды в практическом отношении, как и на пустейших фатов и закоренелых взяточников. У г. Плещеева (мы берем примеры только из его повестей, но могли бы привести и много других), например, Костин — чего, кажется, добродетельнее? А между тем припомните эту повесть (она была в «Современнике»): какая наивность, какое незнание жизни, какая неопределенность в средствах и цели и какая бедность средств у этого прекрасного, безукоризненного юноши!.. Он умирает в чахотке (безукоризненные герои у г. Плещеева, подобно как и у г. Тургенева и других, умирают от изнурительных болезней), ничего нигде не сделавши; но мы не знаем, что бы мог он делать на свете, если бы даже и не подвергся чахотке и не был беспрерывно заедаем средою. Нам пришло в голову: что, если бы Костина поселить в Англии, не давши ему, разумеется, готового содержания; что бы он стал там делать, на что бы годился?.. По всей вероятности, и там умер бы с голоду, если бы не нашел случая давать уроки русского языка... Да там о нем и не пожалели бы, потому что людей, одаренных благонамеренностью, но не запасшихся мужеством[55] и средствами для осуществления своих благих намерений, там давно уже перестали ценить.

Признаемся, мы бы не стали всего этого говорить по поводу повестей г. Плещеева, если бы видели, что он сам не возвышается над поклонением благонамеренности своих

героев. Но мы заметили в нем и другое, более простое и правильное отношение к ним, в котором уже обнаруживается требование дела, а не одних желаний и надежд. Если г. Плещеев с преувеличенною симпатией рисует нам своих Костиных и Городковых, так это, конечно, зависит от того, что других, более выдержанных практических типов, в том же направлении, до сих пор еще не предоставляло русское общество. Что же делать? Недавно мы видели, как один из талантливейших наших писателей пробовал создание дельного, практического характера и как ему мало удалось это создание, несмотря на то, что он взял еще нерусского человека и[56] дал ему такую цель жизни, которая представляла полную возможность наполнить его историю самой живой деятельностью...[57] Видно, еще не пришло время создания деятельных и твердых и в то же время честных характеров в нашей литературе. Но оно приближается: самые попытки доказывают это, как бы они ни были неудачны. А с другой стороны, о том же самом свидетельствует и распространение иронического воззрения на всех «лишних людей», которым так много симпатизировали прежде[58].

Это ироническое отношение замечаем мы и во многих повестях г. Плещеева. Его герои вообще разделяются на три разряда: одни умирают от чахотки — это лучшие (смотри выше); другие спиваются с кругу — это тоже не совсем дурные; третьи устраиваются так себе, женятся на богатых, успешно служат и т. п. — это уже совсем пустые. Собственно говоря, если смотреть с общественной точки, то между этими тремя разрядами разницы оказывается мало: все бездельничают — не столько потому, что нельзя ничего делать, сколько потому, что ленивы и ничего не умеют, и все губят себя и тех, кто их любит, не по злости и не с намерением, а просто по невинности рассудка и по бесхарактерности. Поземцев (в повести «Признание»), принадлежащий к последнему разряду, женится и губит свою жену, грубым образом заводя связь с какой-то кокеткой и делая жене бессовестные упреки; Буднев, второго разряда, точно так же бестолково женится и губит свою жену тем, что влюбляется в какую-то девчонку, на которую тратится, скрывает от жены причину своих долгих отлучек, своей печали и наконец запивает горькую. Так точно Пашинцев (удостоенный автором даже несчастной смерти) расстраивает семейное счастие, принявшись «развивать» и привязавши к себе девушку, к которой сам ничего не чувствовал и которая была уже

невестой другого; то же самое делает и Ивельев, принадлежащий к самому последнему разряду (в «Шалости»). Положим, что Ивельев это делает просто от безделья, из праздного любопытства, а Пашинцев с долею искреннего убеждения, что он принесет пользу девушке; но результаты-то одни и те же. Как видите, если сделать résumé из повестей г. Плещеева, то выйдет, что хорошо толкующие и благонамеренные юноши не могут даже «гордиться тем, что не вредят». Костин, Заборский, правда, не делают того, что другие; но и они, по неумению соображать свои средства с предстоящим им делом, тоже скорее способны вредить тем, кто их любит, нежели приносить пользу. Костин, например, совершенно безвинно сделался причиной страданий бедной женщины, полюбившей его, жены того помещика, у которого он был учителем детей; и беда была не в том, что она полюбила его, а в том, что он ничего не мог для нее сделать, не мог даже убежать никуда с нею, так как сам не имел ни пристанища, ни копейки, да и никакого таланта за душою.

Разумеется, если рассуждать психологически, то мы никак не поставим Костина на одну доску с каким-нибудь Поземцевым или даже Пашинцевым. Как можно! Но в отношении к делу от них от всех, по нашему мнению, один толк. Вот почему нам приятно то отрицательное, насмешливое отношение автора к подобным героям, какое мы видим в «Шалости», в «Наследстве», в «Признании» и др. Нам кажется только, что такое отношение надобно еще распространить... Нам теперь вовсе не нужны люди с хорошими мечтами и с идиллическими ожиданиями. Мы пожили довольно, стали несколько опытны и сами уже большею частию понимаем, что хорошее — хорошо, а дурное — дурно. Руководителей для этого нам не нужно. Даже для искоренения общественных неправд не так уже нужно слово убеждения, как нужно практическое пособие. Мошенничать, обманывать, извиваться, ползать, топтать других и каждую минуту бояться за себя, чтоб тоже не затоптали,— это никому не может быть приятно, за это никто не станет особенно держаться. Поэтому нечего кричать людям: не ползите, а идите прямо, не купайтесь в луже, не ешьте гнилого хлеба; это всякий рад сделать и без нас. А нужно позаботиться, чтобы выровнять дорогу, заготовить свежего провианта. Иначе самые искренние, благонамеренные крики будут иметь то же значение, как и фразистая подделка под филантропию, и какой-нибудь современный Костин рискует

быть поставлен на одну доску с г. Кокоревым: от воззваний того и другого польза одинаковая[59].

Нечего опасаться, что практические начинания дельных людей встретят противодействие в «среде». Среда эта, по преимуществу состоящая из людей добродушных, спокойных и даже отчасти апатичных, довольно живо и верно изображена во многих повестях г. Плещеева, даже чисто анекдотического характера. Из всех этих рассказов, сцен и описаний этого простого быта без всяких претензий можно видеть, что, при всей видимой апатии и неразвитости этих людей, есть и у них что-то гнетущее, от чего они хотели бы избавиться, есть[60] смутное сознание неудовлетворительности своего положения. Уже одна возможность таких историй, какая описана в повести «Отец и дочь», с казначеем, у которого начальник взял казенные деньги без расписки и потом отрекся,— или хоть таких, как в «Чиновнице», где назначение чиновника на место зависит от горничной жены важного[61] начальника,— одна возможность таких происшествий должна пробуждать чувство положительного недовольства[62]. Никакого сомнения не может быть в том, что все эти «отсталые, невежественные, закоснелые в рутине» и пр. и пр. люди, как их честят прогрессивные юноши, с радостью примут все, что может им доставить прочные гарантии в общественной жизни и возможность, не мошенничая, пользоваться ее благами[63]. Только не накидывайтесь на них без всякого права и резона, не требуйте от них того, за что не можете вознаградить их. У них нет самоотвержения, нет и инициативы: в этом их горе, их вина, если хотите. Но ведь инициативою-то в своем характере и вы не можете похвастать, о добродетельные и благонамеренные юноши, выставленные нам напоказ нашей литературою! Самоотвержение ваше тоже более отрицательное и пассивное, так что мы значительную долю его приписываем лени, обломовщине. Вы не лезете за неправым стяжанием и почетом, за чинами, орденами и отличиями[64], за домами и деревнями: так,— да ведь вы и ни за чем не лезете. Конечно, Тентетников не ездит покупать мертвых душ, как Чичиков; да он, если бы и захотел, так не мог и не сумел бы этого сделать; он и в своем-то имении не выдержал, упрыгался на первых же порах и прекратил всякий надзор над работами. Что же тут за самоотвержение? Этаким-то самоотвержением Обломов и выработал себе свой характер.

Да, перечитывая повести г. Плещеева, мы всего более

рады были в них веянию этого духа сострадательной насмешки над платоническим благородством людей, которых так возносили иные авторы. Начальные типы пустых либеральчиков, без всякого уже сочувствия к ним,— набросаны уже были в некоторых повестях г. Тургенева. Но у г. Тургенева эти господа были постоянно второстепенными лицами и как бы оттеняли собою главных героев, которые уже истинно проникнуты благонамеренностью и действительно «заедены средою», вроде того, как Паншин при Лаврецком или Пигасов при Рудине. У г. Плещеева эти люди — главные, они составляют часто основу и цель повести, и из их изображений все более выясняется требование дела и дела вместо громких слов, младенческих мечтаний, несбыточных надежд и верований.

Было одно время, когда воспевалась любовь к женщине и над страданиями платонических любовников читательницы проливали слезы, а читатели меланхолически задумывались. Потом стали смеяться над платонической любовью, и платонические горести ни в ком уже не встречали особенного сочувствия. Каким-то странным случаем дело повернулось у нас на общественные вопросы, и вот мы двадцать лет читали повести и романы, в которых воспевалась *платоническая любовь к общественной деятельности,* платонический либерализм и благородство. Над этим новым платонизмом тоже проливали слезы и задумывались; но пора очнуться от этого. Если платонизм в женской любви смешон, то в тысячу раз смешнее платонизм в любви к родине, к народу, к правде и пр.

Мы надеемся, что слова наши не покажутся никому странными и непонятными: в то время, когда все проникнуто стремлением к положительности и реализму, можно ожидать одобрения мысли о том, что платоническая, бездеятельная, плаксивая и отвлеченная любовь к общему делу никуда не годится. Можно, кажется, надеяться и на то, что наши будущие талантливые повествователи дадут нам героев с более здоровым содержанием и деятельным характером, нежели все платонические любовники либерализма, являвшиеся в повестях школы, господствовавшей до сих пор.

10 Заказ 1079

# ПИСЬМО ИЗ ПРОВИНЦИИ

*Январь 1860 года*

Милостивый государь!

На чужой стороне в далекой Англии вы, по собственным словам вашим, возвысили голос за русский народ, угнетаемый царскою властью; вы показали России, что такое свободное слово[1]... и зато, вы это уже знаете, все, что есть живого и честного в России, с радостью, с восторгом встретило начало вашего предприятия, и все ждали, что вы станете обличителем царского гнета, что вы раскроете перед Россией источник ее вековых бедствий,— это несчастное идолопоклонство перед царским ликом, обнаружите всю гнусность верноподданнического раболепия. И что же? Вместо грозных обличений неправды с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II[2], его супруге (столь пекущимся о любезном вам православии с отцом Бажановым). Вы взяли на себя великую роль, и потому каждое ваше слово должно быть глубоко взвешено и рассчитано, каждая строка в вашей газете должна* быть делом расчета, а не увлечения: увлечение в деле политики бывает иногда хуже преступления... Помните ли, когда-то вы сказали, что России при ее пробуждении может предстоять опасность, если либералы и народ не поймут друг друга, разойдутся, и что из этого может выйти страшное бедствие — новое торжество царской власти. Может быть, это пробуждение недалеко; царские шпицрутены, щедро раздаваемые верноподданным за разбитие царских кабаков[3], разбудят Россию скорее, чем шепот нашей литературы о народных бедствиях, скорее мерных ударов вашего *«Колокола»*...

---

* В «Колоколе» опечатка: должны.— *Ред.*

Но чем ближе пробуждение, тем сильнее грозит опасность, о которой вы говорили... и об отвращении которой вы не думаете... По всему видно, что о России настоящей вы имеете ложное понятие. Помещики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкивают вас надеждами на прогрессивные стремления нашего правительства. Но не все же в России обманываются призраками... Дело вот в чем: к концу царствования Николая все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны, и что то, что дается, то легко и отнимается. Николай умер, все обрадовались, и энергические мысли заменились сладостными надеждами, и поэтому теперь становится жаль Николая. Да я всегда думал, что он скорее довел бы дело до конца; машина давно бы лопнула. Но Николай сам это понимал и при помощи Мандта предупредил неизбежную и грозную катастрофу[4]. Война шла дурно, удар за ударом, поражение за поражением — глухой ропот поднимался из-под земли! Вы писали в первой* *«Полярной Звезде»*, что народ в эту войну шел вместе с царем, и потому царь будет зависеть от народа[5]. Из этих слов видно только, что вы в вашем *прекрасном далеко* забыли, что такое русские газеты, и на слово поверили их возгласам о народном одушевлении за отечество. Правда, иногда случалось, что крепостные охотно шли в ополчение, не только потому, что они надеялись за это получить свободу. Но чтоб русский народ в эту войну заодно шел с царем,— нет. Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа[6], и смело скажу вам вот что: когда англо-французы высадились в Крым, то народ ждал от них освобождения, крепостные от помещичьей неволи, раскольники ждали от них свободы вероисповедания. Подумайте об этом расположении умов народа в конце царствования Николая, а вместе с тем о раздражении людей образованных, нагло на каждом шагу оскорбляемых николаевским деспотизмом, и мысль, что незабвенный мог бы не так спокойно кончить жизнь, не покажется вам мечтою. Да, как говорит какой-то поэт, счастье было так близко, так возможно[7]. Тогда люди прогресса из так называемых образованных сословий не разошлись бы с народом; а теперь это возможно, и вот почему: с начала

* То есть в первом номере «Полярной звезды».— *Ред.*

царствования Александра II немного распустили ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны, а после издания рескриптов все очутились в чаду, как будто дело было кончено, крестьяне свободны и с землей; все заговорили об умеренности, об мирном* прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою. Поднялся такой чад от либеральных курений Александру II, что ничего нельзя было разглядеть, но, опустившись к земле (что делают крестьяне во время топки в курных избах), можно еще было не отчаиваться. Вслушиваясь в крестьянские толки, можно было с радостию видеть, что народ не увлекут** 12 лет рабства под гнетом переходного состояния, и что мысль, наделят ли крестьян землею, у народа была на первом плане. А либералы? Профессора, литераторы пустили тотчас же в ход эстляндские, прусские и всякие положения, которые отнимали у крестьян землю[8]. Догадливы наши либералы! Да и теперь большая часть из них еще не разрешила себе вопроса насчет крестьянской земли. А в правительстве в каком положении в настоящее время крестьянский вопрос? В большой части губернских комитетов положили страшные цены за земли; центральный комитет делает черт знает что: сегодня решает отпускать с землею, завтра без земли, даже, кажется, не совсем брошена мысль о переходном состоянии[9]. Среди этих бесполезных толков желания крестьян растут; при появлении рескриптов можно было еще спокойно взять за землю дорогую цену, крестьяне охотно бы заплатили, лишь бы избавиться от переходного состояния; теперь они спохватились уже, что нечего платить за вещь 50 целковых, которая стоит семь[10]. Вместе с этим растут и заблуждения либералов: они все еще надеются мирного и безобидного для крестьян решения вопроса. Одним словом, крестьяне и либералы идут в разные стороны. Крестьяне, которых помещики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением, готовы с отчаяния взяться за топоры, а либералы проповедуют в эту пору умеренность, исторический постепенный прогресс и кто их знает что еще. Что из этого выйдет? Выйдет ли из этого, в случае, если народ без руководителей возьмется за топор, путаница, в которой царь, как в мутной воде, половит рыбки, или выйдет что-

* В «Колоколе» напечатано: «обширном».— *Ред.*
** В «Колоколе» напечатано: «не увлечет».— *Ред.*

нибудь и хорошее, но вместе с Собакевичами и Ноздревыми погибнет и наше всякое либеральное поколение, не сумевши пристать к народному движению и руководить им? Если выйдет первое, то ужасно; если второе, то, разумеется, жалеть нечего. Что жалеть об этих франтах в желтых перчатках, толкующих о *демокраси* в Америке[11] и не знающих, что делать дома, об этих франтах, проникнутых презрением к народу, уверенных, что из русского народа ничего не выйдет, хотя в сущности не выйдет из них-то ничего... Но об этих господах толковать нечего, есть другого сорта люди, которые желают действительно народу добра, но не видят перед собою пропасти и с пылкими надеждами, увлеченные в общий водоворот умеренности, ждут всего от правительства и дождутся, когда их Александр засадит в крепость за пылкие надежды, если они будут жаловаться, что последние не исполнились, или народ подведет (их) под один уровень с своими притеснителями. Что же сделано вами для отвращения этой грядущей беды? Вы, смущенные голосами либералов-бар, вы после первых номеров «Колокола» переменили тон. Вы заговорили благосклонно об августейшей фамилии; об августейших путешественниках говорили уже иначе, чем об августейшей путешественнице. Зато с особенною яростью напали на Орловых, Паниных, Закревских. В них беда, они мешают Александру II! Бедный Александр II! Мне жаль его; видите, его принуждают так окружать себя — бедное дитя, мне жаль его! Он желает России добра, но злодеи окружающие мешают ему![12] И вот вы, вы, автор *«С того берега»* и *«Писем из Италии»*, поете ту же песню, которая сотни лет губит Россию. Вы не должны ни минуты забывать, что он — самодержавный царь, что от его воли зависит прогнать всех этих господ, как он прогнал Клейнмихеля. Но Клейнмихеля нужно было ему прогнать по известному правилу Маккиавели — в новое царствование жертвовать народной ненависти любимым министром прежнего царствования, и вот Клейнмихель очутился козлом очищения за царствование Николая. Согласитесь, ведь жертва ничтожна? Но как бы то ни было, либералы восторгались и этим фактом, забыв, что Николай также прогнал Аракчеева; что же из этого? Неужели на эту удочку всегда будут поддаваться? Или, может быть, вы серьезно убеждены, что Александр слушается вашего *«Колокола»?* Полноте... Сколько раз вы кричали: «долой Закревского, долой старого холопа!», а старый хо-

лоп все правил Москвой, пока собственная дочь не уходила его[13]. Да разве Москва за свою глупую любовь к царям стоит лучшего губернатора? Будет с нее и такого... Говорят даже, Александр II нарочно его держал губернатором, чтобы не показать, что он слушает *«Колокола»*. Это может быть. И это нисколько не противоречит слуху, что вы переписываетесь с императрицей.* Что же, она может вас уверять, что муж ее желает России счастия и даже свободы, но что теперь рано. Так обольстил, по рассказу Мицкевича, Николай I Пушкина[14]. Помните ли этот рассказ, когда Николай призвал к себе Пушкина и сказал ему: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал; но, верь мне, я так же люблю Россию, я — не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться». И 30 лет укреплял он русский народ. Может быть, это анекдот — и выдумка, но он — в царском духе, то есть брать обольщением, обманом там, где неловко употребить силу. Но как бы то ни было, сближение с двором погубило Пушкина... Как ни чисты ваши побуждения, но, я уверен, придет время, вы пожалеете о своем снисхождении к августейшему дому. Посмотрите, Александр II скоро покажет николаевские зубы. Не увлекайтесь толками о нашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте; во время великого крестьянского вопроса нам дали на потеху, для развлечения нашего внимания безыменную гласность; но чуть дело коснется дела, тут и прихлопнут. Так и теперь господин Галилеянин запретил писать о духовенстве и об откупах[15]. Нет, не обманывайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других, не отнимайте энергии, когда она многим пригодилась бы. Надежда в деле политики — золотая цепь, которую легко обратить в кандалы подающей ее. В то время, как вы так снисходительны стали к августейшему дому, само православие в лице умнейших своих представителей желало бы отделаться от союза с ним. Да, в духовенстве являются люди, которые прямо говорят, что правительство своею опекою убьет православие, но, к счастью, ни Григорий, ни Филарет не понимают этого! Так пусть они вместе гибнут, но вам какое дело до этих догнивающих трупов? Притом Галилеянин продолжает так ревновать о вере, что раскольники толпами бегут в Австрию и Турцию, даже вешают у себя на стенах портреты Франца-Иосифа вместо

* Примечание А. И. Герцена: «Неужели речь идет о моем письме к императрице Марии Александровне о воспитании наследника?»

Александра II. Вот подарок славянофилам! Что, если Франц-Иосиф вздумает дать австрийским славянам свободную конституцию? Ведь роли между Голштинцами[16] и Габсбургами переменятся. Вот была бы потеха. Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали[17], и оно удивительно верно,— другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш *«Колокол»* благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать.

С глубоким к вам уважением

*Русский человек.*

Я просил бы напечатать вас это письмо, и если вы печатаете письма врагов ваших, то отчего же бы не напечатать письмо одного из друзей ваших?

# КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ?[1]

(«НАКАНУНЕ»,
ПОВЕСТЬ И. С. ТУРГЕНЕВА
«РУССКИЙ ВЕСТНИК»,
1860, № 1)

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht*[1]
*Heine*

Эстетическая критика сделалась теперь принадлежностью чувствительных барышень. Из разговоров с ними служители чистого искусства могут почерпнуть много тонких и верных замечаний и затем написать критику в таком роде. «Вот содержание новой повести г. Тургенева (рассказ содержания). Уже из этого бледного очерка видно, как много тут жизни и поэзии самой свежей и благоуханной. Но только чтение самой повести может дать понятие о том чутье к тончайшим поэтическим оттенкам жизни, о том остром психическом анализе, о том глубоком понимании невидимых струй и течений общественной мысли, о том дружелюбном и вместе смелом отношении к действительности, которые составляют отличительные черты таланта г. Тургенева. Посмотрите, например, как тонко подмечены эти психические черты (повторение одной части из рассказа содержания и затем — выписка); прочтите эту чудную сцену, исполненную такой грации и прелести (выписка); припомните эту поэтическую, живую картину (выписка) или вот это высокое, смелое изображение (выписка). Не правда ли, что это проникает в глубину души, заставляет сердце ваше биться сильнее, оживляет и украшает вашу жизнь, возвышает пред вами человеческое достоинство и великое, вечное значение святых идей истины, добра и красоты! Comme c'est joli, comme c'est délicieux!»**

Малому знакомству с чувствительными барышнями одолжены мы тем, что не умеем писать таких приятных и

---

* Бей в барабан и не бойся *(нем.)*.— *Ред.*

** Как это красиво, как это восхитительно! *(франц.)*.— *Ред.*

безвредных критик. Откровенно признаваясь в этом и отказываясь от роли «воспитателя эстетического вкуса публики»,— мы избираем другую задачу, более скромную и более соразмерную с нашими силами. Мы хотим просто подвести итог тем данным, которые рассеяны в произведении писателя и которые мы принимаем как совершившийся факт, как жизненное явление, стоящее пред нами. Работа не хитрая, но нужная, потому что, за множеством занятий и отдыхов, редко кому придет охота самому всмотреться во все подробности литературного произведения, разобрать, проверить и поставить на свое место все цифры, из которых составляется этот сложный отчет об одной из сторон нашей общественной жизни, и затем подумать об итоге и о том, что он обещает и к чему нас обязывает. А такого рода проверка и размышление очень небесполезны по поводу новой повести г. Тургенева.

Мы знаем, что чистые эстетики сейчас же обвинят нас в стремлении навязывать автору свои мнения и предписывать задачи его таланту. Поэтому оговоримся, хоть это и скучно. Нет, мы ничего автору не навязываем, мы заранее говорим, что не знаем, с какой целью, вследствие каких предварительных соображений изобразил он историю, составляющую содержание повести «Накануне». Для нас не столько важно то, что *хотел* сказать автор, сколько то, что *сказалось* им, хотя бы и не намеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни. Мы дорожим всяким талантливым произведением именно потому, что в нем можем изучать факты нашей родной жизни, которая без того так мало открыта взору простого наблюдателя. В нашей жизни до сих пор нет публичности, кроме официальной; везде мы сталкиваемся не с живыми людьми, а с официальными лицами, служащими по той или другой части: в присутственных местах — с чистописателями, на балах — с танцорами, в клубах — с картежниками, в театрах — с парикмахерскими пациентами и т. д. Всякий хоронит дальше свою душевную жизнь; всякий так и смотрит на вас, как будто говорит: «Ведь я сюда пришел, чтоб танцевать или чтоб прическу показать; ну, и будь доволен тем, что я делаю свое дело, и не вздумай, пожалуйста, выпытывать от меня мои чувства и понятия». И действительно — никто никого не выпытывает, никто никем не интересуется, и все общество идет врозь, досадуя, что должно сходиться в официальных случаях вроде новой оперы, званого обеда

или какого-нибудь комитетского заседания. Где же тут узнать и изучить жизнь человеку, не посвятившему себя исключительно наблюдению общественных нравов? А тут еще какое разнообразие, какая даже противоположность в различных кругах и сословиях нашего общества! Мысли, сделавшиеся в одном круге уже пошлыми и отсталыми, в другом еще жарко оспариваются; что у одних признается недостаточным и слабым, то другим кажется слишком резким и смелым, и т. п. Что падает, что побеждает, что начинает водворяться и преобладать в нравственной жизни общества — на это у нас нет другого показателя, кроме литературы, и преимущественно художественных ее произведений. Писатель-художник, не заботясь ни о каких общих заключениях относительно состояния общественной мысли и нравственности, всегда умеет, однако же, уловить их существеннейшие черты, ярко осветить и прямо поставить их пред глазами людей размышляющих. Вот почему и полагаем мы, что как скоро в писателе-художнике признается талант, то есть уменье чувствовать и изображать жизненную правду явлений, то уже в силу этого самого признания произведения его дают законный повод к рассуждениям о той среде, о жизни, о той эпохе, которая вызвала в писателе то или другое произведение. И меркою для таланта писателя будет здесь то, до какой степени широко захвачена им жизнь, в какой мере прочны и многообъятны те образы, которые им созданы.

Мы сочли нужным высказать это для того, чтобы оправдать свой прием — толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения, не навязывая, впрочем, автору никаких заранее сочиненных идей и задач. Читатель видит, что для нас именно те произведения и важны, в которых жизнь сказалась сама собою, а не по заранее придуманной автором программе. О «Тысяче душ», например, мы вовсе не говорили[2], потому что, по нашему мнению, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее. Стало быть, тут не о чем толковать кроме того, в какой степени ловко составил автор свое сочинение. Положиться на правду и живую действительность фактов, изложенных автором, невозможно, потому что отношение его к этим фактам не просто и не правдиво. Совсем не такие отношения автора к сюжету видим мы в новой повести г. Тургенева, как и в большей части его повестей. В «Накануне» мы видим неотразимое влияние

естественного хода общественной жизни и мысли, которому невольно подчинилась сама мысль и воображение автора.

Поставляя главной задачею литературной критики — разъяснение тех явлений действительности, которые вызвали известное художественное произведение, мы должны заметить притом, что в приложении к повестям г. Тургенева эта задача имеет еще особенный смысл. Г-на Тургенева по справедливости можно назвать представителем и певцом той морали и философии, которая господствовала в нашем образованном обществе в последнее двадцатилетие. Он быстро угадывал новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях непременно обращал (сколько позволяли обстоятельства) внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество. Мы надеемся при другом случае проследить всю литературную деятельность г. Тургенева и потому теперь не станем распространяться об этом. Скажем только, что этому чутью автора к живым струнам общества, этому уменью тотчас отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще начинающее проникать в сознание лучших людей, мы приписываем значительную долю того успеха, которым постоянно пользовался г. Тургенев в русской публике. Конечно, и литературный талант сам по себе много помог этому успеху. Но читатели наши знают, что талант г. Тургенева не из тех титанических талантов, которые, единственно силою поэтического представления, поражают, захватывают вас и влекут к сочувствию такому явлению или идее, которым вы вовсе не расположены сочувствовать. Не бурная, порывистая сила, а напротив — мягкость и какая-то поэтическая умеренность служат характеристическими чертами его таланта. Поэтому мы полагаем, что он не мог бы вызвать общую симпатию публики, если бы касался вопросов и потребностей, совершенно чуждых его читателям или еще не возбужденных в обществе. Некоторые заметили бы прелесть поэтических описаний в его повестях, тонкость и глубину в очертаниях разных лиц и положений, но, без всякого сомнения, этого было бы недостаточно для того, чтобы сделать прочный успех и славу писателю. Без живого отношения к современности всякий, даже самый симпатичный и талантливый, повествователь должен подвергнуться участи г. Фета, которого и хвалили когда-то, но из которого теперь только десяток любите-

лей помнит десяток лучших стихотворений. Живое отношение к современности спасло г. Тургенева и упрочило за ним постоянный успех в читающей публике. Некоторый глубокомысленный критик даже упрекал когда-то г. Тургенева за то, что в его деятельности так сильно отразились «все колебания общественной мысли»[3]. Но мы, несмотря на это, видим здесь именно самую жизненную сторону таланта г. Тургенева и этой стороной объясняем, почему с такой симпатией, почти с энтузиазмом, встречалось до сих пор каждое его произведение.

Итак, мы можем сказать смело, что если уже г. Тургенев тронул какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь новую сторону общественных отношений — это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно подымается или скоро подымется в сознании образованного общества, что эта новая сторона жизни начинает выдаваться и скоро выкажется резко и ярко пред глазами всех. Поэтому каждый раз при появлении повести г. Тургенева делается любопытным вопрос: какие же стороны жизни изображены в ней, какие вопросы затронуты?

Вопрос этот представляется и теперь, и в отношении к новой повести г. Тургенева он интереснее, чем когда-либо. До сих пор путь г. Тургенева, сообразно с путем развития нашего общества, был довольно ясно намечен в одном направлении. Исходил он из сферы высших идей и теоретических стремлений и направлялся к тому, чтобы эти идеи и стремления внести в грубую и пошлую действительность, далеко от них уклонившуюся. Сборы на борьбу и страдания героя, хлопотавшего о победе своих начал, и его падение пред подавляющею силою людской пошлости — и составляли обыкновенно интерес повестей г. Тургенева. Разумеется, самые основания борьбы, то есть идеи и стремления,— видоизменялись в каждом произведении, или, с течением времени и обстоятельств, выказывались более определенно и резко. Таким образом, Лишнего человека сменял Пасынков, Пасынкова — Рудин, Рудина — Лаврецкий. Каждое из этих лиц было смелее и полнее предыдущих, но сущность, основа их характера и всего их существования была одна и та же. Они были вносители новых идей в известный круг, просветители, пропагандисты — хоть для одной женской души, да пропагандисты. За это их очень хвалили, и точно — в свое время они, видно, очень нужны были, и дело их было очень

трудно, почтенно и благотворно. Недаром же все встречали их с такой любовью, так сочувствовали их душевным страданиям, так жалели об их бесплодных усилиях. Недаром никто тогда и не думал заметить, что все эти господа — отличные, благородные, умные, но, в сущности, бездельные люди. Рисуя их образы в разных положениях и столкновениях, сам г. Тургенев относился к ним обыкновенно с трогательным участием, с сердечной болью об их страданиях и то же чувство возбуждал постоянно в массе читателей. Когда один мотив этой борьбы и страданий начинал казаться уже недостаточным, когда одна черта благородства и возвышенности характера начинала как будто покрываться некоторой пошлостью, г. Тургенев умел находить другие мотивы, другие черты, и опять попадал в самое сердце читателя, и опять возбуждал к себе и своим героям восторженную симпатию. Предмет казался неистощимым.

Но в последнее время в нашем обществе обнаружились требования, совершенно отличные от тех, которыми вызван был к жизни Рудин и вся его братия. В отношении к этим лицам в понятиях образованного большинства произошло коренное изменение. Вопрос пошел уже не о видоизменении тех или других мотивов, тех или других начал их стремлений, а о самой сущности их деятельности. В течение того периода времени, пока рисовались перед нами все эти просвещенные поборники истины и добра, красноречивые страдальцы возвышенных убеждений, подросли новые люди, для которых любовь к истине и честность стремлений уже не в диковинку. Они с детства, неприметно и постоянно, напитывались теми понятиями и стремлениями, для которых прежде лучшие люди должны были бороться, сомневаться и страдать в зрелом возрасте*. Поэтому самый характер образования в нынешнем молодом обществе получил другой

---

* Нас уже упрекали однажды в пристрастии к молодому поколению и указывали на пошлость и пустоту, которой оно предается в большей части своих представителей[4]. Но мы никогда и не думали отстаивать всех молодых людей огулом, да это и несогласно было с нашей целью. Пошлость и пустота составляют достояние всех времен и всех возрастов. Но мы говорили, и теперь говорим, о людях избранных, людях лучших, а не о толпе, так как и Рудин и все люди его закала принадлежали ведь не к толпе же, а к лучшим людям своего времени. Впрочем, мы не будем неправы, если скажем, что и в массе общества уровень образования в последнее время все-таки возвысился.

цвет. Те понятия и стремления, которые прежде давали титло передового человека, теперь уже считаются первой и необходимой принадлежностью самой обыкновенной образованности. От гимназиста, от посредственного кадета, даже иногда от порядочного семинариста вы услышите ныне выражение таких убеждений, за которые в прежнее время должен спорить и горячиться, например, Белинский. И гимназист или кадет высказывают эти понятия — так трудно, с бою доставшиеся прежде — совершенно спокойно, без всякого азарта и самодовольства, как вещь, которая иначе и быть не может и даже немыслима иначе.

Встречая человека так называемого прогрессивного направления, теперь никто из порядочных людей уже не предается удивлению и восторгу, никто не смотрит ему в глаза с немым благоговением, не жмет ему таинственно руки и не приглашает шепотом к себе, в кружок избранных людей,— поговорить о том, что неправосудие и рабство гибельны для государства. Напротив, теперь с невольным, презрительным изумлением останавливаются перед человеком, который высказывает недостаток сочувствия к гласности, бескорыстию, эмансипации и т. п. Теперь даже люди, в душе не любящие прогрессивных идей, должны показывать вид, что любят их, для того, чтобы иметь доступ в порядочное общество. Ясно, что при таком положении дел прежние сеятели добра, люди рудинского закала, теряют значительную долю своего прежнего кредита. Их уважают как старых наставников; но редко кто, вошедши в свой разум, расположен выслушивать опять те уроки, которые с такою жадностью принимались прежде, в возрасте детства и первоначального развития. Нужно уже нечто другое, нужно идти дальше*.

* Против этой мысли может, по-видимому, свидетельствовать необыкновенный успех, которым встречаются издания сочинений некоторых наших писателей сороковых годов. Особенно ярким примером может служить Белинский, которого сочинения быстро разошлись, говорят, в количестве 12 000 экземпляров[5]. Но, по нашему мнению, этот самый факт служит лучшим подтверждением нашей мысли. Белинский был передовой из передовых, дальше его не пошел ни один из его сверстников, и там, где расхватано в несколько месяцев 12 000 экземпляров Белинского, Рудиным просто делать нечего. Успех Белинского доказывает вовсе не то, что его идеи еще новы для нашего общества и требуют больших усилий для распространения, а именно то, что они дороги и святы теперь для большинства и что их проповедание теперь уж не требует от новых деятелей ни героизма, ни особенных талантов.

«Но,— скажут нам,— ведь общество не дошло же до крайней точки в своем развитии; возможно дальнейшее совершенствование умственное и нравственное. Стало быть, нужны для общества и руководители, и проповедники истины, и пропагандисты, словом — люди рудинского типа. Все прежнее принято и вошло в общее сознание,— положим. Но это не исключает возможности того, что явятся новые Рудины, проповедники новых, высших тенденций, и опять будут бороться и страдать и опять возбуждать к себе симпатию общества. Предмет этот действительно неистощим в своем содержании и постоянно может приносить новые лавры такому писателю, как г. Тургенев».

Жалко было бы, если бы подобное замечание оправдалось именно теперь. К счастию, оно, кажется, опровергается последним движением литературы нашей. Рассуждая отвлеченно, нельзя не сознаться, что мысль о вечном движении и вечной смене идей в обществе, а следовательно, и о постоянной необходимости проповедников этих идей — вполне справедлива. Но ведь нужно же принять во внимание и то, что общества живут не затем только, чтоб рассуждать и меняться идеями. Идеи и их постепенное развитие только потому и имеют свое значение, что они, рождаясь из существующих уже фактов, всегда предшествуют изменениям в самой действительности. Известное положение дел создает в обществе потребность, потребность эта сознается, вслед за общим сознанием ее должна явиться фактическая перемена в пользу удовлетворения сознанной всеми потребности. Таким образом, после периода *сознавания* известных идей и стремлений должен являться в обществе период их *осуществления;* за размышлениями и разговорами должно следовать дело. Спрашивается теперь: что же делало наше общество в последние 20—30 лет? Покамест ничего. Оно училось, развивалось, слушало Рудиных, сочувствовало их неудачам в благородной борьбе за убеждения, приготовлялось к делу, но ничего не делало... В голове и сердце накопилось так много прекрасного; в существующем порядке дел замечено так много нелепого и бесчестного; масса людей, «сознающих себя выше окружающей действительности», растет с каждым годом, так что скоро, пожалуй, все будет выше действительности... Кажется, нечего желать, чтоб мы продолжали вечно идти этим томительным путем разлада, сомнения и отвлеченных горестей и утешений. Кажется, ясно,

что теперь нужны нам не такие люди, которые бы еще более «возвышали нас над окружающей действительностью», а такие, которые бы подняли — или нас научили поднять — самую действительность до уровня тех разумных требований, какие мы уже сознали. Словом, нужны люди дела, а не отвлеченных, всегда немножко эпикурейских, рассуждений.

Сознание этого хотя смутно, но уже во многих выразилось при появлении «Дворянского гнезда». Талант г. Тургенева, вместе с его верным тактом действительности, вынес его и на этот раз с торжеством из трудного положения. Он умел поставить Лаврецкого так, что над ним трудно иронизировать, хотя он и принадлежит к тому роду типов, на которые мы смотрим с усмешкой. Драматизм его положения заключается уже не в борьбе с собственным бессилием, а в столкновении с такими понятиями и нравами, с которыми борьба действительно устрашит самого энергического и смелого человека. Он женат и отступился от своей жены; но он полюбил чистое, светлое существо, воспитанное в таких понятиях, при которых любовь к женатому человеку есть ужасное преступление. А между тем она его тоже любит, и его притязания могут беспрерывно и страшно терзать ее сердце и совесть. Над таким положением поневоле задумаешься горько и тяжко, и мы помним, как болезненно сжалось наше сердце, когда Лаврецкий, прощаясь с Лизой, сказал ей: «Ах, Лиза, Лиза! как бы мы могли быть счастливы!» и когда она, уже смиренная монахиня в душе, ответила: «Вы сами видите, что счастье зависит не от нас, а от бога», и он начал было: «Да, потому что вы...» и не договорил... Читатели и критики «Дворянского гнезда», помнится, восхищались многим другим в этом романе[6]. Но для нас существеннейший интерес его заключается в этом трагическом столкновении Лаврецкого, пассивность которого именно в этом случае мы не можем не извинить. Здесь Лаврецкий, как будто изменяя одной из родовых черт своего типа, почти не является даже пропагандистом. Начиная с первой встречи с Лизой, когда она шла к обедне, он во всем романе робко склоняется пред незыблемостью ее понятий и ни разу не смеет приступить к ней с холодными разуверениями. Но и это, конечно, потому, что здесь пропаганда была бы самым делом, которого Лаврецкий, как и вся его братия, боится. При всем том, нам кажется (по крайней мере казалось при чтении романа), что самое положение Лаврецкого,

самая коллизия, изображенная г. Тургеневым и столь знакомая русской жизни,— должна служить сильною пропагандою и наводить каждого читателя на ряд мыслей о значении целого огромного отдела понятий, заправляющих нашей жизнью. Теперь, по разным печатным и словесным отзывам, мы знаем, что были не совсем правы: смысл положения Лаврецкого был понят иначе или совсем не выяснен многими читателями. Но что в нем есть что-то законно-трагическое, а не призрачное — это было понято, и это, вместе с достоинствами исполнения, привлекло к «Дворянскому гнезду» единодушное, восторженное участие всей читающей русской публики.

После «Дворянского гнезда» можно было опасаться за судьбу нового произведения г. Тургенева. Путь создания возвышенных характеров, принужденных смиряться под ударами рока, сделался очень скользким. Посреди восторгов от «Дворянского гнезда» слышались и голоса, выражавшие неудовольствие на Лаврецкого, от которого ожидали больше[7]. Сам автор счел нужным ввести в свой рассказ Михалевича, затем, чтобы тот обругал Лаврецкого байбаком. А Илья Ильич Обломов, появившийся в то же время, окончательно и резко объяснил всей русской публике, что теперь человеку бессильному и безвольному лучше уж и не смешить людей, лучше лежать на своем диване, нежели бегать, суетиться, шуметь, рассуждать и переливать из пустого в порожнее целые годы и десятки лет. Прочитавши Обломова, публика поняла его родство с интересными личностями «лишних людей» и сообразила, что эти люди теперь уж действительно лишние и что от них толку ровно столько же, сколько и от добрейшего Ильи Ильича. «Что же теперь создаст г. Тургенев?» — думали мы и с большим любопытством принялись читать «Накануне».

Чутье настоящей минуты и на этот раз не обмануло автора. Сознавши, что прежние герои уже сделали свое дело и не могут возбуждать прежней симпатии их, и уловивши в нескольких отрывочных проявлениях веяние новых требований жизни, он попробовал стать на дорогу, по которой совершается передовое движение настоящего времени...

В новой повести г. Тургенева мы встречаем другие положения, другие типы, нежели к каким привыкли в его произведениях прежнего периода. Общественная потребность де-

ла, живого дела, начало презрения к мертвым принципам и пассивным добродетелям выразилось во всем строе новой повести. Без сомнения, каждый, кто будет читать нашу статью, уже прочитал теперь «Накануне». Поэтому мы вместо рассказа содержания повести представим только коротенький очерк главных ее характеров.

Героиней романа является девушка с серьезным складом ума, с энергической волей, с гуманными стремлениями сердца. Развитие ее совершилось очень своеобразно, благодаря особенным обстоятельствам семейным.

Отец и мать ее были люди очень ограниченные, но не злые; мать даже положительно отличалась добротою и мягкостию сердца. С самого детства Елена была избавлена от семейного деспотизма, который губит в зародыше так много прекрасных натур. Она росла одна, без подруг, совершенно свободно; никакой формализм не стеснял ее. Николай Артемьич Стахов, отец ее, человек туповатый, но корчивший из себя философа скептического тона и державшийся подальше от семейной жизни, сначала только восхищался своей маленькой Еленой, в которой рано обнаружились необыкновенные способности. Елена, пока была мала, тоже, с своей стороны, обожала отца. Но отношения Стахова к жене были не совсем удовлетворительны: он женился на Анне Васильевне для ее приданого, не питал к ней никакого чувства, обходился с нею почти с пренебрежением и удалялся от нее в общество Августины Христиановны, которая его обирала и дурачила. Анна Васильевна, больная и чувствительная женщина вроде Марьи Дмитриевны «Дворянского гнезда», кротко переносила свое положение, но не могла на него не жаловаться всем в доме, и, между прочим, даже дочери. Таким образом, Елена скоро сделалась поверенною горестей своей матери и становилась невольно судьею между ей и отцом. При впечатлительности ее натуры это имело большое влияние на развитие ее внутренних сил. Чем менее она могла действовать практически в этом случае, тем более представлялось работы ее уму и воображению. Принужденная с ранних лет всматриваться во взаимные отношения близких ей людей, участвуя и сердцем и головой в разъяснении смысла этих отношений и произнесении суда над ними, Елена рано приучила себя к самостоятельному размышлению, к сознательному взгляду на все окружающее. Семейные отношения Стаховых очеркнуты у г. Тургенева очень бегло, но в этом очерке есть глубоко

верные указания, весьма много объясняющие первоначальное развитие характера Елены. По натуре своей она была ребенком впечатлительным и умным; положение ее между матерью и отцом рано вызвало ее на серьезные размышления, рано подняло ее до самостоятельной, до властительной роли. Она становилась в уровень с старшими, делала их подсудимыми пред собою. И в то же время размышления ее не были холодны, с ними сливалась вся душа ее, потому что дело шло о людях слишком близких, слишком дорогих для нее, об отношениях, с которыми связаны были самые святые чувства, самые живые интересы девочки. Оттого-то ее размышления прямо отражались на ее сердечном расположении: от обожания отца она перешла к страстной привязанности к матери, в которой она стала видеть существо притесненное, страдающее. Но в этой любви к матери не было ничего враждебного к отцу, который не был ни злодеем, ни положительным дураком, ни домашним тираном. Он был только весьма обыкновенной посредственностью, и Елена охладела к нему, инстинктивно, а потом, может, и сознательно, решивши, что любить не за что. Да скоро ту же посредственность увидала она и в матери, и в сердце ее, вместо страстной любви и уважения, осталось лишь чувство сожаления и снисхождения: г. Тургенев очень удачно очертил ее отношения к матери, сказавши, что она «обходилась с матерью, как с больной бабушкой». Мать признала себя ниже дочери; отец же, как только дочь стала перерастать его умственно, что было очень нетрудно, охладел к ней, решил, что она странная, и отступился от нее.

А в ней между тем все росло и расширялось сострадательное, гуманное чувство. Боль о чужом страдании была возбуждена в ее ребяческом сердце убитым видом матери, конечно, еще прежде, нежели понимать хорошенько, в чем дело. Эта боль давала ей себя чувствовать постоянно, сопровождала ее при каждом новом шаге ее развития, придавала особенный, задумчиво-серьезный склад ее мыслям, мало-помалу вызвала и определила в ней деятельные стремления и все их направила к страстному, неодолимому исканию добра и счастья для всех. Еще смутны были эти искания, слабы силы Елены, когда она нашла новую пищу для своих размышлений и мечтаний, новый предмет своего участия и любви — в странном знакомстве с нищей девочкой Катей. На десятом году подружилась она с этой девочкой, тайком

ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички (игрушек Катя не брала); сидела с ней по целым часам, с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб; слушала ее рассказы, выучилась ее любимой песенке, с тайным уважением и страхом слушала, как Катя обещалась убежать от своей злой тетки, чтобы жить *на всей божьей воле,* и сама мечтала о том, как она наденет сумку и убежит с Катей. Катя скоро умерла, но знакомство с ней не могло не оставить резких следов в характере Елены. К ее чистым, человечным, сострадательным расположениям оно прибавило еще новую сторону: оно внушило ей то презрение, или по крайней мере то строгое равнодушие к ненужным излишествам богатой жизни, которое всегда проникает в душу не совсем испорченного человека в виду беспомощной нищеты. Скоро вся душа Елены загорелась жаждою деятельного добра, и жажда эта стала на первый раз удовлетворяться обычными делами милосердия, какие возможны были для Елены. «Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала о них всех своих знакомых». Даже «все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими». Отец ее называл все это пошлым нежничаньем; но Елена не была сентиментальна, потому что сентиментальность именно характеризуется избытком чувств и слов при совершенном недостатке деятельной любви, а чувство Елены постоянно стремилось проявиться на деле. Пустых ласк и нежностей она не терпела и вообще не придавала значения словам без дела и уважала только практически-полезную деятельность. Даже стихов она не любила. Даже в художестве толку не знала.

Но деятельные стремления души зреют и крепнут только при деятельности просторной и вольной. Надо испробовать несколько раз свои силы, испытать неудачи и столкновения, узнать, чего стоят разные усилия и как преодолеваются разные препятствия,— для того чтобы приобресть отвагу и решимость, необходимые для деятельной борьбы, чтобы узнать меру своих сил и уметь найти для них соответственную работу. Елена, при всей свободе своего развития, не могла найти достаточно средств для того, чтобы деятельно упражнять свои силы и удовлетворять свои стремления. Ей никто

не мешал делать, что она хочет; но делать было нечего. Ее не стесняли педантизмом систематического учения, и потому она успела образоваться, не принявши в себя множество предрассудков, неразлучных с системами, курсами и вообще с рутиною образования. Она много и с участием читала; но одно чтение не могло удовлетворять ее; оно имело только то влияние, что рассудочная сторона развилась в Елене сильнее других и умственная требовательность стала пересиливать даже живые стремления сердца. Подавание милостыни, уход за щенками и котятами, защита мухи от паука — тоже не могли удовлетворить ее: когда она стала побольше и поумнее, она не могла не увидеть всю скудость этой деятельности; да притом — эти занятия требовали от нее весьма мало усилий и не могли наполнять ее существования. Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше; но чего — она не знала, а если и знала, то не умела приняться за дело. От этого и находилась она постоянно в какой-то ажитации, все ждала и искала чего-то; от этого и наружность ее приняла такой особенный характер. «Во всем ее существе, в выражении лица, *внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом* взоре, в улыбке, как будто *напряженной,* в голосе, *тихом и неровном,* было что-то нервическое, электрическое, что-то *порывистое и торопливое...»* Ясно, что она еще находится в неопределенных сомнениях относительно самой себя, она еще не определила своей роли. Она поняла, чего ей не нужно, и смотрит гордо и независимо на обычную обстановку своей жизни; но что ей нужно, и главное — что делать, чтобы достигнуть того, что нужно,— этого она еще не знает, и потому все существо ее напряжено, неровно, порывисто. Она все ждет, все живет накануне чего-то... Она готова к самой живой, энергической деятельности, но приступить к делу сама по себе, одна — она не смеет.

В этой-то несмелости, в этой практической пассивности при богатстве внутренних сил и при томительной жажде деятельности — мы и видим живую связь героини г. Тургенева со всем нашим образованным обществом. По тому, как задуман характер Елены,— она представляет явление исключительное, и если бы на самом деле она являлась везде выразительницею своих воззрений и стремлений,— она бы оказалась чуждою русскому обществу и не имела бы для нас такого смысла, как теперь. Она была бы лицом сочиненным, растением, неудачно пересаженным на нашу почву

откуда-нибудь из другой земли. Но верное чутье действительности не позволило г. Тургеневу придать своей героине полного соответствия практической деятельности с теоретическими ее понятиями и внутренними порывами души. На это еще не дает писателю материалов наша общественная жизнь. Во всем нашем обществе заметно теперь только еще пробудившееся желание приняться за настоящее дело, сознание пошлости разных красивых игрушек, возвышенных рассуждений и неподвижных форм, которыми мы так долго себя тешили и дурачили. Но мы еще все-таки не вышли из той сферы, в которой так спокойно было нам спать, да и не знаем хорошенько, где выход; а если кто и знает, то еще боится открыть его. Это трудное, томительное положение общества необходимо кладет свою печать и на художественное произведение, вышедшее из среды его. В обществе могут быть отдельные сильные натуры, отдельные лица могут достигать высокого развития нравственного; вот и в литературных произведениях являются такие личности. Но все это так и остается только в очерке натуры лица, а в жизнь не переносится; предполагается возможным, но в действительности не совершается. В Ольге «Обломова» мы видели женщину идеальную, далеко ушедшую в своем развитии от всего остального общества; но где ее практическая деятельность? Она способна, кажется, создать новую жизнь, а живет между тем в той же пошлости, в какой и все ее подруги, потому что от этой пошлости некуда уйти ей. Штольц ей нравится, как энергическая, деятельная натура; а между тем и он, при всем искусстве автора «Обломова» в обрисовке характеров, является перед нами только со своими способностями и не дает видеть, как он их применяет; он лишен почвы под ногами и плавает перед нами как будто в каком-то тумане. Теперь в Елене г. Тургенева мы видим новую попытку создания энергического, деятельного характера и не можем сказать, чтобы обрисовка самого характера не удалась автору. Если и редко кому случалось встречать таких женщин, как Елена, зато, конечно, многим приходилось замечать в самых обыкновенных женщинах зародыши тех или других существенных черт ее характера, возможность развития многих из ее стремлений. Как идеальное лицо, составленное из лучших элементов, развивающихся в нашем обществе, Елена понятна и близка нам. Самые стремления ее определяются для нас очень ясно: Елена как будто служит ответом на вопросы и сомнения Ольги, которая,

поживши с Штольцем, томится и тоскует и сама не может дать себе отчета — о чем. В образе Елены объясняется причина этой тоски, необходимо поражающей всякого порядочного русского человека, как бы ни хороши были его собственные обстоятельства. Елена жаждет деятельного добра, она ищет возможности устроить счастье вокруг себя, потому что она не понимает возможности не только счастья, но даже и спокойствия собственного, если ее окружает горе, несчастия, бедность и унижение ее ближних.

Но какую же деятельность, сообразную с такими внутренними требованиями, мог дать г. Тургенев героине? На это даже и отвлеченным образом трудно ответить; а художественно создать эту деятельность, вероятно, еще и невозможно для русского писателя настоящего времени. Неоткуда взять деятельности, и поневоле автор заставил свою героиню дешевым образом проявлять свои высокие стремления в подаче милостыни да в спасении заброшенных котят. За деятельность, требующую большего напряжения и борьбы, она и не умеет и боится приняться. Она видит во всем окружающем, что одно давит другое, и потому, именно вследствие своего гуманного, сердечного развития, старается держаться в стороне от всего, чтобы как-нибудь тоже не начать давить других. В доме ни в чем не заметно ее влияние; отец и мать ей как чужие; они боятся ее авторитета, но никогда она не обратится к ним с советом, указанием или требованием. Для нее живет в доме компаньонка Зоя, молодая добродушная немка; Елена от нее сторонится, почти не говорит с ней, и отношения их очень холодны. Тут же проживает Шубин, молодой художник, о котором мы сейчас будем говорить; Елена уничтожает его своими приговорами, но и не думает постараться приобрести над ним какое-нибудь влияние, которое было бы ему очень полезно. Во всей повести нет ни одного случая, где бы жажда деятельного добра заставила Елену вмешаться в дела окружающей ее среды и проявить чем-нибудь свое влияние. Мы не думаем, чтоб это зависело от случайной ошибки автора; нет, в нашем обществе еще очень недавно, да и не между женщинами, а из среды мужчин, возвышался и блистал особенный тип людей, гордившихся своим устранением от окружающей их среды. «Тут невозможно сохранить себя чистым,— говорили они,— и притом вся эта среда так мелка и пошла, что лучше удалиться от нее в сторону». И они, точ-

но, удалялись, не сделав ни одной энергической попытки для исправления этой пошлой среды, и удаление их считалось единственным честным выходом из их положения и прославлялось как подвиг. Естественно, что, имея в виду такие примеры и понятия, автор не мог лучше осветить домашнюю жизнь Елены, как поставив ее совершенно в стороне от этой жизни. Впрочем, как мы сказали, бессилию Елены придан в повести особенный мотив, вытекающий из ее женственного, гуманного чувства: она боится всяких столкновений — не по недостатку мужества, а из опасения нанести кому-нибудь оскорбление и вред. Никогда не испытав полной, деятельной жизни, она воображает еще, что ее идеалы могут быть достигнуты без борьбы, без ущерба кому бы то ни было. После одного случая (когда Инсаров героически бросил в воду пьяного немца) она писала в своем дневнике: «Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом и остаться кротким и мягким?» Эта простая мысль пришла ей в голову только теперь, да и то еще в виде вопроса, которого она так и не разрешает.

В этой-то неопределенности, в этом бездействии при беспрерывном томительном ожидании чего-то доживает Елена до двадцатого года своей жизни. По временам ей очень тяжело; она сознает, что силы ее пропадают даром, что жизнь ее пуста; она говорит про себя: «Хоть бы в служанки куда-нибудь пошла, право; мне было бы легче». Это тяжкое расположение увеличивается в ней тем, что она ни в ком не находит отзыва на свои чувства, ни в ком не видит опоры для себя. Иногда ей кажется, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России... Ей становится страшно, и потребность сочувствия развивается сильнее, и она напряженно и трепетно ждет другой души, которая бы умела понять ее, отозваться на ее святые чувства, помочь ей, научить ее, что надо делать. В ней являлось желание отдаться кому-нибудь, слить с кем-нибудь свое существо, и ей становилась неприятною даже эта самостоятельность, с которою она так одиноко стояла в кругу близких ей людей. «С шестнадцатилетнего возраста она жила собственною, своею жизнию, но жизнию одинокою. Ее душа разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не было; никто не стеснял ее; никто не

удерживал, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась сама себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным. «Как жить без любви, а любить некого»,— думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений».

При таком-то настроении ее сердца, летом, на даче в Кунцове, застает ее действие повести. В короткий промежуток времени являются пред нею три человека, из которых один привлекает к себе всю ее душу. Тут есть, впрочем, и четвертый, эпизодически введенный, но тоже не лишний господин, которого мы тоже будем считать. Трое из этих господ — русские, четвертый — болгар, и в нем-то нашла свой идеал Елена. Посмотрим на всех этих господ.

Один из молодых людей, страстно по-своему влюбленный в Елену,— художник Павел Яковлевич Шубин, хорошенький и грациозный юноша лет 25, добродушный и остроумный, веселый и страстный, беспечный и талантливый. Он доводится троюродным племянником Анне Васильевне, матери Елены, и потому очень близок с молодой девушкой и надеется заслужить ее серьезное расположение. Но она постоянно смотрит на него свысока и считает его неглупым, но балованным ребенком, с которым нельзя обращаться серьезно. Впрочем, Шубин говорит своему другу: «было время, я ей нравился», и действительно, у него много условий для того, чтобы нравиться; не мудрено, что и Елена на минуту придала более значения его хорошим сторонам, нежели его недостаткам. Но скоро она увидела художественность этой натуры, увидела, что здесь все зависит от минуты, ничего нет постоянного и надежного, весь организм составлен из противоречий: лень заглушает способности, а даром потраченное время вызывает потом бесплодное раскаяние, подымает желчь, возбуждает презрение к самому себе, которое, в свою очередь, служит утешением в неудачах и заставляет гордиться и любоваться собою. Все это Елена поняла инстинктивно, без тяжелых мук недоумения, и потому решение ее относительно Шубина совершенно спокойно и беззлобно. «Вы воображаете, что во мне все притворно; вы не верите моему раскаянию, не верите, что я могу искренно плакать!» — говорит ей однажды Шубин в отчаянном порыве. И она не отвечает: «не верю», а говорит просто: «Нет, Павел Яковлевич, я верю в ваше раскаяние и в ваши слезы

я верю; но мне кажется, самое ваше раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже». Шубин так и дрогнул от этого простого приговора, который действительно должен был глубоко вонзиться в его сердце. Он сам никогда не предполагал, чтоб его порывы, противоречия, страдания, метанья из стороны в сторону — можно было понять и объяснить так просто и верно. При этом объяснении он даже перестает делаться «интересным человеком». И действительно, как только Елена составила о нем мнение,— он уже не занимает ее. Ей все равно — тут он или нет, помнит о ней или забыл, любит ее или ненавидит; у ней с ним ничего нет общего, хотя она не прочь искренно похвалить его, если он сделает что-нибудь достойное его таланта...

Другой начинает занимать ее мысли. Этот совершенно в ином роде; он неуклюж, старообраз, лицо его некрасиво и даже несколько смешно, но выражает привычку мыслить и доброту. Кроме того, по словам автора, какой-то *«отпечаток порядочности* замечался во всем его неуклюжем существе». Это Андрей Петрович Берсенев, близкий друг Шубина. Он философ, ученый, читает историю Гонештауфенов и другие немецкие книжки, исполнен скромности и самоотвержения. На возгласы Шубина: «Нам нужно счастья, счастья! Мы завоюем себе счастье!» — он недоверчиво возражает: «Будто нет ничего выше счастья?» — и затем между ними происходит такой разговор:

— А например?— спросил Шубин и остановился.

— Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь,— молоды, мы хорошие люди, положим; каждый из нас желает себе счастья. И не такое ли это слово: «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

— Да; и их немало; и ты их знаешь.

— Ну-ка, какие это слова?

— Да хоть бы искусство, так как ты художник; родина, наука, свобода, справедливость.

— А любовь?— спросил Шубин.

— И любовь — соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь, не любовь — наслаждение, любовь — жертва.

Шубин нахмурился.

— Это хорошо для немцев; я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.

— Номером первым,— повторил Берсенев.— А мне кажется, поставить себя номером вторым — все назначение нашей жизни.

— Если все так будут поступать, как ты советуешь,— промолвил с жалобной гримасой Шубин,— никто на земле не будет есть ананасов; все другим их предоставлять будут.

— Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать.

Из этого разговора видно, какие благородные принципы у Берсенева и как душа его способна к тому, что называется самоотвержением. Она выражает искреннюю готовность пожертвовать своим счастьем для одного из тех слов, которые он называет «соединяющими». Этим он должен привлечь сочувствие такой девушки, как Елена. Но тут же видно и то, почему он не может овладеть всею ее душою, всей полнотой ее жизни. Это один из героев пассивных добродетелей, человек, умеющий многое перенести, многим пожертвовать, вообще выказать благородное поведение, когда приведет к тому случай; но он не сумеет и не посмеет определить себя на широкую и смелую деятельность, на вольную борьбу, на самостоятельную роль в каком-нибудь деле. Он сам хочет быть номером вторым, потому что в этом видит назначение всего живущего; и действительно, роль его в повести напоминает отчасти Бизьменкова в «Лишнем человеке» или более Крупицына в «Двух неприятелях»[8]. Он, влюбленный в Елену, становится посредником между ею и Инсаровым, которого она полюбила, великодушно помогает им, ухаживает за Инсаровым во время его болезни, отказывается от своего счастья в пользу друга, хотя и не без стеснения сердца и даже не без ропота. Сердце у него доброе и любящее, но из всего видно, что добро он всегда будет делать не столько по влечению сердца, сколько потому, что *надо* делать добро. Он находит, что надо жертвовать своим счастьем для родины, науки и пр., и этим самым он осуждает себя быть вечным рабом и мучеником идеи. Он отделяет свое счастье, например, от родины; он бедняк, не умеет возвыситься до того, чтобы понять благо родины нераздельно с своим собственным счастьем и чтобы не понимать счастья для себя иначе, как при благоденствии родины. Напротив, он как будто боится, что его личное счастье будет мешать благу родины, торжеству справедливости, успехам науки и т. п. Оттого он боится желать себе счастья и, по благородству своих принципов, решается жертвовать им для означенных им идей, считая это, разумеется, большим одолжением с своей стороны. Ясно, что такого человека только

и хватит на пассивное благородство. Но не ему слиться душою с каким-нибудь великим делом, не ему позабыть весь мир для любимой мысли, не ему воспламениться ею и сражаться за нее как за свою радость, свою жизнь, за свое счастье... Он делает то, что велит ему долг, стремится к тому, что признает справедливым по принципу; но действия его вялы, холодны, неуверенны, потому что он постоянно сомневается в своих силах. Он отлично кончил курс в университете, любит науку, занимается постоянно и желает быть профессором: кажется, чего проще? Но когда Елена спрашивает его о профессорстве, он считает нужным с похвальною скромностью оговориться: «Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого... Я хочу сказать, что я слишком мало подготовлен; но я надеюсь получить позволение съездить за границу...» Точь-в-точь вступление в академической речи: «Надеюсь, мм. гг., что вы благосклонно извините сухость и бледность моего изложения», и пр. ...

А между тем профессорство, о котором Берсенев так отзывается, составляет заветную мечту его! На вопрос Елены, будет ли он вполне доволен своим положением, если получит кафедру,— он отвечает: «Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Подумайте, пойти по следам Тимофея Николаевича...[9] Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением... да, смущением, которого... которое происходит от сознания моих малых сил». То же сознание своих малых сил заставляет его упорно не верить тому, что Елена его полюбила, а потом сокрушаться, что она к нему стала равнодушна. Это самое сознание проглядывает и в том, когда он рекомендует своего приятеля Инсарова, между прочим, тем, что он денег взаймы не берет. Тем же сознанием отзываются даже его рассуждения о природе. Он говорит, что природа возбуждает в нем какое-то беспокойство, тревогу, даже грусть и спрашивает Шубина: «Что это значит? Сильнее ли мы сознаем перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же мало того удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть я хочу сказать — того, чего нам нужно, у нее нет?» В этом пустопорожне-романтическом роде большая часть рассуждений Берсенева. А между тем в одном месте повести упоминается, что он рассуждал о Фейербахе: вот любопытно бы послушать, что он о Фейербахе-то говорит!..

Итак, Берсенев — весьма хороший русский дворянин, воспитанный в началах долга и пустившийся потом в ученость и философию. Он гораздо дельнее и надежнее Шубина, и если его повести по какому-нибудь пути, то он пойдет охотно и прямо. Но сам вести он не может не только других, но даже и себя самого: инициативы нет у него в натуре, и он не успел ее приобрести ни в воспитании, ни в последующей жизни. Елена сначала почувствовала симпатию к нему за то, что он добрый и все о деле говорит. Она даже совестится пред ним своего невежества, по тому случаю, что он все приносит ей книги, которых она читать не может. Но совершенно привязаться к нему, отдать ему свою душу, свою судьбу она не может: она еще прежде, чем увидела Инсарова, инстинктивно поняла, что Берсенев не то, чего ей нужно. И действительно, можно с достоверностью утверждать, что Берсенев струсил бы, если б Елена вздумала навязаться ему на шею, и непременно убежал бы под разными, весьма благовидными предлогами.

Впрочем, на безлюдье, в котором жила Елена, она увлеклась было на минуту Берсеневым и уже спрашивала себя: не он ли тот, кого так давно и так жадно ждала душа ее, кто должен был вывести ее из всех недоумений и указать ей путь деятельности? Но сам же Берсенев привел к ней Инсарова, и очарование исчезло...

В Инсарове, строго говоря, нет ничего чрезвычайного. Берсенев, и Шубин, и сама Елена, и, наконец, даже автор повести характеризуют его все более отрицательными качествами. Он никогда не лжет, не изменяет своему слову, не берет взаймы денег, не любит разговаривать о своих подвигах, не откладывает исполнения принятого решения, его слово не расходится с делом и т. п. Словом, в нем нет тех черт, за которые должен горько упрекать себя всякий человек, имеющий претензию считать себя порядочным. Но, кроме того, он — болгар, питающий в духе страстное желание освободить свою родину, и этой мысли он предается весь открыто и уверенно, в ней заключается конечная цель его жизни. Он не думает ставить свое личное благо в противоположность с этой целью; подобная мысль, столь естественная в русском ученом дворянине Берсеневе, не может даже в голову прийти простому болгару. Напротив, он потому-то и хлопочет о свободе родины, что в этом видит свое личное спокойствие, счастье всей своей жизни; он бы оставил в покое порабощенную родину, если б только мог найти

удовлетворение себе в чем-нибудь другом. Но он никак не может понять себя отдельно от родины. «Как же это можно быть довольным и счастливым, когда свои земляки страдают?— думает он.— Как же может человек успокоиться, пока его родина порабощена и угнетена? И какое занятие может быть для него приятно, если оно не ведет к облегчению участи бедных земляков?» Таким образом, он делает свое задушевное дело совершенно спокойно, без натяжек и фанфаронад, так же просто, как ест и пьет. Покамест ему приходится еще мало работать для прямого выполнения своей идеи: но что же делать? Ему приходится теперь и есть плохо и мало и даже иной раз голодать случается; но все-таки пища, хоть и скудная, составляет необходимое условие его существования. Так и освобождение родины: он учится в Московском университете, чтобы образоваться вполне и сблизиться с русскими, и в течение повести довольствуется покамест тем, что переводит болгарские песни на русский язык, составляет болгарскую грамматику для русских и русскую для болгар, переписывается с своими земляками и собирается ехать на родину — подготовлять восстание, при первой вспышке Восточной войны (действие повести в 1853 году). Конечно, это скудная пища для деятельного патриотизма Инсарова; но он свое пребывание в Москве и не считает еще настоящею жизнью, свою слабую деятельность не считает удовлетворительною даже для своего личного чувства. Он также живет *накануне* великого дня свободы, в которой существо его озарится сознанием счастия, жизнь наполнится и будет уже настоящей жизнью. Этого дня ждет он как праздника, и вот почему не приходит ему в голову сомневаться в себе и холодно рассчитывать и взвешивать, сколько именно может он сделать и с каким великим мужем успеет поравняться. Будет ли он Тимофеем Николаевичем или Иваном Иванычем — до этого ему решительно нет дела; придется ли быть нумером первым или вторым — он об этом и не думает. Он будет делать то, к чему влечет его натура; если натура у него такая, что других лучше не найдется, он станет первым нумером, пойдет во главе; если найдутся люди крепче и смелее его, он пойдет за ними, и в обоих случаях останется неизменным и верным себе. Где стать и до чего дойти — это определяют обстоятельства; но он хочет идти, он не может нейти, не потому, что боялся нарушить какой-нибудь долг, а потому, что он умер бы, если бы ему нельзя было двинуться с места. В этом

огромная разница между ним и Берсеневым. Берсенев тоже способен к жертвам и подвигам; но он похож при этом на великодушную девушку, которая для спасения отца решается на ненавистный брак. С затаенной болью и тяжкой покорностью судьбе ждет она дня свадьбы и рада была бы, если б что-нибудь ей помешало. Инсаров, напротив, дня своих подвигов, наступления своей самоотверженной деятельности ждет страстно и нетерпеливо, как влюбленный юноша ждет дня свадьбы с любимой девушкой. Одна только боязнь и тревожит его: как бы что-нибудь не расстроило, не отсрочило желанной минуты. Любовь к свободе родины у Инсарова не в рассудке, не в сердце, не в воображении: она у него во всем организме, и что бы ни вошло в него, все претворяется силою этого чувства, подчиняется ему, сливается с ним. Оттого, при всей обыкновенности своих способностей, при всем отсутствии блеска в своей натуре, он стоит неизмеримо выше, действует на Елену несравненно сильнее и обаятельнее, нежели блестящий Шубин и умный Берсенев, хотя оба они тоже люди благородные и любящие. Елена делает о Берсеневе очень меткое замечание в своем дневнике (на который вообще автор не пожалел своего глубокомыслия и остроумия): «Андрей Петрович, может быть, ученее его (Инсарова), может быть, даже умнее... Но я не знаю — *он перед ним такой маленький»*.

Рассказывать ли историю сближения Елены с Инсаровым и любви их? Кажется, не нужно. Вероятно, наши читатели хорошо помнят эту историю; да ведь этого и не расскажешь. Нам страшно прикоснуться своей холодной и жесткой рукою к этому нежному, поэтическому созданию; сухим и бесчувственным пересказом мы боимся даже профанировать чувство читателя, непременно возбуждаемое поэзией тургеневского рассказа. Певец чистой, идеальной женской любви, г. Тургенев так глубоко заглядывает в юную, девственную душу, так полно охватывает ее и с таким вдохновенным трепетом, с таким жаром любви рисует ее лучшие мгновения, что нам в его рассказе так и чуется — и колебание девственной груди, и тихий воздух, и увлажненный взгляд, слышится каждое биение взволнованного сердца, и наше собственное сердце млеет и замирает от томного чувства, и благодатные слезы не раз подступают к глазам, и из груди рвется что-то такое — как будто мы свиделись с старым другом после долгой разлуки или возвращаемся с чужбины к родимым местам. И грустно и весело это ощущение: там

светлые воспоминания детства, невозвратно мелькнувшего, там гордые и радостные надежды юности, там идеальные, дружные мечты чистого и могучего воображения, еще не смиренного, не униженного испытаниями житейского опыта. Все это прошло и не будет больше; но еще не пропал человек, который хоть в воспоминании может вернуться к этим светлым грезам, к этому чистому, младенческому упоению жизнию, к этим идеальным, величавым замыслам и — содрогнуться потом, при взгляде на ту грязь, пошлость и мелочность, в которой проходит его теперешняя жизнь. И благо тому, кто умеет пробуждать в других такие воспоминания, вызвать такое настроение души... Талант г. Тургенева всегда был силен этой стороною, его повести постоянно производили своим общим строем такое чистое впечатление, и в этом, конечно, заключается их существенное значение для общества. Не чуждо этого значения и «Накануне» в изображении любви Елены. Мы уверены, что читатели и без нас сумеют оценить всю прелесть тех страстных, нежных и томительных сцен, тех тонких и глубоких психологических подробностей, которыми рисуется любовь Елены и Инсарова с начала до конца. Вместо всякого рассказа мы напомним только дневник Елены, ее ожидание, когда Инсаров должен был прийти проститься, сцену в часовенке, возвращение Елены домой после этой сцены, ее три посещения к Инсарову, особенно последнее*, потом прощанье с матерью, с родиной, отъезд, наконец последнюю прогулку ее с Инсаровым по Canal Grande, слушанье «Травиаты» и возвращение. Это последнее изображение особенно сильно подействовало на нас своей строгой истиной и бесконечно грустной прелестью; для него это самое задушевное, самое симпатичное место всей повести.

---

* Есть люди, которых воображение до того засалено и развращено, что в этой прелестной, чистой и глубоко нравственной сцене полного страстного слияния двух любящих существ они увидят только материал для сладострастных представлений. Судя обо всех по себе, они возопиют даже, что эта сцена может иметь дурное влияние на нравственность, ибо возбуждает нечистые мысли. Но пусть их вопиют: ведь есть люди, которые и при виде Венеры Милосской говорят с приапической улыбкой: «А она... того... годится»... Но не для этих людей — искусства и поэзия, да не для них и истинная нравственность. В них все претворяется во что-то отвратительно-нечистое. Но дайте прочитать эти же сцены невинной, чистой сердцем девушке, и поверьте — ничего, кроме самых светлых и благородных помыслов, не вынесет она из этого чтения.

Представляя самим читателям насладиться и припоминанием всего развития повести, мы обратимся опять к характеру Инсарова, или, лучше, к тому отношению, в каком стоит он к окружающему его русскому обществу. Мы уже видели, что он здесь почти не действует для достижения своей главной цели; только раз видим мы, что он уходит за 60 верст для примирения поссорившихся земляков, живших в Троицком посаде, да в конце его пребывания в Москве упомянуто, что он разъезжал по городу и видался украдкой с разными лицами. Да разумеется — ему и нечего было делать, живя в Москве; для настоящей деятельности нужно было ему ехать в Болгарию. И он поехал туда, но на дороге смерть застигла его, и деятельности его мы так и не видим в повести. Из этого ясно, что сущность повести вовсе не состоит в представлении нам образца гражданской, то есть общественной доблести, как некоторые, может быть, подумают[10]. Тут нет упрека русскому молодому поколению, нет указания на то, каков должен быть гражданский герой. Если б это входило в план автора, то он должен был бы поставить своего героя лицом к лицу с самым делом — с партиями, с народом, с чужим правительством, с своими единомышленниками, с вражеской силой... Но автор наш вовсе не хотел, да, сколько мы можем судить по всем его прежним произведениям, и не в состоянии был бы написать героическую эпопею. Его дело совсем другое: из всей Илиады и Одиссеи он присвоивает себе только рассказ о пребывании Улисса на острове Калипсы и далее этого не простирается. Давши нам понять и почувствовать, что такое Инсаров и в какую среду попал он,— г. Тургенев весь отдается изображению того, как Инсаров любит и как его любят. Там, где любовь должна наконец уступить место живой гражданской деятельности, он прекращает жизнь своего героя и оканчивает повесть.

В чем же, стало быть, смысл появления *болгара* в этой истории? Что тут значит болгар, почему не русский? Разве между русскими уже и нет таких натур, разве русские не способны любить страстно и решительно, не способны очертя голову жениться по любви? Или это просто прихоть авторского воображения, и в ней не нужно отыскивать никакого особенного смысла? «Взял, мол, себе болгара, да и кончено; а мог бы взять и цыгана и китайца, пожалуй...»

Ответ на эти вопросы зависит от воззрения на весь смысл

повести. Нам кажется, что болгар действительно здесь мог быть заменен, пожалуй, и другою национальностью — сербом, чехом, итальянцем, венгром,— только не поляком и не русским. Почему не поляком, об этом, разумеется, и вопроса быть не может; а почему не русским,— в этом заключается весь вопрос, и мы постараемся ответить на него как умеем[11].

Дело в том, что в «Накануне» главное лицо — Елена. В ней сказалась та смутная тоска по чем-то, та почти бессознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь все русское общество, и даже не одно только так называемое образованное. В Елене так ярко отразились лучшие стремления нашей современной жизни, а в ее окружающих так рельефно выступает все пошлое той же жизни, что невольно берет охота провести аллегорический параллель[12]. Тут все пришлось бы на месте: и не злой, но пустой и тупо важничающий Стахов, в соединении с Анной Васильевной, которую Шубин называет курицей, и немка-компаньонка, с которой Елена так холодна, и сонливый, но по временам глубокомысленный Увар Иванович, которого волнует только известие о контробомбардоне, и даже неблаговидный лакей, доносящий на Елену отцу, когда уже все дело кончено... Но подобные параллели, несомненно доказывающие игривость воображения, становятся натянуты и смешны, когда уходят в большие подробности. Поэтому мы удержимся от подробностей и сделаем лишь несколько самых общих замечаний.

Развитие Елены основано не на большой учености, не на обширном опыте жизни; лучшая, идеальная сторона ее существа раскрылась, выросла и созрела в ней при виде кроткой печали родного ей лица, при виде бедных, больных и угнетенных, которых она находила и видела всюду, даже во сне. Не на подобных ли впечатлениях выросло и воспиталось все лучшее в русском обществе? Не характеризуется ли у нас каждый истинно порядочный человек ненавистью ко всякому насилию, произволу, притеснению и желанием помочь слабым и угнетенным? Мы не говорим: «борьбою[13] в защиту слабых от обиды сильных», потому что этого нет, но именно *желанием*, совершенно так, как у Елены. Мы тоже рады сделать и доброе дело, когда оно заключает в себе только положительную сторону, то есть не требует никакой борьбы, не предполагает никакого стороннего противодейст-

вия. Мы подадим милостыню, сделаем благотворительный спектакль, пожертвуем даже частью своего достояния в случае нужды, но только чтобы этим дело и ограничилось, чтобы нам не пришлось хлопотать и бороться с разными неприятностями из-за какого-нибудь бедного или обиженного. «Желание деятельного добра» есть в нас, и силы есть; но боязнь, неуверенность в своих силах и, наконец, незнание: что делать?— постоянно нас останавливают, и мы — сами не зная как — вдруг оказываемся в стороне от общественной жизни, холодными и чуждыми ее интересам, точь-в-точь как Елена в окружающей ее среде. Между тем, *желание* попрежнему кипит в груди (говорим о тех, кто не старается искусственно заглушить это желание), и мы все ищем, жаждем, ждем... ждем, чтобы нам хоть кто-нибудь объяснил, что делать[14]. С болью недоумения, почти с отчаянием пишет Елена в своем дневнике: «О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю — этого мало; делать добро... да, это главное в жизни. Но *как делать добро?*» Кто из людей нашего общества, сознающих в себе живое сердце, мучительно не задавал себе этого вопроса? Кто не признавал жалкими и ничтожными все те формы деятельности, в которых проявлялось по мере сил его желание добра? Кто не чувствовал, что есть что-то другое, высшее, что мы даже и могли бы сделать, да не знаем, как приняться надобно... И где же разрешение сомнений? Мы томительно, жадно ищем его в светлые минуты своего существования и нигде не находим. Все окружающее, кажется нам, или томится тем же недоумением, как и мы, или загубило в себе человеческий образ и сузило себя до преследования только своих мелких, эгоистических, животных интересов. И так день изо дня проходит жизнь, пока она не умерла в сердце человека, и день изо дня ждет новый человек: не будет ли завтра лучше, не разрешится ли завтра сомненье, не явится ли завтра тот, кто скажет нам, как делать добро...

Это тоска ожидания давно уже томит русское общество и сколько раз уже ошибались мы, подобно Елене, думая, что жданный явился, и потом охладевали. Она страстно привязалась было к Анне Васильевне; но Анна Васильевна оказалась ничтожною, бесхарактерною... Почувствовала было расположение к Шубину, как наше общество одно время увлекалось художественностью; но в Шубине не оказалось дельного содержания, одни блестки и капризы; а Елене не

до того было, чтобы посреди ее исканий любоваться игрушками. Увлеклась на минуту серьезною наукою в лице Берсенева; но серьезная наука оказалась скромною, сомневающеюся, выжидающею первого нумера, чтобы пойти за ним. А Елене именно нужно было, чтобы явился человек, не нумерованный и не выжидающий себе назначения, а самостоятельно и неодолимо стремящийся к своей цели и увлекающий к ней других. Таким-то наконец явился пред нею Инсаров, и в нем-то нашла она осуществление своего идеала, в нем-то увидела возможность ответа на вопрос: как ей делать добро.

Но почему же Инсаров не мог быть русским? Ведь он в повести не действует, а только собирается на дело; это и русский может. Характер его тоже возможен и в русской коже, особенно в таких проявлениях. Он любит сильно и решительно; но неужели невозможно и это для русского человека?

Все это так, и все-таки сочувствие Елены, такой девушки, как мы ее понимаем, не могло обратиться на русского человека с тем правом, с той естественностью, как обратилось оно на этого болгара. Все обаяние Инсарова заключается в величии и святости той идеи, которой проникнуто все его существо. Елена, жаждущая деятельного добра, но не знающая, как его делать, мгновенно и глубоко поражается, еще не видавши Инсарова, рассказом о его замыслах. «Освободить свою родину,— говорит она,— эти слова и выговорить страшно — так они велики!» И она чувствует, что слово ее сердца найдено, что она удовлетворена, что выше цели нельзя поставить себе и что на всю ее жизнь, на всю ее будущность достанет деятельного содержания, если только она пойдет за этим человеком. И она старается всмотреться в него, ей хочется проникнуть в его душу, разделить его мечты, войти в подробности его планов. А в нем только и есть постоянная, слитая с ним идея родины и ее свободы; Елена довольна, ей нравится в нем эта ясность и определенность стремлений, спокойствие и твердость души, могучесть самого замысла, и она скоро сама делается эхом той идеи, которая его одушевляет. «Когда он говорит о своей родине,— пишет она в своем дневнике,— он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, пред кем бы он глаза опустил. И он не только говорит, он делал и будет делать. Я его расспрошу...» Через несколько дней она опять пишет: «А ведь

странно, однако, что я до сих пор, до двацати лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть его Д., мне нравится это имя: Дмитрий) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тот уж ни за что не отвечает. Не *я* хочу; *то* хочет». И понявши это, она сама хочет слиться с ним так, чтобы уже *не она* хотела, а *он* и *то,* что его одушевляет. И мы очень хорошо понимаем ее положение; уверены, что и все русское общество хотя еще и не увлечется, подобно ей, личностью Инсарова, но поймет возможность и естественность чувства Елены.

Мы говорим: общество не увлечется само, и основываем это предположение на том, что *этот* Инсаров все еще нам чужой человек[15]. Сам г. Тургенев, столь хорошо изучивший лучшую часть нашего общества, не нашел возможности сделать его *нашим.* Мало того что он вывез его из Болгарии, он недостаточно приблизил к нам этого героя даже просто как человека. В этом, если хотите смотреть даже на литературную сторону, главный художественный недостаток повести. Мы понимаем одну из важных причин его, не зависящих от автора, и потому не делаем упрека г. Тургеневу. Но тем не менее бледность очертаний Инсарова отражается на самом впечатлении, производимом повестью. Величие и красота идей Инсарова не выставляются пред нами с такою силою, чтобы мы сами прониклись ими и в гордом одушевлении воскрикнули: «идем за тобою!» А между тем идея эта так свята, так возвышенна... Гораздо менее человечные, даже просто фальшивые идеи, горячо проведенные в художественных образах, производили лихорадочное действие на общество; Карлы Мооры, Вертеры, Печорины вызывали толпу подражателей. Инсаров их не вызовет. Правда, что и мудрено было ему выказаться вполне с своей идеей, живя в Москве и ничего не делая; ведь не в реторических же разглагольствиях упражняться! Но мы из повести мало узнаем его и как человека; его внутренний мир недоступен нам; для нас закрыто, что он делает, что думает, чего надеется, какие испытывает перемены в своих отношениях, как смотрит на ход событий, на жизнь, несущуюся перед его глазами. Даже любовь его к Елене остается для нас не вполне раскрытою. Мы знаем, что он полюбил ее страстно; но как это чувство вошло в него, что в ней привлекло его, на какой степени было это чувство, когда он его заметил и решился

было удалиться,— все эти внутренние подробности и многие другие, которые так тонко, так поэтически умеет рисовать г. Тургенев, остаются темными в личности Инсарова. Как живой образ, как лицо действительное, Инсаров от нас чрезвычайно далек[16]. Елена могла полюбить его со всей силой души своей, потому что она видела его в жизни, а не в повести; для нас же он близок и дорог только как представитель идеи, которая поражает и нас, как Елену, мгновенным светом и озаряет мрак нашего существования. Поэтому-то мы и понимаем всю естественность чувства Елены к Инсарову, поэтому-то и сами, довольные его непреклонностью, верностью идее, не замечаем на первый раз, что он обозначается перед нами лишь в бледных и общих очертаниях.

И еще хотят, чтоб он был русским! «Нет, он не мог бы быть русским»,— восклицает сама Елена в ответ на явившееся было сожаление, что он не русский. И действительно, таких русских не бывает, не должно и не может быть, в настоящее время по крайней мере. Не знаем, как развиваются и разовьются новые поколения, но те, которые мы видим теперь действующими, развивались вовсе не так, чтобы могли уподобиться Инсарову. На развитие каждого отдельного человека имеют влияние не только его частные отношения, но и вся общественная атмосфера, в которой суждено ему жить. Иная развивает героические тенденции, другая — мирные наклонности; иная раздражает, другая убаюкивает. Русская жизнь сложилась так хорошо, что в ней все вызывает на спокойный и мирный сон, и всякий бессонный человек кажется не без основания беспокойным и совершенно лишним для общества[17]. Сравните, в самом деле, обстоятельства, при которых начинается и проходит жизнь Инсарова, с обстоятельствами, встречающими жизнь каждого русского человека.

Болгария порабощена, она страдает под турецким игом. Мы, слава богу, никем не порабощены, мы свободны, мы — великий народ, не разрешавший своим оружием судьбы царств и народов; мы владеем другими, а нами никто не владеет...

В Болгарии нет общественных прав и гарантий. Инсаров говорит Елене: «Если б вы знали, какой наш край благодатный. А между тем его топчут, его терзают; у нас все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут...» Россия, напротив то-

го, государство благоустроенное: в ней существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность. Церквей ни у кого не отнимают, и веры не стесняют решительно ничем, а, напротив, поощряют ревность проповедников в обличении заблудших; прав и земель не только не отнимают, но еще даруют их тем, кто не имел доселе; в виде стада никого не гоняют.

«В Болгарии,— говорит Инсаров,— последний мужик, последний нищий и я — мы желаем одного и того же; у всех одна цель». Такой монотонности вовсе нет в русской жизни, в которой каждое сословие, даже каждый кружок живут своею отдельною жизнью, имеют свои особые цели и стремления, свое установленное назначение. При существующем у нас благоустройстве общественном каждому остается только упрочивать собственное благосостояние, для чего вовсе не нужно соединяться с целой нацией в одной общей идее, как это происходит в Болгарии.

Инсаров был еще младенцем, когда турецкий ага похитил его мать и потом зарезал, а отец его был расстрелян за то, что, желая отмстить аге, поразил его кинжалом. Когда и кого из русских людей могли встретить в жизни подобные впечатления? Слыхано ли что-нибудь подобное в русской земле? Конечно, уголовные преступления везде возможны: но у нас, если бы какой-нибудь *ага* и похитил и убил или уморил потом чужую жену, так мужа и до отмщения бы не допустили, ибо у нас есть законы, для всех равные и нелицеприятно наказывающие преступление.

Словом, Инсаров с молоком матери всасывает ненависть к поработителям, недовольство настоящим порядком вещей. Ему не нужно напрягать себя, не нужно доходить долгим рядом силлогизмов до того, чтобы определить направление своей деятельности. Как скоро он не ленив и не трус, он уже знает, что ему делать и как вести себя; разбрасываться ему некуда. Да и задача-то у него *удобопонятная,* как говорит Шубин: «стоит только турок вытурить — велика штука!» И Инсаров знает притом, что он прав в своей деятельности не только перед собственною совестью, но и перед людским судом: его замыслы найдут сочувствие во всяком порядочном человеке. Представьте же теперь что-нибудь подобное в русском обществе: неудобопредставимо!.. В рус-

ском переводе Инсаров выйдет не что иное, как разбойник, представитель «противообщественного элемента», о котором русская публика знает очень хорошо из красноречивых исследований г. Соловьева, сообщенных «Русским вестником»[18]. Кто же, спрашивается может полюбить такого? Какая благовоспитанная и умная девушка не побежит от него что есть мочи с криком: «quelle horreur!!»*

Понятно ли теперь, почему не может быть русский на месте Инсарова? Натуры, подобные ему, родятся, конечно, и в России в немалом количестве, но они не могут так беспрепятственно развиваться и так беззастенчиво проявлять себя, как Инсаров. Русский современный Инсаров всегда останется робким, двойственным, будет таиться, выражаться с разными прикрытиями и экивоками... а это-то и уменьшает доверие к нему. Выйдет, пожалуй, даже иной раз, что он лжет и противоречит себе; а известно, что люди лгут обыкновенно либо из выгод, либо из трусости. Какое же сочувствие можно питать к корыстолюбцу и трусу, особенно когда душа томится жаждою дела и ищет мощной головы и руки, которая бы повела ее?

Бывают, правда, и у нас небольшие герои, несколько похожие на Инсарова отвагою и сочувствием к угнетенным. Но они в нашей среде являются смешными Дон-Кихотами[19]. Отличительная черта Дон-Кихота — непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его усилий, — удивительно ярко выступает в них. Они, например, вдруг вообразят, что надо спасать крестьян от произвола помещиков; и знать того не хотят, что никакого произвола тут нет, что права помещиков строго определены законом и должны быть неприкосновенны, пока законы эти существуют, и что восстановить крестьян собственно против этого произвола — значит, не избавивши их от помещика, подвергнуть еще наказанию по закону. Или, например, зададут себе работу: спасать невинных от судебной неправды, — как будто бы у нас судьи по своему произволу так и делают, что хотят. Дела у нас все, как известно, вершатся по закону, а чтобы растолковать закон так или иначе — на это не геройство нужно, а привычка к судейским изво-

* Какой ужас!! *(франц.).— Ред.*

ротам. Вот Дон-Кихоты наши и возятся попусту... А то выдумают вдруг — взятки искоренять — и уж какая тут мука пойдет бедным чиновникам, берущим гривенник за какую-нибудь справку! Со свету сгонят их наши герои, принимающие на себя защиту страждущих. Оно, конечно, благородно и высоко: да можно ли сочувствовать этим неразумным людям? И ведь мы еще говорим не о тех холодных служителях долга, которые поступают таким образом просто по обязанности службы; мы имеем в виду русских людей, действительно искренно сочувствующих угнетенным и готовых даже на борьбу для их защиты. И эти-то выходят бесполезны и смешны, потому что не понимают общего значения той среды, в которой действуют. Да и как им понять, когда они сами-то в ней находятся, когда верхушки их тянутся вверх, а корень все-таки прикреплен к той же почве? Они хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители. Как же тут быть? Всю эту среду перевернуть — так надо будет повернуть и себя; а подите-ка сядьте в пустой ящик, да и попробуйте его перевернуть вместе с собой. Каких усилий это потребует от вас! — между тем как, подойдя со стороны, вы одним толчком могли бы справиться с этим ящиком. Инсаров именно тем и берет, что не сидит в ящике; притеснители его отечества — турки, с которыми он не имеет ничего общего; ему стоит только подойти да и толкнуть их, насколько силы хватит. Русский же герой, являющийся обыкновенно из образованного общества, сам кровно связан с тем, на что должен восставать. Он находится в таком положении, в каком был бы, например, один из сыновей турецкого аги, вздумавший освобождать Болгарию от турок. Трудно даже предположить такое явление; но если бы оно случилось, то, чтобы сын этот не представлялся нам глупым и забавным малым, нужно, чтобы он отрекся уж от всего, что его связывало с турками, — и от веры, и от рациональности, и от круга родных и друзей, и от житейских выгод своего положения. Нельзя не согласиться, что это ужасно трудно и что подобная решительность требует несколько другого развития, нежели какое обыкновенно получает сын турецкого аги. Не много легче дается геройство и русскому человеку. Вот отчего у нас симпатичные, энергические натуры и удовлетворяют себя мелкими и ненужными бравадами, не достигая до настоящего, серьезного героизма, то есть до отречения от целой массы поня-

тий и практических отношений, которыми они связаны с общественной средою. Робость их пред громадою противных сил отражается даже на теоретическом их развитии: они боятся или не умеют доходить до корня и, задумывая, например, карать зло, только и бросаются на какое-нибудь мелкое проявление его и утомляются страшно, прежде чем успевают даже подумать об его источнике. Не хочется им поднять руки на то дерево, на котором и они сами выросли; вот они и стараются уверить себя и других, что вся гниль его только снаружи, что только счистить ее стоит, и все будет благополучно. Выгнать из службы несколько взяточников, наложить опеку на несколько помещичьих имений, обличить целовальника, в одном кабаке продавшего дурного качества водку, — вот и воцарится правосудие, крестьяне во всей России будут благоденствовать, и откупа сделаются превосходною вещью для народа. Так искренно думают многие, и действительно тратят все свои силы на подобные подвиги, и за то же шутя считают себя героями.

Нам рассказывали об одном подобном герое, человеке, как говорили, чрезвычайно энергическом и талантливом. Еще будучи в гимназии, он затеял дело с одним гувернером по тому поводу, что он утаивает бумагу, назначаемую для выдачи воспитанникам. Дело пошло как-то неловко; герой наш умел задеть и инспектора и директора и был исключен из гимназии. Стал он готовиться в университет, а между тем принялся давать уроки. При одном из первых же уроков он заметил, что мать детей, которых он учил, ударила по щеке свою горничную. Он вспыхнул, поднял в доме гвалт, привел полицию и формально обвинил хозяйку дома в жестоком обращении с прислугой. Потянулось следствие, в котором он ничего, разумеется, не мог показать, и его чуть не присудили к строгому наказанию за ложное показание и клевету. Уроков после этого он уж не мог достать. Определился с большим трудом, по чьей-то особенной милости, на службу: дали ему переписать какое-то решение очень нелепого свойства; он не вытерпел и заспорил; ему сказали, чтоб молчал, — он не послушался; ему велели убираться вон. От нечего делать принял он приглашение одного из своих бывших товарищей — ехать с ним на лето в деревню; приехал, увидал, что там делается, да и принялся толковать — и своему товарищу, и отцу его, и даже бурмистру и мужикам — о том, как беззаконно больше

трех дней на барщину крестьян гонять, как непозволительно сечь их без всякого суда и расправы, как бесчестно таскать по ночам крестьянских женщин в барский дом и т. п. Кончилось тем, что мужиков, которые его с участием послушали, перепороли, а ему старый барин велел запречь лошадей и попросил его не являться больше в их краях, если хочет цел остаться. Кое-как переколотившись лето, герой наш к осени поступил в университет, благодаря тому, что на экзамене попадались ему все вопросы не задорные, на которых нельзя было разгуляться и заспорить. Поступил он на медицинский факультет и занимался действительно хорошо; но в практическом курсе, когда профессор у кровати больного объяснял свою мудрость, он никогда не мог удержаться, чтоб не оборвать отсталого или шарлатанящего профессора: как только тот соврет что-нибудь, так он и пойдет ему доказывать, что это чепуха. Вследствие таких выходок герой наш не оставлен при университете, не послан за границу, а назначен в какой-то отдаленный госпиталь. Здесь он на первых же порах уличил смотрителя и грозил на него жаловаться; потом в другой раз поймал и пожаловался, за что получил выговор от главного доктора; получая выговор, он, конечно, очень крупно поговорил и вскоре был переведен из госпиталя... Досталось ему вслед за тем провожать какую-то партию; он принялся шуметь за солдат с начальником партии и с чиновником, заведовавшим продовольствием. Видя, что слова не помогают, написал рапорт, что солдаты недоедают и недопивают по милости чиновника и что начальник партии этому потакает. По прибытии на место—следствие; допрашивают солдат, те говорят: «довольны»; герой наш приходит в негодование, говорит дерзости генерал-штаб-доктору и месяц спустя разжалывается в фельдшерские помощники. Пробывши две недели в этой должности и не выдержав нарочито зверского обращения с ним, он застреливается[20].

Не правда ли — явление необыкновенное, сильная, порывистая натура? А между тем посмотрите, на чем гибнет он. Во всех его поступках нет ничего такого, что бы не составляло прямой обязанности всякого честного человека на его месте; а ему нужно, однако, много героизма, чтоб поступать таким образом, нужна самоотверженная решимость гибнуть за добро[21]. Спрашивается теперь: если уж в нем есть эта решимость, то не лучше ли воспользоваться ею для

дела большого, которым бы действительно достигалось что-нибудь существенно полезное? Но в том-то и беда, что он не сознает надобности и возможности такого дела и не понимает того, что его окружает. Он не хочет видеть круговой поруки во всем, что делается перед его глазами, и воображает, что всякое замеченное им зло есть не более как злоупотребление прекрасного установления, возможное лишь как редкое исключение. При таких понятиях русские герои только и могут, разумеется, ограничиваться мизерными частностями, не думая об общем, тогда как Инсаров, напротив, частное всегда подчиняет общему, в уверенности, что «и то не уйдет». Так, в ответ на вопрос Елены, отмстил ли он убийце своего отца, Инсаров говорит: «Я не искал его. Я не искал его не потому, чтобы я не мог убить его, — я бы очень спокойно убил его, — но потому, что тут не до частной мести, когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет». Вот в этой любви к общему делу, в этом предчувствии его, которое дает силу спокойно выдерживать отдельные обиды, и заключается великое превосходство болгара Инсарова пред всеми русскими героями, у которых общего дела-то и в помине нет.

Впрочем, и подобных-то героев у нас очень немного, да и из них большая часть не выдерживает себя до конца. Гораздо многочисленнее в нашем образованном обществе другой разряд людей — занимающихся размышлениями. Из этих тоже есть много таких, которые хоть и размышляют, но ничего не умеют понять; но об этих мы не говорим. Мы хотим указать только на тех, действительно с светлою головою, людей, которые путем долгих сомнений и исканий дошли до того же единства и ясности идеи, с какими является перед нами, без всяких особенных усилий, Инсаров. Эти люди понимают, где корень зла, и знают, что надо делать, чтобы зло прекратить; они глубоко и искренно проникнуты мыслью, до которой добились наконец. Но — в них нет уже силы для практической деятельности; они столько ломали себя, что натура их как-то надселась и обессилела. Они с сочувствием смотрят на приближение новой жизни, но сами идти ей навстречу не могут, и ими не может удовлетвориться свежее чувство человека, жаждущего деятельного добра и ищущего себе руководителя.

Никто из нас не берет готовыми человечных понятий, во

имя которых нужно потом вести жизненную борьбу. Оттого ни в ком и нет той ясности, той цельности воззрений и действий, которые так естественны, хоть бы, например, в Инсарове. У него впечатления жизни, действующие на сердце и пробуждающие его энергию, постоянно подкрепляются требованиями рассудка, всем теоретическим образованием, которое он получает. У нас совершенно наоборот. Один из наших знакомых, держащийся передовых мнений и сгорающий тоже жаждою деятельного добра, но человек кротчайший и безвреднейший в мире, вот что рассказывал нам о своем развитии, в объяснение своей теперешней бездеятельности.

«По натуре своей, — говорил он, — я был мальчик очень добрый и впечатлительный. Я, бывало, плакал и метался, слушая рассказ о каком-нибудь несчастии, я страдал при виде чужого страдания. Помню, что я не спал ночи, терял аппетит и не мог ничего делать, когда кто-нибудь в доме был болен; помню, что не раз приходил я в некоторого рода бешенство при виде истязаний, какие чинил один мой родственник над своим сыном, моим приятелем. Все, что я видел, все, что слышал, развивало во мне тяжелое чувство недовольства; в душе моей рано начал шевелиться вопрос: да отчего же все так страдает, и неужели нет средства помочь этому горю, которое, кажется, всех одолело? Я жадно искал ответа на эти вопросы, и скоро мне дали ответ, разумный и систематический. Я начал учиться. Первая пропись, которую я написал, была такова: «Истинное счастие заключается в спокойствии совести». На расспросы мои о совести мне объяснили, что она карает нас за дурные поступки и награждает за хорошие. Все мое внимание устремилось теперь на то, чтобы узнать, какие поступки хороши, какие дурны. Это было нетрудно: кодекс нравственности был готов — и в прописях, и в домашних наставлениях, и в особом курсе. «Почитай старших», «Не надейся на свои силы, ибо ты — ничто», «Будь доволен тем, что имеешь, и не желай большего», «Терпением и покорностью приобретается любовь общая» и пр. в таком роде писал я в прописях. Дома и от всех окружающих слышал я то же самое; а в разных курсах узнал я, что совершенного счастья на земле не может быть, но что насколько оно возможно, настолько достигнуто в благоустроенных государствах, из которых наилучшее есть мое отечество. Я узнал, что Россия теперь не только велика и обильна, но что и по-

рядок в ней господствует самый совершенный; что стоит только исполнять законы, приказания старших да быть умеренным, и тогда полнейшее благополучие ожидает человека, какого бы он ни был звания и состояния. Отрадны мне были все эти открытия, и я жадно ухватился за них как за лучшее решение всех моих сомнений. Вздумал было я поверять их моим неопытным умом, но многое пришлось мне не под силу, а что оказывалось доступным, то выходило так верно. И вот я доверчиво и восторженно предался новооткрытой системе, в ней заключил все свои стремления и лет двенадцати был уже маленьким философом и страшным партизаном законности. Я дошел до того убеждения, что во всяком несчастии виноват сам человек — или тем, что не поберегся, не остерегся, или тем, что не хотел довольствоваться малым, или тем, что не проникнут достаточным уважением к закону и к воле старших. Собственно закон я еще не совсем хорошо представлял себе, но он олицетворялся для меня во всяком начальстве и старшинстве. Оттого в этот период моей жизни я постоянно стоял за учителей, начальников и т. д. и был очень любим начальством и старшими классами. Раз меня чуть не выкинули в окно товарищи: один учитель сказал целому классу: «свиньи вы!»; все пришли в азарт по окончании класса, а я принялся защищать учителя и доказывать, что он имел полное право сказать это. В другой раз исключен был один из наших товарищей за грубость начальству; все жалели о нем, потому что он был лучший между нами, но я утверждал, что он наказание вполне заслужил, и очень удивлялся, как он, будучи таким умным мальчиком, не мог понять, что покорность старшим есть первый долг наш и первое условие счастья. Так с каждым днем укреплялся я в своих понятиях законности и мало-помалу привыкал смотреть на большинство людей только как на орудие исполнения высших приказаний. Я порывал таким образом живую связь с душою человека, я перестал тревожиться бедствиями своих собратий, перестал отыскивать возможность облегчить их. «Сами виноваты», — говорил я про себя и стал даже питать к ним не то злобу, не то презрение, как к людям, не умеющим пользоваться спокойно и смирно теми благами, которые им предлагаются по силе общественного благоустройства. Все, что было доброго в моей натуре, обратилось в другую сторону — к поддержанию прав старших над нами. Я чувствовал, что в этом заключается самоотвер-

жение, отречение от собственной самостоятельности, убежден был, что делаю это в видах общей пользы, и считал себя чуть не героем. Я знаю, что многие так и остаются на этой степени, а другие ее видоизменяют слегка и уверяют, что они совсем переменились. Но мне, к счастию, действительно пришлось переменить свое направление довольно рано. Лет четырнадцати я сам имел уже старшинство кое над чем — и в классе и в доме, и, разумеется, оказался при этом очень плох. Я умел делать все, что от меня требовали, но что и как мне требовать — этого я не знал. При всем том я был суров и неподступен. Но скоро мне стало совестно, и я принялся поверять свои прежние понятия о начальстве. Поводом к этому был один случай, пробудивший опять живые ощущения в моем мертвевшем сердце. Как старший брат и умница, я учил, между прочим, одну из сестер моих. Мне дано было право присуждать ей наказания за леность, ослушание и пр. Раз она что-то была рассеянна и никак не хотела понять моих толкований; я велел ей стать на колени. Она тотчас собралась с мыслями и, принявши внимательный вид, стала просить, чтоб я повторил еще раз свои слова. Но я потребовал, чтоб она прежде исполнила приказание — стала на колени; она заупрямилась. Тогда я схватил ее за руки, поднял с места, потом положил ей свои локти на плечи и изо всех сил надавил вниз. Бедная девочка опустилась на колени и взвизгнула: у ней свихнулась нога при этом движении. Я очень испугался: но когда мать стала бранить меня за такое обхождение с сестрой, я очень хладнокровно старался доказать, что она сама виновата, что если б она тотчас послушалась моего приказания, то ничего бы этого и не было. Однако же втайне я мучился, тем более что сестру свою я очень любил. В это время выяснилась мне мысль, что ведь и старшие могут быть неправы и делать нелепости и что уважать нужно собственно закон, как он есть, а не как проявляется в толкованиях того или другого лица. Тут пошла у меня критика действий лиц, и я из консервативной безответственности стремительно перескочил в opposition légale*. Но долгое время я приписывал все дурное одним только частным злоупотреблениям и нападал на них — не во имя насущных потребностей общества, не из сострадания к несчастным

* Легальную оппозицию *(франц.)*.— *Ред.*

братьям, а просто во имя положительного закона. В то время я, конечно, с жаром стал бы говорить против жестокого обращения с неграми, но, подобно некоему московскому публицисту, от всей души обвинил бы Брауна, совершенно противозаконно вздумавшего освобождать негров[22]. Но я был еще тогда очень молод (вероятно, моложе почтенного публициста), мысль моя двигалась и бродила; я не мог остановиться на этом и после многих соображений дошел наконец до сознания, что и законы могут быть несовершенны, что они имеют относительное, временное и частное значение и должны подлежать переменам с течением времени и по требованиям обстоятельств. Но опять, во имя чего так рассуждал я? Во имя высшего, отвлеченного закона справедливости, а вовсе не по внушению живого чувства любви к собратьям, вовсе не по сознанию тех прямых, настоятельных надобностей, которые указываются идущею перед нами жизнью. И что же? Вот я сделал и последний шаг: от отвлеченного закона справедливости я перешел к более реальному требованию человеческого блага; я все свои сомнения и умствования привел наконец к одной формуле: человек и его счастье. Но ведь эта формула была в душе моей еще в детстве, прежде чем я начал обучаться разным наукам и писать назидательные прописи. И — сказать ли? — теперь я ее лучше понимаю и основательнее могу доказать; но тогда я чувствовал ее сильнее, она более была связана с моим существом, и даже, кажется, я готов был тогда больше сделать для нее, чем теперь. Я стараюсь теперь не делать ничего противоречащего сознанному мною закону, стараюсь не отнимать счастье у людей; но этой пассивной ролью я и ограничиваюсь. Броситься на поиск счастья, приблизить его к людям, разрушить все, что ему мешает, — это я мог бы только тогда, если бы мои детские чувства и мечты беспрепятственно развились и окрепли. А между тем они глохли и умирали во мне лет пятнадцать, и только теперь я снова возвращаюсь к ним и нахожу их бледными, тощими, слабыми. Мне еще нужно восстановлять их, прежде чем употреблять в дело; да и кто знает, удастся ли восстановить?..»

Нам кажется, что в этом рассказе есть черты далеко не исключительные, а, напротив, могущие служить общим указанием на те препятствия, какие встречает русский человек на пути самостоятельного развития. Не все с одинаковою силою привязываются к морали прописей, но

никто не уходит от ее влияния, и на всех она действует парализующим образом. Чтобы избавиться от нее, человек должен много сил потерять и много утратить веры в себе при этой беспрерывной возне с безобразной путаницей сомнений, противоречий, уступок, изворотов и т. п.

Таким образом, кто сохранил у него силу на геройство, так тому незачем быть героем, цели настоящей он не видит, взяться за дело не умеет и потому только донкихотствует. А кто понимает, что нужно и как нужно, так тот уже всего себя на это понимание и положил, и в практической деятельности шагу ступить не умеет, и сторонится от всякого вмешательства, как Елена в домашней среде. Да еще Елена все-таки смелее и свободнее, потому что на нее подействовала только общая атмосфера русской жизни, но, как мы сказали уже, не наложила своей печати рутина школьного образования и дисциплины.

Выходит, что наши лучшие люди, каких мы видали до сих пор в современном обществе, только что способны понять жажду деятельного добра, сжигающую Елену, и могут оказать ей сочувствие, но никак не сумеют удовлетворить этой жажды. А это еще передовые, это еще называются у нас «деятели общественные». А то большая часть умных и впечатлительных людей бежит от гражданских доблестей и посвящает себя различным музам. Хоть бы те же Шубин и Берсенев в «Накануне»: славные натуры, и тот и другой умеют ценить Инсарова, даже стремятся душою вслед за ним; если б им немножко другое развитие да другую среду, они бы тоже не стали спать. Но что же им делать тут, в этом обществе? Перестроить его на свой лад? Да ладу-то у них нет никакого и сил-то нет. Починивать в нем кое-что, отрезывать и отбрасывать понемножку разные дрязги общественного устройства? Да не противно ли у мертвого зубы вырывать, и к чему это поведет? На это способны только герои господ Паншиных и Курнатовских.

Кстати — здесь можем мы сказать несколько слов о Курнатовском, тоже одном из лучших представителей русского образованного общества. Это новый вид Паншина, только без светских и художественных талантов и более деловой. Он очень честен и даже великодушен; в доказательство его великодушия Стахов, прочащий его в женихи

Елене, приводит факт, что он, как только достиг возможности безбедно существовать своим жалованьем, тотчас отказался в пользу братьев от ежегодной суммы, которую назначал ему отец. Вообще в нем много хорошего: это признает даже Елена, изображающая его в письме к Инсарову. Вот ее суждения, по которым одним только мы и можем, впрочем, составить понятие о Курнатовском; он в ходе повести не участвует. Рассказ Елены, впрочем, так полон и меток, что больше нам ничего и не нужно, и потому вместо перифраза мы прямо приведем ее письмо к Инсарову:

Поздравь меня, милый Дмитрий: у меня жених. Он вчера у нас обедал; папенька познакомился с ним, кажется, в Английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал вчера не женихом. Но добрая мамаша, которой папенька сообщил свои надежды, шепнула мне на ухо, что это не гость. Зовут его Егор Андреевич Курнатовский; он служит обер-секретарем при сенате. Опишу тебе сперва его наружность. Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен; черты у него правильны, он коротко острижен, носит большие бакенбарды. Глаза у него небольшие (как у тебя), карие, быстрые, губы плоские, широкие; на глазах и на губах постоянная улыбка, официальная какая-то: точно она у него дежурит. Держится он очень просто, говорит отчетливо, и все у него отчетливо: он ходит, смеется, ест, словно дело делает. «Как она его изучила!» — думаешь ты, может быть, в эту минуту. Да — для того чтоб описать тебе его. Да и как же не изучать своего жениха! В нем есть что-то железное... и тупое и пустое в то же время — и честное; говорят, он, точно, очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом он сидел возле меня, против нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих предприятиях; говорят, он в них толк знает и чуть было не бросил своей службы, чтобы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался! Потом Шубин заговорил о театре; г. Курнатовский объявил, и, я должна сознаться, без ложной скромности, что он в художестве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило... но я подумала: нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем художества. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается. К Петербургу и к comme il faut* он, впрочем, довольно равнодушен: он раз даже назвал себя пролетарием. Мы, говорит, чернорабочие. Я подумала: если бы Дмитрий это сказал, мне бы это не понравилось. А этот пускай себе говорит! Пусть хвастается! Со мной он был очень вежлив; но мне все казалось, что со мной беседует очень, очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он говорит, что у такого-то *есть правила* — это его любимое слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию (ты видишь: я беспристрастна), то есть к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда попасться ему в руки! За столом заговорили о взятках...

---

* Светским приличиям *(франц.)*.— *Ред.*

— Я понимаю,— сказал он,— что во многих случаях берущий взятку не виноват: он иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить.

Я вскрикнула:

— Раздавить невиноватого!

— Да, ради принципа.

— Какого?— спросил Шубин. Курнатовский не то смешался, не то удивился и сказал: «Этого нечего объяснять». Папаша, который, кажется благоговеет перед ним, подхватил, что, конечно, нечего, и, к досаде моей, разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенев и вступил с ним в ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Андрея Петровича в таком волнении. Господин Курнатовский вовсе не отрицал пользы науки, университетов и т. д. А между тем я понимала негодование Андрея Петровича. Тот смотрит на все это как на гимнастику какую-то. Шубин подошел ко мне после стола и сказал: «Вот этот и некто другой (он твоего имени произнести не может) — оба практические люди, а посмотрите, какая разница: там настоящий, живой, жизнью данный идеал, а здесь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дельность без содержания». Шубин умен; и я для тебя запомнила его умные слова; а по-моему, что же общего между вами? Ты *веришь*, а тот нет, потому что только в самого себя *верить* нельзя.

Елена сразу поняла Курнатовского и отозвалась о нем не совсем благосклонно. А между тем вникните в этот характер и припомните знакомых деловых людей, с честью подвизающихся для пользы общей; наверное, многие из них окажутся хуже Курнатовского, а найдутся ли лучше — за это поручиться трудно. А все отчего? Именно оттого, что жизнь, среда не делает нас ни умными, ни честными, ни деятельными. И ум, и честность, и силы к деятельности мы должны приобретать из иностранных книжек, которые притом нужно еще согласить и соразмерить со Сводом законов. Не мудрено, что за этой трудной работой холодеет сердце, замирает все живое в человеке и он превращается в автомата, мерно и неизменно совершающего то, что ему следует. И все-таки опять повторишь: это еще лучшие. Там, за ними, начинается другой слой: с одной стороны совсем сонные Обломовы, уже окончательно потерявшие даже обаяние красноречия, которым пленяли барышень в былое время, с другой — деятельные Чичиковы, неусыпные, неустанные, героические в достижении своих узеньких и гаденьких интересцев. А еще дальше возвышаются Брусковы, Большовы, Кабановы, Уланбековы[23], и все это злое племя предъявляет свои права на жизнь и волю русского люда... Откуда тут взяться героизму, а если и народится ге-

рой, так где набраться ему света и разума для того, чтобы не пропасть его силе даром, а послужить добру да правде? И если наберется наконец, то где уж геройствовать надломленному и надорванному, где уж грызть орехи беззубой белке? Лучше же и не обольщаться понапрасну, лучше выбрать себе какую-нибудь специальность, да и зарыться в ней, заглушая недостойное чувство невольной зависти к людям, живущим и знающим, зачем они живут.

Так и поступили в «Накануне» Шубин и Берсенев. Шубин расходился было, узнавши о свадьбе Елены с Инсаровым, и начал: «Инсаров... Инсаров... К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя; да будто уж мы такая совершенная дрянь? Ну, хоть я, разве дрянь? Разве бог меня так-таки всем и обидел?» и пр. ...И тотчас же свернул, бедняк, на художество: «Может, говорит, и я со временем прославлюсь своими произведениями...» И точно — он стал работать над своим талантом, и из него замечательный ваятель выходит... И Берсенев добрый, самоотверженный Берсенев, так искренно и радушно ходивший за больным Инсаровым, так великодушно служивший посредником между ним, своим соперником, и Еленой, — и Берсенев, это золотое сердце, как выразился Инсаров, — не может удержаться от ядовитых размышлений, убедившись окончательно во взаимной любви Инсарова и Елены. «Пусть их! — говорит он. — Недаром мне говаривал отец: мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, мы — труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет! И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!» Каким адом зависти и отчаяния веют эти несправедливые попреки — неизвестно кому и за что!.. Кто ж виноват во всем, что случилось? Не сам ли Берсенев? Нет, русская жизнь виновата. «Кабы были у нас путные люди, — по выражению Шубина, — не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду». А людей путных или непутных делает жизнь, общий строй ее в известное время и в известном месте. Строй нашей жизни оказался таков, что Берсеневу только и осталось одно средство спасения: «Иссушать ум наукою бесплодной». Он так и сделал, и ученые очень хвалили, по

словам автора, его сочинения: «О некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний» и «О значении городского начала в вопросе цивилизации». И еще благо, что хоть в этом мог найти спасение...

Вот Елене — так не оставалось никакого ресурса в России после того, как она встретилась с Инсаровым и поняла иную жизнь... Оттого-то она не могла ни остаться в России, ни возвратиться в нее одна после смерти мужа. Автор очень хорошо умел понять это и предпочел лучше оставить ее судьбу в неизвестности, нежели возвратить ее под родительский кров и заставить доживать свои дни в родной Москве, в тоске одиночества и бездействия. Призыв родной матери, дошедшей до нее почти в ту самую минуту, как она лишалась мужа, не смягчил ее отвращения от этой пошлой, бесцветной, бездейственной жизни. «Вернуться в Россию! Зачем? Что делать в России?» — написала она матери и отправилась в Зару, чтобы потеряться в волнах восстания.

И как хорошо, что она приняла эту решимость! Что, в самом деле, ожидало ее в России? Где для нее там цель жизни, где жизнь? Возвратиться опять к несчастным котятам и мухам, подавать нищим деньги, не ею выработанные и бог знает как и почему ей доставшиеся, радоваться успехам в художестве Шубина, трактовать о Шиллинге с Берсеневым, читать матери «Московские ведомости»[24] да видеть, как на общественной арене подвизаются *правила* в виде разных Курнатовских, — и нигде не видеть настоящего дела, даже не слышать веяния новой жизни... и понемногу, медленно и томительно вянуть, хиреть, замирать... Нет, уж если раз она попробовала другой жизни, дохнула другим воздухом, то легче ей броситься в какую угодно опасность, нежели осудить себя на эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь... И мы рады, что она избегла нашей жизни и не оправдала на себе эти безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещания поэта, так постоянно и беспощадно оправдывающиеся над самыми лучшими, избранными натурами в России:

Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,

Мечты развеются твои.
И жизнь твоя пройдет незрима
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле,—
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле...[25]

Нам остается свести отдельные черты, разбросанные в этой статье (за неполноту которой просим извинения у читателей), и сделать общее заключение.

Инсаров, как человек, сознательно и всецело проникнутый великой идеей освобождения родины и готовый принять в ней деятельную роль, не мог развиться и проявить себя в современном русском обществе. Даже Елена, так полно умевшая полюбить его и так слиться с его идеями, и она не может оставаться среди русского общества, хотя там — все ее близкие и родные. Итак, великим идеям, великим сочувствиям нет еще места среди нас?.. Все героическое, деятельное должно бежать от нас, если не хочет умереть от бездействия или погибнуть напрасно? Не так ли? Не таков ли смысл повести, разобранной нами?

Мы думаем, что нет. Правда, для широкой деятельности нет у нас открытого поприща; правда, наша жизнь проходит в мелочах, в плутнях, интрижках, сплетнях и подличанье; правда, наши гражданские деятели лишены сердца и часто крепколобы, наши умники палец об палец не ударят, чтобы доставить торжество своим убеждениям, наши либералы и реформаторы отправляются в своих проектах от юридических тонкостей, а не от стона и вопля несчастных братьев. Все это так. Но мы все-таки думаем, что *теперь* в нашем обществе есть уже место великим идеям и сочувствиям и что недалеко время, когда этим идеям можно будет проявиться на деле.

Дело в том, что как бы ни была плоха наша жизнь, но в ней уже оказалась возможность таких явлений, как Елена. И мало того, что такие характеры стали возможны в жизни, они уже охвачены художническим сознанием, внесены в литературу, возведены в тип. Елена — лицо идеальное, но черты ее нам знакомы, мы ее понимаем, сочувствуем ей. Что это значит? То, что основа ее характера — любовь к страждущим и притесненным, желание деятельного добра, томительное искание того, кто бы показал,

как делать добро, — все это, наконец, чувствуется в лучшей части нашего общества. И чувство это так сильно и так близко к осуществлению, что оно уже не обольщается, как прежде, ни блестящим, ни бесплодным умом и талантом, ни добросовестной, но отвлеченной ученостью, ни служебными добродетелями, ни даже добрым, великодушным, но пассивно развитым сердцем. Для удовлетворения нашего чувства, нашей жажды нужно более: нужен человек, как Инсаров — но русский Инсаров.

На что ж он нам? Мы сами говорили выше, что нам не нужно героев-освободителей, что мы народ владетельный, а не порабощенный...

Да, извне мы ограждены, да если б и случилась внешняя борьба, то мы можем быть спокойны. У нас для военных подвигов всегда было довольно героев, и в восторгах, какие доныне испытывают барышни от офицерской формы и усиков, можно видеть неоспоримое доказательство того, что общество наше умеет ценить этих героев. Но разве мало у нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними и разве не требуется геройство для этой борьбы? А где у нас люди, способные к делу? Где люди цельные, с детства охваченные одной идеей, сжившиеся с ней так, что им нужно — или доставить торжество этой идее, или умереть? Нет таких людей, потому что наша общественная среда до сих пор не благоприятствовала их развитию. И вот от нее-то, от этой среды, от ее пошлости и мелочности и должны освободить нас новые люди, которых появления так нетерпеливо и страстно ждет все лучшее, все свежее в нашем обществе.

Трудно еще явиться такому герою; условия для его развития и особенно для первого проявления его деятельности — крайне неблагоприятны, а задача гораздо сложнее и труднее, чем у Инсарова. Враг внешний, притеснитель привилегированный гораздо легче может быть застигнут и побежден, нежели враг внутренний, рассеянный повсюду в тысяче разных видов, неуловимый, неуязвимый, а между тем тревожащий вас всюду, отравляющий всю жизнь вашу и не дающий вам ни отдохнуть, ни осмотреться в борьбе. С этим внутренним врагом ничего не сделаешь обыкновенным оружием; от него можно избавиться, только переменивши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился, вырос и усилился, и обвеявши себя таким воздухом, которым он дышать не может.

Возможно ли это? Когда это возможно? Из этих вопросов можно отвечать категорически только на первый. Да, это возможно, и вот почему. Мы говорили выше о том, как наша общественная среда подавляет развитие личностей, подобных Инсарову. Но теперь мы можем сделать дополнение к своим словам: среда эта дошла теперь до того, что сама же и поможет явлению такого человека[26]. Вечная пошлость, мелочность и апатия не могут же быть законным уделом человека, и люди, составляющие общественную среду нашу и закованные в ее условия, давно уже поняли всю тяжесть и нелепость этих условий. Одни скучают, другие рвутся всеми силами куда-нибудь, только бы избавиться от этого гнета. Разные исходы придумывались, разные средства употреблялись, чтобы чем-нибудь оживить мертвость и гнилость нашей жизни; но все это было слабо и недействительно. Наконец теперь появляются уже такие понятия и требования, какие мы видим в Елене; требования эти принимаются обществом с сочувствием; мало того — они стремятся к деятельному осуществлению. Это значит, что уж старая общественная рутина отживает свой век; еще несколько колебаний, еще несколько сильных слов и благоприятных факторов, и явятся деятели!

Выше мы заметили, что решимость и энергию сильной натуры убивает у нас еще в самом начале то идиллическое восхищение всем на свете, то расположение к ленивому самодовольству и сонному покою, которое встречает каждый из нас, еще ребенком, во всем окружающем и к которому его тоже стараются приучить всевозможными советами и наставлениями. Но в последнее время и это условие сильно изменилось. Везде и во всем заметно самосознание, везде понята несостоятельность старого порядка вещей, везде ждут реформ и исправлений, и никто уже не убаюкивает своих детей песнею о том, какое непостижимое совершенство представляет современный порядок дел в России. Напротив, теперь каждый ждет, каждый надеется, и дети теперь подрастают, напитываясь надеждами и мечтами лучшего будущего, а не привязываясь насильно к трупу отжившего прошедшего. Когда придет их черед приняться за дело, они уже внесут в него ту энергию, последовательность и гармонию сердца и мысли, о которых мы едва могли приобрести теоретическое понятие.

Тогда и в литературе явится полный, резко и живо очер-

ченный образ русского Инсарова. И недолго нам ждать его: за это ручается то лихорадочное, мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его появления в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только кануном другого дня. Придет же он наконец, этот день! И, во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!..[27]

# ЗАБИТЫЕ ЛЮДИ

СОЧИНЕНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.
ДВА ТОМА.
МОСКВА, 1860.
«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»,
РОМАН В 4-х ЧАСТЯХ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.
«ВРЕМЯ», 1861, № I—VII.

«Опять о забитых личностях! Мало еще было толковано о них в «Темном царстве», мало вообще надоедал ими «Современник» в своем критическом отделе! И ведь пришла же человеку в голову безобразная мысль — превратить дело художественной критики в патологические этюды о русском обществе...[1] Вот хоть бы теперь: на очереди стоит чрезвычайно важный для искусства вопрос о сущности и степени творческого таланта одного из замечательнейших деятелей нашей литературы, вопрос тем более интересный, что о нем в течение пятнадцати лет были высказаны самые разнообразные мнения. Появление «Бедных людей» было встречено величайшим восторгом всей литературной партии, признавшей Гоголя; Белинский провозгласил, что хотя г. Достоевский и многим обязан Гоголю, как Лермонтов Пушкину,— но что тем не менее он — сам по себе, вовсе не подражатель Гоголя, а талант самобытный и громадный. Он начал так, прибавлял Белинский, как не начинал еще ни один из русских писателей. Мало того — Белинский пророчествовал таким образом: «Талант г. Достоевского принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы»[2] («Отечественные записки, 1846, № III, стр. 20). Это было написано еще в то время, когда в ходу были повести гг. Соллогуба, Луганского[3], Гребенки и т. п.; г. Гончаров еще не появлялся тогда с «Обыкновенной историей»; гг. Тургенев и Григорович едва напечатали несколько незначительных рассказов; об

Островском, Писемском, Толстом и других впоследствии прославившихся писателях не было еще ни слуху ни духу. Прошло с тех пор еще три года: новые писатели возникали и приобретали себе почетную известность, г. Достоевский все продолжал писать, и ни одно из его новых произведений не сравнилось с первою его повестью. В половине 1849 года литературная деятельность его прекратилась[4], и литература не выразила при этом особенных сожалений. Если в течение десятилетнего молчания г. Достоевского иногда и вспоминали о нем, то разве затем, чтобы посмеяться над собственным простодушием, с которым производили его в гении за первую повесть, и о непомерном самолюбии, до которого довело его общее поклонение. Но два года тому назад г. Достоевский снова появился в литературе, хотя имя его было уже слишком бледно пред новыми светилами, загоревшимися на горизонте русской словесности в последнее десятилетие. В эти два года он напечатал четыре больших произведения[5], и об них еще не произнесен беспристрастный суд критики. Теперь именно и предстоит для критика задача — определить, насколько развился и возмужал талант г. Достоевского, какие эстетические особенности представляет он в сравнении с новыми писателями, которых еще не могла иметь в виду критика Белинского, какими недостатками и красотами отличаются его новые произведения и на какое действительно место ставят они его в ряду таких писателей, как гг. Гончаров, Тургенев, Григорович, Толстой и пр. Критику предстоит художественный вопрос, существенно важный для истории нашей литературы,— а он собирается толковать о забитых людях — предмете даже вовсе не эстетическом».

Всякий раз, как я начинаю писать критическую статью, меня начинают осаждать требования и возгласы подобного рода. По мнению одного критика[6], мне от них нет другого спасения, как признаться откровенно, что решение вопросов подобной важности мне не под силу. Я бы, пожалуй, и готов признаться; но ведь это, во-первых, для самолюбия обидно, а во-вторых — зачем же мне клепать на себя? Разумеется, критика должна служить приложением вечных законов искусства к частному произведению, должна, как в зеркале, представить достоинства и недостатки автора, указать ему верный путь, а читателям — места, которыми они должны или не должны восхищаться. Такова ведь должна быть настоящая критика? Да, но знаете ли, что чистая

теория критики так же точно непреложима бывает, как теория о том, как сделаться богатым и счастливым или как приобрести любовь женщин. Еще ежели попадет такая теория на человека, имеющего все шансы нравиться женщинам, ежели придется теория богатства и счастья по человеку умеренному, аккуратному, искательному и ловкому,— так, пожалуй, будет и на дело похоже: у такого человека есть залоги на счастье и богатство, приближающие его к принципам книжной теории. А что, как эта мораль из прописей, предлагаемая под видом «руководства к счастливой и богатой жизни» и состоящая в том, что «будь бережлив», «никогда не давай воли своим страстям», «довольствуйся малым», «сноси терпеливо все оскорбления от тех, от кого находишься в зависимости», и пр. т. п.,— что, ежели эта мораль будет применяема к натуре горячей, расточительной, беспокойной? Ведь не стоит тогда и изучать теорию счастья, точно так, как не стоит робкому и безобразному старцу заниматься изучением «искусства нравиться женщинам», когда там на первом плане стоят развязность, молодость и благообразие, ежели уж не красота. То же самое и с критикой; хорошо, если вам попадается произведение, приближающееся хоть сколько-нибудь к идеальным требованиям, имеющее какие-нибудь шансы «быть долговечным и счастливым», то есть составить собою что-нибудь самобытное, замечательное не по отношению к каким-нибудь другим интересам, а по своему внутреннему достоинству. Тогда можно и с эстетической точки зрения заняться им, можно и в художественные тонкости пуститься и все пятнышки в нем проследить. Да это сделается тогда само собою, по тому же невольному чувству, по которому вы хлопочете, чтобы прекрасной картине дано было хорошее освещение, и невольно делаете движение, чтобы согнать севшую на нее муху... Но подымать вечные законы искусства, толковать о художественных красотах по поводу созданий современных русских повествователей — это (да простят мне г. Анненков и все его последователи!)[7] так же смешно, как развивать теорию генерал-баса в поощрение тапера, не сбивающегося с такта, или пуститься в изложение математической теории вероятностей по поводу ошибки ученика, неверно решившего уравнение первой степени.

Для людей, которые все уткнулись «в свою литературу», для которых нет других событий общественной жизни, кроме выхода новой книжки журнала, действительно дол-

жен казаться громадно-важным их муравейник. Зная только отвлеченные теории искусства (имевшие, впрочем, когда-то свое жизненное значение) да занимаясь сравнением повестей г. Тургенева, например, с повестями г. Шишкина, или романов г. Гончарова с романами г. Карновича[8],— точно, не мудрено прийти в пафос и воскликнуть:

Такой-то муравей был силы непомерной...[9]

Но поверьте, что только праздные люди могут толпиться около этого муравья и по целым часам любоваться, как он показывает свою силу. У большинства людей есть свои занятия, и если им любопытно подчас видеть проявление силы, то уж не такой же.

Я бы хотел здесь поговорить о размерах силы, проявляющейся в современной русской беллетристике, но это завело бы слишком далеко... Лучше уж до другого раза. Предмет этот никогда не уйдет. А теперь обращусь собственно к г. Достоевскому, и главное — к его последнему роману, чтобы спросить читателей: забавно было бы или нет заниматься эстетическим разбором такого произведения?

Роман г. Достоевского очень недурен, до того недурен, что едва ли не его только и читали с удовольствием, чуть ли не о нем только и говорили с полною похвалою... Явился было ему соперник в «Чужом имени» г. Ахшарумова[10], но со второй же части, говорят, обнаружилась в этом романе такая неблаговидная пошлость, во вкусе романов Полевого[11], что читатели бросили роман недочитанным. «Бедные дворяне» г. Потехина[12] тоже, говорят, остались далеко позади «Униженных и оскорбленных». Словом сказать, роман г. Достоевского до сих пор представляет лучшее литературное явление нынешнего года. А попробуйте применить к нему правила строго художественной критики!

Большая часть наших читателей, конечно, знает содержание «Униженных и оскорбленных». Поэтому постараюсь изложить главные черты романа в самых коротких словах.

Рассказ веден от лица Ивана Петровича, «неудавшегося литератора». Герой романа — князь Валковский. Иван Петрович воспитан у помещика Ихменева, который вместе с тем управляет и соседним имением князя Валковского. Валковский очень доверяет Ихменеву и даже посылает к нему под надзор в деревню 19-летнего сына своего Але-

шу, накутившего что-то в Петербурге. Но через год князь приехал в имение, поссорился с Ихменевым — по наговорам, будто тот интриговал, чтобы женить Алешу на своей 17-летней дочери, Наташе,— отнял у него управление именьем, сделал на него начет и завел процесс. Для «хождения по делу» Ихменев переехал в Петербург. Вот завязка романа.

В Петербурге, конечно, Ихменевы встретили Ивана Петровича; он страстно влюбился в Наташу, она в него, они объяснились между собою и с родителями, получили радостное согласие и совет — подождать годик, пока Иван Петрович заработает себе что-нибудь побольше теперешнего. Но между тем Алеша тоже начал бывать у Ихменевых, тайком от отца; старики его принимали ласково, потому что он и в 21 год был милым и незлобным ребенком. Он влюбился в Наташу, а Наташа в него — да так, что в один прекрасный вечер бежала к нему из дома родительского. Иван Петрович все это знал, всему помогал, переносил вести от дочери к родителям, от родителей к дочери и пр. Но вскоре деятельность его раздвояется: он поселился в квартире одного старика, умершего на его руках; к старику ходила внучка, девочка лет 13, Нелли; явилась она и к Ивану Петровичу, но, не нашед дедушки, тотчас убежала. Иван Петрович успел ее выследить, спас ее от развратной женщины, которая уже продала было ее какому-то кутиле, и поселил у себя. С этих пор Иван Петрович мечется беспрестанно от Нелли к Наташе и от Наташи к Нелли. Между тем князь Валковский, видя, что сын не отстает от Наташи, выдумал остроумное средство: приехал к Наташе и при нем же попросил ее согласия на замужество с его сыном. Все были очень рады такому обороту дела, но ветреный Алеша, в котором только препятствия еще и поддерживали любовь, совсем теперь успокоился насчет Наташи, стал пропадать по нескольку дней, ездить по балам и уже без всякого принуждения знакомиться и сходиться с невестой, которую приготовил ему отец. Через несколько дней он, разумеется, влюбился в нее так же страстно, как и в Наташу, а еще через несколько дней убедился, что он ее любит более Наташи. Расчет князя-отца оказался верен; его скоро поняла и Наташа и очень энергически, как по писаному, все высказала князю. Князь обиделся и зато через несколько дней весьма цинически и с приправою разных оскорблений высказал то же самое,

то есть признался во всех своих расчетах, Ивану Петровичу. Между прочим, приехав к нему в квартиру, князь увидал Нелли, и она была им страшно испугана и сделалась больна. Иван Петрович опять в хлопотах: тут больная, там идет к развязке, отец Алеши хочет женить его, невеста его, Катя, хочет познакомиться с Наташей, чтобы попросить у нее прощения и согласия, отец Наташи горячится из-за дочери и — то ее проклинает, то хочет вызывать князя на дуэль, мать рвется к дочери, сама Наташа еле на ногах держится. Наконец все устроивается: Алеша уезжает в деревню вместе с Катей и ее семейством, Наташа решается идти к родителям. Чтобы смягчить отца и приготовить его к прощению, употребляют орудием маленькую Нелли, заставляют ее рассказывать ему свою историю, или, лучше сказать, историю ее матери. Дело состоит в том, что мать Нелли была обольщена одним господином, бежала от отца, была им проклята, потом ограблена и брошена своим любовником и умерла в сыром углу от чахотки и голода, напрасно вымаливая прощения у отца. Рассказ, точно, производит сильное впечатление, так что Ихменев решается идти к Наташе. Но это оказывается решительно не нужно: Наташа сама прибежала к родителям и, разумеется, встречена была с распростертыми объятиями. Вслед за тем при посредстве приятеля Ивана Петровича, ходока Маслобоева, открылось, что Нелли — дочь князя Валковского, что обольститель ее матери был именно он и что — мало того — он был женат на матери Нелли законным образом. Но улик законных против князя не было, и нельзя было предпринять против него никаких мер. Алеша, разумеется, женился на Кате. Униженные и оскорбленные так и остались неотомщенными. Нелли скоро затем умерла; а Наташа с родителями отправилась в провинцию, где старик Ихменев выхлопотал себе какое-то место, проиграв окончательно свой процесс с князем и лишившись своей последней деревеньки, Ихменевки.

В романе очень много живых, хорошо отделанных частностей, герой романа хоть и метит в мелодраму, но по местам выходит недурен, характер маленькой Нелли обрисован положительно хорошо, очень живо и натурально очеркнут также и характер старика Ихменева. Все это дает право роману на внимание публики, при общей бедности хороших повестей в настоящее время. Но все это еще не возвышает его настолько, чтобы применять общие художест-

венные требования ко всем его частностям и сделать его предметом подробного эстетического разбора.

Возьмите, например, хоть самый прием автора: историю любви и страданий Наташи с Алешей рассказывает нам человек, сам страстно в нее влюбленный и решившийся пожертвовать собою для ее счастья. Я признаюсь — все эти господа, доводящие свое душевное величие до того, чтобы зазнамо целоваться с любовником своей невесты и быть у него на побегушках, мне вовсе не нравятся. Они или вовсе не любили, или любили головою только, и выдумать их в литературе могли только творцы, более знакомые с головною, нежели с сердечною любовью. Если же эти романтические самоотверженцы точно любили, то какие же должны быть у них тряпичные сердца, какие куричьи чувства! А этих людей показывали еще нам как идеал чего-то! Первый, сколько помнится, устроил подобную комбинацию любовного самоотвержения г. Тургенев[13] и недавно повторил ее в «Накануне», имея, впрочем, на этот раз осторожность дать понять читателю, что Берсенев еще сам не отдавал себе ясного отчета в своих чувствах к Елене, когда понадобилось его содействие Инсарову. Г-н Достоевский тоже не в первый раз берет такого героя: его уж мы видели в мечтателе «Белых ночей». Но то была шутка в сравнении с нынешним его романом. Теперь мы видим умного, благородного и развитого человека, который тоже попал в такую комбинацию и собирается нам рассказать об этом. Как бы мы ни смотрели на нравственное достоинство его подвига, но нам любопытно следить за ним в его рассказе. Из всех униженных и оскорбленных в романе — он унижен и оскорблен едва ли не более всех; представить, как в его душе отражались эти оскорбления, что он выстрадал, смотря на погибающую любовь свою, с какими мыслями и чувствами принимался он помогать мальчишке — обольстителю своей невесты, какие бесконечные вариации любви, ревности, гордости, сострадания, отвращения, ненависти разыгрывались в его сердце; что чувствовал он, когда видел приближение разрыва между своей невестой и ее любовником,— представить все это в живом, подлинном рассказе самого оскорбленного человека — это задача смелая, требующая огромного таланта для ее удовлетворительного исполнения. Одной неудачной попыткой на разъяснение одной частицы такой задачи Эрнест Федо сразу приобрел себе европейскую известность и массу по-

клонников[14]. Что же, если бы мы нашли хорошее, поэтическое решение всей задачи! Кроме того, что у нас было бы художественное целое,— нам разъяснился бы целый разряд характеров, целый ряд нравственных явлений: мы знали бы, как нам судить об этих кроткосердых героях и какую цену приписывать их гуманному обезличению себя, так, как мы знаем теперь, например, после комедий Островского, как нам смотреть на патриархальную размашистость русской натуры...

Г-н Достоевский известен любовью к рисованию психологических тонкостей. Мнение о его, кажется, «Двойнике», что это «собственно, не повесть, а психологическое развитие», подало даже повод к одному очень известному анекдоту. Потому можно было надеяться, что г. Достоевский именно нападет[15] на ту идею, о которой я говорил. Тогда бы, разумеется, мог быть толк и о художественности исполнения. Но на самом деле вы в романе не только слабого изображения внутреннего состояния Ивана Петровича не находите, но даже не видите ни малейшего намека на то, чтобы автор об этом заботился. Напротив, он избегает всего, где бы могла раскрыться душа человека любящего, ревнующего, страдающего. Пять месяцев, в которые Алеша успел прельстить Наташу и увлек ее за собой,— не удостоены и пяти строчек. Первые полгода жизни Алеши с Наташею пропущены почти без всяких объяснений. Действие романа продолжается какой-нибудь месяц, и тут Иван Петрович беспрерывно на побегушках, так что ему наконец раза два делается дурно и он чуть не схватывает горячку. Но вот и все; что именно у него на душе, мы этого не знаем, хотя и видим, что ему нехорошо. Словом, перед нами не страстно влюбленный, до самопожертвования любящий человек, рассказывающий о заблуждениях и страданиях своей милой, об оскорблениях, нанесенных его сердцу, о поругании его святыни; перед нами просто автор, неловко взявший известную форму рассказа, не подумав о том, какие она на него налагает обязанности. Оттого тон рассказа решительно фальшивый, сочиненный; и сам рассказчик, который, по сущности дела, должен бы быть действующим лицом, является нам чем-то вроде наперсника старинных трагедий. К нему приходит отец Наташи — сообщить о своих намерениях, за ним присылает ее мать — расспросить о Наташе, его зовет к себе Наташа, чтобы излить пред ним свое сердце, к нему обращается Алеша — высказать

12 Заказ 1079

свою любовь, ветреность и раскаяние, с ним знакомится Катя, невеста Алеши, чтобы поговорить с ним о любви Алеши к Наташе, ему попадается Нелли, чтобы выказать свой характер, и Маслобоев, чтобы разузнать и рассказать об отношениях Нелли к князю, наконец, сам князь везет его к Борелю и даже напивается там, чтобы высказать Ивану Петровичу всю гадость своего характера. А Иван Петрович все слушает и все записывает. Вот и все его участие в романе.

Если уже таково отношение к делу даже того самого лица, которое берется рассказывать нам о своем кровном деле, то нельзя ожидать, чтоб он сумел очень глубоко ввести нас в сердечную жизнь других действующих лиц. И точно — роман представляет нам калейдоскоп происшествий, которых случайными свидетелями можем мы сделаться на улице, в гостиной или на ином чердаке, и при этом представлении стоит некто, изъясняющий, что означают и почему выходят такие-то и такие-то вещи. Завязка романа, например, основывается на любви Наташи к Алеше. Наташа представлена девушкою умною, серьезною, с хорошо развитым нравственным чувством, без особенных, и даже без всяких, чувственных поползновений. Алеша — мальчишка уже в 21 год, ветреный, цинический, лишенный всякой нравственной основы в характере до того, что он не конфузится никакой своей пакости, а напротив — тотчас же сам о ней рассказывает, прибавляя, что знает, как это дурно, и вслед за тем опять повторяет ту же пакость. Думая похвалить его невинность, рассказчик говорит, между прочим: «Он не мог бы солгать, а если б и солгал, то вовсе не подозревая в этом дурного». Видите, это был наивный, милый ребенок, не ведающий разницы добра и зла, хотя и достигший 21-го года, воспитанный в светском петербургском обществе, испытавший в нем кое-что и притом бывший сынком такого отца, как князь Валковский. Идеализируя характер Алеши (как и следует по правилам рыцарского великодушия, говоря о сопернике), рассказчик замечает, что он «мог бы сделать и дурной поступок, принужденный чьим-нибудь сильным влиянием, но, сознав последствия такого поступка, умер бы от раскаяния». А через две страницы происходит сцена встречи Алеши с убежавшей из дому Наташей. Иван Петрович пробует напомнить ему: «Что, говорит, вы делаете — какой страшный удар наносите ее отцу и матери» и пр... Алеша отвечает: «Да, это ужа-

сно... Я это и прежде говорил... Но что же делать? изменить нельзя...» А тут еще и изменять-то было нечего. И Алеша, вырвавши дочь из семейства, не умер от раскаяния, да и потом, бросив Наташу и женившись на Кате, тоже не умер... Словом сказать, по описанию это обаятельный, милый ребенок, только очень ветреный, а по ходу дела — это рано развращенный, эгоистический и пустой мальчишка, не имеющий никакого направления, никакого убеждения, поддающийся на минуту всякому постороннему влиянию, но постоянно верный только влечениям своих капризов и чувственности, которых он не умеет даже стыдиться. Трудно сказать, в чем заключается его обаятельность, чем он мог подействовать на умную и серьезную девушку, как Наташа. Она краснеет за него, когда он начинает врать Ивану Петровичу разную чепуху в тот самый момент, как он встретил Наташу, чтобы увезти ее к себе; она умоляет Ивана Петровича взглядом — не судить его строго... Ну, скажите, какое же увлечение, какая любовь при таких отношениях?

Но мало ли бывает аномалий, а г. Достоевский имеет, так сказать, привилегию на их изображение. От г. Голядкина до Фомы Фомича, в «Селе Степанчикове», он изобразил на своем веку много болезненных, ненормальных явлений. Мог взяться и за изображение исключительной, ненатуральной любви Наташи к дряннейшему фату, который, по всем ожиданиям здравого смысла, не мог не казаться ей противным. Положим даже, что самая ненормальность-то, странность подобных отношений и поразила художника и заставила его заняться их воспроизведением. Но ведь мы знаем, что художник — не пластинка для фотографии, отражающая только настоящий момент: тогда бы в художественных произведениях и жизни не было и смысла не было. Художник дополняет отрывочность схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в душе своей частные явления, создает одно стройное целое из разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в бессвязных, по-видимому, явлениях, сливает и перерабатывает в общности своего миросозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой действительности. Оттого истинный художник совершает свое создание, имеет его в душе своей целым и полным, с началом и концом его, с его сокровенными пружинами и тайными последствиями, непонятными часто для логического мышления, но открыв-

шимися вдохновенному взору художника. Такими именно истинный художник представляет свои создания и для других; они для всех делаются просты, понятны, законны. Вещи, самые чуждые для нас в нашей привычной жизни, кажутся нам близкими в создании художника: нам знакомы, как будто родственные, и мучительные искания Фауста, и сумасшествие Лира, и ожесточение Чайльд-Гарольда; читая их, мы до того подчиняемся творческой силе гения, что находим в себе силы, даже из-под всей грязи и пошлости, обсыпавшей нас, просунуть голову на свет и свежий воздух и сознать, что действительно — создание поэта верно человеческой природе, что так должно быть, что иначе и быть не может... Разумеется, не все гении и не от всех можно ожидать подобного эффекта; но все же до известной степени он есть и в каждом художественном произведении, и притом поэты с меньшим талантом обыкновенно являются публике с созданиями, в которых и идеи отразились сравнительно меньшей важности и обширности; но все же хоть что-нибудь, хоть в самых маленьких размерах, но отразилось что-нибудь полно и самобытно: иначе нечего искать в произведении и признаков художественного таланта[16].

Так пусть бы в романе г. Достоевского отразилась в своей полноте хоть этакая маленькая, миниатюрная задача жизни:* как может смрадная козявка, подобная Алеше, внушить к себе любовь порядочной девушке. Разъясни нам автор хоть это — мы бы готовы были проследить его рассказ[18] шаг за шагом и вступить с ним в какие угодно художественные и психологические рассуждения. Но ведь и этого нет: пять месяцев, в которые возникла и дошла до своего страшного пароксизма любовная горячка Наташи, не удостоены ни одной страничкой. Сердце героини от нас скрыто, и автор, по-видимому, смыслит в его тайнах не больше нашего[19]. Мы с доверием обращаемся к нему и спрашиваем: как же это могло случиться? А он отвечает: вот подите же — случилось, да и только.— Да, пожалуй, прибавит к этому: чрезвычайно странный случай... а впрочем, это бывает.— Неугодно ли искать художественного смысла в подобном произведении?

А потом, когда Наташа уже совершила свой странный

* Не говорю, чтоб художник задавал себе задачу, а чтоб у него отразилась, разрешилась она сама собою, хоть бы неведомо для него; а то опять скажут, что я навязываю художнику утилитарные темы[17].

шаг, нелепость которого она понимала еще раньше, потом — как она жила с Алешей? Какой процесс совершился в душе ее с первых дней этой новой жизни до того дня, когда мы в первый раз опять видим ее в разговоре с Иваном Петровичем и когда она высказывает решение, что с Алешей должна расстаться? Обо всем этом мы имеем несколько незначительных слов, вброшенных мимоходом в описание квартирной обстановки Наташи и ровно ничего не объясняющих... Как видно, не это интересовало автора, не тут было для него главное дело. В чем же? Разобрать трудно уже и потому, что действие романа странным и ненужным образом двоится между историей Наташи и историею маленькой Нелли, чем решительно нарушается стройность впечатления. Но как обе эти истории вертятся около князя Валковского, то можно полагать, что основу романа, зерно его, составляет именно воспроизведение характера этого князя. Но, всматриваясь в изображение этого характера, вы найдете с любовью обрисованное сплошное безобразие, собрание злодейских и цинических черт, но вы не найдете тут человеческого лица... Того примиряющего, разрешающего начала, которое так могуче действует в искусстве, ставя перед вами полного человека и заставляя проглядывать его человеческую природу сквозь все наплывные мерзости,— этого начала нет никаких следов в изображении личности князя. Оттого-то вы не можете ни почувствовать сожалений к этой личности, ни возненавидеть ее той высшей ненавистью, которая направляется уже не против личности собственно, но против типа, против известного разряда явлений. И ведь хоть бы неудачно, хоть бы как-нибудь попробовал автор заглянуть в душу своего главного героя... Нет ничего, ни попытки, ни намека... Как и что сделало князя таким, как он есть? Что его занимает и волнует серьезное? Чего он боится и чему, наконец, верит? А если ничему не верит, если у него душа совсем вынута, то каким образом и при каких посредствах произошел этот любопытный процесс? Мы вправе требовать от автора объяснений на подобные вещи, даже не предъявляя на него особенно громадных претензий. Не говоря о гигантах поэзии, мы имеем даже у себя произведения, удовлетворяющие этим скромным требованиям: мы знаем, например, как Чичиков и Плюшкин дошли до своего настоящего характера, даже знаем отчасти, как обленился Илья Ильич Обломов... Но г. Достоевский этим требованием пренебрег со-

вершенно. Как же после этого разбирать характер князя с эстетической точки зрения?

Да и вообще надо быть слишком наивным и несведущим, чтобы серьезно и пространно, с доказательствами, выписками и примерами, разбирать эстетическое значение романа, который даже в изложении своем обнаруживает отсутствие претензий на художественное значение. Во всем романе действующие лица говорят как автор; они употребляют его любимые слова, его обороты; у них такой же склад фразы... Исключения чрезвычайно редки. Начиная с того, что все лица называют друг друга непременно *голубчиком* (исключая, может быть, князя), и оканчивая тем, что они все любят вертеться на одном и том же слове и тянуть фразу, как сам автор,— во всем виден сам сочинитель, а не лицо, которое говорило бы от себя. Можно бы обо всем этом долго толковать, если б мне не было скучно убеждать читателей в том, что для меня, в сущности, вовсе неинтересно; можно бы сгруппировать несколько выписок, которые все вместе представили бы нечто довольно комическое. Но от всего этого я хочу уволить себя. Приведу, пожалуй, одну только выписку, зато длинную,— это когда Наташа, понявши намерения князя, объясняет ему, что значило его сватовство. Сначала Наташа исторически излагает предшествовавшие обстоятельства до того вечера, когда Алеша объявил Кате, невесте своей, что любит Наташу. Затем она продолжает:

Вы спросили себя в тот вечер: что теперь делать? Алеша во всем *подчинится*, но в этом уж ни за что *не подчинится;* вполне испытано. Мало того, чем больше его гнать, мучить — тем больше в нем будет *сопротивления;* потому что он именно таков, как все слабые, но честные люди; не гоните их, не *преследуйте*, они и не подумают *сопротивляться;* а *преследуйте*, то вы сами же разожжете в них *сопротивление*, которое без вашего *преследования* им бы и в голову, может быть, не пришло. Соблазном тоже, оказалось теперь, нельзя взять: прежнее влияние еще слишком *сильно*, и вы только в этот вечер вполне догадались, как оно *сильно*. Что ж делать?

Вы и придумали:

Что, если прекратить над ним всякое преследование? Что, если *снять с него то*, чем тяготится теперь его сердце; снять то, что он считает своим долгом, *обязанностью?* Ведь, может быть, тогда в нем пройдет и жар и все влечение к этим *обязанностям*.

Вот, например, он любит теперь эту Наташу; чего ж лучше: сказать ему прямо, что не только он может теперь ее любить, но даже *позволяется* ему исполнить в отношении к ней все свои *обязанности*, все, чем он страдает за эту Наташу, и не только *позволить*, но даже как-нибудь обратить это *позволение* чуть не в приказ, сказать ему, что он

*должен* на ней жениться, чаще твердить ему, что это его *обязанность,*— одним словом, все, что он говорил сам себе каждый день свободно, от сердца, все это обратить теперь даже в принуждение. Ну, что тогда будет?

— Наталья Николавна! — вскричал князь,— все это одно расстройство вашего воображения, ваша мнительность; вы вне себя, вы преувеличиваете!— И князь с видом сожаления пожал плечами.

— Вот что тогда будет...— продолжала Наташа, как будто не обращая ни малейшего внимания на слова князя.— Во-первых, думали вы, я окончательно привлеку к себе его сердце, и он устыдится всякой недоверчивости ко мне; а это мне очень пригодится теперь? Первое впечатление будет, положим, невыгодно; он *обрадуется.* Он хоть и увлекается *новой любовью,* но ведь он сам еще не знает про эту *новую любовь;* он до сих пор еще думает и уверен, что по-прежнему, как полгода назад, с тем же жаром, с тою же страстью любит свою Наташу. Он хоть и привязался к Катерине Федоровне, но думает, что это только так; ему хорошо, весело с нею — известно почему; да он и не спрашивает об этом! И хоть сердце каждый день влечет его все сильнее и сильнее к *новой любви,* но он совершенно уверен, что там, *в прежней любви,* у Наташи, все по-старому и никаких нет перемен. Он потому еще *обрадуется,* что действительно до сих пор еще любит эту Наташу; ведь она друг его, он так привык к ней; он даже об своей *Кате* (с которой он теперь на *ты)* едет к ней к первой рассказывать; он столько раз видел ее *страдания* и столько сам *страдал* от ее страданий!.. И потому он *обрадуется,* положим так, да и пусть его; оно даже и хорошо: *радость* обновляет, через *радость* старое забывается; одно горе памятно; все это только на минуту; зато будущее выиграно...

Зато он, первый раз во все эти полгода, ляжет спать спокойно, с облегченным сердцем: оно уже не будет болеть за Наташу. Он не будет просыпаться во сне и с тоскою думать: «как-то она? что-то она? чем это кончится? чем устроится?» Теперь все хорошо, и на другой же день он почувствует совсем *невольно, без всякого расчета,* что, слава богу, он уже не должник; теперь все устроилось, и она уже все получила, что он даже больше ей отдал, чем сама она думала; он отдаст ей всю свою будущность, и должна же она оценить это, тогда как до сих пор он должен был ценить все, чем жертвовала ему Наташа. Вот и легче на душе и дышится свободнее, и так *невольно это все подумается,* так, *без расчету,* с таким добрым, теплым чувством! А вы смотрите да про себя думаете: «Это все хорошо: несколько дней пройдет, и с ним случится то же самое, что бывает со всеми влюбленными скоро после свадьбы: препятствий нет, все достигнуто, и любовь сама собою охладевает; там наступает скука; там захочется нового; жизнь не любит покоя; сердцу хочется жить...»

А тут, как нарочно, *новая любовь* еще прежде началась; она уж есть, и изобретать ее не надобно...

— Романы, романы,— произнес князь вполголоса, как будто про себя,— уединение, мечтательность и чтение романов!

— Да, на этой-то *новой любви* вы все и основали,— продолжала Наташа, не слыхав и не обратив внимания на слова князя, вся в лихорадочном жару и все более и более увлекаясь,— и какие шансы для этой *новой любви!* Ведь она началась еще тогда, когда он еще не узнал всех совершенств *этой девушки!* В ту самую минуту, когда он, в тот вечер, открывается *этой девушке,* что не может ее любить, потому что долг и другая любовь запрещают ему это,— *эта девушка* вдруг выказывает

перед ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице, столько сердечного прощения, что он хоть и верил в ее красоту, но и не думал до этого мгновения, чтоб она была так *прекрасна!* Он и ко мне тогда приехал — только и говорил что о ней; она слишком сильно поразила его. Да, он назавтра же непременно должен был почувствовать неотразимую потребность увидеть опять *это прекрасное существо,* хоть из одной только благодарности. Да и почему ж к ней не ехать? Ведь та, *прежняя,* уже не страдает, судьба ее решена, ведь той целый век отдается, а тут одна какая-нибудь минутка... И что за неблагодарная была бы эта Наташа, если б она ревновала даже к этой минутке? И вот незаметно отнимается у этой Наташи вместо минуты день, другой, третий... А между тем, в это время *девушка* высказывается перед ним в совершенно неожиданном, новом и своеобразном виде; она такая благородная энтузиастка, и в то же время она такой наивный ребенок и в этом так сходна с ним характером. Они клянутся друг другу в дружбе, в братстве, неразлучности на всю жизнь. Правда, они с любовью говорят между собой и о Наташе, но они хотят жить втроем всегда. *«В какие-нибудь пять-шесть часов разговора»* вся душа его открывается для новых ощущений и сердце его отдается все... Тут еще новые идеи, и причина их опять *Катя.* Он еще, может быть, не сейчас начнет сравнивать, думаете вы, но это неминуемо. Придет это время; он сравнит свою *прежнюю любовь* с своими новыми, свежими ощущениями; там все знакомое, всегдашнее; там так серьезны, требовательны; там его ревнуют, бранят; там слезы... А если и начинают с ним шалить, играть, то как будто не с ровней, а с ребенком, а главное: все такое *прежнее,* известное...

Силлогизмы Наташи поразительно верны, как будто она им в семинарии обучалась. Психологическая проницательность ее удивительна, постройка речи сделала бы честь любому оратору, даже из древних. Но согласитесь, ведь очень приметно, что Наташа говорит слогом г. Достоевского? И слог этот усвоен большею частию действующих лиц.

Надо еще заметить, что г. Достоевский (как весьма многие, впрочем, из наших литераторов) любит возвращаться к одним и тем же лицам по нескольку раз и пробовать с разных сторон те же характеры и положения. У него есть несколько любимых типов, например тип рано развившегося, болезненного, самолюбивого ребенка,— и вот он возвращается к нему и в «Неточке», и в «Маленьком герое», и теперь в Нелли... Характер Нелли — тот же, что характер Кати в «Неточке», только обстановка их различна. Есть тип человека, от болезненного развития самолюбия и подозрительности доходящего до чрезвычайных уродств и даже до помешательства, и он дает нам г. Голядкина, музыканта Ефимова (в «Неточке»), Фому Фомича (в «Селе Степанчикове»). Есть тип циника, бездумного человека, лишь с энергией эгоизма и чувственности,— он его намечает в Быкове (в «Бед-

ных людях»), неудачно принимается за него в «Хозяйке», не оканчивает в Петре Александровиче (в «Неточке») и, наконец, теперь раскрывает вполне в князе Валковском (которого, кстати,— даже и зовут тоже Петром Александровичем). К этому есть еще у г. Достоевского идеал какой-то девушки, который ему никак не удается представить: Варенька Доброселова в «Бедных людях», Настенька в «Селе Степанчикове», Наташа в «Униженных и оскорбленных» — все это очень умные и добрые девицы, очень похожие на автора по своим понятиям и по манере говорить, но, в сущности, очень бесцветные. Автор умеет поместить их в очень интересную обстановку, но это и все, что для них он делает. Надо признаться, что даже Варенька Доброселова интересует нас более своими несчастиями и теми рассказами, которые г. Достоевский сочинил за нее, нежели сама по себе, просто как поэтическое создание.

Эта бедность и неопределенность образов, эта необходимость повторять самого себя, это неуменье обработать каждый характер даже настолько, чтоб хоть сообщить ему соответственный способ внешнего выражения,— все это, обнаруживая, с одной стороны, недостаток разнообразия в запасе наблюдений автора, с другой стороны, прямо говорит против художественной полноты и цельности его созданий... И думаете ли вы, любители эстетики, что можно было бы помочь г. Достоевскому или оказать услугу искусству, сделавши доскональный — détaillé et raisonne* — разбор художественных несовершенств и достоинств этого романиста? И неужели полагаете вы, что покамест литература имеет хоть малейшую возможность хоть издалека прислушиваться к общественным интересам и хоть неясным, кротким лепетом выразить свое к ним участие,— неужели думаете вы возбудить в ком-нибудь интерес даже самыми блестящими эстетическими этюдами по поводу... ну да просто так, à propos de bottes**, из-за появления новой драмы г. Потехина, нового отрывка г. Гончарова[20], нового романа г. Достоевского!.. Разве дождемся такого времени, когда литература опять разорвет уже решительно всякую (и теперь, правда, слишком слабую) связь с обществом и ограничена будет одними только собственными, домашними интересами, когда литераторы принуждены будут писать только о литерато-

* Детальный и обоснованный *(франц.).— Ред.*

** Ни к селу ни к городу *(франц.).— Ред.*

рах и только для литераторов,— тогда, вероятно, с успехом будут повторяться и явления вроде прекрасной статьи г. Боткина о Фете[21]. Но пока литература (то есть собственно изящная), не достигая действительно художественного значения, имеет по крайней мере практический смысл, дозвольте же придать несколько практический характер и самой критике.

Г-н Достоевский, вероятно, не будет на меня сетовать, что я объявляю его роман, так сказать, «ниже эстетической критики». Я ведь имел в виду вообще современную нашу литературу, и если проверил свою мысль несколькими беглыми замечаниями о его романе, так это потому, что он мне попался под руку. А если бы взять другие из творений, имевших у нас успех в последние годы, так многие из них оказались бы, может быть, еще более несостоятельны. Г-н Достоевский по крайней мере — как нам кажется, судя по некоторым местам его сочинений,— не имеет таких претензий, не придает себе такой важности, как другие. Он изобразил некоторые свои литературные отношения в записках Ивана Петровича: я не считаю нескромным сказать это, потому что сам автор явно не хотел скрываться. Он с такими подробностями рассказывает там содержание «Бедных людей» как первой повести Ивана Петровича — что нет возможности ошибиться. Так тут-то он, между прочим, сознается, что писал многое вследствие необходимости, писал к сроку, написывал по три с половиною печатных листа в два дня и две ночи: называет себя почтовою клячею в литературе; смеется над критиком, уверявшим, что от его сочинений пахнет потом и что он их слишком обделывает*. Словом, г. Достоевский смотрит, по-видимому, на свои произведения как мы все, обыкновенные люди,— не как на несокрушимый памятник для потомства, а просто — как на журнальную работу. А уж известно, что такое журнальная работа: тут не до обработки, не до подробностей, не до строгости к себе в развитии мысли... Довольно того, что хоть кое-как успеешь бросить эту мысль на бумагу. Можно это сравнить вот с чем: вы поэт, в вас сейчас родилось чувство, вас поразило впечатление, которое вы можете изобразить великолепными стихами. У вас уже мелькают в голове образы, готово несколько стихов, несколько метких выражений... Но вам мешают, от вас требуют немедленного отчета в вашем впечатлении,

* Такой именно отзыв был когда-то о г. Достоевском, и даже, если не ошибаюсь, в «Современнике»[22].

у вас, наконец, вовсе отнимают возможность предаться влечению вашего чувства и приискать для него живые звуки. Делать нечего, вы берете карандаш и записную книжку и набрасываете шероховатой прозой остов того прекрасного стихотворения, которое уже слагалось у вас в голове. Так поступает постоянно, в течение всей своей карьеры, журнальный работник. Человек, конечно, все-таки виден — ведь и в остове стихотворения можно разобрать до некоторой степени, какого полета поэт мог написать его; уцелеют, пожалуй, и несколько удачных страниц, как внезапно сложившийся стих попадает в черновой набросок. Но в общем все это будет очень жалко. Одно лишь остается неизменным, при спешной ли работе, при многодумной ли проверке каждой страницы,— это общий характер убеждений человека, его воззрений на жизнь, его симпатий и антипатий. От торопливости в работе можно делать частные ошибки, высказываться неясно или односторонне, впадать в мелкие противоречия и делать скачки, теряя нить строгих логических выводов. Но если бы кто противоречие общих убеждений и симпатий в своих сочинениях стал оправдывать спешностью работы, тот показал бы только, что он неспособен ни к каким убеждениям.

И вот почему, если мы обратимся от отвлеченных эстетических рассуждений к идеям и положениям, развиваемым и у известного автора, то найдем самое лучшее средство к уразумению сущности его таланта. Тут уже мерка наших требований изменяется: автор может ничего не дать искусству, не сделать шага в истории литературы собственно, и все-таки быть замечательным для нас по господствующему направлению и смыслу своих произведений. Пусть он и не удовлетворяет художественным требованиям, пусть он иной раз и промахнется и выразится нехорошо: мы уж на это не обращаем внимания, мы все-таки готовы толковать о нем много и долго, если только для общества важен почему-нибудь смысл его произведений. Есть, конечно, писатели, у которых ни для чего нет *своего глаза,* которые ни о чем не могут сказать *своих слов;* произведения таких господ — сплошная, гладкая, большею частию удобочитаемая пошлость, вроде обыкновенных газетных фельетонов, повестей г. Толбина или князя Кугушева или стихотворений г. Грекова, Апухтина[23] и т. п. Говорить о них, точно, нечего. Есть другие, у которых отразится в голове какая-нибудь мизерная, давно ходячая, односторонняя или фальшивая идейка, и они над нею тру-

дятся: об этих можно иной раз и поговорить, смотря по удаче исполнения. Вот г. Колбасин[24], например, овладел идеею, что «все мужчины изменщики и истинной любви не понимают»; он и написал на эту тему с полдюжины повестей из быта всех европейских наций. Если кому кажется, что г. Колбасин повествует превосходно, тот может, пожалуй, говорить и о г. Колбасине — как, мол, он хорошо проводит свою идею! У других писателей встречаются идеи не столько пошлые и маленькие, но зато более фальшивые. Вот, например, по миросозерцанию г. Писемского выходит, что русский человек ни в чем меры не знает — что ежели он не умирает с голоду, то пьянствует; если не под башмаком у жены, то колотит ее; если не видит себе ниоткуда ни пинка, ни плети, то бросается на всех, как зверь дикий; если взяток не берет, то норовит всякого в кандалы заковать за взятый гривенник. Ну, и об этом нужно поговорить, опять-таки если кому покажется, что в сочинениях г. Писемского идеи эти выходят уж очень убедительны[25].

Но есть другого рода писатели, интересные совсем другим образом. Это те, у которых художественное чутье, хотя бы даже и слабое, направлено здраво, в которых не только верно отражаются явления жизни, но которым доступен более или менее и общий, таинственный смысл ее. Такие писатели становятся замечательными художниками, если их восприимчивость многообъемлюща, если жизнь открывается им не в отдельных только явлениях, а во всем своем стройном течении, если чутки они не к одной только внешней стороне явлений, но и к их внутренней связи и последовательности. Тогда они создают что-нибудь прочно остающееся в литературе и служат двигателями общественного сознания. Но и люди с более ограниченною восприимчивостью, с более слабым, только бы верным, чутьем, не проходят без следа и заслуживают внимания, если хоть одну черту разъяснили или даже только указали нам в этой жизни, которая у всех нас перед глазами, всех задевает собою и, однако же, так немногих наводит на серьезную думу, так немногими понимается.

В произведениях г. Достоевского мы находим одну общую черту, более или менее заметную во всем, что он писал: это боль о человеке, который признает себя не в силах или наконец даже не вправе быть человеком, настоящим, полным, самостоятельным человеком, самим по себе. «Каждый человек должен быть человеком и относиться к другим как

человек к человеку» — вот идеал, сложившийся в душе автора помимо всяких условных и парциальных воззрений, по-видимому даже помимо его собственной воли и сознания, как-то a priori, как что-то составляющее часть его собственной натуры. И между тем, вступая в жизнь и оглядываясь вокруг себя, он видит, что искания человека сохранить свою личность, остаться самим собою, никогда не удаются, и кто из ищущих не успеет рано умереть в чахотке или другой изнурительной болезни, тот в результате доходит только — или до ожесточения, нелюдимства, сумасшествия, или до простого, тихого отупения, заглушения в себе человеческой природы, до искреннего признания себя чем-то гораздо ниже человека. Есть много таких, которые даже как будто родятся с этим последним сознанием, которых мысль о своем человеческом значении как будто никогда сроду не посещала. Это — точно существа другого мира, точно в них ничего нет общего с остальным человечеством... Что за причина такого перерождения, такой аномалии в человеческих отношениях? Как это происходит? какими существенными чертами отличаются подобные явления? к каким результатам ведут они? Вот вопросы, на которые естественным и необходимым образом наводят читателя произведения г. Достоевского. Правда, разрешения всех предложенных вопросов у него нет; но если бы он их решил, то, конечно, и не стал бы писать о них повести. Литературное произведение искреннее, а не заказное только тогда и возможно, когда первая основа и крайнее решение взятого факта составляет еще вопрос, разгадка которого занимает самого автора. Но у сильных талантов самый акт творчества так проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда из простой постановки фактов и отношений, сделанной художником, решение их вытекает само собою. У г. Достоевского недостало на это силы дарования, его рассказам нужны дополнения и комментарии. Но тем не менее вопрос у него поставлен, и никто из читателей не может сам избавиться от этого вопроса после прочтения его повестей. Сам тон каждой повести, мрачный, унылый, болезненный,— так и вышибает из сердца раздражительный вопрос, так и подымает в вас какую-то нервную боль... Подобное впечатление очень не нравилось многим; один критик прямо обвинял г. Достоевского именно за мрачный колорит его повестей: критику, неизвестно почему, казалось, что русской литературе нужны рассказы веселенькие, грациозные, розовые. Желание его исполнилось

скоро: после отзыва его о г. Достоевском (в начале 1849 года)[26] действительно русская литература вдалась в рассказы из великосветской жизни, из нравов древней Аркадии, перенесенной в Костромскую губернию, из сферы супружеских неприятностей во все времена и у всех народов, из круга образованных молодых людей, очень много и неопределенно рассуждавших о возвышенных предметах... Много авторитетных имен (теперь — увы! — теряющих свое обаяние!) создалось в этот недолгий промежуток, до тех пор, пока опять не завладел общим вниманием новый род литературы — обличительный. Прошел и этот род — еще скорее, чем род щигровских гамлетов, пошехонских пастушек и подмосковных графинь,— и прошел не потому, чтобы представители его бедны были талантами, а потому, что с самого начала пошли они по ложной дороге. У одних по необходимости, вследствие внешних требований, а у других и наивно, простосердечно,— миросозерцание явилось чрезвычайно узким и односторонним: в чиновнике так и видели только чиновника; в беде, происшедшей от взяточничества городничего, так и видели только следствие его взяточничества; всякого станового изображали как конечную цель и крайнюю, исходную точку существующих порядков. «Быть или не быть благоденствию в России» — это зависело от того, будет или не будет служить становым честный чиновник Фролов: на этой мысли была у нас построена целая комедия, не без успеха игравшаяся на Александринском театре[27]. Никто, кажется, исключая г. Щедрина, не вздумал заглянуть в душу этих чиновников — злодеев и взяточников, да посмотреть на те отношения, в каких проходит их жизнь. Никто не приступил к рассказу об их подвигах с простою мыслью: «Бедный человек! Зачем же ты крадешь и грабишь? Ведь не родился же ты вором и грабителем, ведь не из особого же племени вышло, в самом деле, это так называемое *крапивное семя?»* Только у г. Щедрина и находим мы по местам подобные запросы, и зато он до сих пор остается не только выше всех своих сверстников по обличительной литературе, но и вообще выше многих из литераторов наших, увлекавших нашу публику рассказами с претензиею на широкое понимание жизни. Но нельзя не видеть, что и у г. Щедрина «обличение» перетягивает. Ни в одном из «Губернских очерков» его не нашли мы в такой степени живого, до боли сердечной прочувствованного отношения к бедному человечеству, как в его «Запутанном деле», напечатан-

ном 12 лет тому назад[28]. Видно, что тогда были другие годы, другие силы, другие идеалы. То было направление живое и действенное, направление истинно гуманическое, не сбитое и не расслабленное разными юридическими и экономическими сентенциями. Тогда к вопросу о том, отчего человек злится или ворует, относились так же, как и к вопросу, зачем он страдает и всего боится; с любовью и болью начинали приниматься за патологическое исследование подобных вопросов, и если бы продолжалось это направление, оно, без сомнения, было бы плодотворнее всех, за ним последовавших[29]. Ныне у нас решения просты: если люди воруют, значит — полиция плохо делает свое дело; если взятки берутся, значит — начальник колпак... и т. п. А тогда выходило иной раз: ворует человек оттого, что работы не нашел себе и с голоду умирал; взятки берет, чтоб пятнадцать душ семейства прокормить... Результаты, очень похожие в нравственном отношении: один будит в вас человеческое чувство и мужественную мысль, другой ведет вас в полицию и заставляет замирать на юридической форме.

Г-н Достоевский в первом же своем произведении явился замечательным деятелем того направления, которое назвал я по преимуществу гуманическим. В «Бедных людях», написанных под свежим влиянием лучших сторон Гоголя и наиболее жизненных идей Белинского,— г. Достоевский со всею энергией и свежестью молодого таланта принялся за анализ поразивших его аномалий нашей бедной действительности и в этом анализе умел выразить свой высоко гуманный идеал. Идеал этот не принадлежал ему исключительно и не им внесен в русскую литературу. В виде сентенций о том, как «самый презренный и даже преступный человек есть тем не менее брат наш»[30] и т. п.,— гуманистический идеал проявлялся еще в нашей литературе конца прошлого столетия, вследствие распространения у нас в то время идей и сочинений Руссо. Но эти привозные сентенции плохо тогда ладили с русской жизнью, и мало было людей, которые бы могли серьезно и глубоко ими проникнуться. Державин все воспевал ничтожество людей вообще и величие некоторых сановников в особенности; о правах же человеческих думал так мало, что умиленно восторгался тем, как ему —

*И знать и мыслить позволяют!..*[31]

Про Карамзина, конечно, нечего и говорить: чтобы видеть,

до какой степени сознание общих человеческих прав и интересов было ему чуждо, довольно перелистовать его «Письма русского путешественника», особенно из Франции[32]. У Пушкина проявляется кое-где уважение к человеческой природе, к человеку как человеку, но и то большею частию в эпикурейском смысле. Вообще же он был слишком мало серьезен, или, говоря словами эстетиков, слишком гармоничен в своей натуре, для того чтобы заниматься какими-нибудь аномалиями жизни. Он во всем видел только прекрасное и рисовал только поэтические стороны: прелесть роскошного пира, стройность колонн, идущих в битву, грандиозность падающей лавины, «благоухание словесного елея», пролившегося на него с какой-то «высоты духовной», и пр., и пр. Только Гоголь, да и то не вдруг, вносит в нашу литературу гуманический элемент:[33] в «Старосветских помещиках» выразился он уже очень ясно, но, как видно, важность его не вполне оценил тогда сам Гоголь. По крайней мере «Ревизор» обработан в этом отношении довольно слабо, что и подало повод некоторым называть всю комедию фарсом и все лица — карикатурами. Но чем далее, тем сильнее выказывалась у Гоголя гуманическая сторона его таланта, и даже вопреки своей воле, в ожидании светлых и чистых идеалов, он все изображал своим могучим словом «бедность, да бедность, да несовершенства нашей жизни»[34]. По этому-то пути направился и г. Достоевский.

В разных видах и случаях представил нам г. Достоевский недостаток уважения человека к самому себе и недостаток уважения к человеку других людей. Кажется бы, дело простое — думается, когда читаешь эти повести: человек родился, значит должен жить, значит имеет право на существование; это естественное право должно иметь и естественные условия для своего поддержания, то есть средства жизни. А так как эта потребность средств есть потребность общая, то и удовлетворение ее должно быть одинаково общее, для всех, без подразделений, что вот, дескать, такие-то имеют право, а такие-то нет. Отрицать чье-нибудь право в этом случае значит отрицать самое право на жизнь. А если так, то, в пределах естественных условий, решительно всякий человек должен быть полным, самостоятельным человеком, и, вступая в сложные комбинации общественных отношений, вносить туда вполне свою личность, и, принимаясь за соответственную работу, хотя бы и самую ничтожную, тем не менее никак не скрадывать, не уничтожать и не за-

глушать свои прямые человеческие права и требования. Кажется, ясно. А между тем — отчего же этот Макар Алексеевич Девушкин «прячется, скрывается, трепещет», беспрерывно стыдится за свою жизнь, «да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову», и единственное утешение находит в том, что он человек маленький, человек ничтожный? Отчего Горшков этот — «жалкий, жилой такой; коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, робкий, боится всех, ходит стороночкой»? Отчего это отец Покровского имеет такой вид, что «он чего-то как будто стыдится, что ему как будто самого себя совестно», и в разговорах с сыном — «приподымается немного со стула, отвечает тихо, подобострастно, почти с благоговением»? А отчего г. Голядкин в мучительных и бесплодных попытках «быть в своем праве» и «идти своей дорогой» — съеживается до последних уступок своего настоящего права и наконец, не выдержав в слабой голове своей идеи, что под его право все подкапываются, мешается в рассудке? Отчего также г. Прохарчин двадцать лет скряжничает и бедствует, все от мысли о необеспеченности, и, наконец, от этой мысли захварывает и умирает? Отчего этот молодой чиновник Шумков считает себя извергом человечества и мешается на том, что его отдадут в солдаты за то, что он, увлекшись нежностями с невестою, не успел переписать к сроку полученной от его превосходительства бумаги, которая к тому же вовсе и не была срочною? Отчего маленькая Неточка так уничтожается перед Катей? Отчего Росталев отрекается от своей воли пред Фомою Фомичом и считает себя решительно недостойным любви Настеньки, своей гувернантки, которую страстно любит? Отчего Наташа теряет свою волю и рассудок и Иван Петрович почтительно сторонится пред вертопрахом Алешею? Отчего старик Ихменев, перенося всевозможные мучения отцовской любви, не хочет простить свою дочь, чтоб не показать вида уступки князю и его сыну? Отчего маленькая Нелли так дико принимает одолжения Ивана Петровича и идет собирать милостыню, чтобы на собранные деньги купить ему разбитую ею чашку? Где причина всех этих диких, поразительно странных людских отношений? В чем корень этого непонятного разлада между тем, что должно бы быть по естественному, разумному порядку, и тем, что оказывается на деле?

Мы уже сказали, что прямого ответа на такие запросы не дает ни одно лицо, ни одна повесть г. Достоевского в от-

дельности. Чтобы найти ответ, мы должны группировать их и пояснять одни другими.

Люди, которых человеческое достоинство оскорблено, являются нам у г. Достоевского в двух главных типах: кротком и ожесточенном. Первые не делают уже никакого протеста, склоняются под тяжестью своего положения и серьезно начинают уверять себя, что они — нуль, ничего, и что если его превосходительство заговорит с ними, то они должны считать себя счастливыми и облагодетельствованными. Другие, напротив: видя, что их право, их законные требования, то, что им свято, с чем они в мир вошли, попирается и не признается, они хотят разорвать со всем окружающим, сделаться чуждыми всему, быть достаточными самим для себя и ни от кого в мире не попросить и не принять ни услуги, ни братского чувства, ни доброго взгляда. Само собою понятно, что им не удается выдержать характер, и оттого они вечно недовольны собою, проклинают себя и других, задумывают самоубийство и т. п.

Между этими двумя крайностями стоит еще разрядец людей, которых можно, пожалуй, отнести скорее к первому типу: это люди, потерявшие широкое сознание своего человеческого права, но заменившие его какою-нибудь узенькою фикциею условного права, утвердившиеся в этой фикции и бережно ее хранящие. При всяком случае, где подобные господа воображают, что их личное достоинство в опасности, они готовы повторять, например, что «я титулярный советник», «мне сам Василий Петрович руку подает», «меня штаб-офицерша Похлестова знает» и т. п. Это тоже люди трусливые, подозрительные, щепетильные, обидчивые донельзя и сами всех более несчастные своею обидчивостью.

Кто наблюдал в нашем обществе над тем, что называется «мелким людом», тот знает, что кроткие и покорившиеся люди тоже иногда бывают обидчивыми и щепетильными. Это зависит от отношений: пред начальником отделения помощник столоначальника — пас, смирился совершенно; но с другими помощниками он считает себя «в своем праве» и за это право держится ревниво и угрюмо. Последняя сторона развита г. Достоевским в «Двойнике», в котором много хороших мест погибло, к сожалению, в общей растянутости и неудачной фантастичности рассказа. Но мы покамест обратимся теперь к анализу первой черты — совершенного смирения и тупого успокоения на своем положении, каково оно вышло.

Кажется, тут бы и говорить не о чем: человек убедился, что он глуп, или безобразен, или манер не имеет,— ну и ладно, и бросить эту материю... Что тут канитель-то тянуть! И еще ему же спокойнее: знает, что слеп, так и подсматривать нечего... Сиди да слушай, что другие скажут. И какой интерес — описывать то, как слепой не видит?..

Но вот в том-то и заслуга художника: он открывает, что слепой-то не совсем слеп; он находит в глупом-то человеке проблески самого ясного здравого смысла: в забитом, потерянном, обезличенном человеке он отыскивает и показывает нам живые, никогда незаглушимые стремления и потребности человеческой природы, вынимает в самой глубине души запрятанный протест личности против внешнего, насильственного давления и представляет его на наш суд и сочувствие. Такие открытия делает нам Гоголь в некоторых повестях своих; то же, только в несколько затейливой форме, находим мы в «Бедных людях» г. Достоевского и отчасти в других его повестях.

Чиновник Девушкин, например, живет себе, дожил до седых волос, прослужил без малого тридцать лет тихо и скромно, ни о чем не задумываясь, ни на что не претендуя. «Что это вы пишете мне,— объясняется он с Варенькой,— про удобства, про покой и про разные разности? Маточка моя, я не брюзглив и не требователен, никогда лучше теперешнего не жил: так чего же на старости-то лет привередничать? *Я сыт, одет, обут; да и куда нам затеи затевать! Не графского рода!..* Родитель был не из дворянского звания и со всей-то семьей своей был беднее меня по доходу.— Я не неженка!» И точно, он не неженка: квартиру занимает за перегородкой в кухне, платит за нее по два целковых и утешается тем, что он «ото всех особнячком, помаленьку живет, втихомолочку живет»... «Сыт я», говорит, а за стол платит пять целковых в месяц: можно представить, какая тут сытость. Обут и одет он — тоже соответственно, но все повторяет: «Я не ропщу и доволен, жалованья достаточно, вот уже несколько лет достаточно». Относительно своего умственного состояния он тоже сознает, что он человек неученый, на медные деньги учился, и слога не имеет, и высоких материй понимать не может, а потому далеко и не лезет. С общественным своим положением он примирился отлично. Он дошел до таких выводов, успокоительных и резонных: «Всякое состояние определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполе-

тах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано: иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим богом». Утвердившись в таких целительных мыслях, Макар Алексеич вместе с тем совершенно теряет всякую опору внутри себя, в собственном рассудке, и высшею, единственною мерою своих достоинств считает уже не собственное сознание, а мнение начальства и формальные отношения. Достоинства свои он описывает таким образом: «Состою я уже около тридцати лет на службе, служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя, *собственным сознанием моим,* как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. *Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны* (собственное-то сознание куда пошло!); и хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны». Далее Макар Алексеич опять показывает, как сильно его собственное сознание: я, говорит, «в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия,— в этом я никогда не замечен, этого не было; *даже крестик выходил»*... Как видите, *крестик* составляет в некотором роде базис философии Макара Алексеича и самый высший, последний аргумент его. Он не лишен и амбиции, но она удовлетворяется тоже довольно легко: он раз, например, выпил неосторожно, дебошу наделал, по его словам, и после того пишет к Вареньке, утешая ее: «Вы, говорит, обо мне не беспокойтесь; спешу вам объявить, что амбиция моя мне всего дороже, и уведомляю вас, что *из начальства еще никто ничего не знает, да и не будет знать, так что они все будут питать ко мне уважение по-прежнему»*. Вообще Макар Алексеич до того дошел, что даже сапоги и шинель носит не для себя, а для других, в особенности же для его превосходительства; и чай пьет тоже больше для других, и все для других, из амбиции. «По мне все равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить — я перетерплю и все вынесу, мне ничего: *человек-то я простой, маленький»*. Но *«сапоги нужны для поддержки чести и доброго имени; в дырявых же сапогах и то и другое пропало»*. То есть как же пропало? А так, что «вдруг его превосходительство заметят и невзначай как-нибудь отнесутся на мой счет — бе-

да!..» К этому кодексу морали и житейской мудрости, выработавшемуся в голове Макара Алексеича, прибавьте умилительно-подловатое впечатление, оставшееся в нем от сцены, когда у него отлетела пуговица в присутствии генерала и генерал дал ему сто рублей и пожал руку. Сцена эта действительно превосходная, много раз была цитирована и потому, конечно, памятна читателям. А вот мысли о ней самого Макара Алексеича: «Клянусь вам,— пишет он Вареньке,— что как ни погибал я от скорби душевной в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на унижение мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили! Этим они меня самому себе возвратили. Этим поступком *они мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали,* и я твердо уверен, что я как ни грешен пред всевышним, но молитва о счастии и благополучии его превосходительства дойдет до престола его!» В этих излияниях душевных вы видите доброту, чувствительность, благородство, если хотите — даже утонченную деликатность Макара Алексеича; но согласитесь, что ведь вам жалко то унижение, в какое он ставит себя, и только сила сострадания прогоняет в вас то чувство отвращения, которое иначе невольно возбудилось бы в вас таким искажением человеческой природы... Забитый, тощий пес Улисса[35], с воем и ласкою встречающий своего господина, неизмеримо ближе и равнее с ним, нежели этот чиновник с благодетельным его превосходительством[36]. Полное отсутствие какого бы то ни было сознания о своем достоинстве, полное признание своего ничтожества, исключение себя из того рода существ, к которому равно принадлежит и Макар Алексеич и его благодетель,— вот что видите вы в излияниях его благодарности. А он между тем счастлив, сам счастлив собственным унижением и в умилении молит бога простить ему «ропот и *либеральные мысли»,* которые он позволял себе подчас «в прежнее грустное время»...

Вот образец того, что нужно в общем механизме для успешного течения дел[37]. Кажется, ничего не может быть лучше. Общество, достигнувшее того, что в нем выработываются подобные типы, может, кажется, назваться образцовым, совершенным, безукоризненным в смысле государственной[38] теории. Здесь не только установлена и поддерживается известного рода иерархия... Это бы еще не штука: мало ли что

можно установить и поддержать силою,— и кардинальское управление держится до сих пор в Риме... Но здесь не то, здесь утановившаяся иерархия не имеет даже надобности быть поддерживаема: так ясна для всех ее польза и необходимость, до такой степени заслужила она внутреннее одобрение каждого, даже наименее ею ублаготворенного, до такой степени все при ней[39] сознают себя счастливыми и довольными... Нельзя всем быть богатыми, всем талантливыми, всем красивыми; нельзя всем начальствовать, всем быть на первых местах; но истинный идеал государства состоит в том, чтобы всякий был доволен на своем месте, всякий сознавал законность и глубокую справедливость своего положения и с такою же охотою повиновался, с какою другие повелевают, так же был спокоен и счастлив при своих десяти целковых жалованья, как другие при двадцати тысячах дохода. Вот тогда может осуществиться идеал золотого века; тогда, если даже кто и неприятности от других потерпит,— и это не расстроит ни общего хода дел, ни его собственного счастия, потому что и в неприятностях этих он будет видеть дело законное и полезное и будет примиряться с ними, как с годовыми переменами. Всякий член идеальной иерархии будет рассуждать, как рассуждает, например, Макар Алексеич о начальнических распеканциях, по поводу насмешника, дерзнувшего иронически о них отозваться: «Отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь?.. Ну, да положим и так, например, для тона распечь,— ну, и для тона можно; нужно приучать, нужно острастку давать... А так как разные чины бывают, и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный; это в порядке вещей! *Да ведь на том и свет стоит, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял и порядка бы не было»*.

Вообразите себе идеальное государство, которое бы в основание своей организации положило подобную философию и в котором все члены прониклись бы ею глубоко и искренне, всем сердцем, всем существом своим: что за счастливое было бы государство! Какое вечно нерушимое спокойствие, какая непрерывная тишина, какой мир и благодушие царили бы в нем! Никто бы не домогался того, чего не дано ему, никто не рвался бы с места, на котором поставлен, никто не рассуждал бы о том, что выше его звания. От бедняка

мысль сделаться богатым была бы так же далека, как желание пролезть сквозь игольные уши; столоначальник не думал бы критиковать распоряжений своего секретаря, как не критикует он наступления ночи после дня, и наоборот; даже какой-нибудь юноша из мелкой сошки, посаженный за переписку бумаг, точно так не вздумал бы тогда мечтать о подвигах, о славе и т. п., как теперь не приходит ему в голову мечтать, например, о превращении своем в крокодила, обитающего в Египте, или в допотопного мастодонта, открытого в северных льдах. Всюду разлито было бы благодатное спокойствие, без всяких порывов и треволнений. Все были бы на своих местах. Одни ездили бы в колясках, жили в великолепных палатах, занимались распеканием других, другие ходили бы пешком по грязи в дырявых сапогах, жили в сырых углах и получали распеканции,— но те и другие одинаково были бы спокойны и довольны своей участью. Те и другие существовали бы рядом, друг подле друга, так же безмятежно, как существуют дуб и крапива, хотя и отнесенные Линнеем[40] к одному разряду по его системе, но нимало не помышляющие о соблазнительном равенстве друг с другом[41]. Не было бы тогда гнусной зависти, непозволительных стремлений, всякого рода опасений и подкопов; люди жили бы как святые в царстве небесном: много будет в раю обителей, много степеней блаженства, но низшие степени будут братски сочувствовать высшим и сами наслаждаться отблеском того высшего блаженства, которого удостоены избранные. Так было бы и на земле в том идеальном государстве, в котором бы все члены прониклись теми чистыми понятиями об общественной иерархии, какие сейчас были приведены... И что всего важнее — подобное устройство могло бы длиться вечно, потому что оно не заключает в себе никаких элементов разрушения — ничего, что бы обещало хоть в отдаленном будущем нарушить общее спокойствие и блаженство. Идеальное общество, основанное на здравых понятиях об общественной иерархии, могло бы существовать целые века спокойно, мирно и счастливо, и разве какой-нибудь геологический переворот мог бы разрушить его идеальные совершенства...

Но, к величайшему сожалению друга человечества, не отыскивается философский камень, не бывает полного совершенства на земле, нет нигде такого идеального общества, какое мы предполагали... Говорят, в давние времена, которых мы с вами, читатель, уже и не припомним, было нечто

подобное устроено в Индии, да и то при помощи самого Брамы. Пария от брамина был так же далек и пропасть между ними была почти так же непереходима, говорят[42], как пропасть между Макаром Алексеичем и его превосходительством. А на том свете, говорят, из семи кругов, в которых давались смертным разные виды блаженства, самым высшим считали тот, где человек терял совершенно свою личность, волю, сознание, погружался в лоно Брамы и решительно, без следа, уничтожался в нем. Это была высшая точка верховного блаженства, какую только могло вообразить себе индийское учение. Кажется — чего бы лучше: общество с подобными началами не должно бы погибнуть, но должно бы постоянно расширять круг своих счастливых членов... Но — таково несовершенство человеческой природы!— и индийское учение и устройство рушилось, и если теперь остается еще, то лишь в жалких подражаниях и переделках, далеких от совершенств первоначального образца. Нечто подобное устроили было отцы иезуиты в Парагвайской республике; но и там успех был далеко не полон. О других слабых попытках достигнуть идеала, деланных, например, в Неаполе, в Австрии и в других странах, не стоит и говорить[43]. Теория принималась хорошо, проводилась в разных учреждениях, преподавалась в школах, преподавалась в церквах монахами разных орденов, проникала даже в домашнее воспитание, захватывая, таким образом, человека в самые нежные, самые впечатлительные его годы: но — все не впрок! Большинство принимало теорию, не имело ничего сказать против нее; но не могло или не умело и успокоиться на ней. Какое-то искание не переставало тревожить людей, и вот какая-нибудь пустая случайность, ничтожное столкновение — и все взволновано, и идеал непрерывной тишины взлетел прахом на воздух... Моралисты утверждали, что все это от растленности человеческого рода и от помрачения ума его; другие, напротив, кричали, что теория будто бы идеальной организации, состоящая в обезличении человека, противна естественным требованиям человеческой природы и потому должна быть отвергнута, как негодная, и уступить место другой, признающей все права личности и принцип бесконечного развития, бесконечного шествия вперед, то есть прогресса, в противоположность застою.

Мы, то есть русские и преимущественно литераторы, обыкновенно держали себя в стороне от всех этих споров,

происходивших на западе Европы. Мы в это время занимались своими вопросами: о торговле древнейшей Руси, о таланте г. Щербины, об Иакове Мнихе, о зооморфических божествах у славян; восхищались пением Марио и письмами Ивана Александровича Чернокнижникова[44], жалели о почти единовременной кончине Жуковского, Гоголя и Загоскина и удивлялись ковам англичан, готовившимся против нас... Словом — мы, как и всегда, делали свое дело и в то, что нас не касается, не мешались: «помаленечку, втихомолочку жили, никого не трогая,— старались, чтоб воды не замутить»[45]. Тем не менее во время уже очень недавнее, когда кто-то крикнул: «Прогресс!», да и спрятался,— и пошли с тех пор хвалить прогресс и бранить застой на чем свет стоит. Как и почему случилось это — объясните! Говорят, потому, что прогресс необходим человеку, что скорее зарезать его можно, чем заставить не желать прогресса... Не знаю, может, оно и так. Посмотрим, не ответят ли нам что-нибудь взятые нами лица, воспроизведенные художническою силою. Известно, что ведь художник всегда беспристрастен: к спорам и теории он не прикасается, а наблюдает только факты жизни, да и рисует их, как умеет,— вовсе не думая, кому это послужит, для какой идеи пригодится. И поэтому-то именно замечательный художник важен в общественном смысле: в жизни-то еще когда наберешь фактов, да и те будут бледны, отрывочны, побуждения неясны, причины смешаны; а тут, пожалуй, и одно или два явления представлены, да зато так, что после них уже никакого сомнения не может быть относительно целого разряда подобных явлений.

Нужно сказать, что некоторая доля художнической силы постоянно сказывается в г. Достоевском, а в первом его произведении сказалась даже в значительной степени. От него не ускользнула правда жизни, и он чрезвычайно метко и ясно положил грань между официальным настроением, между внешностью, форменностью человека, и тем, что составляет его внутреннее существо, что скрывается в тайниках его натуры и лишь по временам, в минуты особенного настроения, мельком проявляется на поверхности. Из наблюдений автора, переданных нам в его рассказах, оказывается, что ведь ни одного человека нет, кто бы в самом деле, всем сердцем и душою, возлюбил идеальную организацию, обещающую столько мира и довольства людям. Даже люди, наиболее ею пропитанные, и те беспрестанно проговариваются и уклоняются. Да вот хоть бы сам Макар Алексеич:

вы, может быть, думаете, что он в самом деле успокоился на том, что «всякому свое место назначено, а места по способностям распределены», и т. д.? Вовсе нет; это когда он резонирует в спокойном положении, так и говорит таким образом. А чуть что-нибудь заденет его за живое — он совсем меняется, и лезут ему в голову сами собою «либеральные мысли». Он тогда спрашивает: «Отчего же это так все случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому счастье само напрашивается?.. Знаю, знаю, маточка (спешит он прибавить, обращаясь к Вареньке), что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине — зачем одному еще в чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой! Грешно, маточка (снова спешит оговориться боязливый Макар Алексеич), оно грешно этак думать, *да тут поневоле как-то грех в душу лезет»*. Расчувствовавшись, Макар Алексеич уже не ограничивается и сомнениями, а даже до негодования доходит и задевает людей почище себя: «Что фрак-то на нем сидит гоголем, что в лорнетку-то золотую он на вас смотрит, бесстыдник,— так уж ему все с рук сходит, так уж и речь его непристойную снисходительно слушать надо! *Полно, так ли, голубчики?»* Как хотите, а ведь это чуть не вызов со стороны бедного чиновничка: видно, не совсем уже угомонилось его сердце, не совсем успокоился он на том, что «если бы мы друг другу тону не задавали, то и свет бы не стоял и порядку бы не было». Нет, он издает теперь вопли сердечные и сознает за собою право вопить и жаловаться. «А еще люди богатые не любят,— замечает он,— чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались — дескать, они беспокоят, они-де назойливы. *Да и всегда бедность назойлива; спать, что ли, мешают их стоны голодные?..»* И переполненное горечью сердце внушает ему такие мысли, вызывает наружу такие инстинкты, которых он сам испугался и отрекся бы в обыкновенном положении, но которые теперь сами собою неодолимо являются во всей своей силе. «Теперь на меня *такая тоска нашла,*— пишет разогорченный Девушкин,— *что я сам моим мыслям до глубины души стал сочувствовать,* и хотя я сам знаю, маточка, что

этим сочувствием не возьмешь, но все-таки *некоторым образом справедливость воздашь себе.* И подлинно, родная моя, *часто самого себя без всякой причины уничтожаешь,* в грош не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравнением выразиться, так это, может быть, оттого происходит, что я сам *запуган и загнан,* как хоть бы и тот бедненький мальчик, что милостыни у меня просил». Вот этакие-то мысли, западая в человека и развиваясь в нем с чрезвычайною быстротою и силою при помощи его природных инстинктов,— и губят всеобщую тишину и спокойствие в том идеальном общественном механизме, который так отрадно рисовался нам выше. И нельзя сказать, чтобы автор здесь выдумывал, клеветал на человеческую природу. Можно заметить, пожалуй, что Макар Алексеич для своего образования и положения является уже слишком метким оценщиком противоречий официальных основ жизни с ее действительными требованиями; но это потому, что, сочиняя в течение полугода чуть не каждый день письма к Вареньке, Макар Алексеич изощрил свой слог; а с другой стороны — почему же и автору немножко не прийти к нему на помощь? Но помощь эта касается единственно словесного выражения мыслей; сами же мысли чисто принадлежат Макару Алексеичу — это скажет всякий, хоть недолгое время, хоть раз бывавший в его положении. Макар Алексеич формулировал свои тяжкие сомнения в письмах к Вареньке; другие не формулируют их иначе, как своим поведением, разными странными поступками и печальными их результатами. Если вы, например, имели бы терпение хоть перелистовать[46] бесконечного г. Голядкина — вы увидели бы, что и он мучится и сходит с ума совершенно по тем же общим причинам — вследствие неудачного разлада бедных остатков его человечности с официальными требованиями его положения. Голядкин не так беден и задавлен, как Девушкин; он может себе позволять даже некоторый комфорт; даже в своем кругу людей, которых *официально* имеет право считать ниже себя, так как он состоит помощником столоначальника в департаменте. Вследствие того он приобрел некоторое условное уважение к себе и какое-то смутное понятие о «своем праве». Но тут он и спутался. Случилось обстоятельство, при котором нужно было выставить вовсе не это, чиновное право, а совсем другое: ему понравилась девушка. Как искатель незавидный, он был отстранен, и вот тут-то перевертываются вверх дном все его понятия. Макар Алексеич нашел возмож-

ность удовлетворить доброте своего сердца, быть полезным для любимого существа, и потому в нем все больше и яснее развивается гуманное сознание, понятие об истинном человеческом достоинстве. Яков Петрович Голядкин, напротив, получил несколько афронтов от родных своей возлюбленной и от своего соперника и потому, оскорбленный в своем человеческом чувстве, но не умея хорошенько сознать этого, прямо хватается за свое чиновное право. «Это моя частная жизнь, это не касается моих официальных отношений»,— находится он сказать, когда ему отказывают от званого обеда в доме родителя его возлюбленной. И затем его мысли совершенно расстроиваются; он уже не знает, что же он — вправе или не вправе... Он чувствует только одно — что тут что-то не так, не ладно. Хочет он объясниться со всеми — врагами и недругами,— все не удается, характера не хватает... И приходит он к idée fixe, к пункту своего помешательства: что жить в свете можно только интригами, что хорошо на свете только тому, кто хитрит, подличает, других обижает... И вот у него является на уме решимость — тоже хитрить, тоже подкопы вести, интриговать... Но где уж ему пускаться на такие штуки? Не так он жил прежде, не так приготовлен, характер у него не такой... «Натура-то твоя такова: душа ты правдивая,— рассуждает он сам с собою.— Нет, уж лучше мы с тобою потерпим, Яков Петрович,— подождем и потерпим». И к этому прибавляется еще у него мысль, тоже обличающая его характер,— мысль, что все еще «может объясниться и устроиться к лучшему». Оттого-то он никак не может ни на что решиться, даже высказаться порядком не может, и, несмотря на «присутствие страшной энергии в себе»,— вечно мнется, трусит и ворочается с половины дороги. Все, что в нем было живого, здравого и сознательного, как-то не выливалось в обычную форму, в которой он доселе сидел так хорошо, и, едва поднявшись, оседало опять на дно его души, но оседало как-то беспорядочно, болезненно, совершенно не под стать к стройности чиновного механизма, в котором он был вставлен. Характеризуя его противоречия, автор, между прочим, говорит: «Позволить обидеть себя он никак не мог согласиться, а тем более — дозволить это совсем развращенному человеку... Не спорим, впрочем, не спорим: может быть, если б кто захотел, если б уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить в ветошку господина Голядкина, то и обратил бы, обратил бы без сопротивления и безнаказанно

(господин Голядкин сам в иной раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин,— так, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта была бы с амбицией, была бы с одушевлением и чувствами, *хотя бы и с безответной амбицией и с безответными чувствами и далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами»*. Мне кажется, трудно лучше характеризовать положение забитых людей, подобных Голядкину, людей, действительно как будто превращенных в тряпицу и только в грязных складках хранящих остатки чего-то человеческого, неслышного, безответного, но все как-то по временам дающего себя чувствовать. Вот оно дало себя чувствовать и г. Голядкину, и всею тяжестью обрушились тяжкие сомнения и вопросы на бедный рассудок и фантазию Якова Петровича. «Так это не так? Тут не каждый в своем праве? Тут берут интригами? Давай же, когда так, и я буду интриговать... Да где мне интриговать? Натура у меня глупая — правдивая,— никогда окольными путями... Но другие же все окольными путями ходят, иначе человека затрут, а я затереть себя не могу позволить... А что, в самом деле, если б я...» И господин Голядкин, вообще наклонный к меланхолии и мечтательности, начинает себя раздражать мрачными предположениями и мечтами, возбуждать себя к несвойственной его характеру деятельности. Он раздвояется, самого себя он видит вдвойне... Он группирует все подленькое и житейски-ловкое, все гаденькое и успешное, что ему приходит в фантазию; но отчасти практическая робость, отчасти остаток где-то в далеких складках скрытого нравственного чувства препятствуют ему принять все придуманные им пронырства и гадости на себя, и его фантазия создает ему «двойника». Вот основа его помешательства. Не знаю, верно ли я понимаю основную идею «Двойника»; никто, сколько я знаю, в разъяснении ее не хотел забираться далее того, что «герой романа — сумасшедший». Но мне кажется, что если уж для каждого сумасшествия должна быть своя причина, а для сумасшествия, рассказанного талантливым писателем на 170 страницах,— тем более, что всего естественнее предлагаемое мною объяснение, которое само собою сложилось у меня в голове при перелистыванье этой повести (всю ее сплошь я, признаюсь, одолеть не мог). Автор, кажется, сам не чужд был такого объяснения: так по крайней мере представляется по некоторым местам повести. Например, первое признание г. Голядкиным

своего двойника описывается автором так: это был «не тот г. Голядкин, который служил в качестве помощника своего столоначальника; *не тот, который любил стушеваться и зарыться в толпе; не тот, наконец, чья походка ясно выговаривает: «не троньте меня, и я вас трогать не буду»*, или: *«не троньте меня,— ведь я вас не затрогиваю»,*— нет, это был другой господин Голядкин, совершенно другой, но вместе с тем и *совершенно похожий на первого»*. И далее беспрестанно г. Голядкин-младший ведет себя с такою ловкостью и бесстыдством, какие только в мечтах и возможны: он ко всем подбивается, перед всеми семенит, бегает с портфелем его превосходительства, из чего г. Голядкин-старший заключает, что он уже «по особому»... Г-н Голядкин-младший всегда умеет остаться правым, ускользнуть от объяснений, отвернуться и подольститься, когда нужно; он способен даже заставить другого заплатить за съеденные им расстегаи; и при всем том он со всеми хорош, он смело рассуждает там, где Голядкин-старший умиленно теряется, он сидит в гостиной там, куда Голядкин-старший и в переднюю показать нос боится... Нечего и говорить, что г. Голядкин все это самого же себя рисует в виде покойника своего. Выдумывая его небывалые, фантастические подвиги, он имеет мысль, что вот поступай он только таким образом (как *некоторые люди* и поступают) — и по службе он успевал бы, и насмешкам товарищей не подвергался, и не был бы затерт какимнибудь выскочкой, раньше его получившим коллежского, и главное — не был бы так безбожно обижен драгоценною Кларою Олсуфьевною и ее родными. Но, вместо того чтобы любоваться на подобные подвиги, г. Голядкин возмущается против них всею долею того забитого, загнанного сознания, какая ему осталась после ровного и тихого гнета жизни, столько лет непрерывно покоившегося на нем. Ему противны даже в мечтах те поступки, те средства, которыми выбиваются «некоторые люди»; он с постоянным страхом отбрасывает свои же мечты на другое лицо и всячески позорит и ненавидит его. В минуты же просветления, когда он опять начинает яснее сознавать свою собственную личность, он вспоминает о своих поползновениях на хитрость, ему мерещится строгий голос старичка Антона Антоныча: «А что, и вы тоже собирались хитрить?» — и бледнеет, теряется, — и снова представляется ему образ его двойника, который бы из всего этого вывернулся, посеменив ножками, и еще сильнее растет раздражение г. Голядкина против такой подлой,

зловредной личности... Порою к нему возвращаются прежние мысли, что, может быть, все устроится к лучшему,— и вот ему раз представляется даже, будто Клара Олсуфьевна, плененная его качествами, присылает ему письмо, в котором приказывает увезти ее от злостных и неблагонамеренных интригантов. И г. Голядкин, точно, отправляется под окна Клары Олсуфьевны — ждать ее, а отсюда уже отвозят его в сумасшедший дом...

Ну посудите же — зачем было сходить с ума человеку? Оставайся бы он только верен безмятежной теории, что он в своем праве и все в своем праве, что если новый коллежский раньше его произведен — так этому так и следует быть, и что если Клара Олсуфьевна его отвергла, так опять это значит, что ему к ней и соваться не следовало,— словом, продолжай он идти своей дорогой, никого не затрогивая, и помни, что все на свете законнейшим образом распределяется по способностям, а способности самою натурою даны, и т. д.— вот и продолжал бы человек жить в прежнем довольстве и спокойствии. Так ведь нет же: встало что-то со дна души и выразилось мрачнейшим протестом, к какому только способен был ненаходчивый господин Голядкин,— сумасшествием... Не скажу, чтоб г. Достоевский особенно искусно развил идею этого сумасшествия; но надо признаться, что тема его — раздвоение слабого, бесхарактерного и необразованного человека между робкою прямотою действий и платоническим стремлением к интриге, раздвоение, под тяжестью которого сокрушается наконец рассудок бедняка,— тема эта для хорошего выполнения требует таланта очень сильного. При хорошей обработке из г. Голядкина могло бы выйти не исключительное, странное существо, а тип, многие черты которого нашлись бы во многих из нас. Припомните ваши встречи с чиновным людом: припомните тех, которые называют себя людьми неискательными, спокойными, любящими по правде жить. Вспомните, как они любят говорить о своей неискательности и как иногда вдруг круто изменяется направление разговора при упоминании о ком-нибудь из их сослуживцев, начальников или знакомых, успевающем больше других. Тут сейчас пойдет: и «хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит», и «правдой век не проживешь», и жалобы на собственную неспособность к подлостям, и ироническое, как будто уничижительное перечисление собственных заслуг: «что, дескать, мы — что по шести-то часов спины не разгибаем, да дела-то все нами держат-

ся — эка важность... А вот — пойти к его превосходительству на бал, да польку там отхватить, да по утрам вместо делато по магазинам разъезжать — его супруги комиссии исполнять — вот это дело, вот с этим и в честь попадешь... А мы — что? Клячи водовозные, волы подъяремные — только в черную работу и годимся...» и т. д. А затем разговор непременно принимает такой оборот, что ведь «и мы, дескать, могли бы подличать, и мы могли бы финтить»... и в доказательство расскажут вам несколько случаев, где, точно, человеку удобно было сподличать, а он не захотел... Во всех подобных господах решительно сидит тенденция г. Голядкина к сумасшедшему дому; дайте им только побольше мечтательности и меланхолии — и переход будет недалек...

Господин Голядкин, впрочем, человек уж совсем сумасшедший; оставим его. А вот еще есть лицо у г. Достоевского, тоже сумасшедший, но скорее только мономан — г. Прохарчин. Человек этот тоже вообразил, должно быть, еще при начале своего служебного поприща,— что «одному на сем свете назначено в каретах ездить, другому в худых сапогах по грязи шлепать», и, причислив себя к последнему разряду, нанял себе угол и живет, не думая пытать судьбы своей. Но прочного спокойствия нет у него на душе; характер у него боязливый, как у всех забитых, и хотя он твердо верует в нерушимость своей философии, но на свете видит и случайности разного рода: болезни, пожары, внезапные увольнения от службы по желанию начальства... Бедняка начинает преследовать мысль о непрочности, о *необеспеченности* его положения. Мысль, конечно, очень естественная. Натурален и результат ее — решение откладывать и копить деньги на всякий случай. Но исполнение уже дико, хотя тоже понятно в г. Прохарчине: он прячет звонкую монету себе в тюфяк... Да и куда же ему девать ее[47], в самом деле? В сундук положить — утащат; поручить кому-нибудь — никому довериться нельзя; в ломбард положить — помилуйте, это значит прямо объявить себя богачом, Крезом каким-то. «У него деньги в ломбарде лежат» — знаете ли вы, как звучит эта фраза в кругу мелких чиновников, а тем более обитателей углов!.. Вот г. Прохарчин и прячет деньги в тюфяк, и 10 лет прячет, и 15, и 20, может быть и больше, и даже сам, кажется, высчитать хорошенько не может, сколько у него там спрятано; а потревожить тюфяк — боится любопытных глаз... Живет он довольно спокойно, то есть перед вся-

ким сторонится, всего робеет и рад, что его не трогают. Вдруг вместе с ним поселяются новые жильцы — хорошие люди, но «надсмешники». Заметив боязливость Прохарчина и постоянную мысль его о необеспеченности,— давай они между собою сочинять слухи — то о сокращении штатов, то об экзаменах для старых чиновников, то о желании его превосходительства уволить всех чиновников с непрезентабельной фигурой, то вообще о тяжелых временах... И что бы вы думали? Ведь совсем сбился с толку бедняжка Прохарчин; ходит сам не свой, лица на нем нет, так и ждет, что его выгонят из службы, и тогда что же с ним будет? Запасец хоть и сделан, да ведь уже его теперь истощать придется, а пополнять неоткуда. Волнение Прохарчина выразилось, как водится, между прочим, тем, что он, встретясь с каким-то закоснелым пьянчужкой, хватил через край и привезен домой в бесчувствии и больной. Едва очнувшись, он начал бредить и тосковать о том, что вот живешь-живешь, да и пойдешь с сумочкой; нынче нужен, завтра нужен — а потом и не нужен, и ступай по миру... Его начинают убеждать, что ему бояться нечего — человек он хороший, смирный и пр. ...Он отвечает: «Да вот он вольный, я вольный; а как лежишь, лежишь, да и того...» — «Чего?» — «Ан и вольнодумец...» Все приходят в ужас и негодование при одной мысли, что Прохарчин может быть вольнодумцем; но он возражает: «Стой, я не того... ты пойми только, баран ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и не смирный, сгрубил; пряжку тебе, и пошел вольнодумец!..» Словом сказать — господин Прохарчин сделался истинным вольнодумцем: не только в прочность места, но даже в прочность собственного смирения перестал верить. Точно будто вызвать на бой кого-то хочет: «Да что, дескать, вечно, что ли, я пресмыкаться-то буду? Ведь я и сгрублю, пожалуй,— я и сгрубить могу... Только что тогда будет?..» Но разгулялся этак господин Прохарчин перед смертью: в ту же ночь, не осилив волнения, он умер, возбудив общее сожаление в жильцах. А по смерти его нашли в тюфяке, в разных сверточках, серебряной монеты на 2497 рублей с полтиною ассигнациями — отчего жильцы, и в особенности хозяйка, пришли уже в негодование...

Господин Прохарчин, как забитый, запуганный человек, ясен; о нем и распространяться нечего. О его внезапной тоске и страхе отставки тоже нечего много рассуждать. При-

13 Заказ 1079

вести разве мнение его сожителей, во время его болезни: «Все охали и ахали; всем было и жалко и горько, и все меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заробеть человек? И из чего ж заробел? Добро бы был при месте большом, женой обладал, детей поразвел; добро б его там под суд какой ни на есть притянули: а то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с немецким замком: лежал с лишком двадцать лет за ширмами, молчал, свету и горя не знал, скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь человеку, с пошлого, с праздного слова какого-нибудь, совсем перевернуть себе голову, совсем забояться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело... *А и не рассудил человек, что всем тяжело!.. Прими он вот только это в расчет,*— говорит потом Океаниев,— *что вот всем тяжело, так сберег бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как куда следует»*.

И ведь прав Океаниев: действительно, Прохарчин оттого и погиб, что с пути здравой философии сбился.

Но кто же не сбивался с нее? У кого не бывало случаев, порывов, увлечений, внезапно нарушавших ровный ход мирно устроенного механизма жизни? Вот еще, пожалуй, пример из г. Достоевского: юный чиновник, Вася Шумков, из низкого состояния трудолюбием и благонравием вышел, за почерк и кротость любим начальством и самим его превосходительством Юлианом Мастаковичем, получает от него приватные бумаги для переписки, да еще за эту честь и деньгами от него награждается время от времени. К этому еще — он имеет преданного друга Аркашу; мало того — он полюбил, заслужил взаимность и уже женихом объявлен... Чего ему еще? Он переполнен счастьем; жизнь ему улыбается. Триста рублей жалованья да приватных от Юлиана Мастаковича — житье с женою хоть куда! Они же так любят друг друга! Вася ничего не помнит, ни о чем не думает, кроме своей невесты; у него есть бумаги, данные для переписки Юлианом Мастаковичем; сроку остается два дня, но Вася с свойственным влюбленному юноше легкомыслием говорит: «еще успею», и не выдерживает, чтоб в вечер под Новый год не отправиться с приятелем к невесте... Но, возвратившись домой и засевши на целую ночь писать, он поражается суровой действительностью: всех бумаг никак не перепишешь к сроку,— а завтра к тому же Новый год, надо еще идти — расписаться у его превосходительства. Напрасно Аркаша его удерживает, обещая за него расписаться,— Ва-

ся боится, что Юлиан Мастакович могут обидеться. Напрасно также добрый друг уговаривает его не сокрушаться, напоминая о великодушии Юлиана Мастаковича: это еще более убивает Васю. Как! Он, ничтожный червяк, презренное, жалкое существо,— удостоен такого высокого внимания, получает частные поручения, слышит милостивые слова... и вдруг — что же?— нерадение, неисполнительность, неблагодарность! Всю чудовищность, всю черноту своего поступка Вася и измерить не может, ибо соразмеряет ее с расстоянием, разделяющим его от Юлиана Мастаковича,— а кто же может измерить это расстояние?! У бедняка голова кружится при одном взгляде на эту страшную пропасть... Он было думает идти к Юлиану Мастаковичу и принести повинную; но как решиться на подобную дерзость? Друг его хочет объясниться за своего друга, даже отправляется к его превосходительству, но заговорить тоже не решается. Бедный Вася сидит за письмом два дня и две ночи, у него мутится в голове, он уже ничего не видит и водит сухим пером по бумаге. Наконец, любовь, ничтожество, гнев Юлиана Мастаковича, недавнее счастье, черная неблагодарность, страх за свое полнейшее бессилие — сламывают несчастного; он убеждается, что ему теперь одна дорога — в солдаты, и мешается на этой мысли. А Юлиан Мастакович благодушно заметил: «Боже, как жаль! И дело-то, порученное ему, было не важное и вовсе не спешное... Так-таки, ни из-за чего погиб человек!»

Положим, что г. Достоевский слишком уж любит сводить с ума своих героев; положим, что у Васи его уж донельзя *слабое сердце* (так и повесть называется). Но всмотритесь в основу этой повести — вы придете к тому же результату: что идеальная теория общественного механизма, с упокоением всех людей на своем месте и на своем деле,— вовсе не обеспечивает всеобщего благоденствия. Оно точно, будь на месте Васи писальная машинка — было бы превосходно. Но в том-то и дело, что никак человека не усовершенствуешь до такой степени, чтоб он уж совершенно машиною сделался; в большой массе еще так — это мы видим в военных эволюциях[48], на фабриках и пр.,— но пошло дело поодиночке — не сладишь. Есть такие инстинкты, которые никакой форме, никакому гнету не поддаются и вызывают человека на вещи совсем несообразные, чрез что, при обычном порядке вещей, и составляют его несчастие. Вот хоть бы для этого Васи,— если уж пробудилось в нем чув-

ство, если уж он не может отстранить от себя человеческих потребностей — то уж гораздо лучше было бы для него вовсе и не иметь этого похвального сознания о своем ничтожестве, о своем беспредельнейшем, жалком недостоинстве пред Юлианом Мастаковичем. Смотря на дело обыкновенным образом, он сказал бы просто: «Ну что же делать,— не успел; обстоятельства такие вышли»,— и остался бы довольно спокоен. А много ли найдем мы людей в положении Васи, которые бы способны были к такой храбрости? Большая часть, проникнутая сознанием своего бессилия и величием начальнической милости,— с трепетом возится за его поручением и хоть не сходит с ума, но сколько выдерживает опасений, сомнений, сколько тяжелых часов переживает, ежели что-нибудь не сделается или сделается не совсем так, как поручено... И все это ведь не из-за дела (до которого Васе и всякому другому подобному ни малейшей нужды нет), а именно из-за того, как взглянут, что скажут,— из-за того, что от этого взгляда жизнь Васи зависит, в этом слове вся его участь может заключаться.

Говорят, отрадно человеку иметь за собою кого-нибудь, кто о нем заботится, за него думает и решает, всю его жизнь, все его поступки и даже мысли устроивает. Говорят, это так согласно с естественной инерцией человека, с его потребностью отдаваться кому-нибудь беззаветно, поставить для души какой-нибудь образец и владыку, в воле которого можно бы почивать спокойно. Все это очень может быть справедливо в известной степени и может оправдываться даже историею. Но едва ли это мнение может найти себе оправдание в тенденциях современных обществ. Оттого ли, что общества новых времен вышли из состояния младенчества, в котором естественное чувство бессилия необходимо заставляет искать чужого покровительства; оттого ли, что прежние, известные нам из истории покровители и опекуны обществ часто так плохо оправдывали надежды людей, доверявших им свою участь,— но только теперь общественные тенденции повсюду принимают более мужественный, самостоятельный характер. Высокие добродетели слепой, безумной преданности, безусловного доверия к авторитетам, безотчетной веры в чужое слово — становятся все реже и реже; мертвенное подчинение всего своего существа известной формальной программе и в ордене иезуитов осталось уже едва ли не на бумаге только. «Естественная человеку инер-

ция» признается уже каким-то отрицательным качеством, вроде способности воды замерзать; напротив[49], на первом плане стоит теперь *инициатива,* то есть способность человека самостоятельно самому по себе браться за дело,— и о достоинствах человека судят уже по степени присутствия в нем инициативы и по ее направлению. Все как-то стремится стать на свои ноги и жить по милости других считает недостойным себя. Такое изменение тенденций произошло в обществах новых народов Европы с конца прошлого столетия. Можем сказать, что изменение это не миновало отчасти и нас. Не касаясь других сфер, недоступных в настоящее время нашему описанию[50], возьмем хотя литературу. То ли она представляет теперь, что за полвека назад? С одной стороны, литература в своем кругу — лицо самостоятельное, не ищущее *милостивцев* и не нуждающееся в них; только иногда, очень редко, какой-нибудь стихотворец пришлет из далекой провинции журнальному сотруднику водянистые стишки с просьбою о *протекции* для помещения их в таком-то журнале. Да эти чудаки большею частию оказываются людьми старого веку, на склоне лет взыгравшими поэтическим вдохновением... С другой стороны, посмотрите и на отношение публики к литературе: недоступных пьедесталов уж нет, непогрешимые авторитеты не признаются, мнение, что, «уж конечно, это[51] верх совершенства, если написано таким-то», вы едва ли часто услышите; а отзыв, что «это прекрасно потому, что таким-то одобрено»,— вероятно, еще реже. Всякий, худо ли, хорошо ли, старается судить сам, пускать в ход собственный разум, и теперь самый обыкновенный читатель не затруднится отозваться, вовсе не с чужого голоса,— что, например, «Свои собаки» Островского[52] — бесцветны и не новы. «Первая любовь» Тургенева — пошлость, «Полемические красоты» Чернышевского — нахальны до неприличия[53] и т. п. Другие читатели выскажут опять, может быть, мнения совершенно противоположные и, расхвалив «Первую любовь», назовут гнилью «Обломова»... Те и другие могут ошибаться; но все же это люди, говорящие свое мнение и не боящиеся того, что высказывают его о лицах уважаемых, даровитых, высокопоставленных и признанных в литературе. Мы не станем говорить, что способствовало такому изменению в читающей публике, и даже согласимся, пожалуй, что на первый раз это всеобщее разнуздание литературных суждений произвел страшный сумбур: всякий порет дичь, какая только ему придет в голо-

ву. Но ведь как же иначе и делаются все человеческие дела? Ведь только Минерва вышла из головы Юпитера во всеоружии, а наши земные дела все начинаются понемножку, с ошибками и недостатками. Да чего вам лучше — сами-то гражданские общества с чего начались, как не со столпотворения вавилонского?

Следовало бы ожидать, что при всеобщем стремлении к поддержанию своего человеческого достоинства исчезнут и те забитые личности, которых несколько экземпляров взяли мы у г. Достоевского. Однако ж — оглянитесь вокруг себя — вы видите, что они не исчезли, что герои г. Достоевского — явление вовсе не отжившее. Отчего ж они так крепятся? Хорошо, что ли, им? Нет, мы видели, что никому из них не приносит особенного счастья его забитость, безответность и отречение от собственной воли, от собственной личности. Замерло, что ли, в них все человеческое? Нет, и не замерло. Мы нарочно проследили четыре лица, более или менее удачно изображенных автором, и нашли, что живы эти люди и жива душа их. Они тупеют, забываются в полуживотном сне, обезличиваются, стираются, теряют, по-видимому, и мысль и волю и еще нарочно об этом стараются, отгоняя от себя всякие наваждения мысли и уверяя себя, что это не их дело... Но искра божья все-таки тлеется в них, и никакими средствами, пока жив человек, невозможно потушить ее. Можно стереть человека, обратить в грязную ветошку, но все-таки где-нибудь, в самых грязных складках этой ветошки, сохранится и чувство и мысль — хоть и безответные, незаметные, но все же чувство и мысль...

«А что же в них, если они незаметны и безответны,— скажет читатель.— Все равно, значит, что их и нет. И вот поэтому-то, вероятно, и продолжают до сих пор существовать эти несчастные создания, забитые до степени грязной ветошки, об которую обтирают ноги».

Мало ли что незаметно, читатель,— незаметно потому, что не хотят замечать. Незаметно до поры до времени, но бывает такая пора, что все выходит наружу. Ведь вот г. Достоевский нашел же возможность подсмотреть живую душу в отупевших, одеревенелых чертах своих героев. А бывают такие случаи, что «безответное» чувство, глубоко запрятанное в человеке, вдруг громко отзовется, и все услышат его. Дело в том, что в человеке ничем не заглушимо чувство справедливости и правомерности; он может смотреть без-

молчно на всякие неправды, может терпеть всякие обиды без ропота, не выразить ни одним знаком своего негодования; но все-таки он не может быть нечувствителен к неправде, насколько ее видит и понимает, все-таки в душе его больно отзывается обида и унижение, и терпению даже самого убитого и трусливого человека всегда есть предел. Вместе с тем в человеке необходимо есть чувство любви; всякий имеет кого-нибудь дорогого для себя — друга, жену, детей, родных, любовницу. На них примеривает он свое положение, их сравнивает с другими, об их довольстве думает, и со стороны ему рассуждается вольнее и яснее. Себя, положим, Макар Алексеевич обрек на горькую долю и о себе не жалеет: «Я уж, говорит, таковский,— пусть мною все помыкают... и недоем-то я — не беда, и обидят-то меня — так не велик барин». Но вот его чувство обращается на чистое, нежное существо, которое делается ему всего дороже в жизни, на Вареньку: он уже предается сожалению о ее несчастиях, находит их незаслуженными, заглядывает в кареты и видит, что там барыни сидят все гораздо хуже Вареньки; ему уже приходят в голову мысли о несправедливости судьбы, ему становится как-то враждебным весь этот люд, разъезжающий в каретах и перепархивающий из одного великолепного магазина в другой,— словом — скрытая боль, накипевшая в груди, подымается наружу и дает себя чувствовать. И бывает это вовсе не так редко, как можно предполагать, не зная дела; бывает это тем чаще, что в большинстве случаев человек загнанный и забитый бывает крайне стеснен и в материальном отношении, а между тем принужден бывает выполнять разные общественные условия. Макар Алексеич сокрушается, что скажут его превосходительство, увидев его плачевный вицмундир, говорит, что пьет чай, собственно, для других, до глубины души возмущается насмешкою департаментского сторожа, не давшего ему щетки почистить шинель под тем предлогом, что об его шинель казенную щетку можно испортить... В самом деле — каково положение: поставлен человек в кругу других, должен вести с ними дело, быть одетым как они, пить и есть как они, и в то же время он лишен всякой возможности даже хоть подражание сносное устроить. Уж не говоря об отличных сапогах,— хоть бы какие-нибудь сапоги — так и тех нет; были одни, да и у тех подошвы отстали... Понятны трагические восклицания Макара Алексеича: «Пожалуй, и сам я скажу, что не нужно его, малодушия-то; да при всем этом ре-

шите сами — в каких сапогах я завтра на службу пойду! Вот оно что, маточка; а ведь подобная мысль погубить человека может, совершенно погубить». И мало ли людей, страдающих и изнывающих в подобных заботах? А еще если есть любимое существо, если есть семейство? Сколько горя, сколько тоски самой прозаической, но оттого не меньше тягостной и ужасной! Средь этих-то забот чувствует человек, до чего он уничижен, до чего он обижен жизнью; тут-то посылает он желчные укоры тому, на чем, по-видимому, так сладостно покоится в другое время, по изложенной выше философии Макара Алексеича[54]. И в этом-то пробуждении человеческого сознания он всего более заслуживает наше сочувствие, и возможностью подобных сознательных движений он искупает[55] ту противную, апатичную робость и безответность, с которою всю жизнь подставляет себя чужому произволу и всякой обиде.

Но отчего же подобные вспышки «божьей искры» так слабы, так бедны результатами? Отчего пробужденное на миг сознание засыпает снова так скоро? Отчего человеческие инстинкты и чувства так мало проявляются в практической деятельности, ограничиваясь больше вздохами и жалобами да пустыми мечтами?

Да оттого и есть, что у людей, о которых мы говорим, уж характер такой. Ведь будь у них другой характер — не могли бы они и быть доведены до такой степени унижения, пошлости и ничтожества. Вопрос, значит, о том, отчего образуются в значительной массе такие характеры, какие общие условия развивают в человеческом обществе инерцию, в ущерб деятельности и подвижности сил.

Может быть, вина в нашем национальном характере? Но ведь этим вопрос не решается, а только отдаляется: отчего же национальный характер сложился такой, по преимуществу инертный и слабый? Придется только решение, вместо настоящего времени, перенести на историческую почву.

Притом же это еще вопрос спорный: ведь немало кричат у нас и о ширине и размашистости русской натуры. Не произнесем своего суждения о всем народе; мы имеем в виду лишь один ограниченный круг его. Но признаться надобно — забавны восторги этой размашистостью, выражающеюся в том, что иные господа парятся в банях, поддавая на каменку шампанское, другие бьют посуду и зеркала в трактирах, третьи — проводят всю жизнь в псовой охоте, а в

прежние времена так еще обращали эту охоту и на людей, зашивая мелкопоместных лизоблюдов в медвежьи шкуры и потом травя их собаками... Этакая-то размашистость водится во всяком невежественном обществе и везде падает с развитием образования. Но где же наша размашистость в кругу обыкновенных людей, да и откуда ей взяться? Возьмите у нас хоть незрелых еще юношей, учащихся наукам: чего они ждут, какую себе цель предполагают в жизни? Ведь все мечты большей части ограничены карьерой, вся цель жизни в том, чтобы получше устроиться. Это несравненно реже встречаете вы у других народов Европы[56]. Не говоря о французах, которые имеют репутацию хвастунишек,— возьмите других, хоть, например, скромных немцев. Редкий немецкий студент не лелеет в душе какой-нибудь любимой идеи — у них все больше ударяются в теорию,— какой-нибудь громадной мечты. Или он откроет новые начала философии и проложит новые пути для мысли; или радикально преобразует существующие педагогические методы, и после него человечество будет воспитываться на новых основаниях; или он будет великим композитором, поэтом, художником... Наконец, если и угомонится он, сузятся его стремления, решится он быть учителем какой-нибудь сельской школы — и тут он задает себе вопрос и думает, как он будет учить, как приобретет расположение мальчиков и уважение общины, и т. п. Во всем этом вы видите что-то деятельное и самостоятельное: «Я то-то сделаю,— а что я за это получу, уж там само собою следует...» Это не тот склад размашистых мечтаний, как, например, у городничего, мечтающего, что его сделают генералом за то, что Хлестаков женится на его дочери... Мы взяли в пример немца; возьмите кого хотите другого, везде вы найдете более широкий размах воображения, более инициативы в самых мечтах и планах, нежели у нас. Англичанин, например, вышед из школы и перестав мечтать о том, чтобы быть Чатамом, Веллингтоном[57] или Байроном, начинает, положим, строить планы обогащения. Это, конечно, и у нас возбуждает мечты многих. Но какая же разница и в средствах и в размерах! Наши мечтатели о богатстве большею частию ухватываются за рутинные средства, берут то, что под рукою и что плохо лежит, и нередко останавливаются на достижении всевозможного комфорта. Между тем англичанин в своих соображениях — изобретет несколько машин, переедет несколько раз все океаны, оснует несколько колоний, устроит несколь-

ко фабрик, сделает несколько громадных оборотов и затмит собою всех Ротшильдов... И что всего важнее — он ведь пойдет исполнять свою задачу, и хоть половины не выполнит, но кое-чего все-таки достигнет... То же надо сказать и о французах: мы напрасно так уж наповал и осуждаем их как пустозвонов. Нет, и они исполняют по временам задачи не маленькие, и, во всяком случае, размах у них шире нашего. Мы вон возимся над каким-нибудь энциклопедическим словарем[58], над какими-нибудь изменениями в паспортной или акцизной системе...[59] А они — «составим, говорят, энциклопедию»,— и составили — не чета нашей[60]; «издадим, говорят, совсем новый кодекс»,— и издали тотчас[61]; «отменим то и другое в нашей жизни»[62],— и отменили. Даже в нынешнем, опошленном и униженном французском обществе все-таки в строе разговора, в поведении каждого француза вы замечаете еще довольно широкие замашки. Там вы слышите: «При встрече с Ламорисьером[63] я ему скажу, что он поступил бесчестно», в другом месте: «У меня почти готова записка императору относительно его итальянской политики»; в третьем: «Нет, я напишу Персиньи[64], что такие меры не годятся»,— и пр. в таком роде...[65] Вы видите, что человек считает себя чем-то, дает себе труд судить и спорить[66] и никак не хочет безусловно повергаться в прах пред каждым словом хоть бы «Moniteur'a»[67]. Правда, что он ничего серьезного большею частию не делает; но по крайней мере духом не падает и не предается тому робкому, безнадежному чувству бессилия, при котором можно «обратить человека в грязную ветошку».

А почему у нас это «обращение в ветошку» так легко и удобно, об этом проницательный читатель не ждет, конечно, от нее решительных объяснений: для них еще время не пришло[68]. Приведем лишь несколько самых общих черт, на которые находим указания даже прямо в произведениях автора, по поводу которого нам представляются все эти вопросы.

Прежде всего припомните, что говорит Макар Алексеич, когда избыток тоски вызывает из глубины души его несколько смелых суждений: «Знаю, что это грешно... Это вольнодумство... Грех мне в душу лезет...» Вы видите, что самая мысль его связана суеверным ужасом греха и преступления. И кто же из нас не знает происхождения этого суеверного страха? Какой отец, отпуская детей своих в школу, учил их — надеяться только на себя и на свои способности и тру-

ды, ставить выше всего науку, искать только истинного знания и в нем только видеть свою опору, и т. п.? Напротив, не говорили ли всякому из нас: «Старайся заслужить внимание начальства, будь смирнее, исполняй беспрекословно, что тебе прикажут, не умничай. Ежели захочешь умничать, так и из правого выйдешь неправым; начальство не полюбит,— что тогда выйдет из тебя? Пропадешь...» В таких началах, в таких внушениях мы выросли. Нас с детства наши кровные родные старались приучить к мысли о нашем ничтожестве: о нашей полной зависимости от взгляда учителя, гувернера и вообще всякого высшего по положению лица. Припомните, как часто случалось вам слышать от домашних: «Молодец, тебя учитель хвалит», или наоборот: «Скверный мальчишка — начальство тобою недовольно»,— и при этом не принималось никаких объяснений и оправданий. А часто ли случалось вам слышать, чтоб вас похвалили за какой-нибудь самостоятельный поступок, чтоб сказали даже просто: «Молодец, ты вот это дело очень хорошо изучил и можешь его дальше повести» или что-нибудь в этом роде?

Таким образом направленные с детства, как мы вступаем в действительную жизнь? Не говорю о богачах и баричах; до тех нам дела нет; мы говорим о бедном люде среднего класса. Некоторые и по окончании ученического периода не выходят из-под крыла родительского; за них просят, кланяются, подличают, велят и им кланяться и подличать, выхлопатывают местечко, нередко теплое... Подобные птенцы имеют шансы дойти до степеней известных. Но огромное большинство бедняков, не имеющих ни кола, ни двора, не знающих, куда приклонить голову,— что делает это большинство? По необходимости тоже подличает, и кланяется, и выкланивает себе на первый раз возможность жить безбедно где-нибудь в углу на чердаке, тратя по двугривенному в день на свое пропитание,— да и это еще по чьей-нибудь милости, потому что, собственно говоря, нужды в людях нигде у нас не чувствуется, да и сами эти люди не чувствуют, чтоб они были на что-нибудь нужны... Заметьте, что ведь у нас если человек мало-мальски чему поучился, то ему нет другого выхода, кроме как в чиновники. В последнее время всякий, обученный до степени кое-какого знания хотя одного иностранного языка, норовит сыскать себе средства к жизни посредством литературы; но литература наша тоже наводнена всякого рода претендентами и не может достаточно питать их. Поневоле опять обращается це-

лая масса людей ежегодно — к чиновнической деятельности, и поневоле терпит все, сознавая свою ненужность и коренную бесполезность. Болезненное чувство господина Прохарчина, что вот он сегодня нужен, завтра нужен, а послезавтра может и ненужным сделаться, как и вся его канцелярия,— одно это чувство объясняет нам достаточную долю той покорности и кротости, с которою он переносит все обиды и все тяготы своей жизни.

Да и как же быть иначе? Где взять сил и решимости для противодействия?[69] Будь еще дело между личностями, один на один,— тогда бы, может быть, раздраженное человеческое чувство выказалось сильнее и решительнее; а ведь тут и личностей-то нет никаких, кроме неповинных, потому что не свою волю творят. Мы видели даже, что начальник Макара Алексеича, например,— благодетельное лицо, Юлиан Мастакович — очень милый человек... Кто же теснит и давит Макара Алексеича? Обстоятельства! А что делать против обстоятельств, когда они сложились так прочно и неизменно, так неразлучны с нашим порядком, с нашей цивилизацией?[70] Их громадность в состоянии подавить и не одного Макара Алексеича, который сознается: «Случается мне рано утром, на службу спеша, заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымится, кипит, гремит,— тут иногда пред таким зрелищем так умилишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься, тише воды, ниже травы, своею дорогою, и рукой махнешь...» Подобное же впечатление производят чудеса современной цивилизации, нагроможденные в Петербурге, на Аркадия, друга Васи Шумкова. Но уж мы не станем его здесь выписывать...

Да, человек поглощается и уничтожается общим впечатлением того громадного механизма, которого он не в состоянии даже обнять своим рассудком. Подобно древнему язычнику, падавшему ниц пред неведомыми, грандиозными явлениями природы, падает нынешний смертный пред чудесами высшей цивилизации, которая хоть и тяжко отзывается на нем самом, но поражает его своими гигантскими размерами. Тут уже нет речи о борьбе, тут и для характеров более сильных возможно только бесплодное раздражение, желчные жалобы и отчаяние. Возьмите хоть опять последний роман г. Достоевского. Вот, например, сильный, горячий характер маленькой Нелли; но посмотрите, как она поставлена и может ли ей в этой обстановке прийти хоть ма-

лейшая мысль о борьбе — постоянной и правильной? Ее мать умерла, задолжав Бубновой; ее нечем похоронить; Нелли осталась беспомощна, беззащитна. Бубнова берет ее к себе и вступает, разумеется, над нею во все права воспитательницы и госпожи. Ее бьют, мучат и тиранят всячески — что же с этим делать? Бубнова — ее благодетельница, и не будь она, так другая на ее месте могла бы делать то же самое... Нелли даже злобно рада своим побоям: она считает их уплатою за кусок хлеба и за отрепье, какое дает ей Бубнова. Но ей тяжко другое: она видит, к чему ее готовит Бубнова; ей и обидно, и страшно, и горько... Но опять — что же она сделает? Ведь не зарезать же Бубнову! А убежать от нее — куда убежишь, чтобы не нашли? И вот она продана и избавляется случайным образом, когда уже над нею готово совершиться мерзкое преступление... Затем — она знает, что она дочь, законная дочь князя. Но что же из этого? Нужны документы, у ней их нет; нужно быть юристом, чтобы затеять дело, да и то у князя есть деньги и связи, подейсвительнее всех юристов... Бедная Нелли хоть и попадает под конец к добрым людям, но ее постоянно возмущает чувство, что она живет у чужих людей, из милости...

Ну да это, положим, ребенок. Возьмем из того же романа другое лицо — Ихменева. Это характер крепкий, но крепкий не на борьбу, а на упорство в раздражении. Свой гнев, свою горечь он изливает то на безответную жену, то на дочь, которую страстно любит, но тем не менее проклинает несколько раз. Отчего он всю силу свою не употребит прямо куда следует — против своего обидчика — князя?.. Да он бы и желал этого более всего на свете; но в делах с князем надо соблюдать установленные церемонии и условия. Затеян процесс — ну, и идет он неспешно, годами, по законному порядку. Порядок этот оказывается в пользу князя,— все[71] в пользу князя,— сколько ни апеллируй — все в его пользу... Приходится платить, продавать с аукциона Ихменевку... Ведь знает и чувствует старик, что это несправедливо, оскорбительно, бессовестно; но как же это переделаешь? И в чем тут сила? Даже и не в князе[72]; убей Ихменев князя — а деревню его все-таки продадут...

Да и убить-то князя нельзя: он так хорошо огражден![73] Ихменев возымел было это намерение, узнав, что князь сказал одному чиновнику, что «вследствие некоторых семейных обстоятельств» — хочет возвратить старику штрафные

с него 10 тысяч. Это значило назначить плату за бесчестье его дочери. Старик расходился и решил вызвать князя на дуэль. Вот рассказ Ивана Петровича об успехах его попытки:

От меня он кинулся прямо к князю, не застал его дома и оставил ему записку; в записке он писал, что знает о словах его, сказанных чиновнику, что считает их себя смертельным оскорблением, а князя низким человеком и вследствие всего этого вызывает его на дуэль, предупреждая при этом, чтоб князь не смел уклоняться от вызова, иначе будет обесчещен публично.

Анна Андреевна рассказывала мне, что он воротился домой в таком волнении и расстройстве, что даже слег. С ней был очень нежен, но на расспросы ее отвечал мало, и видно было, что он чего-то ждал с лихорадочным нетерпением. На другое утро пришло по городской почте письмо; прочтя его, он вскрикнул и схватил себя за голову. Анна Андреевна обмерла от страха. Но он тотчас же схватил шляпу, палку и выбежал вон.

Письмо было от князя. Сухо, коротко и вежливо он извещал Ихменева, что в словах своих, сказанных чиновнику, он никому не обязан никаким отчетом; что хотя он очень сожалеет Ихменева за проигранный процесс, но при всем своем сожалении никак не может найти справедливым, чтоб проигравший в тяжбе имел право из мщения вызывать своего соперника на дуэль; что же касается до «публичного бесчестия», которым ему грозили, то князь просил Ихменева не беспокоиться об этом, потому что никакого публичного бесчестия не будет, да и быть не может; что письмо его немедленно будет представлено куда следует и что предупрежденная полиция, наверное, в состоянии принять надлежащие меры к обеспечению порядка и спокойствия.

Ихменев с письмом в руке тотчас же бросился к князю. Князя опять не было дома; но старик успел узнать от лакея, что князь теперь, верно, у графа N. Долго не думая, он побежал к графу. Графский швейцар остановил его, когда уже он подымался на лестницу. Взбешенный до последней степени, старик ударил его палкой. Тотчас же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейским, которые препроводили его в часть. Доложили графу. Когда же случившийся тут князь объяснил честолюбивому старичку, что это тот самый Ихменев, отец той самой Натальи Николавны (а князь не раз прислуживал графу по *этим делам),* то вельможный старичок только засмеялся и переменил гнев на милость; сделано было распоряжение отпустить Ихменева на все четыре стороны; но выпустили его только на третий день, причем (наверно, по распоряжению князя) объявили старику, что сам князь упросил графа его помиловать.

Старик воротился домой как безумный, бросился на постель и целый час лежал без движения; наконец приподнялся и, к ужасу Анны Андреевны, объявил торжественно, что *навеки* проклинает дочь и лишает ее своего родительского благословения.

Анна Андреевна пришла в ужас, но надо было помогать старику, и она, сама чуть не без памяти, весь этот день и почти всю ночь ухаживала за ним, примачивала ему голову уксусом, обкладывала льдом. С ним был жар и бред.

Вот вам и все. Не в князе тут сила, а в том, что, каков бы он ни был, он всегда огражден от всякой попытки Ихменевых и т. п.— своим экипажем, швейцаром, связями, наконец даже полицейским порядком, необходимым для охранения общественного спокойствия[74].

Не знаю, может быть, и есть выход; но, во всяком случае, вы были бы наивны, читатель, если бы ожидали от меня подробных разъяснений по этому предмету. Пробовал я когда-то начинать подобные объяснения, но никогда не доходили они, как следует, до своего назначения. Теперь уж и писать не стану. Да и вообще — неужели вы, читатели, до сих пор не заметили, что[75] мы с нашею литературою все повторяем только зады? Произвела жизнь наша, много лет тому назад, известный разряд личностей; лет двадцать тому назад художники их приметили и описали; теперь критике опять пришлось обратиться к разбору произведений одного из этих художников; вот она сгруппировала, с картин художника, несколько личностей, кое-что обобщила, сделала кое-какие выводы и замечания... И вот все, что покамест мы можем. Мы нашли, что забитых, униженных и оскорбленных личностей у нас много в среднем классе, что им тяжко и в нравственном и в физическом смысле, что, несмотря на наружное примирение с своим положением, они чувствуют его горечь, готовы на раздражение и протест[76], жаждут выхода... Но тут и кончается предел наших наблюдений. Где этот выход, когда и как[77] — это должна показать сама жизнь. Мы только стараемся идти за нею и представлять для людей, которые не любят или не умеют следить сами за ее явлениями,— то или другое из общих положений действительности. Берите же, пожалуй, факт, намек или указание, сообщенное в печати, как материал для ваших соображений; но главное, следите за непрерывным, стройным, могучим, ничем несдержимым течением жизни, и будьте живы, а не мертвы[78]. Со времени появления Макара Алексеича с братиею жизнь уже сделала многое, только это многое еще не формулировано. Мы заметили, между прочим, общее стремление к восстановлению человеческого достоинства и полноправности во всех и каждом. Может быть, здесь уже и открывается выход из горького положения загнанных и забитых, конечно, не их собственными усилиями, но при помощи характеров, менее подвергшихся тяжести подобного положения, убивающего и гнетущего. И вот этим-то людям, имеющим в себе достаточную долю инициа-

тивы, полезно вникнуть в положение дела, полезно знать, что[79] большая часть этих забитых, которых они считали, может быть, пропавшими и умершими нравственно,— все-таки крепко и глубоко, хотя и затаенно даже для себя самих, хранит в себе живую душу и вечное, неисторжимое никакими муками сознание своего человеческого права на жизнь и счастье.

# КОММЕНТАРИИ

В настоящее издание включены произведения, отражающие различные этапы творчества великого критика, раскрывающие вместе с тем важнейшие черты его многогранного таланта, его оценки литературных произведений и явлений русской жизни.

Тексты печатаются по Собранию сочинений в 9-ти томах, ГИХЛ, М.—Л., 1961 г. за исключением «Письма из провинции», которое воспроизводится по первой публикации в «Колоколе» Герцена и Огарева 1 марта 1860 г. (лист 64).

**«Слухи»**

Впервые — Лемке, I, с. 43—79 (с ошибками и существенными пропусками) датируется сентябрем — декабрем 1855 года.

Из известных девятнадцати номеров все написаны рукою Добролюбова (и являются его произведениями), кроме 7, 16 и 19, которые написаны его институтским товарищем Н. П. Турчаниновым; Добролюбов как редактор и отчасти как автор участвовал и в выпуске этих номеров (в 7 № опубликовано его стихотворение «К Розенталю»). На номере девятнадцатом выпуск газеты прекратился. М. И. Шемановский в воспоминаниях отмечает, что «Слухов» вышло не более двадцати номеров (ЛН, т. 25—26, 1936, с. 293).

В «Слухах» Добролюбов использовал материалы из своей тетради дневникового характера — «Закулисные тайны русской литературы и жизни». Добролюбов пользовался и нелегальными печатными источниками — произведениями лондонской типографии Герцена. В некоторых случаях до сих пор остаются невыясненными его способы узнавания фактов. Например, ответ Пушкина великому князю Михаилу Павловичу, записанный поэтом в дневнике (опубликован лишь в 1880 году!), был знаком только самым близким к Пушкину людям и П. В. Анненкову, работавшему в архиве поэта; но в 1855 году Добролюбов не был знаком ни с кем, кто хотя бы косвенно был связан с этими кругами.

[1] Четверостишие А. В. Кольцова (эпиграф к разделу «Приложения» в книге «Стихотворения Кольцова», 1846, с. 11 третьей пагинации).

[2] Эпиграмма принадлежит не Пушкину; ее авторы — Е. А. Баратынский и С. А. Соболевский.

[3] Неточный текст приписывавшейся Пушкину эпиграммы.

[4] Текст эпиграммы неточен. См. в воспоминаниях В. А. Соллогуба рассказ о том, что Пушкину принадлежит лишь последняя строка, остальной текст — автору мемуаров («Пушкин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, 1950, с. 482).

[5] Цитата из стихотворения А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших» (характеристика относится к Н. Полевому). Впервые напечатано лишь в 1857 году.

[6] 31 декабря 1833 года Пушкину был «высочайше пожалован» придворный чин камер-юнкера, дававшийся обычно юнцам, начинавшим придворную карьеру. Эпизод с Михаилом Павловичем описан в дневнике Пушкина от 7 января 1834 года (П у ш к и н, т. VIII, с. 35). Поэт был оскорблен такой «милостью» царя.

[7] Доказано, что эти слова сочинены Жуковским с целью смягчить отношение царя к Пушкину. Жуковский включил их в письмо к отцу поэта 15 февраля 1837 года (см. Щ е г о л е в П. Е. Дуэль и смерть Пушкина, Пг. 1916, с. 17—21).

[8] Пушкин был выслан из Петербурга не на Кавказ, а на Украину, затем в Молдавию.

[9] Стихотворение Пушкина (1821).

[10] Имеется в виду стихотворение «Первая ночь брака», опубликованное впервые в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия», ч. I, Лондон, 1861, среди стихов Пушкина; автор — А. И. Подолинский.

[11] Большинство сведений о жизни Полежаева Добролюбов взял из книги Герцена (Искандера) «Тюрьма и ссылка» (Лондон, 1854). Добролюбов ошибочно перенес в Петербург историю вызова поэта к царю. В действительности события происходили летом 1826 года в Москве (во время коронации Николая I); Полежаев в это время только что окончил Московский университет. Некоторые неточности в изображении других фактов восходят к книге Герцена.

[12] Полежаев был послан не в «губернские войска», а первоначально в Бутырский полк, квартировавший в Москве (зимой 1826/27 года полк был отправлен в провинцию); вначале поэт не писал прошений; в июне 1827 года он совершил побег, надеясь добраться до Петербурга и лично ходатайствовать о прощении; за этот проступок он был разжалован из унтер-офицеров в рядовые и лишен дворянства; сквозь строй Полежаева не прогоняли, но за побег, совершенный десять лет спустя, в 1837 году, смертельно больной поэт был жестоко наказан розгами.

[13] Полежаев был произведен в прапорщики 12 декабря 1837 года, когда он уже умирал, находясь в госпитале (скончался 16 января 1838 года). Портрет Полежаева в офицерском мундире помещен перед титульным листом в книге «Кальян. Стихотворения Александра Полежаева», изд. 3-е, М., 1838).

[14] Цитата из оды Державина «Вельможа» (1794).

[15] Имеется в виду, очевидно, Энгельсон В. А. (1821—1857), русский эмигрант, автор четырех прокламаций к казакам и крестьянам (1854). Среди лондонских знакомых Герцена Кулеш неизвестен.

[16] *«Союз спасения»* — раннее декабристское общество; основан в 1816 году Муравьевым, при участии П. И. Пестеля и других. В 1818 го-

ду «Союз спасения» распался и взамен был создан «Союз благоденствия» (Добролюбов называет его «Обществом благоденствия»).

[17] По новейшим данным, «Орден русских рыцарей» был основан значительно ранее — в 1812 году. Организаторами и активными членами «Ордена» были действительно М. Орлов и Дмитриев-Мамонов (см. статью Ю. М. Лотмана «М. А. Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель».— «Ученые записки Тартуского государственного университета», вып. 78, 1959, с. 19—92).

### Письмо к Н. И. Гречу

Впервые сообщение о письме, с атрибуцией Добролюбову и публикацией двух небольших отрывков — «Литературная газета», 1951, 3 февраля, № 14 (2732), с. 3. Полностью впервые — ЛН, т. 57, 1951, с. 8—16. Датируется 21 февраля 1855 года. Подпись — «Анастасий Белинский».

Открывший и впервые опубликовавший рукопись Б. П. Козьмин привел ряд фактов, подтверждающих принадлежность письма Добролюбову.

Поводом для письма послужила лакейская статья Н. И. Греча на смерть Николая I — «18-е февраля 1855 г.» («Северная пчела», 1855, 21 февраля, № 39, с. 194). Греч получил письмо по городской почте 4 марта и тотчас же переправил его в III Отделение. Попытки найти автора, предпринятые жандармами, не увенчались успехом (подробно историю розысков см.: ЛН, т. 57, с. 17—20).

До этого, 27 декабря 1854 года, в день пятидесятилетия своей «литературной» деятельности, Н. И. Греч получил анонимное стихотворение, где юбиляр именовался «генералом подлецов» и где ярко характеризовались «заслуги» мракобеса и доносчика. Автором стихотворения был Добролюбов.

Новое письмо Добролюбов подписал «Анастасий Белинский» *(Анастасий по-гречески воскресший)*. Этим он прямо указывал на непосредственную преемственную связь своего произведения со знаменитым письмом Белинского к Гоголю.

[1] Ломоносов в неоконченной речи — «Слов благодарственное... императрице Елисавете Петровне... на торжественной инавгурации Санктпетербургского университета, говоренное 1760 года» — в ряде мест ограничился лишь ссылками на риторические фигуры. См.: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. VIII, М.—Л., 1959, с. 677 и след.

[2] ...Генерал *Протасов Н. А.* (1799—1855) в 1836 году был назначен обер-прокурором синода.

[3] Архиепископ литовский и виленский *Иосиф Семашко* (1798—1868) был инициатором насильственного присоединения униатов.

[4] *Клейнмихель П. А.* (1793—1869) — граф, главноуправляющий путями сообщения, один из самых близких к трону лиц, совместно с Нессельроде возглавлял немецкую группу придворных сановников, известен реакционными взглядами и казнокрадством.

Клейнмихель сделал карьеру благодаря дальней родственнице Варваре Аркадьевне Нелидовой, ставшей любовницей царя и взятой фрейлиной во дворец (см.: Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров, вып. I., М., 1928, с. 78—90, 179—180).

[5] В декабре 1854 года праздновалось пятидесятилетие научной деятельности академика *А. Х. Востокова* (1781—1861); он был награжден орденом Станислава I степени.

[6] Этот слух не соответствует действительности: Константин умер в 1831 году в Витебске от холеры.

[7] Добролюбов мог, конечно, помнить лишь последнее десятилетие царствования Николая I.

[8] Любивший браваду, Николай I приезжал в Москву осенью 1830 года, когда там свирепствовала холера.

[9] *Андреевская цепь* — золотая цепь, к которой прикреплялся Андреевский крест — высший орден царской России.

[10] *Бибиков Д. Г.* (1732—1870) — до 1852 года губернатор киевский, волынский и подольский.

[11] Николай I послал в 1854 году своих младших сыновей (Николая и Михаила) в действующую армию в Севастополь; вскоре они были награждены орденами.

[12] И. Ф. Паскевич, будучи главнокомандующим русской армией, проявлял крайнюю нерешительность в военных действиях, что привело к ряду серьезных неудач в войне 1853—1856 годов.

[13] А. Ф. Орлов получил графский титул за участие в подавлении восстания декабристов, позже шеф жандармов.

[14] Ср. запись в дневнике Добролюбова от 4 января 1856 года, где названа фамилия этого генерала — Н. Муравьев (Карский).

[15] Генерал *Ермолов А. П.* (1772—1861) — главнокомандующий русскими войсками в Закавказье, был уволен Николаем I в 1827 году за оппозиционные настроения. *Дибич И. И.* (1785—1831) — генерал. Военную службу Дибич начал в прусской армии, во время наполеоновских войн оказался в окружении Александра I, быстро продвигался по служебной лестнице, не гнушался и доносами на сослуживцев-декабристов. Во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов командовал русской армией, получил графский титул и добавление к фамилии — «Забалканский». В 1830 году возглавил карательные операции царских войск в восставшей Польше, где потерпел ряд неудач, был отстранен от командования и вскоре скончался от холеры. Русское дворянство, встревоженное неудачами Дибича и, особенно, враждебной позицией западных держав, требовало возвращения Ермолова и вручения ему верховного командования вооруженными силами. Царь отозвал Ермолова из отставки, но предложил полководцу возглавить Аудиторский департамент. От этой должности обер-палача Ермолов, разумеется, отказался. Командование действующей армией было поручено любимцу царя Паскевичу.

[16] К. Рылеев не получал никакого «прощения» в течение всего периода заключения в крепости и следствия по делу декабристов.

[17] Во время следствия и суда над декабристами Николай I лично допрашивал арестованных, приказывал пытать их — например, надеть железный обруч на голову Пестеля и пр. Приговор по делу декабристов поразил современников своей жестокостью, и даже он был нарушен царем в отношении целого ряда осужденных.

Аналогично «царь-лицедей» (выражение Тютчева) действовал и во время подавления польского восстания 1830—1831 годов. Даже гарнизоны крепостей, сдавшихся «на царское слово», не избежали преследования. Многие солдаты и офицеры были посланы на Кавказ под пули горцев, в Оренбургский корпус и т. д.

[18] Имеется в виду жестокая расправа царизма над петрашевцами. По личному приказу царя виднейшие деятели кружка, в том числе Ф. М. Достоевский, были приговорены к смертной казни. Только во время приведения приговора в исполнение, когда на смертников были надеты саваны, им объявили царское прощение. Это изуверство искалечило Достоевского и его товарищей на всю жизнь.

[19] Чарторижский (Чарторыский) Адам-Казимеж (1770—1861) — видный деятель польского национально-освободительного движения, государственный деятель, дипломат, в молодости друг Александра I, возглавлял при нем министерство иностранных дел, позже занимал видные посты в администрации Царства Польского, во время восстания 1830—1831 годов возглавил правительство, в эмиграции возглавил аристократическое течение, уповавшее на дипломатическую помощь западных держав в разрешении польского вопроса.

[20] Наместник Египта *Магомед-Али* (1769—1869) провел там ряд реформ буржуазного типа; это вызвало недовольство турецкого султана, и он начал военные действия против Египта (1833). Хотя только что закончилась русско-турецкая война 1828—1829 годов, Николай I послал на помощь султану свои войска.

[21] Речь идет о подавлении венгерской революции 1848—1849 годов.

[22] Имеется в виду поддержка царизмом династии французских Бурбонов. Отношение же Николая I к Луи Наполеону никогда не отличалось теплотой, а завершилось разрывом и войной.

[23] Во время Крымской войны студенты высших учебных заведений стали заниматься военной подготовкой, которую свели к шагистике, столь любимой императором.

[24] О Клейнмихеле Добролюбов писал неоднократно (в газете «Слухи», № 15, в «Письме из провинции», опубликованном в «Колоколе», и пр.). В данном случае речь идет о внебрачных детях царя, воспитывавшихся в семье министра. Как сообщают современники, графине приходилось имитировать беременность, носить под платьем подушку, чтобы прикрыть очередной царский грех.

[25] Дочь Николая I великая княгиня Мария Николаевна из семи детей пятерых имела не от мужа. Добролюбов отмечает эти факты в «Слухах» (см. Бартенев П. И. Записки.— «Голос минувшего», 1918, № 7—9, с. 227; см. также № 15 «Слухов»).

### А. В. Кольцов

Впервые — в книге «Чтение для юношества. Алексей Васильевич Кольцов. Его жизнь и сочинения», изд. А. И. Глазунова, М., 1858, с. 1—120, без подписи; 6 февраля 1857 года Добролюбов отметил в дневнике, что во вторник (то есть 5-го) его посетил издатель А. И. Глазунов и предложил написать «книжку к 15 марта»; дневниковая запись 12 февраля разъясняет, что «к половине марта надобно написать книжку о Кольцове». Очевидно, Добролюбов выполнил обещание до срока, так как 2 марта А. И. Глазунов уже сообщил о получении статьи.

Книга стихотворений Кольцова со статьей Добролюбова переиздана в 1865 и 1877 годах.

Авторецензию на свою статью Добролюбов опубликовал в «Журнале для воспитания», 1859, кн. 9 (подпись «Д—в»), противопоставив статью реакционному сочинению В. Новаковского о Суворове.

Как установлено Ю. Г. Оксманом (ГИХЛ, I, с. 621), статья Добролюбова, за исключением главы 1, восходит к статье Белинского, приложенной к «Стихотворениям» Кольцова в издании 1848 года (см.: Белинский, IX, с. 497—542). Следует также отметить влияние идей Салтыкова-Щедрина, содержавшихся в его рецензии на «Стихотворения Кольцова», опубликованной в «Русском вестнике», 1856, ноябрь, кн. 1, за подписью «М. С.» (современники не знали о принадлежности этой рецензии перу сатирика).

[1] Цитата из поэмы Пушкина «Полтава» (песнь 3).

[2] Перифраз из статьи Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург», глава «Ломоносов» (1834).

[3] Кольцов родился 3 октября 1809 года.

[4] Добролюбову, как и многим другим просветителям, была свойственна недооценка волшебных сказок.

[5] Книжную лавку в Воронеже открыл Д. А. Кашкин (1793—1862), самоучка, страстно влюбленный в книги, сам пробовавший писать стихи.

[6] Точное название книги: «Русская просодия, или Правила, как писать русские стихи, с краткими замечаниями о разных родах стихотворений». М., 1808, или 1814.

[7] Цитата из письма к Белинскому от 7 октября 1838 года. Все письма Добролюбов цитировал по статье Белинского о Кольцове, приложенной к книге «Стихотворения Кольцова» (изд. Н. Некрасова и Н. Прокоповича, СПб., 1846). В дальнейшем большинство цитат взято Добролюбовым также из писем Кольцова к Белинскому за 1838—1841 годы. Многие цитаты неточны, но не искажают смысла подлинника.

[8] Н. В. Станкевич родился в 1813 году.

[9] Добролюбов, вслед за Белинским, неточен: впервые три стихотворения Кольцова были напечатаны в книге «Листки из записной книжки Василия Сухачева» (1830); автор издания, некогда руководитель тайного одесского общества, познакомился с Кольцовым в Воронеже, взял у поэта стихи и напечатал их под своим именем (см. о нем в книге: Оксман Ю. Г. От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника», Саратов, 1959, с. 160—202). В 1831 году действительно в одном из московских журналов — «Листок» были опубликованы три стихотворения Кольцова.

[10] Ошибка: журнал издавался в 1835—1839 годах, Белинский же руководил им в 1838—1839 годах.

[11] «О русской повести и повестях Гоголя».

[12] Добролюбов пересказывает отрывок из воспоминаний М. Н. Каткова «Несколько дополнительных слов к характеристике Кольцова» («Русский вестник», 1856, ноябрь, кн. 1, с. 170).

[13] Цитата из письма Кольцова к А. А. Краевскому от 27 ноября 1836 года.

[14] Цитата из письма Кольцова к В. П. Боткину от 27 февраля 1842 года. Следующие две цитаты — из того же письма.

### О степени участия народности в развитии русской литературы

Впервые — «Современник», 1858, № 2, отд. II, с. 113—167, за подписью: «—бов». Вошло в изд. 1862 г., т. I, с. 496—552, с восстановлением цензурных исключений и искажений.

Цензор «Современника» П. Новосильский «очищал» текст статьи главным образом от слишком резких выражений. Несмотря на это, статья уже после выхода вызвала недовольство более высоких цензурных инстанций.

«Возмутительный» смысл статьи не был преувеличен сановниками цензурного ведомства. В статье выражено ясное сознание противоположности классовых интересов трудового народа и господствующих сословий, горячий призыв к преобразованию жизни и литературы в интересах большинства нации. Значение статьи для развития общественной и литературно-эстетической мысли заключалось в том, что она по-новому решала проблему народности литературы. Добролюбов ввел в понятие народности требование непосредственной связи литературы с жизнью трудящихся и угнетенных классов, прямого отражения интересов и потребностей этих классов и открытого служения им средствами литературы.

В то же время со своей точки зрения Добролюбов не мог объяснить, как сочетаются черты дворянской идеологии с народностью в творчестве великих писателей первой половины XIX века, и это приводило его к односторонности в оценке некоторых из них, в особенности Пушкина.

[1] Один из набросков Лермонтова, относящихся к 1841 году, начинается словами: «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем» (Лермонтов, VI, с. 374). Набросок этот был впервые опубликован лишь в 1860 году. Милюков приводит эти слова (в несколько измененной редакции) либо на основании знакомства с рукописями Лермонтова, либо по устному преданию.

[2] В «Письме к Гоголю» по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» (СПб., 1847) Белинский писал: «Если Вы имели несчастие с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние» (X, с. 220).

[3] Имеется в виду Герцен и Огарев, их произведения 1840-х годов.

[4] Строка из «Евгения Онегина» (глава VIII, строфа I). Здесь намек на то, что лучшие люди 1840-х годов — те, которые не погибли, как Белинский, и не были репрессированы, как петрашевцы,— вынуждены были эмигрировать, как Герцен. Намек поняли не только читатели, но и цензурные чиновники. Граф Комаровский, чиновник особых поручений, в своем «Рапорте» от 26 февраля, посвященном второму номеру «Современника», цитировал слова Добролюбова, завершающиеся строкой Пушкина, и добавлял: «Не в Лондоне ли?»

[5] Еще более прямой намек на репрессии 1848—1849 годов против петрашевцев и на заграничную деятельность Герцена, труды которого в последние годы царствования Николая I оставались неизвестными для большинства русских читателей.

[6] В № 12 «Современника» за 1857 год Чернышевский в «Современном обозрении» и Добролюбов в статье о «Губернских очерках» — проводили мысль о том, что развитие литературы зависит от хода исторического развития общества и служит ему. Это вызвало обвинения, о которых говорит здесь Добролюбов.

[7] Цитата из стихотворения Пушкина «Герой» (1830).

[8] Имеются в виду монархические описания празднеств, связанных с коронацией Александра II.

[9] Из журнального текста были исключены цензором П. Новосильским строки от слов: «все это мы говорим» до слов: «при ост-индском произволе».

[10] Из журнального текста были сняты цензором строки от слов «Знают ли крестьяне села Безводного» до слов: «приближается к его понятиям».

[11] Слова: «Между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе» — были вычеркнуты цензором и заменены гораздо менее ясными: «все эти партии слишком односторонни».

[12] Намек на критику буржуазного строя в трудах французских утопических социалистов — Сен-Симона, Фурье и др.

[13] Книга графа Жозефа де Местра «О папе», вышедшая в Лионе в 1819 году, защищала идеи абсолютной монархии, права церкви на вмешательство в дела светской власти и право верховной власти папы над государствами католического вероисповедания.

[14] Слова Антония о Бруте в финале трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (1599).

[15] Цитата из стихотворения Байрона «Ода с французского» (1815).

[16] Очевидно, речь идет о произведениях Гейне «Боги в изгнании» (1853), «Признания» (1854) и др.

[17] Почти дословный пересказ мысли польского писателя и слависта К. Бродзинского (1791—1835) из его работы «О народных песнях славян» (см. «Вестник Европы», 1826, № 13, с. 43, 51).

[18] Речь идет о «Послании, или Правильных ответах Иакову черноризцу на разные случаи церковные» киевского митрополита Иоанна II.

[19] Имеются в виду «Слова» Серапиона, относящиеся ко времени его миссионерства во Владимире в 1274—1275 годах.

[20] *...до времени Тихона Воронежского* — то есть до XVIII века. Тихон — епископ воронежский, автор «Увещания жителям Воронежа об уничтожении ежегодного празднества, называемого Ярило».

[21] Памятник древнерусской литературы XVI века. Основан на более ранней «воинской повести» — «Задонщина» (конец XIV или начало XV века), написанной по образцу «Слова о полку Игореве».

[22] Ошибка Добролюбова: на самом деле Софроний был автором «Задонщины», а не более клерикального «Сказания о Мамаевом побоище», которое здесь цитируется и пересказывается.

[23] См. прим. 19.

[24] Имеется в виду «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Иллариона (между 1037 и 1050 годами).

[25] «Житие и хождение Даниила, Русской земли игумена» — памятник XII века; содержит описание путешествия русского паломника в Палестину.

[26] *«Русская правда»* — памятник древнерусского обычного права. Древнейшая запись относится к началу XI века.

[27] *Никифор* (ум. 1121) — митрополит Киевский и всея Руси, автор «Послания к великому князю Владимиру Мономаху о посте и воздержании чувств» и других произведений.

[28] Стефан Новгородец в своем «Хождении» описывает путешествие в Царьград на поклонение святым местам (1350). Василий, «гость московский», оставил описание путешествия в Малую Азию, Палестину и Египет (1464—1465). *Афанасий Никитин* — тверской купец, описавший свое путешествие в Индию (1466—1472) в «Хождении за три моря».

[29] Имеются в виду произведения древнерусской письменности «Сказание о Псковском взятии» (начало XVI века) и «Повесть о прихождении короля литовского Стефана Батория в лето 1577 на великий и славный град Псков» (конец XVI — начало XVII века).

[30] *Максим Грек* (1480—1556) — публицист и переводчик церковных книг, противник монастырского землевладения.

[31] *«Домострой»* — памятник русской письменности XVI века, отразивший бытовой уклад Московской Руси и каноническую мораль того времени. До нас дошел в трех редакциях — более ранняя анонимна, позднейшая редактирована потом Сильвестром — воспитателем Ивана Грозного. «Сказаниями Курбского» Добролюбов, по-видимому, называет его «Историю о великом князе Московском», написанную в Литве в 60—70-х годах XVI века. Кроме того, князь А. М. Курбский известен как автор ряда писем к Ивану Грозному.

[32] Имеется в виду книга Г. К. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича», которая была издана в 1840 году.

[33] Здесь речь идет о славянофилах.

[34] Имеется в виду «Книга о скудости и богатстве» (1724) видного публициста и экономиста Петровской эпохи, сына крестьянина, И. Т. Посошкова.

[35] Неточная цитата из стихотворения Державина «Об удовольствии» (1798).

[36] Ср. первую строку поэмы Хераскова «Россиада» (1779).

[37] *«Росслав»* (1784) — трагедия Княжнина.

[38] *«Титово милосердие»* (1785) — трагедия Княжнина.

[39] *Флориан Жан-Пьер* (1755—1794) — французский поэт, автор басен, пасторальных повестей, стихотворных романов и комедий.

[40] Речь идет об «Истории русского народа» (1829—1840) Н. Полевого.

[41] См. «Евгений Онегин» (глава II, строфа XXXIX).

[42] Цитата из стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (1828).

[43] Ср. в стихотворении Пушкина «Поэт и толпа» («Чернь»):

> Подите прочь — какое дело
> Поэту мирному до вас!

[44] Здесь вместо слов «нельзя забыть Кольцова и Лермонтова. Кольцов...» — в журнальном тексте статьи было: «нельзя забыть Крылова, Кольцова и Лермонтова. Крылов ограничил свою деятельность одним родом литературных произведений — баснею, и потому мало имел влия-

ния на развитие литературы, хотя, конечно, значение его будет весьма велико, когда его басни дойдут до народа. Кольцов...» Вычеркнуто Чернышевским в издании 1862 года, по-видимому, с целью восстановления доцензурного текста.

45 Имеется в виду вторая сатира Кантемира «На зависть и гордость дворян злонравных. Филарет и Евгений» (1730).

46 Персонажи первой и третьей сатир Кантемира — «На хулящих учение. К уму своему» и «О различии страстей человеческих. К архиепископу новгородскому» (1730).

47 «Записки Желябужского» охватывают период с 1682 по 2 июля 1709 года; были написаны окольничим и дипломатом И. А. Желябужским (1638—1709). Впервые изданы, как и книга Котошихина, в 1840 году.

48 «Литературой приказной казуистики» или «юридической беллетристикой» Добролюбов называл либерально-обличительную литературу.

49 Цитата из комедии Капниста «Ябеда», 1798, д. I, явл. I.

50 Цитата из сатиры Сумарокова «Кривой толк» (1759).

51 Имеются в виду слова княгини в «Горе от ума» (д. III).

52 Цитата из сатиры И. Дмитриева «Чужой толк» (1794).

53 Имеется в виду «Певец в Беседе славяно-Россов» К. Н. Батюшкова, являвшаяся пародией на поэму Жуковского «Певец во стане русских воинов» и направленная против Шишкова и его сторонников. Впервые пародия была опубликована в «Современнике» № 5, 1856 г.

54 Цитата из сатиры Сумарокова «О благородстве» (1774).

**Стихотворения**
**А. Полежаева**

Впервые — «Современник», 1857, № 9, отд. IV, с. 1—7, без подписи. Вошло в изд. 1862 г., т. I, с. 384—390.

Впервые к творчеству и судьбе Полежаева Добролюбов обратился в рукописной газете «Слухи» (1855, № 4), где он вкратце пересказал сведения, которые почерпнул из книги Герцена «Тюрьма и ссылка» (Лондон, 1854). В рецензии сохранена основная мысль заметки о том, что Полежаев, как и многие русские поэты, оказался жертвой самодержавной реакции и личной жестокости Николая I.

1 Имеются в виду фривольно-эротические мотивы в поэме «Сашка». Неизвестно, знал ли в это время Добролюбов поэму, ходившую по рукам в списках, или судил о ней по отзыву Белинского. Впервые она была опубликована в 1861 году в Лондоне («Русская потаенная литература XIX столетия». С предисловием Н. Огарева). Поэма, доставленная Николаю I агентами III Отделения, явилась причиной вызова Полежаева к царю и поводом для расправы над ним: по личному распоряжению Николая I он был отдан унтер-офицером в армию. Столь жестокое решение было вызвано теми «пагубными для юношества мыслями», которые отмечал в своем доносе И. П. Бибиков, чиновник III Отделения.

[2] *Последние слова* — перефразированное выражение из «Думы» Лермонтова (1838).

[3] В издании, рецензируемом Добролюбовым, была помещена с некоторыми сокращениями статья Белинского о стихотворениях А. Полежаева, впервые опубликованная в «Отечественных записках» (1842, № 5) в качестве отклика на четыре сборника стихотворений поэта, вышедших в 1832—1842 годах (см.: Белинский, VI, с. 119—160).

[4] Цитаты из статьи Белинского на с. 19 рецензируемого издания (см. также: Белинский, VI, с. 127).

[5] К изданию «Стихотворений Полежаева» 1857 года был приложен портрет поэта в солдатском мундире, что дало возможность Добролюбову ясно намекнуть на репрессии, которым он подвергался. В предыдущих изданиях цензура не разрешала помещать портрет Полежаева в солдатской форме, и он изображался в подрисованном офицерском мундире.

[6] Начало стихотворения «Негодование» (1835).

[7] Неточная цитата из стихотворного письма Полежаева к его ближайшему другу А. П. Лозовскому (декабрь 1837 года), в издании 1857 года озаглавленного «Чахотка».

[8] *Поручик Пирогов* — персонаж «Невского проспекта» Гоголя.

[9] Цитата из стихотворения «Вечерняя заря» (1826).

[10] По распоряжению царя Полежаев в 1826 году был определен унтер-офицером учебной команды Бутырского пехотного полка. В июне 1827 года он самовольно ушел из полка с намерением «пробраться в Петербург» и лично подать прошение царю об увольнении с военной службы. За это царь распорядился предать Полежаева военному суду, который приговорил его к разжалованию в рядовые, а Николай I добавил — «с лишением личного дворянства и без выслуги». Унтер-офицерский чин был возвращен Полежаеву в 1831 году.

[11] Цитата из стихотворения «Привидение» (1828).

[12] Цитата из стихотворения «К моему гению» (1836).

[13] Неточная цитата из стихотворения «Черные глаза» (1834).

[14] В 1837 году поэт бежал из полка, был разыскан и подвергнут телесному наказанию. 25 сентября он слег в военный госпиталь с открытым легочным процессом и 16 января 1838 года скончался. Приказ о производстве «из унтер-офицера в прапорщики» вышел в конце декабря 1837 года, так что неизвестно, застал ли он поэта в живых, когда дошел до полка.

[15] Цитата из «Песни погибающего пловца» (1828).

[16] Цитата из стихотворения «Цепи» (1826). Финальные строки известны в другом варианте, который тогда не мог быть опубликован по цензурным условиям:

Как раб испуганный, бездушный,
Тогда кляну свой жребий я
И вновь взираю равнодушно
На цепи нового царя.

[17] Цитата из стихотворения «Тоска» (1837).

**Сочинения Пушкина**
**Седьмой, дополнительный том.**
**Издание П. В.Анненкова**

Впервые — «Современник», 1858, № 1, отд. II, с. 29—43, без подписи. Вошло в изд. 1862 г., т. I, с. 462—476.

Первым томам второго посмертного издания Сочинений Пушкина, подготовленного П. В. Анненковым, «Современник» посвятил четыре статьи Чернышевского (1855, № 2, 3, 7, 8).

Седьмой, дополнительный том Сочинений Пушкина включал в себя много произведений, либо впервые появившихся в печати, либо впервые перепечатанных из периодики пушкинской поры. Только на этих материалах и останавливается Добролюбов в данной рецензии. Многократно давая понять, что цензура существенно искалечила произведения поэта, Добролюбов специально цитирует все, что противоречит канонизированному представлению о нем как о человеке, якобы полностью освободившемся от вольнолюбивых заблуждений юности и вставшем на консервативные, чуть ли не охранительные позиции.

[1] Издание сочинений Пушкина было предпринято П. В. Анненковым в 1855 году. Анненков сверил тексты с рукописями, включил многое до того неизвестное или известное только в рукописных списках, снабдил издание комментариями и обширными «Материалами к биографии Пушкина». Чернышевский писал, что это «лучшее издание, какое могло быть сделано в настоящее время; недостатки его неизбежны, достоинства его — огромны» (II, с. 426). Однако, по условиям цензуры, многие произведения Пушкина тогда еще не могли быть изданы, в частности — все, что связано с декабристами, Радищевым и т. д. Седьмой, дополнительный том, вышедший в 1857 году, в известной мере восполнял этот недостаток.

[2] Сатирическая поэма А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших» долгое время, начиная с 1814 года, распространялась в списках и впервые была опубликована в «Студенческом сборнике Спб. университета» в 1857 году.

[3] Сатира Батюшкова против «шишковистов», написанная в форме пародии на поэму Жуковского «Певец во стане русских воинов» и озаглавленная «Певец в Беседе славяно-Россов», была впервые опубликована в «Современнике», 1856, № 5.

[4] «Библиографические записки» М. Лонгинова печатались в «Современнике» на протяжении 1856 (№ 5, 6, 7, 8, 11) и 1857 (№ 3, 4, 5, 7, 11) годов.

[5] Намек на то, что после смерти Николая I цензурный гнет несколько ослабел.

[6] Речь идет о полемике между С. Шевыревым и В. Гаевским по поводу двустишия:

Мир велик: мне путь-дорога на четыре стороны.
И куда костей проклятых не заносят вороны,—

вторую строку которого, по-видимому собственного сочинения, Шевырев приписал Пушкину (см. «Москвитянин», 1854, № 5, раздел «Исторические материалы», с. 2). Гаевский опровергал Шевырева (см. «Замечание по поводу двух стихов в «Борисе Годунове».— «Отечественные записки»,

1854, № 5, отд. IV, с. 68—69). Шевырев ответил ему «Замечанием на замечание по поводу двух стихов в «Борисе Годунове» («Москвитянин», 1854, № 13, отд. IV, с. 45—46).

[7] Имеется в виду полемическая заметка Н. Тихонравова («Отечественные записки», 1853, № 7) по поводу «Библиографических заметок о сочинениях Пушкина и Дельвига» В. Гаевского («Отечественные записки», 1853, № 6).

[8] См. прим. 4.

[9] Добролюбов этой фразой дает понять читателю, что и дополнительный том Сочинений Пушкина не свободен от цензурных изъятий.

[10] В этом месте цензура вычеркнула из издания Анненкова два стиха:

Хоть в узкой голове придворного глупца
Кутейкин и Христос два разные лица.

[11] В издании Анненкова были изъяты следующие строки:

Старинной глупости мы праведно стыдимся.
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать,
И в рабстве ползали и люди, и печать?
Нет, нет! оно прошло, губительное время,
Когда невежества несла Россия бремя.
Где славный Карамзин снискал себе венец,
Там цензором уже не может быть глупец...
Исправься ж, будь умней и примирися с нами.

[12] «Посланиями к Аристарху» в издании Анненкова названы «Послания цензору». Анненков ошибочно отнес оба стихотворения к 1824 году. Добролюбов датирует их 1827 годом. На самом деле «Послание цензору» относится к 1822 году, «Второе послание цензору» — 1824.

[13] Снова намек на цензурное изъятие.

[14] *Видок* — прозвище, данное Пушкиным Булгарину по имени знаменитого французского сыщика. Фигляриным прозвал его П. Вяземский. В своей эпиграмме Пушкин соединил оба прозвища в одно.

[15] Намек на доносы Булгарина и Греча III Отделению.

[16] В конце памфлета «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» Пушкин сообщает название глав «Настоящего Выжигина». Глава VIII названа: «Свадьба Выжигина. Бедный племянничек. Ай да дядюшка»; глава XIV — «Семейственные неприятности. Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы. Памфлеты Пушкина на Греча и Булгарина — «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», опубликованные в 1831 году под псевдонимом Феофилакта Косичкина («Телескоп», № 13, 15), Добролюбов охотно использовал и позже.

[17] Здесь Добролюбов приводит слова Каченовского в «Вестнике Европы» (1828, № 24, с. 304), процитированные Пушкиным в его «Отрывке из литературных летописей», напечатанном в альманахе «Северные цветы на 1830 год» и впервые перепечатанном в седьмом томе издания

Анненкова. «Нелитературные меры», принятые Каченовским против Полевого, заключались в том, что он написал в цензурный комитет донос на цензора, пропустившего статью Полевого, в которой якобы задета его личность и особенно его чин и звание статского советника, профессора и кавалера почетных орденов.

[18] Неточная цитата из эпиграммы Пушкина на Каченовского.

[19] Статья Пушкина «Александр Радищев», написанная в 1836 году для журнала «Современник», не была пропущена цензурой. Министр просвещения Уваров по поводу статьи Пушкина заметил, что не следует «возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых». В седьмом томе издания Анненкова была опубликована впервые.

[20] По поводу явных противоречий, замеченных Добролюбовым в статье Пушкина о Радищеве, Герцен в предисловии к заграничному изданию «Путешествия из Петербурга в Москву» (1858) писал: «В VII томе сочинений А. Пушкина помещена его статья о А. Радищеве. Статья, не делающая особенной чести поэту. Он или перехитрил ее из цензурных видов, или в самом деле так думал — и тогда лучше было бы ее не печатать» (Герцен, XIII, с. 278).

Герцен, равно как и Добролюбов, не учел всех обстоятельств написания этой статьи и цели, которую поэт ставил. Подлинное, совершенно свободное от цензурных соображений отношение Пушкина к Радищеву, к декабристам — продолжателям его дела, нашло выражение в «Памятнике», написанном в том же 1836 году. С учетом этого и следует оценивать внутреннюю противоречивость статьи, отмеченную Добролюбовым, но до конца не разъясненную.

[21] Эта цитата была изъята цензурой из журнального текста и для связи заменена Добролюбовым следующими словами: «Совершенно неуместны те требования, какие высказывает Пушкин. Он хочет от Радищева очень много, он требует таких вещей, каких можно ожидать только от человека умного и просвещенного». В рассуждении Добролюбова о статье Пушкина имеется еще ряд цензурных исключений и замен. Так, рассуждение Пушкина о «политическом фанатике» от слов — «заблуждающегося, конечно» и последующая фраза Добролюбова (до слов — «к которой он стремился») казались цензору слишком панегирическими по отношению к Радищеву. В журнальном тексте это место было исключено.

[22] Неточная цитата из стихотворения «Герой» (1830).

[23] Перефразированные строки стихотворения «Герой».

[24] Неточная цитата из стихотворения «Наполеон» (1821).

[25] Добролюбов имеет в виду послание «К Чаадаеву» (1818), впервые полностью опубликованное Герценом в 1856 году в «Полярной звезде».

[26] Цитата из стихотворения Пушкина «Чаадаеву» (1824).

[27] Часть этого абзаца (от слов — «постоянно высказывалось» до слов — «о нападках на дворянство») была вырезана цензурой. В издании 1862 года Чернышевский восстановил доцензурный текст.

[28] Строка из стихотворения Пушкина «Бородинская годовщина» (1831).

[29] Цитата из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» («Чернь»), написанного в 1828, а не в 1830 году, как указывает далее Добролюбов. Оно направлено против «высшего света».

[30] Цитаты из стихотворения Пушкина «О муза пламенной сатиры» (написано между 1817—1825 годами. Добролюбов отнес к 1830 году).

[31] Имеется в виду статья Пушкина «О записках Самсона» (1830).

[32] Имеется в виду статья Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» (1836). Статья полемически направлена против речи Лобанова, произнесенной в Российской академии 18 января 1836 года, в которой порицались иностранная (в особенности французская), а также русская литература; академикам предлагалось писать доносы по поводу всякой «неблагонадежности», встреченной ими в печати, поскольку цензура, по мнению Лобанова, со своей задачей не справляется.

**Стихотворения Н. М. Языкова**

Впервые — «Современник», 1858, № 3, отд. II, с. 43—49. Вошло в изд. 1862, т. I, с. 575—581. В рукописном отделе ГПБ сохранилась часть наборной рукописи.

Начавшийся в 1840-е годы поворот Языкова к славянофильской трактовке народности отметил еще Белинский. Добролюбов резко противопоставляет раннее творчество поэта («период 1822—1825 гг.» — то есть годы его близости к кругам декабристов) последнему десятилетию его деятельности.

[1] Влияние московских славянофилов на Языкова сказалось, в частности, в резких выпадах против Чаадаева и Грановского (стихотворение «Не наши»).

[2] Имеются в виду «Грамматика старославянского языка» (1852) и «Практическая русская грамматика со сборником статей в стихах и в прозе» (1854) П. М. Перевлесского.

[3] В рецензируемом издании по небрежности составителя ряд стихотворений напечатан дважды. В тексте Добролюбова неточность: три элегии, о которых идет речь, напечатаны первый раз не на с. 4, а на с. 40—41; стихотворение «К Т—ву» находится в I части и датировано 1826 годом; во II части это же стихотворение помещено с более полным заглавием — «К Татаринову», но с менее определенной датировкой — оно отнесено к годам учения Языкова в Дерптском (Тартуском) университете, то есть к 1820—1829 годам.

[4] Такое пожелание было высказано П. Ефремовым в «Библиографических записках» (I. 1858, № 14).

[5] В «Стихотворениях Н. М. Языкова» напечатана та часть статьи Белинского «Русская литература в 1844 году», которая посвящена характеристике творчества Языкова (Белинский, VIII, с. 448—461).

[6] Рецензия «Библиотеки для чтения» (1845, № 8, отд. VI), перепечатанная в «Стихотворениях Н. М. Языкова», по предположению С. А. Рейсера, принадлежала Сенковскому (ГИХЛ, I, с. 642).

[7] Имеется в виду высказывание Гоголя в письмах его к Языкову, опубликованных в «Выбранных местах из переписки с друзьями» под

заглавием: «Предметы для лирического поэта в нынешнее время. (Два письма к Н. М. Я...у)». Оба письма датированы 1844 годом. Первое начинается так: «Твое стихотворение «Землетрясение» меня восхитило. Жуковский также был от него в восторге» (VIII, с. 278).

[8] Строки стихотворения Языкова «Пловец» (1829), ставшего впоследствии распространенной студенческой песней.

**Николай Владимирович Станкевич**

Впервые — «Современник», 1858, № 4, отд. II, с. 145—166, за подписью« — бов». Вошло в изд. 1862 г.; т. II, с. 1—23.

Чернышевский в издании 1862 года восстановил все цензурные купюры, исключил места, которые были вписаны в издание взамен цензурных изъятий, но при этом сохранил то, что было вписано Добролюбовым независимо от цензурного вмешательства.

Переписка Станкевича в издании Анненкова послужила Добролюбову поводом для изложения принципов революционно-демократической этики.

Добролюбов отстаивает значение и историческую роль Станкевича в развитии общественной мысли, указывая, что преемственность может осуществляться не только через печать и публичную деятельность, но также и через личное общение и влияние. Эта мысль и биографически была близка Добролюбову: еще 1 августа 1856 года он писал Н. Турчанинову о таком же влиянии на него Н. Г. Чернышевского.

[1] Рецензируемая книга помечена 1857 годом (цензурное разрешение от 7 декабря 1857 года).

[2] Цитата из статьи Белинского «О жизни и сочинениях Кольцова» (1846) приведена не совсем точно. У Белинского: «Слух о самородном таланте Кольцова дошел до одного молодого человека, одного из тех замечательных людей, которые...» и т. д. (IX, с. 508).

[3] Биография Станкевича была опубликована Анненковым впервые в 1857 году в февральском (кн. 1 и 2) и апрельском (кн. 1) номерах «Русского вестника».

[4] *Я. М. Неверов* (1810—1893) — ближайший друг Станкевича — в то время был еще жив, поэтому и в книге Анненкова и у Добролюбова (как в журнальном тексте, так и в изд. 1862 г.) обозначился только инициалами: Я. М. Н—в.

[5] Речь идет о статье И. Л. (И. Льховского) («Библиотека для чтения», 1858, № 3).

[6] Полемика вокруг имени и исторических заслуг Грановского была начата в «Русской беседе» статьей В. В. Григорьева «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве» (1856, № 3, 4).

[7] Об этом говорил и Добролюбов в брошюре «А. В. Кольцов», написанной в начале 1857 года, но вышедшей в свет только в 1858 году.

[8] Последующие две страницы — краткий, но вполне точный пересказ аргументации И. Льховского.

[9] Упоминание о филантропических заслугах И. И. Мартынова

(1771—1833) вызвано тем, что И. Льховский высоко оценивал деятельность этого либерального чиновника и переводчика.

[10] «Чиновник министерства просвещения» И. И. Мартынов был автором первого в России цензурного устава 1806 года. На эту «близость» к литературе намекает Добролюбов.

[11] Имеется в виду «рассказ в девяти письмах» И. С. Тургенева «Фауст», опубликованный в «Современнике» (1856, № 10), где противоположность полезного и приятного, нравственного долга и сердечной страсти выступает как роковое и неразрешимое противоречие.

[12] Следующие два предложения от слов «с другой стороны» до слов «в двух словах» были сняты цензурой.

[13] Следующие три предложения от слов «Эти люди жалки» до слов «против всего на свете» были сняты цензурой.

[14] После слов «внутреннее наслаждение» в журнальном тексте вместо исключенного цензурой было «Люди, полагающие, что жизнь наша имеет целью отречение от всякого наслаждения, находят в этом эгоизм. Пусть и так; но такого рода эгоизм, по нашему мнению, лучше того самоотречения, о котором говорили мы выше, и мы искренно желаем, чтобы труженики с мрачным взглядом на жизнь достигли состояния такого полного эгоизма, полагающего в счастье других собственное счастье».

[15] Следующий абзац от слов «Скажут, что» до слов «за это ничего» весь был исключен цензурой.

[16] Слова «и произвести какой-нибудь переворот в положении общества» были вычеркнуты в корректуре красным карандашом цензора и в журнальном тексте заменены неопределенным и нейтральным выражением: «и ознаменовать свой путь какими-нибудь яркими деяниями».

[17] Намек на тех участников кружка Станкевича, которые впоследствии встали на реакционные позиции.

[18] О значении для Кольцова встречи со Станкевичем Добролюбов писал подробнее в своей брошюре «А. В. Кольцов».

[19] См. прим. 6.

[20] «Молва» издавалась всего один год (1857). Добролюбов имеет в виду статью П. Савельева («Молва», 1857, № 4, 4 мая; № 10, 15 июня; № 11, 22 июня).

[21] См. прим. 5.

[22] Добролюбов имеет в виду работу Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855—1856).

[23] Речь идет о рецензии Белинского на произведения А. В. Тимофеева «Песни» и «Елисавета Кульман»; была опубликована в «Молве» № 2 за 1836 год (II, с. 76—82).

[24] Эта цитата из письма свидетельствует, что Станкевич уже в конце 30-х годов оспаривал славянофильские представления о народности. На основании опубликованной Анненковым переписки Добролюбов доказывал, что к «славянам» Станкевич перейти не мог бы по характеру своих убеждений.

Данное же высказывание Станкевича направлено острием против официальной теории народности, пущенной в ход министром Уваровым.

14 Заказ 1079

Добролюбов не всегда учитывал существенную разницу, имевшуюся в воззрениях славянофилов как представителей либеральной дворянской оппозиционности и сторонниками уваровской концепции.

[25] И. Льховский утверждал, будто Анненков и другие почитатели Станкевича изображают его неким Сократом. «Он мог бы быть, пожалуй, Платоном, если бы встретил своего Сократа,— писал И. Льховский.— Он мог бы быть красноречивым проповедником чужих идей, распространителем сведений, сеятелем просвещения, если бы мог остановиться на чем-нибудь и чем-нибудь увлечься со всей полнотой искреннего и непоколебимого убеждения» («Библиотека для чтения», 1858, № 3, с. 38).

### Сочинения В. Белинского

Впервые — «Современник», 1859, № 4, отд. III, с. 215—216, без подписи. В оглавлении тома и на обложке — «Известие о сочинениях Белинского». Вошло в изд. 1862, т. II, с. 514—515.

Рецензия Добролюбова посвящена выходу первого тома Сочинений Белинского в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина (Москва). Сочувственные отклики на его издание появились и в либеральной печати («Отечественные записки», 1859, № 5; «Библиотека для чтения», 1859, № 1, 11; «Московский вестник», 1859, № 9, 49). В них предпринята была попытка представить Белинского идеологом либерализма. Эта мысль проявилась также в статьях Дружинина, а позднее — в воспоминаниях о Белинском Тургенева и Анненкова. В отличие от них, Добролюбов стремился подчеркнуть революционно-демократическую сущность наследия Белинского. Заявляя о верности его «лучшим идеалам», Добролюбов выражал общее мнение идейных руководителей «Современника», по праву считавших себя преемниками Белинского. Подтверждением этого явился отзыв о Белинском и о рецензии Добролюбова в архиреакционной «Домашней беседе». Ополчаясь на «мятежные мечты» и безверие «современных героев», газета Аскоченского писала: «Первым, кто так дерзко и кощунственно отозвался об учении православия, был Виссарион Белинский, издание сочинений которого так восторженно встречено недавно людьми его духа и направления». .— См. «Современник», 1859 («Домашняя беседа», 1859, вып. 23, с. 219).

[1] Первый том Сочинений Белинского поступил в продажу 3 апреля 1859 года.

[2] Эта фраза в «Современнике» отсутствует. Данная в ней характеристика злобствующих врагов Белинского вполне применима к Кс. Полевому. После выхода второго тома Сочинений Белинского он объявил издание не имеющим никакого значения. Утверждая, что Белинский «не сделал ничего, кроме зла, нашей литературе», Полевой требовал «не навязывать» его сочинений современной публике и прекратить их издание («Северная пчела», 1859, № 229). Откликаясь на эту «рецензию», П. Вейнберг совершенно справедливо назвал ее «преднамеренно составленной клеветой» («Библиотека для чтения», 1859, № 11).

[3] Данная фраза в текст «Современника» не вошла.

[4] Конец фразы (со слов «в нем же и тяжкий») в «Современнике» отсутствует.

[5] «Современник» под редакцией Н. А. Некрасова и И. И. Панаева и при деятельном участии Белинского начал издаваться с января 1847 года.

[6] Эта фраза дана в «Современнике» в такой редакции: «Современник» первый заговорил о Белинском, после долгого молчания, в 1855 г...». Намекая на строжайший цензурный запрет, под которым находились сочинения и само имя Белинского в период «мрачного семилетия», Добролюбов имеет в виду статьи Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы», печатавшиеся в «Современнике» в 1855—1856 годах. Чернышевский получил возможность назвать Белинского по имени только в пятой статье «Очерков», напечатанной в № 7 «Современика» за 1856 год.

[7] Добролюбову не удалось осуществить свое намерение: издание было завершено уже после его смерти (последний, двенадцатый том вышел в 1862 году).

[8] Сочинения Белинского издавались двенадцатитысячным тиражом. Предсказание Добролюбова об успехе издания полностью оправдалось. Первый том, писал И. И. Панаев, «разошелся с неслыханною быстротою» («Современник», 1859, № 8). Второй том, сообщала «Библиотека для чтения», «раскупается нарасхват, как и первый» (1858, № 8). По выходе третьего — пятого томов на успех издания указал сам Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?».

**Кулак**
**Поэма И. Никитина**

Впервые — «Современник», 1858, № 6, отд. II, с. 187—195. Авторство устанавливается на основании письма Добролюбова к А. П. Златовратскому от 7 июля 1858 года и по связи с рецензией на «Стихотворения Ивана Никитина», в которой указывается: «В 1858 году он издал поэму «Кулак», о которой мы говорили в свое время».

Вышедшее в 1856 году первое издание стихотворений И. С. Никитина было отрицательно встречено «Современником». Чернышевский в своей рецензии отмечал подражательный характер ранних стихов поэта. «Мы советовали бы г. Никитину...— писал он,— ждать, пока жизнь разбудит в нем мысль и чувство, не вычитанное из книг и не заученное, а свое собственное, живое, от которого бьется сердце, а не только скрипит гусиное или стальное перо. Тогда и он, по мере своего таланта, будет поэтом...» (Чернышевский, III, с. 500). Поэма «Кулак» явилась творческим ответом поэта на ожидания передовой критики. Именно значительность жизненного содержания и подчеркивает Добролюбов в своем отзыве на поэму.

**Фрегат «Паллада»**
**Очерки путешествия**
**И. Гончарова**

Впервые — «Современник», 1858, отд. II, № 6, с. 195—197. Авторство установлено на основании письма Добролюбова к А. П. Златовратскому от 7 июля 1858 года (см. выше — стр. 499).

Очерки И. А. Гончарова «Фрегат «Паллада» вызвали большое количество критических откликов, преимущественно положительных, еще в период их печатания в журналах. Рецензия Добролюбова была третьим по счету откликом «Современника» на произведение: ей предшествовали статья Н. А. Некрасова «Заметки о журналах за октябрь 1855 г.», в которой содержался одобрительный отзыв об очерках «Манила» и «От мыса Доброй Надежды до Явы» («Современник», 1855, № 11), и упоминаемая в рецензии Добролюбова статья А. В. Дружинина «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 года» («Совр.», 1856, № 1), написанная в связи с выходом в конце 1855 года отдельного издания очерка Гончарова под тем же названием.

[1] Отдельные очерки из «Фрегата «Паллады» печатались в 1855—1857 годах в «Отечественных записках», «Современнике», «Библиотеке для чтения», «Морском сборнике» и «Русском вестнике».

[2] Автором предисловия был публицист И. И. Льховский (1829—1867) — близкий друг и доверенное лицо Гончарова, принимавший активное участие в отдельном издании очерков (см.: «Литературный архив», т. 3, Изд-во АН СССР. М.— Л., 1951, с. 108—109).

### Стихотворения А. Н. Плещеева

Впервые — «Современник», 1858, № 10, отд. II, с. 186—195, без подписи. Вошло в изд. 1862 г., т. II, с. 347—356. Сохранились гранки журнального набора (ИРЛИ) с пометками и вырезками, очевидно, отмеченных цензурой мест (цензор Д. И. Мацкевич). В этих гранках имеются разночтения сравнительно с публикацией «Современника», в некоторых случаях — и с изд. 1862 г.

Сравнение журнального текста и цензурного экземпляра гранок убеждает, что первоначальная редакция рецензии вызвала сопротивление цензуры: ряд формулировок пришлось изменить или вычеркнуть, два места вырезаны. Речь идет главным образом о формулировках, в которых содержались явные намеки на участие Плещеева в революционной организации петрашевцев, на последующую его ссылку, а также в тех случаях, когда Добролюбов говорит о закономерности революционных убеждений.

Для Добролюбова поэзия вернувшегося из ссылки Плещеева давала возможность указать на революционные идеалы лучших людей русского общества (в этом отношении особенно знаменательно сопоставление его с Огаревым). Кроме данной рецензии, Добролюбов посвятил Плещееву статью «Благонамеренность и деятельность», являющуюся откликом на его прозаические произведения.

Плещеев дорожил мнением Добролюбова. Ожидая рецензии критика на свои повести и рассказы, 25 февраля 1860 года он писал Добролюбову: «Очень жаль мне, что в «Современнике» за этот месяц не будет разбора моих книжонок. Из всех журнальных отзывов я только вашим и дорожу... Как бы строг ни был ваш суд — я всегда готов сказать вам за него спасибо» («Русская мысль», 1913, кн. 1, с. 145). В другом письме к Добролюбову он заявлял: «Направлению «Современника» принадлежат все мои симпатии» (т а м ж е, с. 147).

[1] Цитата из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839).

[2] Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (глава вторая, строфа IX).

[3] Имеются в виду строки из стихотворения Пушкина «Чаадаеву» (1824):

Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина.

[4] Из стихотворения Пушкина «Я пережил свои желанья...» (1821). Добролюбов ошибочно отнес его, как и предшествующее стихотворение, «к поздней поре пушкинской деятельности».

[5] Несколько измененная цитата из стихотворения Пушкина «Демон» (1823). Ср. у Пушкина:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия...

[6] Цитата из стихотворения Лермонтова «Гляжу на будущность с боязнью...» (1838).

[7] Цитата из стихотворения Кольцова «К другу» (1830).

[8] Цитата из стихотворения Кольцова «Расчет с жизнью» (1840).

[9] Из стихотворения Огарева «Друзьям» (1840—1841).

[10] Вместо цитаты из Огарева с вводными словами и последующей фразы о Плещееве в «Современнике» другой текст: «История того же внутреннего ослабления и как бы утомления жизнью выражается и в стихотворениях г. Плещеева».

[11] Имеется в виду издание: Плещеев А. Н. Стихотворения. М., 1846.

[12] Цитата из стихотворения Плещеева «Вперед! без страха и сомненья...» (1846); Добролюбов цитирует не совсем точно; кроме того, переставлены местами строфы 3 и 4.

[13] По делу петрашевцев Плещеев был отправлен рядовым в Оренбургский линейный батальон; в 1856 году уволен в отставку и служил в Оренбургской пограничной комиссии. Лишь в 1858 году ему был разрешен въезд в Москву и Петербург.

[14] Стихотворения Плещеева появились в печати в октябре 1856 года; с декабря начала публиковаться серия стихотворений «Старые песни на новый лад».

[15] Не совсем точно: книга открывается стихотворением без заглавия «Домчатся ль к вам знакомых песен звуки...» (позднее озаглавлено «Посвящение», 1858), обращенном, очевидно, к друзьям-петрашевцам.

[16] Цитата из стихотворения «Молитва» (1857).

[17] Цитата из стихотворения «В степи» (1856).

[18] Цитата из стихотворения «Много злых и глупых шуток...» (1858).

[19] Конец фразы от слов «всегда указывая» до слов «конечной гибели» в корректуре отчеркнут цензором и в «Современнике» не появился.

[20] Слова «против своих добрых стремлений» в «Современнике» и в изд. 1862 г. отсутствуют.

[21] Слова от «но не одаренного героизмом» до «с окружающим его злом» в «Современнике» и в изд. 1862 г. исключены.

[22] В корректуре фраза отчеркнута цензором, и в «Современнике» дана новая редакция: «Конечно, в холодной, пошлой прозе ежедневной жизни невозможно сохранить всей поэтической невинности и чистоты души; некоторое время подышавши дурным воздухом, нельзя не поплатиться отчасти своими легкими».

[23] Отрывок от слов «Эти странные мечты» до «Это показывает опять» в «Современнике» дан в иной редакции: «Иногда он сам смеется над такими мечтами, как в стихотворении «Сердцу», и говорит, что пора бы расстаться с грезами и сознать, что в «наш полезный век должны быть иные стремления у человека».

О, перестань! понять бы можно
Давным-давно в твои лета,
Что бред поэзия ничтожный,
Что правда вечная — мечта!

Эта горькая ирония над поэтическими своими мечтами, конечно, не должна и не может быть искренна, и поэт не выдерживает ее. Напротив, он не только ищет красоты и правды,— что само по себе вполне хорошо,— но даже до излишества увлекается иногда своими мечтами, пускается в идиллию и, поддаваясь своему внутреннему чувству, иногда видит красоту, добро, правду — там, где их нет, умиляется перед пустяками и до вялости смягчает строгий тон своей лиры. Все это показывает...»

[24] В «Современнике» и в изд. 1862 г. фраза (от слов «прошедшее слишком сильно...») дана в иной редакции: «опыт жизни, конечно, коснулся его уже настолько, чтобы не давать ему безмятежно восхищаться мыльными пузырями». Ниже: цитата из стихотворения «Тобой лишь ясны дни мои» (1857).

[25] Книга завершена разделом «Десять стихотворений из Гейне»; цитируемая строка взята из стихотворения «Ветер весенний колышет...».

**Благонамеренность и деятельность**

Впервые — «Современник», 1860, отд. III, с. 41—60, без подписи. Вошло с восстановлением цензурных изъятий в изд. 1862 г., т. III, с. 339—359. Чистая корректура статьи, в которой местами текст вырезан, хранится в ИРЛИ. На ней надпись: «2 корр. июня 24». О том, что статья была прислана Добролюбовым из-за границы, видно из письма к нему Некрасова от 18 июля 1860 года, в котором читаем: «Статья Ваша о Плещееве получена еще при мне» (Некрасов, X, с. 423). Касаясь прохождения статьи через цензуру, Чернышевский писал Добролюбову 2/14 августа 1860 года: «В вашей статье о Плещееве Рахманинов с Медемом выпустили одно довольно большое место» (Чернышевский, XIV, с. 401).

Статья идейно связана со статьей «Когда же придет настоящий день?», к которой она тематически непосредственно примыкает. В центре внимания оказывается тема «лишнего человека», получившая здесь еще более резкое освещение в духе призыва к революционной борьбе и решительного разрыва с либеральными тенденциями в литературе. Эта статья встретила глубокое сочувствие в сердце демократической интел-

лигенции и осуждение со стороны либеральной партии. Либералы обвиняли Добролюбова в отрицании заслуг оппозиционной интеллигенции 1840—1850-х годов, видели в нем противника «прогресса», частных улучшений в общественной жизни, представляли его как желчного «отрицателя».

Отражением этих либеральных взглядов явилось и отношение к позиции, занятой Добролюбовым и «Современником», со стороны Герцена. Появление статьи «Благонамеренность и деятельность» вызвало новый отклик Герцена в «Колоколе», продолжившей его полемику с «Современником», начатую статьей «Very dangerous!!!».

Таким откликом явилась статья Герцена в листе 83 «Колокола» от 15 октября 1860 года под названием «Лишние люди и желчевики». Характерно, что кличку «желчевики», обращенную к демократической критике «Современника», Герцен позаимствовал из иронического словоупотребления, сложившегося в кругу Тургенева, Григоровича, Боткина, Дружинина (см. об этом: Герцен, XIV, с. 543—579; там же — о направленности этой второй статьи Герцена против статьи Добролюбова «Благонамеренность и деятельность»). Более сдержанная по тону, чем «Very dangerous!!!», вторая статья Герцена также осуждает «невских Даниилов», «злую радость их отрицания» и «страшную беспощадность». Герцен разделяет здесь «лишних людей» на «ветхозаветных», то есть людей 40-х годов, оказавшихся «лишними» в обстановке николаевской реакции, и «новозаветных», то есть тех, кто в обстановке революционного подъема в России 60-х годов продолжает жаловаться на «среду» и свою «заеденность». В отношении вторых он соглашается с критикой «Современника», но первых считает необходимым вывести из-под огня этой критики. В этой позиции Герцена, несомненно, сказались его либеральные колебания, непонимание последовательной революционной программы «Современника» и непорванные связи с кругом либеральных писателей. Новая статья Герцена вызвала резкое неодобрение редакции «Современника» (см. об этом — Герцен, XIV, с. 575—576). Указанная статья Герцена появилась сразу же после посещения его Добролюбовым (посредниками встречи выступали З. Сераковский вместе с Н. Обручевым). Герцен вложил в уста Даниила аргументацию Добролюбова («неумолимого диалектика»). Этим свиданием-спором отношения между двумя центрами революционной демократии, однако, не завершились: конечным результатом диалога явилось их сотрудничество, сложившееся ко времени разработки и обнародования программы «Великорусса» (см. наш комментарий к избр. статьям Н. Г. Чернышевского «Письма без адреса». М., 1979 г., а также вступительную статью).

Добролюбов с глубоким сочувствием относился к творчеству А. Н. Плещеева, в прошлом — активного участника кружка петрашевцев, сохранившего после возвращения из ссылки близкие отношения с кругом «Современника». Это вторая его статья, посвященная анализу произведений поэта (см. наст. изд. рецензию на издание стихотворений Плещеева). Плещеев, узнав о намерении Добролюбова посвятить статью его повестям, писал в сохранившемся письме от 25 февраля 1860 года: «Из всех журнальных отзывов я только вашим и дорожу... Как бы строг ни был ваш суд — я всегда готов сказать вам за него спасибо. Я бы желал... чтобы вы прочли также и повесть, напечатанную в «Русском вестнике» («Пашинцев»), за которую я предан анафеме в Оренбурге,— и вы сказали бы о ней свое мнение. Все мои повести вообще — вещи неважные, сознаю вполне,— но мне кажется, что «Пашинцев» все-

таки несколько удачнее вышел, чем все остальные» («Русская мысль», 1913, № 1, с. 145).

Добролюбов откликнулся на это пожелание Плещеева, коснувшись в своей статье и указанной повести, не входившей в сборник, по поводу которого непосредственно была написана эта статья.

[1] В состав сборника повестей и рассказов А. Плещеева, изданного в Москве в 1860 году (две части) вошли: часть I — «Шалость» (впервые — «Отечественные записки», 1848, № 11), «Буднев» (впервые «Русский вестник», 1858, февраль, кн. 1 и 2), «Енотовая шуба» («Отечественные записки», 1847, № 10), «Благодеяние» («Московский вестник», 1859, № 7—8); часть II — «Наследство» (впервые — «Русский вестник», 1857, август, кн. 2), «Житейские сцены. Отец и дочь» («Русский вестник», 1857, октябрь, кн. 1), «Ломбардный билет» («Библиотека для чтения», 1858, № 11), «Чиновница» («Московский вестник», 1859, № 48—49).

[2] *Н. Кохановская* — псевдоним Н. С. Соханской (1825—1884), автора повестей («Кирилла Петров и Настасья Дмитрова», «После обеда в гостях» и др.), в которых отразилась идеализация патриархальной жизни. Восторженная и тенденциозная статья Г-ва (Н. П. Гилярова-Платонова) о ее повести «После обеда в гостях» была опубликована в славянофильском журнале «Русская беседа» (1859, кн. III). О повестях Кохановской писал также М. Де-Пуле в «Русском слове» (1859, № 11). Повесть Тургенева «Первая любовь», появившаяся в «Библиотеке для чтения» (1860, № 3), вызвала в критике разноречивые оценки.

[3] Имеется в виду книга К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (М., 1842). В ней, исходя из славянофильских взглядов, К. Аксаков стремился доказать, что «Мертвые души» являются у нас своеобразным возрождением древнегреческого эпоса. Эта работа Аксакова и не всегда обоснованное сопоставление в ней «Мертвых душ» и «Илиады» неоднократно служили предметом критики со стороны демократов 40—50-х годов. Ср. иронический отзыв о ней Белинского (VI, с. 253—260).

[4] Сопоставление Лермонтова с Байроном было достаточно распространено в критике 40—50-х годов. Его, в частности, неоднократно проводил Ап. Григорьев (см., например, его статью «О правде и искренности в искусстве», первоначально опубликованную в «Русской беседе», 1856, кн. II). Островский был поставлен выше Шекспира в статье Эраста Благонравова (псевдоним Б. Н. Алмазова) «Сон по случаю одной комедии», опубликованной в славянофильском «Москвитянине» (1851, № 7, 9—10).

[5] Имеется в виду распространенная в критике 1830-х годов оценка Загоскина, которого часто называли «русским Вальтер Скоттом». К Гете приравнивал Н. В. Кукольника, автора драматической фантазии «Торквато Тассо», О. И. Сенковский (см. его статью о «Торквато Тассо», в «Библиотеке для чтения», 1834, т. 1, где он прямо называл Кукольника «юным нашим Гете»).

[6] Ср. в стихотворении А. С. Пушкина «К Баратынскому» (1826) по поводу поэмы последнего «Эда»:

Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей...

[7] Ср. в «Евгении Онегине» (гл. первая, строфа XVII):

...наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый.

[8] Начальная строка стихотворения Пушкина 1829 года, посвященного А. А. Дельвигу.

[9] «Папироска» напечатана в «Современнике» (1848, № 1); «Дружеские советы» — в «Отечественных записках» (1849, № 3).

[10] *Каменский П. П.* (род. ок. 1810 — ум. в 1870-х гг.) — автор популярных в 1830-е годы повестей и рассказов из светской и военной жизни, эпигон Марлинского. *Воскресенский М. И.* (ум. 1867) — реакционный беллетрист 30—50-х годов, автор посредственных нравоописательных романов и повестей. *Вонлярлярский В. А.* (1814—1852) — автор романов и пьес из светской жизни.

[11] Вместо слова «животным» в «Современнике» — «существом».

[12] Буквально: «бог из машины», в переносном смысле: разрешение сложной ситуации с помощью какой-то внешней силы, независимо от действующих лиц и вопреки внутренней логике развития (первоначально в классических постановках обозначало появление на сцене божества при помощи особых технических приспособлений).

[13] Имеются в виду произведения «натуральной школы»: повесть Д. В. Григоровича «Антон-горемыка» (1847), Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1846), сборник рассказов Я. П. Буткова «Петербургские вершины» (1846) и очерк Н. А. Некрасова «Петербургские узлы» (1845).

[14] Слова «жалкой» в журнальном тексте нет.

[15] Намек на ссылку А. Н. Плещеева в Оренбург в 1849 году за участие в кружке петрашевцев и на вынужденное его почти восьмилетнее молчание (первые произведения Плещеева после отправления его в ссылку появились в печати в 1857 году).

[16] Вместо слов «животное табунное» в «Современнике» — «существо общественное».

[17] Слова «хотя сколько-нибудь порядочного» в «Современнике» отсутствуют.

[18] *«Русский вестник»* — журнал М. Н. Каткова (выходил с 1856 года), в 50-х годах придерживавшийся умеренно-либерального направления; с развитием революционной ситуации в начале 60-х годов занял откровенно реакционные позиции. *«Библиотека для чтения»* — выходивший в 1834—1865 годах журнал, во второй половине 50-х годов — орган либерального направления; в 1856—1860 годах журнал редактировал А. В. Дружинин, один из представителей дворянской «эстетической» критики. *«Сын отечества»* — «журнал политический, ученый и литературный», в 1856—1861 годах выходил под редакцией А. В. Старчевского; орган умеренно-либерального направления. *«Мода»* — иллюстрированный «журнал для светских людей» (1851—1861).

[19] Под щедринской школой имеются в виду произведения сатирическо-обличительного характера, обильно появлявшиеся в конце 1850-х годов не без влияния «Губернских очерков» Щедрина, опубликованных в «Русском вестнике» за 1856—1857 годы. Добролюбов постоянно осмеивал мелкое и формальное «обличительство» либеральных эпигонов Щедрина 50-х годов.

[20] Слов «ускорения и» в журнальном тексте нет.

[21] Слова «и зачем он позволяет себя есть», «все», в «Современнике» отсутствуют.

[22] *Костин* — герой повести «Две карьеры» («Современник», 1859, № 12), не вошедшей в сборник повестей и рассказов. *Городков* — герой повести «Благодеяние» (1859). *Бремер Фредерика* (1801—1865) — шведская писательница; ее романы, посвященные характеристике буржуазной семьи и проводившие идеи женской эмансипации, были популярны в России в 50-х годах XIX века.

[23] Вместо слов «общественного дела» в «Современнике» — «общества».

[24] Добролюбов, несомненно, имеет здесь в виду те обвинения, которые бросал критике «Современника» Герцен в статье «Very dangerous!!!» («Колокол», лист 44 от 1 июня 1859 года).

[25] Слова «одну только... одну только» в журнальном тексте отсутствуют.

[26] Слова «неотъемлемыми», «никому не принадлежащими» в «Современнике» отсутствуют.

[27] Слова «независимости» в «Современнике» нет, а вместо «деспотизму и рабству» в журнальном тексте: «насилия и произволу».

[28] Этой фразы в журнальном тексте нет.— Ср. у Карамзина в речи боярина Иоаннова князя Холмского из «Марфы посадницы»: «Народы дикие любят независимость, народы мудрые любят порядок: а нет порядка без власти самодержавной».

[29] Конец этой фразы (начиная от слов «вообще — ворон» и следующая фраза в «Современнике» отсутствуют, а дальше вместо слов «Да ведь» в «Современнике» — «По этому воображению».

[30] Текста в круглых скобках в «Современнике» нет.

[31] Далее в «Современнике» было: «и люди, подавлявшие в себе естественные потребности, считались нравственными героями».

[32] Слов «равно как» и «только исполняющего чужие приказания» в «Современнике» нет.

[33] «Слов «руки связывают, ведь ему» в «Современнике» нет.

[34] *«Гамлет Щигровского уезда»* — повесть И. С. Тургенева.

[35] Вместо этой фразы в корректуре: «Софизмы и добросовестность! — закричат на нас поклонники Гамлетов Щигровского уезда и всех им подобных»; слов «и всех им подобных» в журнальном тексте нет.

[36] Слова «избранных» в «Современнике» нет.

[37] Имеется в виду «рассказ в десяти письмах» И. С. Тургенева «Фауст», опубликованный в «Современнике» за 1856 год (№ 10).

[38] В корректуре: «учителя, вышедшего из Московского университета, или».

[39] Здесь Добролюбов кратко воспроизводит обычный путь духовного развития представителей поколения 1840-х годов, в частности как он освещается в произведениях Тургенева (ср. историю развития Рудина, Михалевича и Лаврецкого в «Дворянском гнезде», Берсенева с его культом Грановского в «Накануне»).

[40] *«Отечественные записки» сороковых годов* — то есть в ту пору, когда в этом журнале сотрудничал Белинский (1839—1846).

[41] Вместо слов «всяческого разврата» в «Современнике» — «всяческой неправды».

[42] Слов «не взрывают» в «Современнике» нет.

[43] Слов «шумного взрыва не вынесут их нервы» в журнальном тексте нет.

[44] Имеется в виду статья Н. Д. Ахшарумова об «Обломове» («Русский вестник», 1860, кн. 2).

[45] Слов «Элемент общественный вступил в свои права и» в «Современнике» нет.

[46] Данная фраза и конец следующей, начиная со слов «человек может», в «Современнике» исключены; в корректуре эта часть текста вырезана.

[47] Слов «причина не в толпе идущих, а в препятствии, стоящем на дороге; что» в «Современнике» нет.

[48] Слова «неприготовленность» в журнальном тексте нет.

[49] Слов «сечь и» в «Современнике» нет.

[50] Слов «даже аристократической породы и военного звания», «даже он!» в «Современнике» нет.

[51] Эти идеи о зависимости поведения человека от окружающей социальной среды и условий его жизни постоянно проводились в статьях Чернышевского (см, например, его статью о «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина, «Очерки гоголевского периода», «Антропологический принцип в философии» и т. д.), а также и в статьях самого Добролюбова.

[52] Конца фразы (от слов «в «Современнике»), в журнальном тексте нет.

[53] Конца фразы и двух предыдущих в «Современнике» нет; корректура с этой частью текста вырезана.

[54] Часть текста от слов «Так, значит, надо считать» до «скапливал деньги на шинель» в журнальном тексте сокращена в фразу: «Юноши наши тем-то и плохи, что их одолела всяческая скудость и нищета», а содержащееся в следующей фразе слово «запуганность» в «Современнике» отсутствует.

[55] Вместо слова «мужеством» в «Современнике» — «характером».

[56] Слова «взял еще нерусского человека и» в журнальном тексте исключены.

[57] Имеется в виду Инсаров из романа Тургенева «Накануне».

[58] Этому распространению иронического взгляда на «лишних людей» особенно способствовали статьи Добролюбова.

[59] Под воззваниями Кокорева имеются в виду демагогические «обличительные» выступления в либеральном духе крупнейшего откупщика В. А. Кокорева (1817—1889). Они послужили предметом для сатирического обличения в добролюбовском «Свистке».

[60] Слова «что-то гнетущее, от чего они хотели бы избавиться, есть» в «Современнике» исключены.

[61] Слова «Важного» в журнальном тексте нет.

[62] В корректуре: «чувство если не положительного недовольства, то по крайней мере смутного страха за необеспеченность своего положения».

[63] В «Современнике»: «доставить возможность, не мошенничая, пользоваться благами жизни».

[64] Слов «за чинами, орденами и отличиями» в журнальном тексте нет.

**Письмо из провинции**

Опубликовано в «Колоколе» 1 марта 1860 г. за подписью «Русский человек».

«Письмо из провинции» — один из самых интересных и важных документов, вышедших из кругов революционной демократии в эпоху падения крепостного права, бесценный памятник русской бесцензурной речи. Документ имеет первостепенное значение для понимания сложного комплекса проблем, связанных с взаимоотношениями двух центров революционной демократии, а именно: лондонского, заграничного, во главе с Герценом и Огаревым, и внутрирусского, петербургского, возглавляемого Чернышевским и Добролюбовым. И тот и другой боролись за сплочение демократических сил страны, за ликвидацию самодержавия и крепостничества, но существенно расходились между собой по важнейшим вопросам революционной тактики. К тому же Герцену, в меньшей мере Огареву, были присущи отступления в сторону либерализма. Именно о них и идет речь в «Письме». Имеющиеся в распоряжении исследователей данные неопровержимо свидетельствуют, что документ вышел из круга руководителей «Современника», далее же полного единства взглядов среди специалистов нет, приводятся доводы в пользу авторства как Чернышевского, так и Добролюбова. Еще М. Лемке писал, что автор письма — Чернышевский, ссылаясь на свидетельство А. Слепцова. Однако из слов последнего ясно, что Чернышевский ознакомил Слепцова с содержанием письма, но ровным счетом ничего не говорил об авторе документа. Более точное указание об авторстве Добролюбова содержится в брошюре А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела», изданной в Швейцарии в 1867 году. Брошюра содержит убедительный перечень отступлений Герцена в сторону либерализма и напоминает о соответствующей оценке этих грехопадений Чернышевским и Добролюбовым. Внимательное изучение текста письма показывает, что оценки ряда событий, содержащихся в «Письме», очень близки соответствующим высказываниям Добролюбова. Сопоставление всех известных фактов об отношении Добролюбова к Герцену, включая такие вопросы, как поездка Чернышевского в Лондон в 1859 году, встреча Добролюбова с Герценом годом позже, сотрудничество двух революционных центров в подготовке и обсуждении программы «Великорусса», активное участие в последнем Добролюбова свидетельствуют в пользу вывода, что автором «Письма из провинции» был Н. А. Добролюбов. Нельзя также не обратить внимания, что в том же 1859 году Добролюбов дважды в «Свистке» печатал статьи под тем же названием — «письмо из провинции», резко выступая в них против «обличительства».

[1] Письмо написано в редакцию герценовского «Колокола».

[2] Об этих «гимнах» В. И. Ленин писал, что их нельзя «читать без отвращения» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 259).

[3] Система предоставления царским правительством монополии на продажу вина (откупная система), дозволившая откупщикам-монополистам фальсифицировать вино и продавать его по сильно повышенным ценам, вызвала во многих местах отказ крестьян от употребления вина (в Ковенской губернии в 1856 году, в Приволжском крае в 1859 году, в Орловской, Московской, Ярославской и других губерниях в 1859 году). Отказ вызвал репрессии со стороны царских властей. Но репрессии привели лишь к углублению движения: крестьяне разбивали питейные дома, оказывали вооруженное сопротивление царским войскам, вызванным на усмирение «питейных бунтов». В двенадцати губерниях в 1859 году было разбито двести двадцать питейных домов. Об этом Добролюбов писал в статье «Народное дело».

[4] *Мандт Мартьян Вильгельм* (1800—1857) — врач, лейб-медик Николая I.

[5] В № 1 «Полярной звезды» напечатано объявление, что народ вынужден «поправить своею кровью царскую вину» (то есть вину Николая I), а с вступлением на престол Александра II в 1855 году «война становится народной. Народ снова имеет нечто общее с царем — оттого-то царь и будет зависеть от него».

[6] Это место является одним из аргументов, приводимых сторонниками взгляда о непринадлежности «Письма из провинции» Чернышевскому: Чернышевский во время Крымской войны жил в Петербурге и среди народа «не таскался»; Н. А. Добролюбов, как известно, жил и в Нижнем, а его дневниковые записи говорят о внимании к народным толкам времен войны.

[7] Быть может, автор и в этом месте пытается навести царскую охранку на ложный след. Во всяком случае, кто бы ни был автор «Письма из провинции», нельзя предположить, что ему неизвестен автор строфы из «Евгения Онегина».

[8] По эстляндским, прусским и другим положениям о крестьянском устройстве — крестьяне освобождались лично, не получая от помещиков землю. Об этих положениях, расхваливая их, много писала русская либеральная печать: они весьма устраивали охотников до дешевой и «свободной» рабочей силы. Об этих положениях, но, разумеется, с другой оценкой, писал и Чернышевский, писал и Добролюбов.

[9] *Переходное состояние* — состояние «срочно-обязанных», которое проектировалось царским рескриптом и редакционными комиссиями. По этому проекту крестьяне в течение двенадцати лет оставались прикрепленными к земле до полного ее выкупа и должны были работать на помещика, как работали до «освобождения». Проект был осуществлен (с незначительными изменениями) в «Положении» 19 февраля; по этому «Положению» крестьяне стали называться «временно-обязанными».

[10] Такую же мысль проводит Чернышевский в статьях по крестьянскому вопросу («О необходимости держаться возможно умеренных цифр при определении величины выкупа усадеб», «Труден ли выкуп земли?», «Материалы для решения крестьянского вопроса»).

Но с другой стороны большое внимание этим проблемам уделил и Добролюбов, например, в статье «Литературные мелочи прошлого года». Поскольку аграрно-крестьянский вопрос — центральный во всей публицистике тех лет, само по себе внимание к нему не решает вопроса об авторе.

[11] Имеется в виду книга Токвилля «Демократия в Америке», которая вызвала большой интерес в различных кругах русского общества, оживленные споры как между демократами и либералами, так и среди последних (например, между Чичериным и Катковым). Рецензии были в «Современнике» и «Русском слове». Чернышевский использовал эту книгу в период борьбы за программу «Великорусса» (см. Чернышевский Н. Г. «Письма без адреса». М., «Современник», 1979).

[12] Фамилии Орлова, Панина, Закревского Герцен называет в статье «1860» (1 января 1860 г., «Колокол»). Не отказавшись от славословия царю за рескрипт 1857 года, Герцен опасается, что царское окружение помешает ему провести в жизнь обещанные реформы. «Нельзя прогнать Клейнмихеля и оставить Панина, Муравьева (который зевает), Орлова, Мухановского, Горчакова и пр. С этими ядрами даже знаменитый скороход... не ушел бы далеко». Статья Герцена заканчивается призывом к царю «проснуться»: «Вас обманывают, пишет Герцен, вы сами обманываетесь, это — святки, все — ряженые. Велите снять маски и посмотрите хорошенько, кто друзья России и кто любит только свою чистую выгоду. Вам это потому вдвое важнее, что еще друзья России могут быть и вашими».

[13] Московский генерал-губернатор Закревский был в апреле 1859 года отставлен царем за скандальную историю с его дочерью: будучи замужем за графом Нессельроде, она вторично вышла замуж за князя Друцкого-Соколинского, для чего понадобилось совершить подлог о якобы состоявшемся разводе с первым мужем. Закревский известен как крайний реакционер, гонитель прогрессивной мысли и революционного движения.

[14] Речь идет, по-видимому, о статье польского писателя Адама Мицкевича в парижском сен-симонистском «Глоб» от 25 мая 1837 года «Александр Пушкин» за подписью «Один из друзей Пушкина» (статья в русском переводе напечатана в сборнике «Памяти А. С. Пушкина», издание журнала «Жизнь», СПб., 1889, с. 166, сл.). В статье Мицкевича имеются сведения о том, что Николай пытался «обольстить» поэта, имея заднюю мысль направить его творчество на защиту самодержавия.

[15] Автор иронизирует над обращением Герцена в статье «Через три года» к царю: «Ты победил, галилеянин!» Запрет цензуры писать о духовенстве и откупах последовал после статей Добролюбова в № 6 «Свистка» «Мысли светского человека о книге «Описание сельского духовенства» (книга священника И. С. Беллюстина, изданная за границей) и «Народное дело» (о крестьянских волнениях в связи с откупами).

[16] *Голштинцы* — намек на немецкое происхождение Романовых.

[17] Сторонники мнения о принадлежности «Письма из провинции» Чернышевскому высказывают предположение, что автор (Чернышевский) напоминает Герцену о личной беседе в Лондоне, во время которой Чернышевский пытался убедить Герцена отказаться от либеральных иллюзий.

Из текста, однако, скорее следует вывод, что автору письма было известно содержание беседы Чернышевского и Герцена. Это подтверждение, что письмо вышло из круга сотрудников «Современника», но не более того.

**Когда же придет настоящий день?**

Впервые — «Современник», 1860, № 3, отд. III, с. 31—72, без подписи, под заглавием: «Новая повесть г. Тургенева («Накануне», повесть И. С. Тургенева.— «Русский вестник», 1860, № 1—2)». Вошло в значительно расширенном виде в изд. 1862 г., т. III, с. 275—321.

Статья о романе «Накануне» написана вскоре после его появления в «Русском вестнике» (начало февраля). Прочтя корректуру статьи, цензор Бекетов 19 февраля сообщил ее автору: «Мне бы очень хотелось, любезнейший Николай Александрович, видеться с вами для объяснения по вашей критической статье о повести И. С. Тургенева «Накануне».

Критика такая, каких давно не читал, и напоминает Белинского. И пропустить ее в том виде, как она составлена, решительно нет никакой никому возможности...» Запрещение Бекетовым замечательной статьи Добролюбова стало известно в литературных кругах Петербурга. Только в марте был положительно решен вопрос о напечатании новой редакции статьи, представленной цензору Рахманинову.

Ознакомившись с содержанием полученной корректуры, Рахманинов на первых ее четырех листах написал «Печатать позволяется. Цензор Ф. Рахманинов», а два последних (5 и 6) оставил без подписи. При этом в подписанных листах он сделал несколько помарок. Вторая половина статьи вызвала возражения со стороны цензора, потребовавшего от автора ее значительного сокращения.

Текст статьи о «Накануне» дошел до нас в трех источниках: публикация в «Современнике», изд. 1862 г. и корректура. Самой полной является публикация в изд. 1862 г., затем текст корректуры и, наконец, текст «Современника». Можно ли один из названных текстовых источников считать первоначальным вариантом статьи? Мнения на этот счет противоречивы: одни утверждают, что первоначальный вариант статьи до нас не дошел, другие — что он воспроизведен Чернышевским в изд. 1862 г. При этом сторонники как той, так и другой точек зрения почему-то проходят мимо вполне определенного свидетельства Чернышевского: «Издавая собрание сочинений Добролюбова, я, разумеется, сличал и эту статью, как она была напечатана в «Современнике», с рукописью Добролюбова (в типографию посылались для набора вырезки из «Современника» или те корректуры, которые уцелели). Перечитывал статью во второй раз в корректуре нового набора. Но, конечно, мое внимание при этом было занято не размышлениями о том, достаточно или недостаточно похвал роману Тургенева в отзывах Добролюбова о нем, и я не помню, как именно оценивал Добролюбов этот роман в статье о нем» (Чернышевский, I, с. 728).

Статья Добролюбова о «Накануне» была не только первым развернутым критическим отзывом о романе Тургенева, но и единственной статьей в современной критике, которая давала глубокий и разносторонний анализ материалов романа. Однако она вызвала явное недовольство автора резкостью и определенностью своего тона, скрытой в ней революционной программой и осуждением дворянского либерализма. Тургенева, несомненно, задели и упреки Добролюбова в недостаточной разработке образа Инсарова.

Статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» явилась одной из важнейших программных статей «Современника» в годы революционной ситуации.

Не случайно и символическое название статьи, не пропущенное цензурой при публикации статьи в «Современнике». Название романа Тургенева, выражающее спокойную уверенность в том, что русское общество находится накануне нового дня, то есть реформы, превратилось в беспокойный, резкий и требовательный вопрос о том, когда же наступит настоящий день, то есть осуществится действительное революционное освобождение.

Добролюбов выдвигает здесь как центральную проблему — проблему героя нового типа, героя «дела». Известно, что в демократической журналистике 60-х годов слово «дело» часто обозначало именно революционную деятельность, освободительную борьбу. В этом смысле особенно показательно направление, в котором ведется в статье анализ образа Елены.

Добролюбов страстно ждал революцию и видел возможность революционного взрыва в складывающейся ситуации и готовил его. Но вместе с тем он сознавал и трудности, стоящие перед ней. Основным для него являлась задача и формирование революционного демократического деятеля нового типа. И внимание Добролюбова сосредоточивается на образе этого революционного деятеля, характерные намеки на которого даны в тургеневском Инсарове. Добролюбов не мог быть удовлетворен конкретными формами, в которые был вылит этот образ в романе Тургенева. Тургеневский Инсаров для Добролюбова еще не «русский Инсаров». В статье подсказывается и другая линия поведения, и иной способ выражения этого «русского Инсарова», чем у тургеневского героя. Ведь задача этого нового деятеля, по Добролюбову, «гораздо сложнее и труднее», чем у Инсарова. И основная трудность состоит в освобождении от влияния той разлагающей среды, с которою связан силою обстоятельств этот герой, чтобы иметь в себе силу для решительного выступления против всех «внутренних врагов» своего народа. Добролюбов с особенною силою подчеркивает преданность Инсарова делу освобождения своего народа, полное подчинение всех его действий этой основной цели его жизни.

В труднейших условиях цензурных преследований Добролюбов, естественно, мог только отдельными намеками, скрытыми ходами мысли и различного рода эзоповскими аналогиями и иносказаниями выразить основную мысль статьи. Несколько заключительных страниц ее представляют один из наиболее блестящих примеров последовательного проведения революционной мысли в условиях подцензурной печати.

Глубокое впечатление оказала на демократическую интеллигенцию этого времени оптимистическая призывная концовка статьи — о возможности радикально изменить существующую обстановку, решительно устранить «старую общественную рутину», о закономерности появления таких деятелей, которые не будут привязаны насильно «к трупу отжившего прошедшего», о том, что недолго уже ждать «русского Инсарова» и что придет наконец «настоящий день». Так критическая статья революционера-демократа перерастала в революционную прокламацию.

Роман и еще более рецензия Добролюбова привлекли внимание революционных кругов, использовались в целях пропаганды приверженцами «Великорусса» и позже землевольцами. На организуемых ими «литературных вечерах» оживленно обсуждались проблемы, затронутые Тургеневым, и, прежде всего, характер революционного деятеля, общие вопросы оценки эпохи, готовности страны, народа и особенно молодежи к революционному действию. Сохранился конспект одной из лекций, прочитанных на «литературном вечере» (точнее, полулегальной сходке революционного студенчества) соратником Чернышевского Сергеем Степановичем Рымаренко (1839—1869), позже арестованным одновременно с Чернышевским за распространение прокламаций.

Рымаренко, развивая мысли, высказанные Добролюбовым, подчеркивал, что Тургенев показал пробуждение общества после тридцатилетней спячки, что главный герой выведен болгарином потому, что в России его посадили бы в Алексеевский равелин, автору неудобно было изобразить его русским, но для Инсаровых есть работа и в России. «Инсаров — это эмиграция русской силы», «Тургенев понял зарождающуюся идею действий в нашей молодежи и дал легкий абрис деятеля (см. Рымаренко С. С. По поводу новой повести И. С. Тургенева.— «Литературное наследство», т. 76, М., 1967, с. 155).

Характерно, что к концу 1861 — началу 1862 года революционные деятели считали Инсарова и даже Базарова уже устаревшими типами русской жизни. В этом плане оценивает эти образы С. Рымаренко, в этом же плане Добролюбов в статье «Луч света...» дает характеристику Инсарову. Инсаров здесь отнесен к числу героев литературы, в коих «были претензии на сильные, цельные характеры». Русская же жизнь требовала «решительного дела», к решительному, организованному протесту звал молодежь Добролюбов и готовил ее к такой борьбе. Развитием черт Инсарова критик считал образ Катерины, видя в нем протест, доведенный до конца, бескомпромиссную борьбу с «темным царством», готовность погибнуть в борьбе, но не примириться с действительностью.

Характеризуя деятельность Добролюбова в связи с сорокалетием со дня его смерти, Ленин вспоминал прежде всего образы и символы этой статьи, говоря, что всей образованной и мыслящей России «дорог писатель, страстно ненавидевший произвол и страстно ждавший народного восстания против «внутренних турок» — против самодержавного правительства» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., с. 370).

[1] Первая строка из стихотворения Г. Гейне «Доктрина» (из цикла «Современные стихотворения»). Это революционное по смыслу стихотворение Гейне высоко ценил Добролюбов. Он приводит его полностью в рецензии на «Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова». В журнальном тексте эпиграфа нет.

[2] Роман Писемского «Тысяча душ» Добролюбов отрицательно оценивал из-за характера его героя — Калиновича, в котором была попытка представить чиновника-карьериста как идеального борца с бюрократическими злоупотреблениями. От разбора романа, о котором много говорилось в критике конца 50-х годов, Добролюбов, как явствует из этих строк, сознательно уклонился, но свое отрицательное отношение к нему он выражал не раз. Например, в статье «Народное дело» он говорит о фальшивости характера Калиновича. Сатирическую оценку характера Калиновича Добролюбов дал также в стихотворении «Страдания вель-

можного филантропа», предназначавшемся для «Свистка», но опубликованном впервые только в изд. 1862 г. Первоначально оно было названо Добролюбовым: «Современная демоническая натура, или Страдания г. Калиновича».

[3] Подобные упреки выдвигались представителями дворянской «эстетической критики». Так, А. В. Дружинин в статье об издании повестей и рассказов Тургенева упрекал писателя за то, что он «принес много жертв духу своего времени и, двигаясь по литературной дороге заодно с передовыми мыслителями из современников, подчинял свою поэзию идеям и законам, не для нее составленным» («Библиотека для чтения», 1857, № 3, Критика, с. 10, 12, 23—24), он говорил и о «колебаниях» Тургенева. Эти упреки, как видно, были направлены против влияния критики Белинского на формирование Тургенева как писателя. Другой критик «эстетического» направления С. С. Дудышкин указывал, что анализ повестей и рассказов Тургенева 1840—1850-х годов также показывает «прежде всего колебания в самом взгляде на жизнь» (статья «Повести и рассказы Тургенева».— «Отечественные записки», 1857, № 1, отд. II, с. 2).

[4] Это полемическое примечание Добролюбова имеет в виду упреки, брошенные критике «Современника» Герценом в его статье «Very dangerous!!!». К объяснениям по поводу герценовской статьи имеют прямое отношение ссылки здесь на оценку людей 1840-х годов типа Рудина.

[5] Сочинения Белинского (12 частей) были изданы К. Солдатенковым и Н. Щепкиным в 1859—1862 годах. Это было первое собрание статей критика. К началу 1860 года вышли первые пять томов.

[6] «Дворянское гнездо» было единодушно высоко оценено критикой. Критика сходилась в оценке образа Лизы, видя в ней едва ли не лучший образец типа русской женщины после пушкинской Татьяны. Большая часть критических отзывов (статья П. В. Анненкова в «Русском вестнике», М. Де-Пуле в «Русском слове», Н. Ахшарумова в сборнике «Весна» и др.) выражала также свое восхищение силою изобразительности Тургенева, лиризмом и поэтической народностью его романа, глубиною психологических характеристик и т. д.

[7] Неудовлетворение типом Лаврецкого выражали многие критики. Так, Н. Д. Ахшарумов (статья в сборнике «Весна», 1859) указывал, что в Лаврецком мало личного, индивидуального, нового сравнительно с другими героями более ранних произведений Тургенева. М. Де-Пуле («Русское слово», 1859, № 11) также придерживался этой точки зрения. Даже Ап. Григорьев в большой статье «И. С. Тургенев и его деятельность». По поводу романа «Дворянское гнездо» («Русское слово», 1859, № 4—6 и 8), положительно оценивая образ Лаврецкого и видя в нем, в согласии со своими взглядами, обращение к родной «почве», указывал, что у Тургенева «к самому Лаврецкому нет окончательно ясных отношений» (Сочинения, т. I, СПб., 1876, с. 395).

[8] Имеется в виду повесть И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека» и его рассказ «Два приятеля».

[9] То есть Т. Н. Грановского.

[10] Таков был смысл уже первых откликов на роман «Накануне». Так, в заметке Л. Опухтина (И. В. Павлова) «Накануне» и «Наше время», явившейся ответом на обвинения Тургенева за образ Елены в газете «Наше время», говорилось, что основной смысл романа — в осуж-

дении «гамлетиков» типа Шубина, в обличении общественной бездеятельности и т. д. (см. «Московский вестник», 1860, № 12 от 25 марта). В сущности, из этого же представления о романе исходила и критика «Нашего времени», резко отрицательно отозвавшаяся о его основных героях.— Вместо слов «может быть», «подумают» в «Современнике» и корректуре: «хотят уверить».

[11] Вместо этой фразы в «Современнике» и корректуре иной текст: «Появление русского на месте Инсарова было бы фальшиво — не потому, чтобы русский народ вовсе неспособен был производить такие натуры, а потому, что русская жизнь дает им иное направление и развитие. Всмотримся в дело поближе», а в предыдущей фразе слова «только не поляком и» заменены словом «но».

[12] Вместо слов «все пошлое» в «Современнике» и корректуре «вся несостоятельность обычного порядка», а вместо слова «аллегорический» — «обстоятельный».

[13] Вместо слова «борьбою» в «Современнике» и корректуре — «деятельностью».

[14] Слова «ждем, чтобы нам хоть кто-нибудь объяснил, что делать» в журнальном тексте отсутствуют.

[15] Вместо этой фразы и предыдущего абзаца (начиная со слов «Все это так») в «Современнике» и корректуре иной текст: «Да настолько, насколько Инсаров действует в повести г. Тургенева, стало бы и русского человека. Но дело в том, что этот Инсаров далеко не представляет в себе осуществления той идеи, которая вызвала его к жизни в художественном произведении. И это служит для нас сильнейшим доказательством того, что Инсаров — не такой, каким он вышел в повести, а такой, каким он должен бы выйти по замыслу автора,— еще не существует в нашей жизни».

[16] В «Современнике» между этой и следующей фразой было: «и вот почему «Накануне» производит на публику такое слабое, даже отчасти неблагоприятное впечатление, сравнительно с прежними повестями г. Тургенева, где являлись характеры, до тонкости изученные и живо прочувствованные автором. Мы понимаем, что Инсаров должен быть хороший человек и что и Елена». Текст корректуры совпадает с журнальным, но отсутствуют слова «где являлись характеры до тонкости изученные и живо прочувствованные автором».

[17] Вместо части предыдущего текста (от слов «озаряет мрак нашего существования» до «совершенно лишним для общества») в «Современнике» иной текст: «привлекает наше уважение. Как скоро отнимается от Инсарова эта идея, в нем ничего не остается. Автор понял, что любовь к родине должна органически срастаться со всем существом этого болгара и что нужно показать их нераздельными; так он и старался представить это в своей повести. Но как именно это чувство деятельного патриотизма проникает все существо Инсарова, как освещает всю его жизнь, определяет все его стремления, заправляет всеми поступками,— для жизненного и полного выражения всего этого автор, как видно, не нашел достаточно материалов и красок в той действительности, которая доступна его художническому наблюдению; оттого Инсаров есть создание головное, а не задушевное, и мы головою должны оправдывать даже любовь к нему Елены. Все обаяние Инсарова заключается для нее в величии и в святости той идеи, которой проникнуто все его существо.

Елена мгновенно и глубоко поражается, еще не видавши Инсарова, рассказом о его патриотических замыслах. «Освободить свою родину,— говорит она,— эти слова и выговорить страшно, так она велика!» И она чувствует, что слово ее сердца найдено, что она удовлетворена, что выше этой цели нельзя поставить себе и что на всю ее жизнь, на всю ее будущность достанет деятельного содержания, если только она пойдет за этим человеком. И она старается всмотреться в него, ей хочется проникнуть в его душу, разделить его мечты, войти в подробности его планов. А в нем только и есть постоянная, слитая с ним идея родины и ее свободы; и Елена довольна, ей нравится в нем эта ясность и определенность стремлений, спокойствие и твердость души, могучесть самого замысла, и она скоро сама делается эхом той идеи, которая его одушевляет. «Когда он говорит о своей родине,— пишет она в своем дневнике,— он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос, как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, перед кем бы он глаза опустил. И он не только говорит, он делал и будет делать. Я его расспрошу...» Через несколько дней она опять пишет: «А ведь странно, однако, что я до сих пор, до двадцати лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть его Д., мне нравится это имя: Дмитрий) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тот уж ни за что не отвечает. Не я хочу, то хочет». И понявши это, она сама хочет слиться с ним так, чтобы уже не она хотела, а он и то, что его одушевляет. И мы после этого очень хорошо понимаем возможность и естественность ее чувства к Инсарову.

Из этих немногих объяснений понятно, что насколько Елена с своей «жаждой деятельного добра» близка нашей жизни, настолько же Инсаров как патриотический деятель далек от нее. Ни цель болгара Инсарова для нас непригодна, ни цельность его развития нам недоступна. У него в виду простое дело — борьба с турками; у нас подобная цель была во время восточной войны, и тогда явилось у нас немало героев. Но в мирное время — дело русского патриота совсем иное. То, к чему стремится Инсаров, у нас уже вполне достигнуто, и его стремления, буквально выраженные в русском человеке, должны бы считаться просто преступными, потому что они у нас не имеют никакого основания и ничем не оправдываются».

[18] В журнале М. Н. Каткова «Русский вестник» публиковались «Исторические письма» С. М. Соловьева (1858, март, кн. 1; май, кн. 2; 1859, март, кн. 1), а также его статья «Малороссийское казачество до Хмельницкого» (1859, сентябрь, кн. 2). На последнюю, очевидно, и намекает здесь Добролюбов.

[19] Вместо части предыдущего текста (начиная от слов «родятся, конечно, и в России» до «являются смешными Дон-Кихотами») в «Современнике» иной текст: «В нашем обществе должны получать другое развитие и направление. Внешней борьбы нам не нужно, но необходима усиленная, непрерывная, самоотверженная борьба с внутренним врагом — с общественным злом и неправдой. Враг этот среди нас, часто в нас самих. Восставая против общественных пороков, развращения, произвола, апатии и находя в них корень всех наших зол, мы нередко вдруг замечаем, что сами не менее других виновны — и в произволе, и в апатии, и в разврате и пр. Есть ли возможность сохранить при этом полную силу героизма? Поневоле многие начинают накидываться на мелочи, воображая, что в них-то и есть все дело, или сражаться с призра-

ками и, таким образом, в практической деятельности являются обыкновенно забавно-жалкими Дон-Кихотами, несмотря на все благородство своих стремлений». Текст корректуры, за исключением нескольких дополнений, совпадает с текстом «Современника».

[20] Видимо, в этот рассказ о печальной истории «одного подобного героя» введены некоторые черты из биографии товарища Добролюбова по Педагогическому институту И. Поржницкого.

[21] Вместо слов «решимость гибнуть за добро» в «Современнике»: «решимость; в этом жизнь его разбивается...» Следующая после этого часть текста (начиная со слов «Спрашивается теперь» и до фразы «Один из наших знакомых...») в «Современнике» не появилась, но совпадает, за исключением некоторых различий, с текстом корректуры. Текст от слов «Впрочем, и подобных-то» до «Из этих тоже есть» в корректуре заменен другим: «Таким образом, русскому человеку, желающему действовать на пользу общую, нужно, кроме силы воли и природной отваги, еще много думать, соображать и добиваться, для того чтобы только узнать, где искать цели для своей деятельности. Наш внутренний враг, вредящий общему благу, так неуловим и является в таких различных видах, что в одних поисках его человек может истощиться и обессилеть. Оттого-то у нас в обществе так много есть людей, которые не принимаются уже вовсе ни за какую практическую деятельность, а так и останавливаются на размышлениях. Из них есть...»

[22] Подобное обвинение в отношении Джона Брауна, героического борца за независимость негров-рабов в США, повешенного рабовладельцами после неудачи поднятого им восстания в декабре 1859 года, было брошено в «Политическом обозрении по поводу событий 1859 года», опубликованном в № 1 газеты «Московский вестник» (1860, № 1, 9 января).

[23] Персонажи пьес Островского, представители «темного царства» (из пьес «В чужом пиру похмелье», «Свои люди — сочтемся», «Гроза», «Воспитанница»).

[24] *«Московские ведомости»* — газета, выходившая в 1756—1917 годах. В 1856—1862 годах, под редакцией В. Ф. Корша, придерживалась умеренно-либерального направления.

[25] Стихотворение Ф. И. Тютчева «Русской женщине» (так оно озаглавлено в сохранившемся автографе); первоначально было опубликовано в сборнике «Киевлянин», кн. III, 1850, под названием «Моей землячке», затем (без названия) — в «Стихотворениях Тютчева» — приложении к журналу «Современник» за 1854 год. По этому последнему изданию его и цитирует Добролюбов.

[26] Вместо части предыдущего текста (начиная со слов «нашей жажде нужно более: нужен человек» до «явлению такого человека») в «Современнике» было: «нужны люди-герои для борьбы с врагами внутренними, люди живые и энергические, не говоруны и не рефлектеры, а практические деятели. Нужно, чтоб они умели понять нужды русской жизни, всей силою души своей захотели уврачевать наши раны, вполне отдались идее общего блага, слились с нею всем существом своим и увлекли бы за собою на дело правды и добра новых деятелей, честных и усердных ко благу родины. У нас доселе нет таких людей, потому что наша общественная среда до сих пор не благоприятствовала их развитию. Возможны ли они?»

[27] Этого абзаца в «Современнике» нет. Текст корректуры в первой фразе совпадает с изд. 1862 г.

**Забитые люди**

Впервые — «Современник», 1861, № 9, отд. II, с. 99—149, за подписью «Н.-бов», а в оглавлении тома и на обложке номера «Н. А.-бов». Вошло с восстановлением цензурных изъятий в изд. 1862 г. т. III, с. 533—585. Цензорская корректура последней формы статьи хранится в ИРЛИ. На корректуре надпись: «С сделанными исключениями эти восемь форм по определению комитета печатать позволяется. 5 октября 1861. Цензор Оберт».

Статья о творчестве Ф. М. Достоевского — последнее литературно-критическое выступление Добролюбова — написана после возвращения из-за границы. Она была прямым ответом на статью Достоевского «Г.-бов и вопрос об искусстве» («Время», 1861, февраль).

Достоевский писал о Добролюбове как «об одном из важнейших представителей современной критики, которого,— в этом надо признаться откровенно,— только одного у нас теперь и читают, чуть ли не из всех наших критиков». В рукописном наброске начала этой статьи он выражался еще категоричнее, собираясь «говорить об одном из величайших деятелей теперешней (?) русской критики, которого только одного у нас знают и читают...» «В его таланте есть сила, происходящая от убеждения, Г.-бов — не столько критик, сколько публицист. Основное начало убеждений его справедливо и вызывает симпатию публики». «Основное начало убеждений» Добролюбова Достоевский видит в их демократизме, в постоянной защите интересов русского народа.

Вопрос эстетический — об общественной роли искусства и о значении художественности — Достоевский выдвигает как главную тему полемики. Изложив существо многолетнего спора между сторонниками «чистого искусства» и «утилитаристами», Достоевский утверждает, что «весь вопрос в настоящую минуту ложно поставлен», потому что общественная польза искусства определяется его эстетическим качеством. Художественность является обязательным условием общественной роли произведения искусства, поэтому критик должен в первую очередь оценивать эстетическое, художественное значение произведения. Теоретически признавая значение художественности, Добролюбов, по мнению Достоевского, на деле пренебрегает ею.

В первой части статьи Добролюбов, в интересах полемики, исходит в анализе «Униженных и оскорбленных» из «правил строго художественной критики».

Во второй и основной части статьи Добролюбов обращается «от отвлеченных эстетических рассуждений к идеям и положениям, развиваемым» в творчестве Достоевского, к его положительному жизненному содержанию. Так же как и Достоевский, Добролюбов стремится переубедить оппонента, доказывая на анализе его собственного творчества, что критика должна исходить в первую очередь из реального содержания и общественного значения разбираемых произведений, что только тогда и эстетическая оценка их будет обоснованной и объективной. Добролюбов доказывает, что мирное гармоническое развитие, за которое ратуют «почвенники» для России, невозможно без уничтожения социального неравенства. Мечта о «золотом веке», основанном на одном духовном единстве, утопична, в условиях самодержавия при полнейшем отсутствии политических свобод, гарантии прав личности. Опираясь на творчество Достоевского, критик подчеркивает, что гуманность несовместима

с сохранением деспотизма. Это выступление Добролюбова, равно как и статья Д. И. Писарева о схоластике XIX века, поддерживала борьбу Чернышевского в легальной печати и в «Великоруссе» за политические свободы, за конституцию, за единство всех демократических сил против самовластья. Статья Добролюбова была высоко оценена в революционных кругах, не только в столице, но и в провинции. Ее значение было отмечено И. С. Тургеневым, включавшимся как раз в то время в борьбу за конституцию.

[1] Добролюбов имеет в виду критиков либерального направления, которые выступали против публицистичности его статей и связанных с нею приемов «реальной критики»,— Анненкова, Дружинина, Дудышкина и др.

[2] Цитата из статьи В. Г. Белинского «Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым». В этом сборнике в 1846 году был напечатан роман «Бедные люди».

[3] *Луганский* — Казак Луганский, псевдоним писателя и фольклориста В. И. Даля (1801—1872).

[4] За участие в кружке М. В. Петрашевского Ф. М. Достоевский был арестован 23 апреля 1849 года и приговорен к смертной казни, которая была заменена четырехлетней каторгой и последующей ссылкой. Только в 1859 году ему было разрешено возвратиться в Петербург.

[5] «Маленький герой» («Отечественные записки», 1857, № 8), «Дядюшкин сон» («Русское слово», 1859, № 3), «Село Степанчиково и его обитатели» («Отечественные записки», 1859, № 11—12), «Униженные и оскорбленные» («Время», 1861, № 1—7).

[6] Добролюбов имеет в виду полемические выпады против него в статьях Ап. Григорьева.

[7] Речь идет о сторонниках идеалистической эстетики (Анненкове и «его последователях» — Боткине, Дружинине и др.), которые подходили к произведениям крупных и совершенно незначительных писателей с одинаковыми критериями, заимствованными из весьма упрощенно понятой ими «Эстетики» Гегеля.

[8] *Шишкин И. И.* и *Карнович Е. П.* (1824—1885) — беллетристы, сотрудничавшие в 50-х годах в «Современнике», а затем в «Отечественных записках».

[9] Цитата из басни И. А. Крылова «Муравей» (1819). У Крылова: «Какой-то муравей».

[10] Роман Н. Д. Ахшарумова «Чужое имя» печатался в «Русском вестнике» (1861, № 1, 2, 3, 4, 5, 8).

[11] Романы Н. А. Полевого «Клятва при гробе господнем» (1832), «Аббаддона» (1834), «Византийские легенды» (1841) и др. со времени Белинского служили примером «уродливого» и «смешного» романтизма.

[12] Роман А. А. Потехина «Бедные дворяне» печатался в «Библиотеке для чтения» (1861, № 2, 3, 4, 5, 6).

[13] Речь идет о рассказе И. С. Тургенева «Бретер» (1847).

[14] *Федо* (Фейдо) *Эрнест* (1821—1873) — французский писатель. Речь идет о его романе «Фанни» (1859), выдержавшем около тридцати изданий.

[15] В изд. 1862 г. опечатка — «попадет».

[16] Весь этот абзац — ответ на то место статьи Достоевского, где он говорит о великих произведениях истинного искусства и их пользе, которой не понимают «утилитаристы».

[17] Обвинение в том, что Добролюбов навязывает художнику утилитарные темы, содержится в статье Достоевского. Добролюбов отвергает этот упрек.

[18] В изд. 1862 г. слово «рассказ» пропущено.

[19] Здесь Добролюбов расходится с оценкой Чернышевского, который в своей рецензии на январскую книжку «Времени» как раз эту ситуацию первой части «Униженных и оскорбленных» признавал художественно убедительной: «В первой части, по нашему мнению, рассказ имеет правдивость; это соединение гордости и силы в женщине с готовностью переносить от любимого человека жесточайшие оскорбления, одного из которых было бы, кажется, достаточно, чтобы заменить прежнюю любовь презрительною ненавистью,— это странное соединение в действительности встречается у женщин очень часто» («Совр.», 1861, № I, отд. II. См. Чернышевский, VII, с. 951).

[20] Отрывок из романа И. А. Гончарова «Обрыв» был опубликован в «Современнике» (1860, № 2) под названием: «София Николаевна Беловодова (пять глав из романа «Эпизоды из жизни Райского»).

[21] Статья А. Ф. Мерзлякова о «Россияде» М. М. Хераскова была опубликована в журнале «Амфион» (1815, № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9). Статья В. П. Боткина «Стихотворения А. А. Фета» — в «Современнике» (1857, № 1).

[22] Имеются в виду «Письма иногороднего подписчика в редакцию «Современника» о русской журналистике» А. В. Дружинина. Во втором письме сказано: «Тяжким трудом отзываются повести г. Достоевского, пахнут потом, если можно так выразиться, и эта-то излишняя обработка, которой автор не умеет скрыть, вредит впечатлению» («Совр.», 1849, № 2, отд. V, с. 186).

[23] *Толбин В. В.* (1821—1869) — поэт и очеркист, сотрудник сатирического журнала «Искра». *Кугушев Г. В.* (1824—1871) — беллетрист, автор великосветских романов, сотрудничал в «Русском вестнике» и «Отечественных записках». *Греков Н. П.* (1810—1866) — поэт и переводчик. В 1860 году вышел сборник его стихотворений.

[24] *Колбасин Е. Я.* (1831—1885) — беллетрист и историк литературы.

[25] Этот абзац возвращает снова к полемике против того критерия художественности, который предложен Достоевским в статье «Г.-бов и вопрос об искусстве»: «Чем познается художественность в произведении искусства? Тем, если мы видим согласие, по возможности полное, художественной идеи и той формы, в которую она воплощена».

[26] Имеются в виду «Заметки о русской литературе прошлого года» П. В. Анненкова («Совр.», 1849, № 1, отд. III, с. 1—2).

[27] Речь идет о комедии Н. М. Львова «Предубеждение, или Не место красит человека — человек место» (1858).

[28] Повесть «Запутанное дело» («Отечественные записки», 1848, № 3), проникнутая идеей революционного переустройства общества, послужила поводом для ссылки М. Е. Салтыкова-Щедрина в Вятскую губернию. Цензор Оберт запретил даже в 1861 году упоминать ее название, из-за

чего в «Современнике» эта фраза заканчивалась так: «в его одной повести, напечатанной, кажется, 12 лет тому назад».

[29] Часть фразы (начиная со слов «И если бы продолжалось») в журнальном тексте отсутствует, а в следующей фразе вместо слова «Ныне» в «Современнике»: «Вот».

[30] Неточная цитата из романа «Униженные и оскорбленные».

[31] Цитата из оды Г. Р. Державина «К премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице» (1782). У Державина: «И знать, и мыслить позволяешь».

[32] Отрицательное отношение Добролюбова к «Письмам русского путешественника» вызвано осуждением Н. М. Карамзина французской революции.

[33] Здесь Добролюбов отвечает на те места статьи «Г.-бов и вопрос об искусстве», где Достоевский, признавая Пушкина «величайшим национальным поэтом (а в будущем и народным, в буквальном смысле слова)», обвиняет «утилитаристов» в непонимании его эстетического и общественного значения для России и даже в «ненависти» к нему. Добролюбов «гоголевское направление» ставил выше «пушкинского».

[34] Цитата из «Мертвых душ» Гоголя (т. II, гл. 1).

[35] *Улисс* — римское наименование мифического царя острова Итаки Одиссея, одного из главных участников Троянской войны в «Илиаде» и главного героя «Одиссеи» Гомера.

[36] Этой фразы в журнальном тексте нет.

[37] Данной фразы в «Современнике» нет.

[38] Слова «государственной» в журнале нет.

[39] Текст от слов «Здесь не только установлена и» и до «такой степени все при ней» в «Современнике» опущен и заменен словами «Все тут».

[40] *Линней Карл* (1707—1778) — шведский естествоиспытатель, разработал классификацию животных и растений по родам и видам.

[41] Эта и предыдущие две фразы в «Современнике» отсутствуют.

[42] В «Современнике» — «говорят индейцы».

[43] Эта фраза в «Современнике» опущена, а в предыдущей отсутствуют слова «В Парагвайской республике», «и там».

[44] *Щербина Н. Ф.* (1821—1863) — поэт. *Мних Иаков* (XI век) — один из первых русских летописцев. *Зооморфические божества* — представление богов в образе зверей. *Марио Джузеппе* (1812—1883) — итальянский певец. *Иван Александрович Чернокнижников* — псевдоним беллетриста и критика А. В. Дружинина (1824—1864).

[45] Этой фразы в журнальном тексте нет.

[46] В изд. 1862 г. «перелистывать».

[47] Слово «ее» в изд. 1862 г. пропущено.

[48] Слова «в военных эволюциях» в «Современнике» отсутствуют.

[49] Часть предыдущего текста (начиная от слов «Говорят, отрадно человеку» до «вроде способности воды замерзать; напротив») в «Современнике» опущена и заменена словами «Но проходят времена, в которые натуральна была такая инерция, и».

[50] Слова «Не касаясь других сфер, недоступных в настоящее время

нашему описанию» в «Современнике» отсутствуют, и фраза начинается так: «Возьмем для примера».

[51] Слово «это» в изд. 1862 г. пропущено.

[52] Речь идет о пьесе Островского «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» («Библиотека для чтения», 1861, № 3). В «Современнике» ошибочно напечатано: «Свои люди».

[53] «Полемические красоты» Н. Г. Чернышевского («Современник», 1861, № 6, 7) вызвали ожесточенные нападки со стороны «Отечественных записок» и «Русского вестника».

[54] Конец фразы (начиная со слов «тут-то посылает он») в «Современнике» отсутствует.

[55] Вместо следующего далее окончания фразы (начиная со слов «ту противную») в «Современнике» напечатано: «свою противную античность».

[56] Следующая часть текста (до конца абзаца) полемически направлена против почвеннического рассуждения, высказанного Достоевским в его «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» («Время», 1861, январь).

[57] Лорд *Чатам* — Питт Уильям Старший (1708—1778), английский государственный деятель, в 1766—1768 годах премьер-министр. *Веллингтон Артур Уэлсли* (1769—1852) — английский полководец и государственный деятель.

[58] Речь идет об «Энциклопедическом словаре», составленном русскими учеными и писателями; стал выходить с 1861 года под редакцией А. А. Краевского, потом П. Л. Лаврова, но, как и предвидел Добролюбов, прекратился на шестом томе в 1863 году.

[59] Конца фразы (начиная со слов «над какими-нибудь изменениями») в журнальном тексте нет.

[60] Вместо следующего далее окончания фразы (начиная со слов «издадим, говорят...») в «Современнике» напечатано: «Так и во всем». Кроме того, содержащиеся в следующей фразе слова «опошленном и униженном» отсутствуют в журнальном тексте.

[61] Имеется в виду «Кодекс Наполеона» — первая радикальная переработка законов римского права в соответствии с потребностями и интересами буржуазного общества. Был введен в действие в 1804 году и стал отправной точкой правовых норм и представлений XIX века для многих буржуазных стран.

[62] Имеется в виду французская революция 1789—1793 годов, уничтожившая монархию и дворянские привилегии.

[63] *Ламорисьер Кристоф-Леон* (1806—1865) — французский генерал, после 1848 года военный министр Франции.

[64] *Персиньи Жан* (1808—1872) — французский государственный деятель, министр внутренних дел при Наполеоне III.

[65] Этой фразы в «Современнике» нет, а в следующей опущено слово «Вы».

[66] Конца фразы со слов «и никак не хочет» в «Современнике» нет.

[67] «Монтор» — орган французского правительства 1789—1901 годов.

[68] В «Современнике» эта фраза дана в иной редакции («А чтобы объяснить, почему у нас это обращение в ветошку так метко и удобно») и соединена со следующей через запятую.

[69] Вместо слов «решимости для противодействия?» и следующей фразы в «Современнике» было «решимости тем больше, что и виноваты здесь не отдельные люди».

[70] Конца фразы (начиная со слов «когда они сложились...») в «Современнике» нет.

[71] Вместо «законному порядку. Порядок этот оказывается в пользу князя,— все» в «Современнике» напечатано: «заведенному порядку и кончается».

[72] В «Современнике» вместо слов «И в чем тут сила? Даже и не в князе» напечатано: «Хоть».

[73] Этой фразы в журнальном тексте нет.

[74] Фраза в «Современнике» отсутствует.

[75] Текст со слов «Во всяком случае» до «не заметили, что» заменен в «Современнике» словами: «едва ли литература может указать его».

[76] Слова «что им тяжко и в нравственном и в физическом смысле», «готовы на раздражение и протест» в «Современнике» отсутствуют.

[77] Слов «этот», «когда и как» и предыдущей фразы в журнальном тексте нет.

[78] Содержащиеся в этой и двух следующих фразах слова «факт, намек или указание», «только это многое еще не формулировано», «и полноправности во всех и каждом» в «Современнике» отсутствуют.

[79] Вместо текста от «конечно, не их собственными» до «полезно знать, что» в «Современнике» напечатано: «потому» и отсутствуют слова «они», «вечное, неисторжимое никакими муками».

# СОДЕРЖАНИЕ

8Р1
Д56

Предисловие, составление, комментарии
проф. *А. Ф. Смирнова*

**Добролюбов Н. А.**

Д56 Избранные статьи.— /Сост. А. Ф. Смирнов.— М.: Современник, 1980.— 444 с.— (Б-ка «Любителям рос. словесности»).

В книгу вошли наиболее известные статьи великого русского критика о русской классической литературе.
Читатель найдет здесь работы о А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе и других писателях, составивших честь и славу отечественной литературы.

Д $\frac{70202-250}{М106(03)-80}$ 275—80 4603010101 ББК83.3Р1

**Добролюбов Николай Александрович**

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

Редактор **Е. Маркова**
Художник **С. Виноградов**
Художественный редактор **В. Покатов**
Технический редактор **Н.** Децко
Корректоры **В. Дробышева, О. Гнеушева**

ИБ № 1829. Сдано в набор 13.02.80. Подписано к печати 11.08.80. Формат 60×84/16. Гарнитура школьн. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 25,52. Тираж 50 000 экз. Заказ 1079. Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

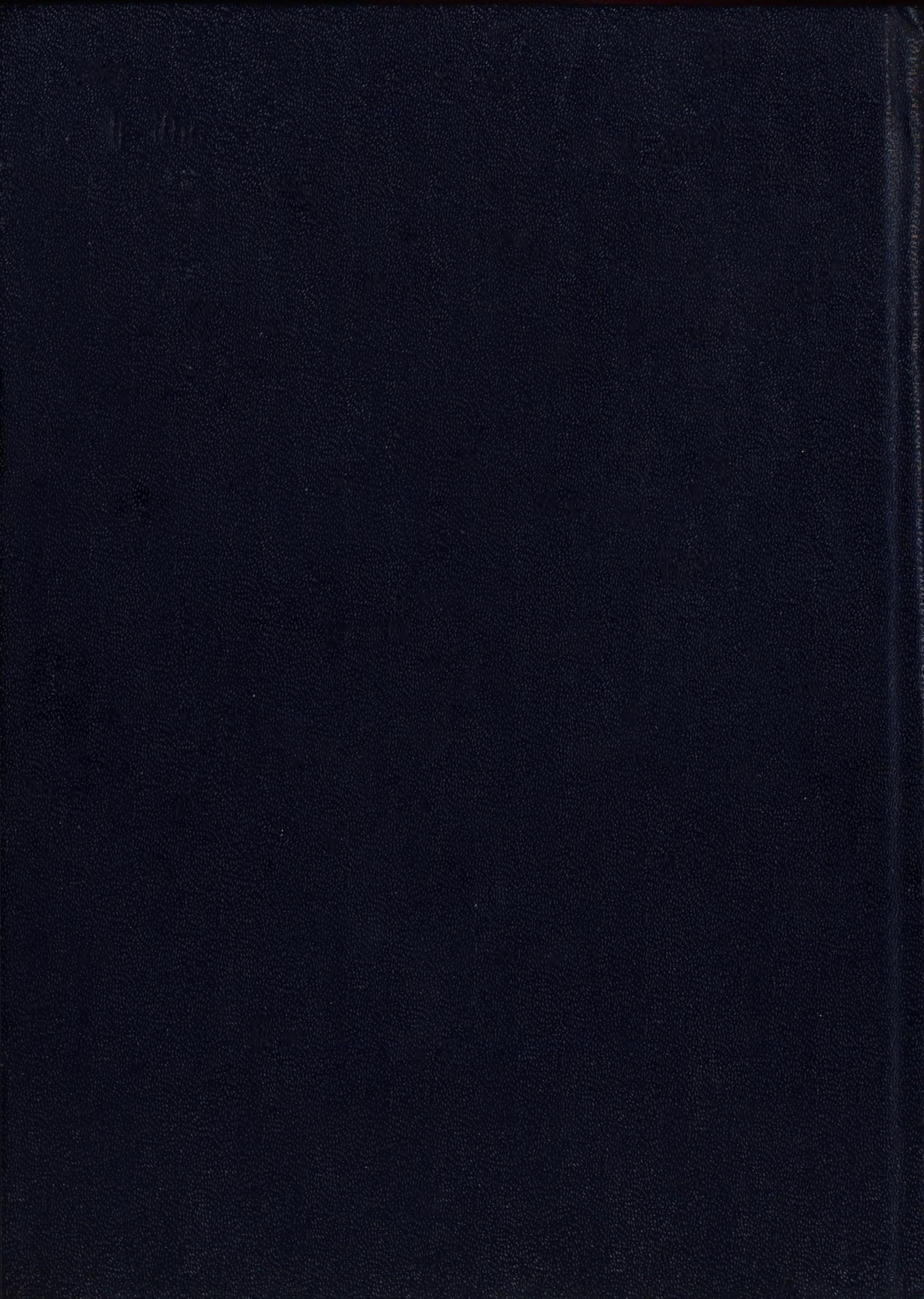
Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25

*ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!*

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении, полиграфическом исполнении, направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

Издательство «Современник»




Н. А. ДОБРОЛЮБОВ